КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ПЯТАЯ — ШЕСТАЯ

МАЙ — ИЮНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МАЙ—ИЮНЬ

№ 5—6



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

«Мосполиграф»
13-я типо-цинкография
«МЫСЛЬ ПЕЧАТНИКА»
Москва, Петровка, 17.
Уполномоч. Главлита № Б—6356
Тираж 15.000. Зак. 1226.
1931 г.

Фабрика снов

Хроника нашего времени

Илья Эренбург

I. «Это картина Парамаунта»

1

Один квадратный метр на Бродвее стоит больше, чем обширное поместье в глухом штате: это самая дорогая земля во всем мире. На самой дорогой земле высится самый дорогой храм. Чтобы оглядеть его, надо закинуть голову назад: так некогда люди глядели на бога и на звезды. Высота этого храма 139 метров, и его венчает огромный купол из стекла. Ночью купол подает сигналы аэропланам, днем он наполняет гордостью сердца прохожих. Постройка этого храма обошлась круглым счетом в 16 000 000 долларов. 36 этажей. 12 беспрерывно снующих лифтов. На четыре стороны света смотрят четыре гигантских циферблата: они показывают Нью-Йорку время. Портал храма выше порталов всех храмов, он выше порталов парижской Богоматери или римского Петра. Внутри — толпы прислужников в затейливых мундирах, внутри — мрамор, бронза, старинные картины. Внутри цокают тысячи «ундервудов» и нежно поют ангелические арфы. Нечестивый европеец готов усомниться в праведности места: он думает, что это биржа или банк — на то он нечестивый европеец. Нет, это действительно храм, святыня нового культа, и посвящен он неутомимому апостолу — великому «Парамаунту», в миру именуемому Адольфом Цукором.

Поместителен храм, и множество служат в нем разных служб. Внизу малокровные девушки плачут над невзгодами двух возлюбленных; на двадцать четвертом этаже запыхавшиеся счетоводы складывают семизначные цифры; в тишине внутренних покоев стонут на койках легкие тени — это санаторий для измученных служащих; в самой покойной комнате, за царскими вратами, четыре дня в неделю напрягает свой редкостный ум мистер Адольф Цукор.

Как американец — он чтит воскресенье; как еврей — он чтит субботу, его отдых, следовательно, начинается с пятницы, три дня он отдыхает, четыре дня он трудится. Сегодня вторник, и Цукор на посту. Он просматривает ворох бумаг. В кабинете нет соглядатаев, и Цукор не улыбается, его губы искривлены, он не похож на свои портреты, отпечатанные в сотнях тысяч экземпляров. Если он улыбается на людях, это только признак хорошего сердца и деловой стойкости. Сейчас он очень угрюм. Братья Уорнер его перехитрили! Он не сразу уверовал в говорящие картины. Братья Уорнер первые оценили патент «Уэстерн-Электрик». Они сделали картину «Певец джаза». Они были накануне банкротства — маленькая фирма, Цукор мог бы ее купить, не задумываясь. Теперь «Братья Уорнер» начинают тягаться с «Парамаунтом». Они контролируют «Ферст Нашиональ». Они скупают театры. И все это после одной картины! Глупая, кстати, картина: еврейского мальчика прочат в раввины, он упирается, он, видите ли, хочет быть артистом...

На минуту Адольф Цукор забывается. Он не глядит больше на листы с цифрами — на эти трофеи «Братьев Уорнер». Он видит желтую свечу, хитрые завитушки талмуда и высохшую руку «реби».

Это не сценарий новой говорящей картины, это только воспоминания. Каждый человек в праве вспомнить свое детство, даже столь озабоченный человек, как мистер Цукор. Ведь он не родился под стеклянным куполом, он родился далеко отсюда, среди набожных евреев и гогочущих гусей, среди нищих полей и божественной мудрости, в маленьком венгерском городишке по имени Рисце. Тогда еще не было на свете магических ленточек из целлулоида, которые приносят людям надежду и доходы. Набожные евреи жили тогда по-старинке. Дядя маленького Адольфа г. Либерман занимал высокий пост — он был синагогальным старостой. Он хотел, чтобы его племянник рождал в людях надежду, — говоря иначе, он хотел из него сделать казенного раввина. Адольфа посадили за талмуд. Он изучал, какое мясо можно есть доброму еврею и когда можно ему жить с его законной женой. Он думал о грешных язычниках и о мстительном Иегове. Кругом шумели язычники-венгры; они пили сливяную водку, пели тоскливые песни и закалывали неповоротливых свиней. Адольф повторял слова, полные мудрости: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Грустно мерцала свеча. За окном гоготали гуси. Не было ни суеты, ни времени.

Это было давно, очень давно — лет сорок тому назад. У Адольфа Цукора тогда были пухлые щеки и мечтательные пейсы. Не стоит, однако, думать о прошлом, — Цукор для этого слишком занят. Когда он отдыхает, он тасует карты или ракетой отбрасывает мячик или играет в гольф. Сейчас он работает. Успех «Братьев Уорнер» временный. Им никогда не удастся справиться с «Парамаунтом». Итак, за дело! У нас в Англии: Лондон — «Плаца» и «Карльтон», Манчестер — «Рояль», Бирмингам — «Футурист» и «Скала»... Сэм Кац, наш представитель в Англии, сообщает, что мы можем купить 6 театров в предместьях Лондона. 14 000 мест...

Под стеклянным куполом, не останавливаясь, идет работа.

2

Биография Адольфа Цукора куда назидательней, нежели сценарий картины «Певец джаза». Не долго мальчик закручивал пейсы и слушал гогот гусей — он не был создан для отвлеченных раздумий. Больше чем все размышления о суетном ветре занимали его правила процентов и глобус. Реби ничего не понимал в учете векселей, и реби думал, что земля стоит на месте. В городке оказался учитель г. Розенберг. Он об'яснил Адольфу, что земля вертится. Тогда Адольф перестал изучать притчи талмуда. Он начал читать романы. Он читал об американских золотоискателях и о парижских трущобах. Г. Розенберг робко спросил:

— Может быть ты хочешь стать адвокатом?..

Мальчик поморщился — сколько зарабатывает какой-нибудь провинциальный стряпчий!.. Нет, он предпочитает делать деньги! Синагогальный староста, вздохнув, отдал мальчика в магазин: пусть учится торговать.

Когда Адольфу исполнилось шестнадцать лет, он решил уехать в Америку. Он недаром читал занимательные книжки: человеку с широкими плечами и с неумеренной фантазией нечего делать в Европе. Адольф привез в Нью-Йорк 25 долларов и хороший аппетит. Он работал подмастерьем в обойной мастерской. Потом он переменил драпировки на меха. Он стал скорняком. Он был находчив и трудолюбив. Не прошло и десяти лет, как он открыл свой магазин в Чикаго.

Первенство идеи оспаривается многими: и американцы и французы заверяют, что они изобрели кинематограф. Конечно, «Парамаунт» создан Адольфом Цукором, но можно признаться, что был и у него некий предтеча. Цукор в Чикаго торговал меховыми горжетками. Его двоюродный брат Макс Гольдштейн шлялся по улицам Нью-Йорка. Он вы-

просил у Цукора взаймы 3000 долларов. Он решил открыть «пассаж», в котором показывают детворе и зевакам движущиеся картинки. Цукор — человек, преисполненный семейного начала, а также смекалки, он дал Гольдштейну все три тысячи. Предприимчивый Гольдштейн быстро прогорел; вместо долларов, Цукор получил «пассаж» с какими-то глупыми развлечениями. Цукор не стал горевать. Он оставил меха и занялся картинками. Быстро расширил он дело. Он купил несколько других пассажей и «путешествующие вагоны», в которых показывали ротозеям горные водопады.

Пять часов утра. Проработав всю ночь, Цукор возвращается домой. Подземная дорога. Уныло колышутся тени, жестокие тени огромного города — официанты ночных ресторанов, рабочие, проститутки, не нашедшие клиентов, чернь, осужденная на вечное прозябание.

Цукор в такт другим уныло колышется. Вдруг на его лице проступает улыбка, глаза раскрываются, они становятся большими и безумными. Сосед испуганно меняет место. Но Цукору не до глупых попутчиков. Он пропустил свою остановку, он ничего не видит, ничего не помнит. Недаром он всегда говорил, что Адольф Цукор в душе не лавочник, но художник! Теперь на него сошло вдохновение.

— Я буду делать картины с самыми знаменитыми актерами...

Скажите скорее, кто самый знаменитый актер?..

Молчат тени. Грохочут безучастно колеса. Конечно та француженка!.. Как только ее зовут?.. Вспомнил — Сарра Бернар! Кто не знает этого имени?.. Даже синагогальный староста и тот наверное слыхал про Сарру Бернар. Будущее обеспечено! Теперь остановка за одним: надо достать доллары...

Это было давно — женщины тогда еще носили громоздкие корсеты, и социалисты тогда еще были благородными мечтателями. XIX век с водевилями и с каламбурами долго не хотел умирать. Днем он пугливо прятался, днем неприязненно жужжали сложные машины, на улицах оглушали его гудки автомобилей, новая жизнь самодовольно грубиянила. На заводе Форда уже копошилась знаменитая «лента». Укрощенная Ниагара стала выдавать киловатты и рабство. В Филадельфии строили мощные локомотивы для Канады и для Австралии; в Филадельфии, как и в других городах мира, люди уже жили впопыхах. Иногда они глядели на небо: там значились первые самолеты; чаще, однако, они глядели на землю: все трудней и трудней было раздобыть хлеб. Появились автобусы, участились самоубийства. Растерянно поясняли профессора своим слушателям, что такое тресты. В республике об'явилась добрая сотня «королей»: король нефти, король стали, король меди, король хлопка. Настала эра доподлинной демократии: токаря сравняли с чернорабочим — это было делом машины. Оскорбленные мечтатели швыряли бомбы — в буржуа, в полицейских, просто в прохожих. Фирма Эдисона, желая уничтожить фирму Вестингауза, предложила для казни преступников применять ток высокого напряжения; так, грубую веревку сменил электрический стул. Быстро росли гроссбухи, еще быстрее росло отчаянье.

Но вечером, покрываясь синеватым туманом, выползал на люди прошлый век. Над круглыми столами еще уютно горели лампы, еще женщины пробовали зачитываться сентиментальными романами, дети еще играли в домино и в бирюльки. Театры ставили пышные оперы, феерии, затейливые фарсы. В театры ходили не часто, как на званый вечер, жены украдкой пудрились, а мужья надевали особенно высокие воротнички. Прогуливаясь по фойе, зрители сочувственно оглядывали друг друга, как участники общего празднества. В антрактах ели шоколадные конфеты и говорили об идеях. Танцовали только на балах, танцовали старые танцы: мечтательный вальс или церемонную кадриль. Кутилы ходили в бары, где жеманные проститутки исполняли кек-вок. Обыкновенные люди, те к вечеру терялись: они не знали, что им делать с досугом? Привыкшие за день торопиться, они не могли просто мечтать, сидя в отцовском кресле. После рева машин, после треска ав-

тобусов, после счетов и свистков они не могли также ни читать, ни спорить.

— Может быть, мы пойдем к Смисам?..

— Нет, я устал.

— Сегодня в «Одеоне» дают новую пьесу Ибсена...

— Надоели эти тирады... И потом — переодеваться... А я так устал...

— Расскажи мне что-нибудь...

— Я устал... Ты понимаешь — я устал!..

Они сидят друг против друга — Дженни и Джек, Анна и Карл, Жан и Луиза, они сидят и молчат. Над ними еще горит уютная лампа, но нет в ее желтом свете ни радости, ни покоя. Они хотят одного — уйти от этой жизни, от цифр, от гаек, от клавиш машинки, от огромной суеты и от огромного одиночества. Они не читают, — в книжке столько страниц и читать книжку трудно: надо догадываться, вспоминать, придумывать — кто герой, почему улыбается героиня, где они живут, в каком городе, под какой лампой?.. Что же им делать с длинным вечером?.. Они сидят и молчат во всех городах Нового и Старого Света, несчастные каторжники с тремя свободными часами.

Это было давно. До нашей эры. Это было до кинематографа.

Адольф Цукор говорит Элю Лайчману:

— Если вы дадите мне 5000 долларов, вы хорошо заработаете. Это самое верное дело. У людей теперь нет развлечений, удобных и дешевых развлечений. Театр — как ручной станок или как лошадь. Мы должны поставить дело на новый лад! Вы думаете, что заработать можно только на сахаре или на шелке? Конечно, люди хотят вкусно есть, хорошо одеваться. Но люди не звери. Я говорю это, как венгр и как еврей, как артист и как философ. Люди хотят также мечтать. Им необходимо видеть красивые сны. Что ж, мы будем изготовлять сны, сны сериями, забавные сны по дешевке. Вы дадите мне пять тысяч, через несколько лет вы получите пятьсот. Поглядите на людей — они хотят иллюзий. На этом можно неслыханно заработать...

Лайчман слушает Цукора. Лайчман ничего не понимает ни в философии, ни в театрах, ни в иллюзиях, но Лайчман верит Цукору: у Цукора хороший нюх. Лайчман дает Цукору 5000 долларов.

Цукор не подвел Лайчмана, он только несколько ошибся в цифре; он обещал Лайчману 500 000. Прошло шесть лет — у Лайчмана лежали акции первого предприятия Цукора, которые обошлись ему в 5000. Он справился — каков сегодня курс Цукора? По привычке он думал «Цукора», а не «Парамаунта». Услышав ответ, он усмехнулся: в его руках были 800 000 долларов. Чорт побери, этот Цукор не прогадал! Его «сны» оказались куда выгодней и нефти, и золота, и маргарина!

«Первый транспорт американских солдат прибыл во Францию»!.. Мальчики задорно помахивают газетными листами. Где-то за океаном уродливые танки топчут проволоку и мясо. На койках лазаретов корчатся люди: без лиц, — их обожгли; без рук, — их обкарнали; без легких, — их отравили; это освежеванные туши, это человечина на вес. Прежде: «безумные европейцы!» Завтра среди них окажутся американцы. Ничего не поделаешь — мы отстаиваем наши великие идеалы!..

Президент Вильсон произносит новую речь о свободе малых народностей и о страданьях невинных женщин, потопленных, как известно, варварами. На двадцатом этаже, в Чикаго или в Филадельфии, американская женщина прячет заплаканные глаза: она вчера проводила своего Джона. Биржа, однако, хранит спокойствие, биржа верит в заказы, в доходы, в победу, в цивилизацию. Верит биржа, верит нация, верит мир.

Адольф Цукор сейчас не думает о победе. Он мрачен. Хорошо стопроцентным янки, но у Цукора две родины, не считая третьей, обетованной. До последнего дня он посылал своему дядюшке, синагогальному старосте, добротные американские доллары для родственников и для единоверцев. Теперь его семью разрезали на два ломтя: одни — сражаются за двуединую империю, другие — за 14 пунктов Вильсона. Цукор — глава семьи. Он всегда председатель-

ствует на семейном совете, там решаются дела Цукоров, Кауфманов, Конов. Дядя Кауфман — архитектор, он строит театры, дядя Кон — работает по прокатному делу, все они связаны с Адольфом Цукором кровью и акциями «Парамаунта».

Победа?.. Конечно, Цукор — американский патриот, он приехал сюда нищим, теперь он миллионер, в нем живо чувство признательности. Но зачем убивать людей... Кому она нужна, эта победа?.. Разве без победы люди мало зарабатывали?.. Невольно Цукор вспоминает докучные слова о ветре, о том ветре, который возвращается на свои круги.

Да, война — большое горе, это все понимают. Но война также доходное предприятие не только для владельцев оружейных заводов, война доходное предприятие для всех толковых людей. Четыре миллиона солдат — чем развлечь их, если не забавными картинками?.. Экран уже не спорное новшество, не балаган для прислуги и для ребят, это — общественная необходимость, как почта или как папиросы. На корабли, вместе с пушками и с консервами, грузят групкие целлулоидные ленты. Посмотрев на невинную улыбку любимицы Цукора, очаровательной Мэри, солдаты с легким сердцем умирают. Они умирают, разумеется, за великие идеалы.

Те, что остались дома, ждут победы. Трудно, однако, ожиданием заполнить досуги. Газетные листы, как всегда, пахнут печатной краской, но встревоженное воображение различает другие запахи: запах крови, мертвечины, кала, — это пахнет война. Тем, что остались дома, не по себе. Днем они богатеют, но вечером их берет страх: как в окопы, залезают они в темные залы. На полотне — веселая завлекательная жизнь, без сводок генерального штаба, без хруста газет, без прислушивания — кажется почтальон!

Цукор не хочет ставить военные картины: людям нужна иллюзия. Зачем показывать войну, когда война под боком? «Метро-Голдвин» на батальных картинах обязательно прогадает. У этого Голдвина, или, говоря попросту, Гольдфиша, плохой нюх! Цукор будет делать военные картины, но не теперь, — он будет их делать после, когда война закончится.

Соединенные Штаты воюют с Германией. Цукор воюет с «Ферст Нашиональ». Он воюет также с актерами: актеры, видите ли, потеряли голову, им мало высоких окладов, они хотят сами делать картины. Им помогает родня Вильсона, хитрый Уильям Мак Эду. Если актеры будут делать картины, что же будет делать Адольф Цукор?.. Нет, Цукор не уступит! Он уже отвоевал у «Юнайтед Артистс» Гриффита. Главное — как можно больше театров! Скупить у мелких владельцев. Не только изготовлять картины — показывать их. Маркус Лоу гордится длиной заснятой пленки, Адольф Цукор — количеством мест в театрах. Он перехитрит всех: и Лоу, и актеров, и публику!

Война так война! Цукор сразу поседел. У него волосы библейского старца, но сердце юного Давида. Под окном бьют барабаны: это солдаты идут на смерть. Тонкие губы Цукора сжаты: ни слова больше! Цукор идет к победе.

3

Когда Рокфеллер узнал, что против него выступило правительство Соединенных Штатов, он пренебрежительно усмехнулся: он знал, что нефть принадлежит ему, и он не страшился никаких законов. Пример обязывает. Жизнь миллионов — вот Плутарх деловой Америки! Чем Цукор хуже Рокфеллера?.. Если нефть оживляет моторы, кино оживляет сердца. «Парамаунту» не страшны параграфы крючкотворцев!

Цукор снисходителен к чужим слабостям: закон против трестов необходим для успокоения малодушных. Этот закон, может быть, следует опубликовывать, но его отнюдь не следует применять. Нельзя ограничить рост треста, как нельзя ограничить вдохновение.

Противники «Парамаунта» перешли в атаку. Они обвиняют Цукора в незаконных происках — «Парамаунт» хочет об'единить всю киноиндустрию: производство и эксплоатацию. В Соединенных Штатах ему принадлежат 368 театров. В некоторых крупных центрах, как то в

Филадельфии, в Делласе, в Джексоне, «Парамаунт» скупил все театры без исключения. Цукор заставляет владельцев брать картины сериями без права выбора. Он требует, чтобы в театрах показывали только его картины. Он борется с другими американскими фирмами за границей. Да, у этого Цукора слишком много честолюбия, и у него недостаточно патриотических чувств!..

Правительство Соединенных Штатов встревожено. Оно требует от «Парамаунта» письменного обязательства воздержаться от дальнейшей скупки театров, от проката картин сериями, наконец от попыток ограничить экспорт американских картин. Правительство Соединенных Штатов блюдет закон против трестов.

Адольф Цукор любезно улыбается. Не колеблясь, расписывается он: «Адольф Цукор». Надо уважать мелкие формальности! Подписав обязательство, Цукор переходит к другим, более важным вопросам. Мы покупаем 4 театра в Пенсильвании. Инструкции представителям «Парамаунта»: мы согласны отпускать картины владельцам театров только при условии, что они будут брать у нас 40 процентов еженедельной программы. Контракт на 5 лет. Или: мы получаем половину выручки, владельцы обязуются взять в 6 месяцев 12 картин по нашему выбору. Европа: соглашение с «Уфой» — план деятельности «Паруфамета». В Париже — покупаем «Водевиль». В Австралии... В Индии... В Китае... Повсюду только наши картины. Прекрасные картины! Остерегайтесь подделок! На каждой картине — горделивая справка: «Это картина Парамаунта»!

В течение наступающего года мы потратим на продукцию больших картин, не считая хроники и коротких комедий, 32 000 000 долларов. У нас 75 процентов всех общепризнанных «звезд» экрана. Эти «звезды» блистают над двумя полушариями, они сводят с ума захолустных фантазеров. Фантазеры пишут письма «звездам»: они пишут о великом искусстве и о своем одиночестве, они просят любви или автографов. У нас имеется особый департамент — корреспонденция с поклонниками «звезд»: вселять бодрость и признательность. Наши мастерские занимают 10 гектаров. Еженедельно свыше 120 000 000 людей смотрят наши картины, — белые, желтые, черные люди, клерки, министры, кули, человечество.

Мистер Цукор подписал обязательство. Он больше об этом не вспоминает. Улыбаясь, говорит он:

— Я работаю согласно коммерческим принципам. Вы удивляетесь, что мне все удается?.. Верьте, я сам этому удивляюсь... Но ничего не поделаешь — удача...

Щелкают аппараты — у мистера Цукора на редкость фотогеничная улыбка.

4

Одни люди должны думать, другие работать: так создается государство. Зачем думать какому-нибудь рабочему из Детройта! За него думают другие. Он работает, и он счастлив. В воскресенье он едет за город; автомобиль придуман другими, теми, что думают. Не он строил автомобиль. Он только оттаскивал железные полосы. Другие начертили на кальке прямые дороги, другие рассказали ему, что шорох деревьев дивен, как молитва, что чистый воздух полезен для легких и что бензин в Америке особенно дешев, ибо Америка — самое великое государство. Он слушает шорох деревьев, он жжет бензин и он ни о чем не думает.

Вечером он идет в кино: быстро вертится лента, люди стреляют, бегают по крышам небоскребов, целуются, умирают. Когда влюбленные находят пастора — это хорошо, а когда злодей крадет бриллиант — это худо. Так думает мистер Цукор или мистер Ласки. Рабочий в кино не думает, он жует резинку, и он смотрит на полотно — мелькают губы, револьверы, дома, манишки, мелькает чужая жизнь, жизнь мистера Цукора или мистера Ласки. Он слышит, как раздается таинственный голос: «Гарри, я тебе верна», «Джим, стреляй скорее». Он не знаком ни с красавцем Гарри, ни с отважным Джимом. Это все те же мистер Цукор или мистер Ласки; как чревовещатели, они басят и чирикают в темноте огромного зала. Он смотрит, он

слушает и он не думает: он исправный рабочий и стопроцентный американец

Но когда у рабочего нет работы, он начинает думать. Это опасно и для него, и для государства. Если думает мистер Ианг, это пристойно и полезно: ведь он думает об об'единении электрической промышленности. Мистер Истман думает о том, как бы раздавить немцев: нет на свете пленки лучше, нежели пленка Кодака! Мистер Цукор думает о кинотеатрах: в мире 62 000 кинотеатров и во всех 62 000 должны показывать только картины «Парамаунта». Один из подчиненных мистера Цукора, мистер Мендес, думает о том, кто именно должен крикнуть: «Джим, стреляй скорее!..» Все они думают о самом важном: о величии Соединенных Штатов и о дивидендах. Но о чем может думать какой-нибудь безработный, хотя бы этот голубоглазый Джон Фильд с широкими плечами и с преглупой улыбкой?..

Мистер Гувер говорил о благосостоянии, и Джон Фильд отдал свой голос мистеру Гуверу: ведь мистер Гувер думал за Джона Фильда. Джону обещали благосостояние, вместо этого ему выдали карточку безработного. Теперь у него свободное время и пустой желудок. Он поневоле думает. Вместе с товарищами он кричит: «Долой!..» Он еще не знает в точности, кого он ругает: ничего не поделаешь — голубоглазый Джон не привык думать. Но он уже знает, что его надули. Он орет: «Долой!..»

Из-за угла выскакивают полицейские. Полицейские работают, следовательно они не думают. Ловко выхватывают они из толпы то одного, то другого демонстранта, и ловко бьют они крикунов добротными резиновыми палками. Это благодушные и статные полицейские — не раз Джон восторгался ими на экране. Один, голубоглазый и широкоплечий, хватает Джона. Возле раскрытого окна — аппарат: «крутите скорее» — это для хроники «Парамаунта» — двадцать секунд — после спуска нового крейсера и до состязания конькобежцев.

Голубоглазый полицейский работал слишком усердно, он ошибся на несколько секунд или на несколько сантиметров: Джона Фильда отвезли в лазарет. Джон Фильд лежит и тихо стонет. Потом он перестает стонать, он начинает хрипеть. Хорошо бы это заснять — сколько оттенков звука!.. Но этого никто не заснимет — Джон Фильд — не храбрый Джим и не счастливый Гарри.

«Парамаунт» работает на славу: три часа спустя хроника готова. Вечером ее показывают в театрах. Игрушечные полицейские забавно дубасят трусливых крикунов. Публика хохочет. Крейсеры, по правде сказать, всем надоели. Другое дело — дубинки веселых полицейских. Хохочут солидные мистеры с акциями и с убежденьями, хохочут скромные клерки, хохочут широкоплечие голубоглазые рабочие: ведь в кино никто не думает, в кино только смотрят и отдыхают.

Адольф Цукор сидит в своем кабинете. Кипа газет. «Демонстрация безработных... Два полицейских легко контужены... Один из манифестантов умер в госпитале... Безработным отпускают в кредит яблоки...»

Адольф Цукор смотрит в окно: перед ним спинной мозг Америки — великий Бродвей. Люди, очень много людей. Одни спешат в «Парамаунт» — на сенсационную картину «Парад любви», другие продают отпущенные в кредит яблоки. Это куда умнее, нежели все бредни европейских социалистов. Торговля с лотка — вот университет гениев! Может быть, на том углу стоит новый Цукор... Кто выдумал равенство? Тупицы и лентяи. Талантливых людей ничто не остановит. Хорошие плечи, четыре правила арифметики, несколько лет борьбы. Почему же ворчат эти безработные? У них яблоки и надежда. Девять умрут, десятый станет Рокфеллером. Взгляните на любую картину «Парамаунта»: бодрый клерк становится миллионером, швея выходит замуж за лорда, бродяга находит слиток золота.

Горемыка в Кошицах или в Кишиневе, набрав несколько медяшек, идет в кино. Там он смотрит на чужую удачу. Его сердце ширится, глаза темнеют. Еще ничего не потеряно! Он может встретить богатую американку. Он может изобрести вечные спички. Он мо-

жет задержать важного преступника и получить генеральский чин. Экран ограждает его от петли или от бомбы. Адольф Цукор нашел прививку против отчаянья. Он говорит: старайтесь, и вы будете как я! С утра и до ночи я корпел над вонючими мехами. Теперь я богат и славен, теперь больше нет Адольфа Цукора, вместо него — «Парамаунт»!

Посмотрите на моих конкурентов — они тоже не сразу повстречали удачу. Маркус Лоу был сыном лакея. Его карьера началась достаточно скромно: он торговал на улицах газетами. Даже негры презрительно цыкали: «пст...» Двадцать лет спустя перед ним заискивающе сюсюкали директора банков, сенаторы и министры. У него было 400 кинотеатров и своя фабрика ковров; все 400 театров были украшены коврами, сделанными на собственной фабрике, коврами с его, Маркуса Лоу, инициалами. У него были свой остров, свой пляж, свой гольф, своя гавань и свои Виктории Регии. Он нюхал в оранжерее редкие цветы, и он лениво подсчитывал нули балансов. Только смерть, непочтительная смерть осмелилась его потревожить. После него остались ковры с вензелями и наследство в 25 000 000 долларов.

Председатель «Юниверсела» Карл Леммле торговал когда-то подтяжками; всесильный Уильям Фокс в стоптанных ботинках шлялся по улицам нью-йоркского гетто. А сподвижник Цукора Джесси Ласки, чем только он не промышлял?.. Он разносил газеты, он сидел за конторкой, он рыскал по участкам, выискивая для «Почты Сан-Франциско» сенсационные убийства, он выступал и в цирке, и в мюзик-холле, он даже попробовал стать золотоискателем. Золота он не нашел, зато он начал изготовлять прозрачные ленты с дырочками и с забавными картинками. Это куда лучше, нежели искать на Аляске таинственные крупицы. Джесси Ласки теперь вице-король «Парамаунта».

Адольф Цукор презирает неудачников. Если человек нищ в двадцать лет — он должен ходить в дешевое кино и верить в будущее. Если человек нищ в сорок — о нем не стоит разговаривать: это брак, единица для статистики. Оператор не мешкает, торопитесь — в первой части можно напасть на дочку директора или на выгодный патент, в пятой остается только умиротворенно поцеловаться!..

Почему же шумят эти безработные? Против чего протестуют они? Против жизни? Против смерти? Они должны торговать яблоками и ходить в кино. Вместо этого они затевают демонстрации. Цукор презирает политику. Стоит ли говорить речи, когда можно делать доллары? Для политических тонкостей Цукор держит Хейса. Этот Хейс благородно изъясняется. У Цукора и без того уйма дел. Он конечно голосует за республиканцев: республиканцы отстаивают «сухой режим», а это Цукору наруку. Стоит только открыть пивные, как американцы начнут гадать: куда бы пойти сегодня вечером?.. Теперь у американцев нет выбора, и все американцы идут в кино. Если Цукор голосует за республиканцев, это вопрос баланса. Но безработные, те и впрямь заворожены дурацкой политикой. До хрипоты расхваливают они свои идеи, как будто идеи — это безопасные бритвы или самопишущие перья. Пусть едут в Европу! В Европе слишком мало долларов и слишком много времени. Вот на родине Цукора какие-то сумасброды вздумали устроить революцию. Они объявили «власть бедных». Какой вздор!.. Так, пожалуй, преступники начнут арестовывать полицейских. Если разорить богатых, не будет ни красоты, ни кино.

Цукор добряк, он готов купить хоть воз яблок. Однако оставим филантропию! У Цукора радикальное средство: он изготовляет надежду. Если доходы «Парамаунта» за истекший год превысили 17 000 000 долларов, в этом надлежит видеть только мудрость всевышнего — он воздает сторицей.

Цукор просматривает докладную записку: «на посещаемости театров пагубно отражаются увлечение танцами, деятельность религиозных обществ, а также рост безработицы...» С танцами надо бороться. Мы против безнравственных забав! Что касается конкуренции религиозных обществ, то здесь легко достичь соглашения — почему бы не устроить в церквах кино?.. Надо пока-

зать, как нечестивцы грешат, — это убережет от греха баптистов и методистов. Пусть позаботится об этом мистер Хейс... А безработица когда-нибудь да кончится. Из тех, что продают на Бродвее яблоки, одни своевременно окочурятся, другие разбогатеют, а третьи — и третьих миллионы — потянутся снова к заводским воротам: днем — конвейер, вечером — кино. Таков закон бытия.

По аллее прыгают наивные трясогузки, пахнут летом и счастьем тяжелые левкои, жужжит о чем-то своем, домашнем толстяк-шмель. Тихо-тихо. Кажется, нет на свете ни Бродвея, ни тридцатишестиэтажного храма, ни говорящих картин, ни акций. По аллее, пугая трясогузок, идет Адольф Цукор. Он у себя дома. Отсюда всего сорок минут до Нью-Йорка. Цукор любит буколику: «я — венгерец, а все венгерцы в душе мужики...» Он разводит цветы и он купается в прозрачной воде бассейна. Вечером он слушает музыку — нет наслаждения выше! Звуки никогда не останавливаются, они кружатся, кружатся, как ветер, но звуки — не унылые проповеди Экклезиаста, звуки — жизнь; они бывают мажорными, как удача, и грустными, как подступающая старость, как происки братьев Уорнер, как судьба бедняги Фокса. Цукор слушает музыку. Потом он играет в бридж. Потом он спит, он спит и видит свои собственные сны, не те, что делают на его фабрике, но другие — диковинные и обыкновенные, сны, которые снятся всем людям: поле, гуси, детство...

«Братья Уорнер», несмотря на соглашение, стараются подкопаться под «Парамаунт». Они переманивают актеров. Вот только сегодня Цукор узнал, что две его «звезды» — Руфь Чаттер и Вильям Поуел — подписали с «Уорнер». Что ж, Цукор обойдется без них. На свете сколько угодно «звезд», надо только уметь их открывать: это секрет производства. Завтра у «Парамаунта» будет дюжина новых «звезд». Куда труднее купить хороший театр. «Братья Уорнер» прогорят: у них мало театров. Цукор раздавит их. В два счета. Как эту траву...

Нога Цукора в'едается в зелень. Его лицо сейчас способно напугать не одних трясогузок. Хотя Цукор и не может похвастаться атлетическим сложением, нрав у него боевой. Как породистый терьер, он готов кинуться в драку. В молодости он занимался боксом, об этом свидетельствует разодранное ухо. Теперь он джентльмен, ему приходится выбирать другие забавы. Как спортсмен — он увлекается гольфом, как человек деловой — он готовится дать «нокаут» этим зазнавшимся братьям Уорнер.

Цукор отнюдь не задира. Маркус Лоу разошелся с ним, он не стал вредить Маркусу — на свете много места! Он не забыл веселых трапез, когда Маркус смешил его, Цукора, и дядю Цукора — Кона. Маркус был большим оригиналом. Купив новую шляпу, он прежде всего на нее садился, чтобы она не выглядела новой. У него были забавные усы и ум дипломата. Маркус Лоу шел, не отставая от Цукора. Тогда Цукор решил породниться с Маркусом. Если итальянский король женит своего сына на дочке бельгийского короля, то почему бы Адольфу Цукору не выдать своей дочки за сына Маркуса Лоу... На свадьбе пили за процветание искусства и в честь Цукоров и Лоу.

Погуляв по аллее, Цукор идет в покои. У прежних королей были домашние часовни. У Цукора домашнее кино. Он пригласил нескольких друзей посмотреть новую картину. Вместо шмеля в темноте жужжит голос одной из самых дорогих «звезд»: «Гарри, я тебе верна...» «Звезда» при этом переодевается: улыбка и две секунды — колено. Гости одобрительно гудят. Один из них, после надлежащих комплиментов, говорит Цукору:

— Я думаю, что такая картина должна куда больше понравиться публике, нежели большевистские штучки Эйзенштейна...

«Парамаунт» подписал договор с Эйзенштейном, и Цукор загадочно усмехается:

— Кино требует разнообразия. Если в картине имеется нечто сексуальное — хорошо. Нет этого — тоже хорошо. Конечно, каждому приятно увидеть на экране хорошенькую женщину. Это часть и, может быть, самая важная на-

шей жизни. Мы стараемся ее показать. Вот вы только что видели нашу картину... Но это еще не вся жизнь. Вспомните «Рождение Нации» или «Большой парад» — какой успех! А Леммле, разве мало он заработал на картине Ремарка?.. Конечно, Эйзенштейн должен образумиться. Холливуд — не Москва. Никакой тенденции я не допущу. Между нами говоря, я боюсь, что ничего из этого не выйдет. Он невероятно упрям. Это игра. Иногда мы и проигрываем. На мелочах. Вот на таком Эйзенштейне. Но в основе моя линия правильная: столько-то пола, столько-то других чувств. Главное — сообразоваться с характером публики. После войны Америка требовала — счастливого конца. А немцев побили, и немцы занялись самоучительством. Они не могли выносить никакого счастья, даже на полотне. Конечно, Германия — клиент второго разряда, но мы сделали несколько картин с печальным исходом — мы не хотели потерять даже скромного клиента. В Нью-Йорке в нашем театре висят старинные картины — после небоскребов приятно взглянуть на какую-нибудь маркизу, а в Париже у нас раздают посетителям шоколад с начинкой. Да, чтобы управлять «Парамаунтом», надо быть тонким психологом...

Приглашенные подобострастно вздыхают. Потом они выходят на террасу и долго смотрят на Гудсон, широкий и величественный, на Гудсон, который омывает тюрьму Синг-Синг и буколическое поместье Адольфа Цукора.

Служащие «Парамаунта» зовут своего хозяина «Папа-Цукор». Он не только глава Цукоров, Кауфманов, Конов, он также отец своих служащих. Он дает наградные, и он наказывает. Он суров, и он добродушен. Если какая-нибудь газетка, не получившая обещанных об'явлений, начинает писать о «хищнической политике Парамаунта», тотчас же появляется умилительная справка: маленький грум и старый бухгалтер — все зовут Цукора «папой». Нет, это не хищник, не злой коршун, каким хотят представить его продажные перья, — это голубь, это трогательная трясогузка!

Цукор едет в Европу. У него там немало дел: наладить распространение картин, проверить представителей, выудить хороших режиссеров, наконец ознакомиться со вкусами публики. Но не только ради этого едет в Европу Цукор. Ни богатство, ни почести не заставили его позабыть гоготавших вокруг синагоги гусей. Он приезжает в Рисце, там он молится и благодетельствует. Все евреи Рисце боготворят господина Цукора: он богаче Ротшильда, он умнее Маймонида, он щедрее щедрого царя Соломона. Многое переменилось в жизни Адольфа Цукора, но ничего не переменилось в жизни крохотного городишки: так же гогочут гуси, так же поют венгры тоскливые песни, так же накручивают на палец пейсы тщедушные отроки, повторяя пыльные слова талмуда. Здесь нет времени, и Цукор здесь ощущает всю тщету своей шумной жизни: как ветер он кружился, спешил на запад и на восток и вот вернулся он на свои круги.

Потом Цукор уезжает, оставив после себя зеленые ассигнации и умиленные вздохи. Он уезжает в Америку делать деньги. В Рисце тихо — гуси и талмуд. Вдруг событие: в Рисце приехал театр. Там будут показывать картины с красивыми женщинами и с галантными разбойниками. Проходя мимо пестрых афиш, старые евреи в негодовании отвертываются: на афишах красавица с голыми плечами, не смущаясь, целует усатого офицера. На афише написано: «это картина «Парамаунта».

Маленький Мойша, выучив все слова талмуда и завив на славу оба пейса, говорит отцу:

—Я хочу пойти в театр.

Отец Мойши отплевывается:

— Ты с ума сошел. Это не для евреев. Это для грязных гоев. Еврей не должен смотреть на такие низости. Я хотел бы плюнуть в лицо негодяю, который делает эти бесстыдные картинки!..

Лукаво улыбаясь, Мойша возражает:

— Фишман сказал мне, что эти картины делает господин Цукор.

Здесь отец Мойши теряет самообладание. Он произносит несколько недозволенных слов. Он называет Фишмана свиньей и даже самой гнусной частью свиньи.

— Господин Цукор никогда не может делать таких бесстыдных картинок. Господин Цукор живет во дворце, и он делает деньги.

Дела плохи, ох, как плохи! Адольф Цукор вздыхает. Служащие пугливо озираются: «папа» сегодня в плохом настроении... Что же приключилось? Одолели ли «Парамаунт» «Братья Уорнер»? Или, может быть, выскочил «Фокс-фильм» с широкой пленкой? Нет, первые шесть месяцев дали на 87 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Говорящие картины сначала обеспокоили Цукора. Он гордился своими «звездами» — и вот многие «звезды» оказались немыми — их голос никуда не годился, пришлось рвать договоры и выплачивать неустойки. Фокс и Уорнер справились быстрее. Но теперь и «Парамаунт» набрал достаточно актеров с самыми подходящими голосами. Один Шевалье чего стоит — какая сенсационная картина этот «Парад любви»!.. И все же...

Цукор не довольствуется дневной выручкой, он смотрит вперед, и впереди темь. Говорящие картины были новинкой, публику проняло любопытство — как это тени на полотне разговаривают?.. Мы заработали десять, а кто и двадцать миллионов. Но что будет завтра?.. При немых картинах Америка внутренним рынком покрывала расходы. Экспорт — чистая прибыль. Теперь стоимость картин повысилась, а экспорт... Здесь-то и загвоздка! Заголовки картин «Парамаунта» переводились на 37 языков. Эти картины шли в Болгарии и в Перу, в Индии и в Лапландии — их понимали все.

Когда-то маленький Адольф с любопытством слушал рассказ старого реби; реби говорил не о мясе парнокопытных животных, но о событии и впрямь занятном; люди строили башню, высокую башню, как небоскреб «Парамаунта», и господь разобиделся, люди стали говорить все по разному, кто по-венгерски, кто по-немецки, кто по-еврейски, никто друг друга не понимал. Почему бы всем людям не говорить по-английски? Это очень легко. Адольф, приехав в Нью-Йорк, сразу научился. Акцент — ерунда. Но они держатся за свои 37 языков. В Рисце никто не понимает ни слова по-английски. «Парамаунт» делает прекрасные картины. Актеры, разумеется, говорят по-английски. Но их разговоров не поймут ни в Аргентине, ни в Германии, ни в Париже. Вот в Сан-Паоло муниципалитет штрафует владельцев театров, которые показывают картины на английском языке!..

Тогда знакомая улыбка проясняет лицо Цукора: его снова посетила верная муза. Он нашел выход — он будет делать одни и те же картины на всех языках мира: на английском и на венгерском, на испанском и на датском. Конечно, скептики скажут, что это безумная затея, что он никогда не покроет расходов. Пусть — не раз он доказывал, что для Цукора нет препятствий. Только скорее! Пока не перехватят его идеи «Уорнер» или «Метео». Надо торопиться! Ни минуты отдыха! Оператор крутит. Шведские, румынские, португальские слова! Башня будет достроена. Ветер несется на юг. Ветер несется на север. Ветер кружится, кружится. А потом? Потом он вернется на свои круги. Но об этом не стоит думать — это уже не кино, а смерть...

II. Билль-скипетродержец

1

Осенью 1921 года все пресвитерианцы, баптисты и методисты Соединенных Штатов были немало возмущены: зачем Эдисон придумал эти движущиеся картинки?.. Кино не только развратные происшествия на полотне, это ежедневные скандалы в Лос-Анжелесе, оргии, кутежи, растление малолетних, свальный грех, богохульство!

«Общество молодых христиан» предостерегает своих членов от посещения кинотеатров. «Лига мужчин, которые любят только одну женщину», выносит гневные резолюции. «Клуб женщин-матерей» требует от правительства решительных мер.

Газеты каждый день сообщают о новых скандалах: актер Уильямс преследуется за двоеженство! Овен Мур, первый муж Мери Пикфорд, обвиняет Дугласа в неблаговидных поступках! Фатти виновен в исчезновении Виржинии

Рапп! Актеры пьянствуют! Обнаружены 300 бутылок шампанского! Бесстыдные танцы! Издевательство над добрыми нравами! Что, например, делал вчера режиссер Х. с мисс В?..

Адольф Цукор недаром прожил свыше тридцати лет в Америке. Он знает— здесь нельзя даже выпить рюмку, не завесив перед этим окон. Кино у всех на виду, это — стеклянный павильон и пожива репортерам. Трудно превратить актеров в квекеров... Если в Будапеште покажется человек, одетый иначе, нежели все, прохожие улыбнутся или почтительно посторонятся: кто это — иностранец, чудак, цыган?.. Стоит здесь осенью надеть соломенную шляпу, как мальчишки начнут улюлюкать, они собьют шляпу с головы: теперь, сударь, не лето!.. Да, с американцами не пошутишь! Где же найти покров добродетели, благословение церкви, симпатию Белого Дома?..

В средние века евреям жилось несладко. Но умные евреи пробивались: они находили влиятельных защитников. Какой-нибудь важный рыцарь об'являл во всеуслышание: «это мой жид!» И его еврея никто не смел тронуть. Конечно, еврей выдавал благородному рыцарю достаточное количество золотых дукатов. Кино теперь травят, точь-в-точь как травили некогда прадедов Цукора. Выход один — найти покладистого рыцаря...

Цукор вспоминает: маленький человечек с оттопыренными ушами... Это было года два тому назад. Завтрак в «Клериджсе»... Салон В... Маленького человека привел Пети-Джон... Его зовут Вилль Хейс... Теперь он министр у Гардинга... Это очень влиятельная особа... Он тогда пил сельтерскую и, говоря, взвешивал каждое слово... Сейчас же видно — дипломат... Кино его интересует: он настаивал на продукции политических картин... Это то, что нам нужно... А за дукатами дело не станет!..

Вилль Хейс честно поработал на мистера Гардинга. Он провел 62 ночи сразу в спальном вагоне. Каждый день он произносил несколько речей, не считая многих притчей и блистательных анекдотов. Гардинг был избран в президенты, а Вилль Хейс назначен министром почт.

Во время предвыборной кампании Хейс не раз прибегал к кино: ничего не поделаешь, люди — дети, им нужны зрелища. Он приводил к Гардингу операторов:

— Вы должны показываться на экране как можно чаще...

Мистер Гардинг не возражал, он любил позировать перед об'ективом, он улыбался и многозначительно оглядывал воображаемые Штаты.

Хейс понял, что кино — не забава. Конечно, каждый гражданин голосует, и он думает при этом, что он голосует за того, за кого он хочет. Мы, однако, знаем, что он голосует за того, за кого мы хотим. Это святая святых демократии. Если бы рабочие голосовали за рабочих, наша страна превратилась бы в дикую Московию. Прежде у нас были газеты. Теперь у нас радио и кино. По радио можно уговаривать — это просто и понятно каждому: речи, проповеди, притчи. Овладеть экраном куда труднее: здесь люди ищут отдыха, поэзии, небылицы. В темных залах они как бы спят, им снятся прекрасные сны. Мы должны заразить их нашей поэзией, поэзией доллара и идеала, поэзией борьбы за удачу — сильные повелевают, слабые работают. Рабство противоречит нравственному началу: это кнут и проклятья. Надо, чтобы люди трудились со слезами умиления, с улыбкой восторга. Легко продиктовать человеку его день: стой у станка, стучи на машинке, ввинчивай винты, складывай цифры! Но этого мало: мы должны продиктовать ему сны — пусть даже во сне он будет сознательным гражданином Соединенных Штатов.

Хитрый Уильям Фокс хотел переманить к себе Хейса: он предложил ему 75 000 долларов, Хейс отказался. Конечно «Фокс-Фильм-Корпорешен» — солидная фирма, но и Вилль Хейс не какой-нибудь стряпчий.

Нет, чтобы заполучить Хейса, нужно об'единиться заклятым врагам: «Парамаунту» и «Фоксу», «Митро» и «Юнайтед». Время не терпит: газеты богатеют на скандалах в Лос-Анжелесе, методи-

сты и баптисты шлют в Вашингтон пламенные протесты.

Они собрались в роскошном кабинете ресторана. Никто, впрочем, не заглянул в меню. Они даже позабыли свои старые счеты. Они глядели друг на друга нежно и растерянно. Необходим спаситель, путеводная звезда, не звезда экрана, нет, — звезда Вифлеема, муж, который даст им, погрязшим в грехе и в ничтожестве, новый завет!

Они грустно жуют рыбу: Цукор и Фокс, Голдвин и Сельник, Кон и Эбрехем, Лемле и Аткинсон, громкие имена, миллионы балансов, бедные заблудшие овцы.

Кого же позвать? Кто-то предлагает — Гувера. В ответ раздается неодобрительный шопот: Гувер слишком богат и независим, Гувер не пойдет, а если и пойдет, он не даст нам пикнуть, Гувер честолюбив, он мечтает о другом — он метит в президенты...

Все знают, кого именно надо призвать, все, однако, молчат. Фокс помнит неудачный исход переговоров. Как признаться, что он хотел перебить такую «звезду»?.. Цукор хочет быть дипломатом — подождем до десерта.

Наконец заветное имя названо. Все сразу приободрились. Хейса! Разумеется, Хейса! Только его! Он выручил Гардинга! Он выручит кино! Он в Белом Доме свой человек! Он знает на память все телефоны Вашингтона! Он может заговорить даже глухого! Он потомственный пресвитерианец! Хейса! Скорее Хейса!..

После восторженных вздохов мистеры переходят к делу. Надо составить грамоту: американское кино просит Вилля Хейса воссесть на престол.

Лист бумаги испещрен помарками: нелегко дается этим выходцам из скептической Европы благородный стиль. Цукор читает:

— «Мы, нижеподписавшиеся производители и прокатчики, учитывая необходимость достичь наиболее высокого уровня продукции, дабы она вполне соответствовала приличествующему ей достоинству...»

Здесь кто-то из присутствующих громко вздыхает. Может быть, вспомнил он веселый обед у бедняги Фатти?..

«... пришли к убеждению, что наша индустрия нуждается в созидательном наблюдении...»

Браво! Это здорово закручено! Это сразу заткнет рот всем моралистам: сами, мол, пришли к убеждению...

«... полагаем, что Вы обладаете необходимыми качествами, и сочтем за великую честь, если Вы, приняв наше предложение, станете во главе об'единения производителей и прокатчиков»...

Цукор делает паузу, его голос становится особенно патетичным:

«В случае согласия, мы будем Вам уплачивать ежегодно 100 000 долларов в течение трех лет...»

Эта фраза, несмотря на ее лаконизм, далась не сразу: когда дело дошло до цифры, все стали переглядываться и тихо вздыхать. Но делать нечего — сегодня в газетах напечатаны резолюции трех женских клубов: «мы требуем запрещения безнравственных зрелищ». Придется сложиться... Две картинки, и мы это окупим.

Завтрак кончился. Цукор выходит на улицу. Декабрьский тусклый денек. Фонари. Мокрота. Но Цукору кажется, что блистает солнце и поют птицы. Не все ли равно, кто изобрел кино — Люмьер или Эдисон? Это может интересовать только лодырей. Мы сделали кино. Мы провели его через все рифы. Сегодня мы спасли его от верной гибели, мы — Цукоры, Фоксы, Голдвины!

Кино или политика? Картинки или акции? Торжественность банка или подозрительная суета с'емочного павильона? Билль Хейс колеблется. По правде сказать, стопроцентному американцу нелегко дается дружба с этими европейскими евреями. Они думают только о деньгах. Билль Хейс думает о своей душе. Он идеалист и пресвитерианец. Каждое воскресенье он ходит в церковь. Он никогда не пьет вино. Вино — для людей с низким воображением. Билль Хейс весел и без вина — его опьяняет радость жизни, удача в делах, близость творца. Если он хочет доставить себе маленькое удовольствие, он с'едает порцию сливочного мороженого — это не виски, глава церкви пресвитерианцев и тот обожает сливочное

мороженое. Он не курит, никогда не смотрит он на легкомысленных женщин. Он чист перед богом и перед людьми. Может ли какой человек, вместо высокой политики или банковских операций, заняться какими-то двусмысленными картинками?..

Однако, если Хейс не возьмет в свои руки кинопроизводства, государству грозит серьезная опасность. Он, Вилль Хейс, разумеется, не ходит в кино, но вот его дети — они играют в непонятные игры, для них экран куда важнее и книг и проповедей. Дурные картины портят их нежные сердца. Прочтите этот отчет о последних картинах: в одной показывают симпатичного бандита, который, мол, грабил только богатых, в другой высмеивают пастора — пастор, оказывается, втихомолку дул джин и обнимал хорошеньких прихожанок, в третьей чернят фабриканта — он якобы обманывал рабочих.

Что же делать? Может быть, запретить кино, как алкоголь? Но Цукор и Фокс не дадут себя в обиду. Виски можно пить дома, прикрыв все ставни, а если запретить кино, то людям вечером нечего будет делать. Ввести строгую цензуру? Ведь сами владельцы хлопочут об этом. Однако поможет ли делу цензура? Вырежут несколько сцен, переставят заголовки. Яд останется ядом. Беда в том, что все эти Цукоры, Фоксы, Ласки, Лоу — люди без твердых устоев. Это выходцы из Европы. Они родились нищими. Чем только они ни занимались?.. Среди них нет ни одного пресвитерианца, ни одного методиста или баптиста. Правда, когда актера Фатти обвинили в безнравственном образе жизни, Цукор немедленно распорядился уничтожить все картины, в которых снимался провинившийся толстяк. Но до злополучной заметки в газетах на обедах у того же Фатти неизменно присутствовали владельцы самых крупных фирм; там голышом они танцовали с заведомыми блудницами. Нет, от этих разбогатевших лавочников нельзя ждать ничего хорошего, никакая цензура не сможет превратить их в настоящих идеалистов. Идеалист — это он, Вилль Хейс.

Если Хейс возьмет в свои руки тяжелый скипетр, общество облегченно вздохнет. Кино станет оплотом порядка, школой добродетели, союзником пресвитерианцев и квекеров, гигантской лабораторией, в которой Хейс будет изготовлять прививку против анархизма, социализма и коммунизма. Слов нет, кино прежде всего индустрия. Цукор изготовляет картины, как Форд автомобили. Хейс не возражает против дивидендов. Он первый готов участвовать в некоторых финансовых операциях: богатея, человек становится приятней и человечеству и всевышнему. Но надо смотреть глубже: рабочие в Соединенных Штатах живут неплохо, у них ванны и автомобили. Однако можно ли поручиться, что их не коснется европейская зараза?.. В старой Европе — скандал за скандалом: в Германии и в Италии что ни день — волнения, рабочие бастуют, захватывают фабрики, стреляют в полицейских. Только-только люди порядка подавили революцию в Баварии и в Венгрии. Несмотря на голод и на разруху, Россия держится — это, как-никак, соблазн. До поры до времени американские рабочие тверды духом. Но кто знает, что приключится при первой неудаче?.. Кризис. Заводы рассчитывают рабочих. Жизнь впроголодь. Автомобили проданы на слом. В ванных никто не купается. Разговоры: «а вот в России»... Надо воспитать в рабочих уважение к законам, отучить их от дерзких мыслей. Они неохотно ходят в церковь, у них нет свободного времени для назидательного чтенья, но они обожают кино. Для счастья наших детей мы должны использовать это оружие!..

С умилением смотрит Вилль Хейс на своих ребят: он готов пострадать ради их счастья. Он готов претерпеть и завтраки с безнравственными коммерсантами и актерские пересуды, он готов отказаться от заветной мечты — в Белом Доме жать руки гражданам, он на все готов ради своих детей, своих и чужих, ради будущего великой Америки!

Итак, решение принято: Вилль Хейс подает прошение об отставке. Он больше не министр почт, он председатель новой организации: «Мошон Пикчюр

Продешер энд Дистрибешер». С удовлетворенной улыбкой он прикидывает: министр почт получал 10 000 долларов, председатель «Мошон Пикчюр» будет получать 100 000. Ровно в десять раз больше... Для начала неплохо. Это кроме коммерческих операций... Главное, впрочем, не богатство, главное — подвиг, обет, призвание.

Газеты с восторгом сообщают о согласии мистера Хейса. Они называют его: «Царь кино», да, да, царь, а не «король». Король — это звучит пошло, это хорошо для нефти или для хлопка. Мало ли королей в Европе? Король Испании, и даже король Албании. Король — оперетка. Но «царь» — это дико и торжественно, царь прежде всего самодержец, царей нигде нет, был один в России, но и тот низложен, вместо него в России — смута, кино пережило свое смутное время, теперь оно поставило над собой царя. Итак, да здравствует царь кино, мистер Вилль Хейс, или, как зовут его друзья, Билль! Да здравствует Билль Первый!

Когда Моисей спустился с горы Синай, его лицо излучало нестерпимый свет, и он покрыл лицо покрывалом. Когда Вилль Хейс принес владельцам всех кинофабрик скрижали закона, лицо его было просветлено добродушной улыбкой, как всегда он не шел, но прыгал, наподобие молодого кролика, как всегда бодро торчали длинные уши и радовались божьему миру ясноголубые глаза.

Хейс не вышел ростом, он никак не похож на Моисея. Зато его голос звучит торжественно и веско. Он читает перед изумленными владельцами свой «кодекс морали»:

«Установлено:

Что законы не будут подвергаться высмеиванию.

Что к нарушению законов не будет выказываться никакого сочувствия.

Что преступления будут показываться соответственно, дабы не рождать протеста против законов и правосудия.

Что святость брака и семейного очага будет поддерживаться.

Что нарушение супружеской верности никогда не будет оправдываться.

Что религия будет ограждена от насмешек.

Что никогда ни один священнослужитель не будет показан преступным или смешным.

Что культ Знамени будет строго соблюдаться.

Что при показывании казни через повешение или с помощью электрического стула неизменно будут соблюдаться чувство меры и хороший вкус»...

Слушают почтительно и Цукор, и Фокс, и Лоу. Как умно говорит он! Как хорошо разбирается он во всех тонкостях! Чем не десять заповедей? Адольф Цукор вспоминает годы учебы: из этого «гоя» мог бы выйти хороший раввин... Он здорово работает! Не зря мы ему платим сто тысяч. В Рисце у каждого хорошего еврея свой «шабес-гой», в субботу «шабес-гой» носит воду, зажигает печи, он работает за хорошего еврея, и когда кончается суббота, он получает крону... Слов нет, сто тысяч большие деньги, но и мистер Хейс не просто «шабес-гой» — вы только послушайте: он говорит, как президент, он придумывает «моральные кодексы», он все знает и все может. Это не человек, а клад!

2

Вилль Хейс родом из Суливена, это в штате Индиана. Как только Хейс оставил политику ради кино, республиканская партия в Индиане захирела. Зато теперь в этом приятном штате 232 кинотеатра.

Все, что Хейс делает, он делает хорошо. Ребенком он никогда не проказничал. В студенческие годы он вставал раньше всех, первым входил он в аудиторию. Служа в банке, он равно увлекался и биржевыми операциями, и подсчетом завалящихся центов. Когда он был председателем партийного комитета, десять человек ежедневно переходили от демократов к республиканцам. Будучи министром почт, он на славу рекламировал столь тривиальный товар, как почтовые марки. Теперь он царь кино, и с понятной гордостью говорит он:

— Соединенные Штаты поставляют 40 процентов мировой добычи нефти, они изготовляют 63 процента всех те-

лефонов, 78 процентов всех автомобилей. Но на первом месте стоит кино: 85 процентов картин, которые заселяют своими живыми тенями экраны мира, изготовлены в Соединенных Штатах.

День Хейса начинается рано. Еще горят газовые шары и проникает в душу предрассветный холод, когда он выбегает на улицу. Он уже многое успел сделать: одновременно он принимает ванну, бреется, просматривает газеты и беседует по телефону. В ванне — резиновый пюпитр, на голове Хейса — телефонная каска. Он выбегает из дому свеже выбритый и приобщенный к шуму мира. Живет он, разумеется, на тридцать седьмом этаже — это не буколический Цукор; Хейс живет в самом сердце Нью-Йорка, с городом, но над городом, над суетными его делами. Ночью он ближе всех к господу добрых пресвитерианцев. Рано утром он спешит на Пятое авеню: там он судит, рядит, увещевает, заговаривает, там воспитывает он кино, этого подозрительного байстрюка, приближая его к совершенству. В течение года Хейс улаживает 16 000 конфликтов. Сегодня — 86. Папка «Процессы о плагиатах» — хорошая реклама! Еще один процесс: мистер Тест обвиняет мистера Хайга — последний похитил для «Парамаунта» весьма оригинальную тему: любовь двух братьев к одной и той же особе. Ха, ха! Этот Ласки неутомим! Дальше! «Фокс» просит содействия: картине «Мир вверх дном» не везет — в Бостоне цензура вырезала для будничных представлений 23 сцены, а для воскресных 32, женские клубы беснуются: «эта картина оскорбляет достоинство женщины». Пригласить женские клубы. Картина — боевик. Сделать некоторые изменения. Алло! Журналисты? Превосходно. Хейс, любезно извиваясь, говорит журналистам:

— Кино теперь не нуждается в цензуре извне. Мы строго соблюдаем наш «моральный кодекс». Мы познали восторг самоограничения...

Мистер Мартин Киглей, издатель «Херольд Вордг», недавно об'единил всю кинопечать Соединенных Штатов. Конечно, при содействии Хейса. Хейс гарантировал в течение 5 лет об'явления на 3 000 000 долларов. Сотрудник «Ти Нью Муви», мистер Мак Сутайр, пишет: «Вилль Хейс — это нежная малиновка... Его дружба тверда, как скала Гибралтара... Все люди без исключения обожают Вилля Хейса»...

Говорящие картины? Великое открытие! Разговаривать! Как можно больше разговаривать! Хейс во-время поддержал братьев Уорнер. Он произнес перед аппаратом речь. Десять тысяч речей до этого. Однако первая речь для экрана. Голос его дрожал:

— Новое чудо, и я к нему причастен!..

Это напоминает воскресную службу в храме пресвитерианцев.

Вдруг он вскакивает и уносится. Слуга на тридцать седьмом этаже напрасно ждет его к обеду. Он — в поезде. Он едет в Холливуд: вопрос о широкой пленке, затруднения «Уорнер», идеологические колебания — некоторые режиссеры в чересчур мрачных красках показывают тюремный режим, говорят, что Эйзенштейн хочет инсценировать подозрительный роман Дрейзера — одернуть! На вокзал Хейс приезжает во-время: поезд отходит через полторы минуты. Надо уметь жить: садиться в вагон за 15 секунд до отхода поезда, никогда не сквернословить, отвечать на письма тотчас же по получении, стараться разговаривая, чтобы говорил только собеседник. Таковы принципы Хейса. Они помогли ему достичь столь высокого положения.

В вагоне он, разумеется, работает. Он диктует каблограмму венгерскому правительству: «В виду указанного мы никак не может согласиться на ограничение ввоза американских картин. Стоп. Мы принуждены...» Другой стенографистке: «В ответ на Ваше письмо от 23 марта...» Третьей: «Дорогой Адольф...» Диктуя, он просматривает последнюю книжку журнала. Прекрасная новелла, увлекательная и полная глубокого идеализма! Надо поощрять молодые таланты, притом из этой белиберды можно выкроить хороший сценарий. Он диктует четвертой стенографистке письмо автору. Четыре стенографистки. Два секретаря. Вагон. Окна. Поля. Жизнь. Вилль Хейс пьян от жизни. Он поет, как самая нежная малиновка.

В Холливуде он озабочен и неуловим. Он избегает общества актеров. Как никак это фигляры, а он пресвитерианец. Потом пригоже ли царю водиться со своим народом? Дружба может скверно отразиться на дисциплине. Ни фамильярности, ни протекций! Справедливость! Директора фабрик и режиссеры любят иногда посплетничать: «Вот Джек спутался с той венгеркой...» Хейс срывается с места:

— Простите, мне необходимо поговорить по телефону...

Здесь надлежит раскрыть тайную страсть этого человека, казалось бы огражденного от страстей. Почему только стал он царем кино? Он мог бы стать королем телефонов. Когда он видит черную трубку, его глаза становятся тусклыми от вожделения, руки дрожат: он должен сейчас же кому-нибудь позвонить!.. Находясь в Нью-Йорке, он то и дело беседует с Холливудом. 6000 километров. «У аппарата мистер Ласки». Ежедневно шесть раз говорит он с Холливудом. Но этого ему мало. Он спит чутким, тревожным сном, как чересчур рьяный любовник. Среди ночи он просыпается. Он не пишет тогда стихов. Он не мечтает о любимой девушке. Нет, горячей рукой хватает он трубку: еженощно он дважды беседует с Холливудом.

Страстный к телефону, с живыми людьми он холоден и замкнут. Он выносит их только на экране — это уже не люди, но его подданные. Играя в покер, он умеет хорошо блефовать. Еще лучше он умеет разговаривать с обыкновенными американцами. Он широко размахивает руками и повторяет несколько благородных слов. Что такое кино? Вы думаете, это доходы Цукора или Уорнер? Операции мистера Клерка, который перехитрил Фокса? Реклама? Дворцы? Акции? Нет, кино — бескорыстное служение идеалам человечества! Хейс повторяет это перед аппаратом, перед микрофоном, на трибуне, в театре, улыбаясь, неизменно улыбаясь:

— Кино об'единяет все живые начала культуры: науку и промышленность, искусство и религию...

Наука — это патент «Уэстерн Электрик». Искусство — это борьба за «звезды». Промышленность — это дивиденды Цукора и Клерка. Религия — это божественный кодекс, составленный самим Хейсом.

«Производители и прокатчики» не могут нарадоваться. Давно они повысили годовой оклад Хейса. Он теперь получает 150 000 в год. Адольф Цукор умиленно вздыхает:

— Я все больше приближаюсь к идеям мистера Хейса. Это воистину удивительные идеи!..

Хейс бледен. Он не может покраснеть от смущения. Он краснеет только в душе — к чему комплименты? За дело! Позвонить в седьмой раз! Поговорить с министром! Вскочить в уходящий поезд! С'ездить в Европу! Похвалы ни к чему! Он делает все, что может. Кино изобрели другие. Но это был глиняный истукан. Хейс вдохнул в него жизнь, он научил его катехизису, он его погрузил в чистые воды Иордана. Кино могло остаться очагом безнравственности, школой сомнения, арсеналом революции. Под скипетром Билля Первого кино стало основой порядка.

В мире 55 000 кинотеатров, их посещают еженедельно 250 000 000 зрителей. Эти театры должны показывать только американские картины. Мы даем вам хороший товар, мы вас веселим, и мы вас воспитываем. За это вы нам платите дань: франки, марки, фунты, кроны, рубли, иены, лиры, пезеты, пенги, леи, флорины динары. Это просто и ясно. Надо быть упрямым европейцем, чтобы не видеть столь очевидной истины.

Конечно, во Франции — старинные соборы и редкие вина. Но Хейсу некогда глядеть на знаменитые церкви — он молится по воскресеньям в обыкновенной кирке. Что касается вина, то Хейс признает только сельтерскую воду. Пусть французы гордятся развалинами и заплесневелыми бутылками — это их дело. Хейс знает одно: французы, как и все прочие люди, обязаны по вечерам смотреть американские картины. Однако они бунтуют. Они хотят смотреть свои собственные картины. Против всесильного Хейса восстает какой-то Эррио. Эррио — не угодно ли? Эр-ри-о!..

Хейс в негодовании прыгает на тридцать седьмом этаже. Эррио у себя до-

ма мирно раскуривает трубку. Эррио отнюдь не Хейс. Эррио любит литературные реминисценции. Он любит также плотную лионскую кухню, после которой охватывает душу полусон, исполненный вдохновения. Он равнодушен к телефонам. Совершенно случайно он не удит рыбы. Зато он охотно говорит перед дамами в клубе «Анналь» о храме Минервы или о шорохе нормандского леса. У него широкие плечи и жесткие волосы, но у него очень нежная душа. Немало времени посвятил он вопросу о том, познала ли г-жа Рекамье подлинные радости любви. Это мечтатель и романтик. Он не способен оценить прекрасные продукты «Парамаунта» или «Фокса». В качестве министра народного просвещения он занят судьбами кино. Перед рассеянными депутатами, которые гадают, скоро ли падет кабинет, он патетически восклицает:

— Я буду до конца сопротивляться колонизации Франции американским кино!..

Хейс не боится красивых фраз. Но Эррио переходит к действиям, он опубликовывает декрет об ограничении ввоза иностранных картин. Тогда Хейс теряет хладнокровие. Перед ним микрофон. Он разговаривает с миром. Он кричит:

— Я сделаю все, чтобы добиться отмены этого несправедливого декрета!..

Хейс скор не только на слова. Он едет во Францию. Он встречается с Эррио. Он уговаривает. Он грозит. Если Франция не отменит декрета, Америка ответит репрессиями. Мы закроем рынок для французских товаров! Этот низенький мистер с оттопыренными ушами умеет быть язвительным и едким. Эррио чересчур благодушен для подобных бесед. Он может разговаривать с Макдональдом о будущем Европы: это увлекательно и благородно. Ему трудно разговаривать с мистером Хейсом о таможенной войне. Он пробует спорить: картины не просто товар, картины влияют на душу народа... У себя в Америке Хейс охотно согласился бы с этим. Но сейчас он занят одним: двери настежь! Картины прежде всего предмет экспорта...

Увидав, что с Эррио трудно договориться, Хейс начинает обрабатывать различных членов «Комиссии по делам кино», которой Эррио поручил охрану национальных интересов. Может быть, члены комиссии тоже любят Минерву и г-жу Рекамье, но это люди покладистые. Надо учитывать интересы французских фирм... Нельзя рубить с плеча... Мистер Хейс предлагает компромисс... Мы подпишем временное соглашение...

Хейс вернулся в Америку с улыбкой победителя. Он не настаивал на словах: французы достаточно самолюбивы. Пусть они называют это «компромиссом». Мы даже купим у них десяток картин. Выбрать похуже. Показывать только в самых плохоньких театрах. Для Франции: извольте, мы покупаем ваш товар! Для Цукора и Фокса: в течение года мы продали во Францию картин на 425 000 долларов. Для всех граждан Соединенных Штатов: организация Хейса сильнее всех министров. Мы кормим 400 000 американцев. Мы бойко торгуем нашими продуктами. Мы помогаем и другим коммерсантам. Президент Гувер прав, говоря: «в тех странах, куда проникают американские картины, мы продаем вдвое больше американских автомобилей, американских граммофонов и американских каскеток». Мы также приучаем Европу думать по-нашему. Этот Эррио, конечно, ничему не научится, но его дети ходят в кино, и они поймут, что телефон куда интересней г-жи Рекамье и что шелест зеленых ассигнаций способен заглушить все голоса нормандского леса.

III. Когда он заговорил

1

Ульям Фокс — земляк Цукора, и в жизни этих несхожих людей много общего. Оба они родом из Венгрии, оба евреи, оба знали нищету и тяжелый ломовой труд. Оба во-время заинтересовались «движущимися картинками». Однако Адольф Цукор любит красоту и славу. Он падок до интервью. Он почитает себя не дельцом, но художником. Фокс не любит кино. Ему противны мелодрамы, как противны кондитеру приторные пирожные. Он не ходит в свои театры. За пять лет он только один раз удосужился с'ездить в Холливуд на свою фабрику: он занят, он работает.

Картины делают другие: постановщики, актеры, маляры. Он продает картины. Он покупает залы. Он достает доллары. Он занят с утра до ночи. Он никогда не путешествует. Дважды в год он ездит в санаторий: там машину смазывают маслом. Он не подпускает к себе журналистов. Однажды какому-то фотографу удалось заснять Фокса. Портрет был напечатан. На портрете угрюмо мерцали глаза и топорщились усы. Увидев портрет, Уильям Фокс смутился. Он, конечно, не мог переменить глаза, но он тотчас же сбрил усы.

Адольф Цукор всегда побаивался хитрого Фокса. Война началась давно, оба были неопытными дельцами. Цукор готовил большую картину «Кармен». Все газеты писали о предстоящем чуде: что за постановка! Какая пышность! Сколько затрат! Фокс приказал своим служащим в десять дней смастерить маленькую картину. Он выпустил к ней афиши: испанка с розой в зубах. Театры покупали картину Фокса, думая, что это — обещанная Цукором «Кармен». И Цукор, и Фокс с тех пор выросли. Вместо выстрелов из-за угла они открыли артиллерийскую дуэль. Оба скупают театры, оба выкидывают на рынок сотни картин, оба завоевывают пять частей света.

Цукор любит говорить:

— Мой театр в Нью-Йорке не самый большой, но самый роскошный.

Фокс молчит: самый большой театр мира принадлежит ему.

Цукор хвастается успехом своих «звезд», рекордными цифрами сборов, восторгом публики. Фокс не хвастается. У Фокса свои способы добывать доллары: ни дорогих актеров, ни сенсационных картин. Добротная средняя продукция: как можно больше ходкого товара.

«Фокс-Фильм-Корпорешен» контролирует фирму «Лоу». Фирма «Лоу» включает в себя «Метро-Голдвин-Мейер». Уильям живет очень скромно в небольшом коттедже. Для того чтобы тратить деньги, у него нет ни времени, ни фантазии. Чистый доход «Фокс-Фильм-Корпорешен» за истекший год равняется 12 000 000 долларов. Чистый доход «Лоу» равняется 11 700 000. Итого 23 700 000.

Уильям Фокс уныло позевывает в своем коттедже. Наступает вечер. Простые люди идут в кино — глядеть картины «Фокса». Уильям Фокс смотрит на холодный томительный свет электрической лампы.

«Братьям Уорнер» нечего было терять, люди сведущие говорили о них с нежным равнодушием, как о покойниках. «Братья Уорнер» однако воскресли. Один из братьев увидел на экране маленькую сцену: человек махал руками и раскрывал рот. Это было в порядке вещей, и ничего больше мистер Гарри Уорнер не увидел: зато он услыхал престранные звуки: на экране ораторствовал настоящий заика, и Гарри Уорнер слышал голос заики. Экран говорил. Конечно, ничего примечательного злосчастный заика рассказать не мог, он только угрюмо мычал, но Гарри Уорнер в темноте улыбался заике: его соблазнял классический чорт.

Чем рисковали «Братья Уорнер»? Их все равно ждал конец. Не задумываясь, подписали они пакт с чортом. У чорта были патенты, и чорт расписался: представитель фирмы «Уэстерн-Электрик». После этого все люди на полотне превратились в таинственных заик. «Братья Уорнер» стали могущественным трестом. На глазах у растерянных конкурентов они купили «Ферст-Нашиональ». Гарри Уорнер, потрясенный дивидендами, воскликнул:

— Наши картины отличаются здоровьем, и они полезны для общества! Ученые разных сортов произвели психологические изыскания, они доказали, что действие американских картин благодетельно. Нет ни одного работника американской кинопромышленности, который не старался бы заработать как можно больше денег, но с помощью оружия, которое дают нам наш труд и колесо Фортуны, мы оказываем содействие человечеству...

Это нескладно, но благородно. Впрочем, «Братья Уорнер» вовсе не должны разговаривать. Они могут молчать. За них говорят заики на полотне. А «Братья Уорнер» подсчитывают дохо-

ды и оказывают содействие человечеству.

Экран заговорил. Заговорили братья Уорнер. Мистер Уильям Фокс, — тот, напротив, замолк. Он и прежде не отличался разговорчивостью. Даже близкие не знали, о чем он думает. Он был немым, как кино.

Гарри Уорнер щебечет о колесе Фортуны. Это очень своенравная особа. Фокс с ней хорошо знаком. Он был нищим. Он сделал миллионы. Теперь у него размолвка с ветреным божеством.

Фокс не на много отстал от «Братьев Уорнер». Узнав об успехах говорящих картин, он поспешил подписать контракт с «Уэстерн-Электрик». Он не на много отстал, но все же он отстал. Публика не хотела немых картин. Оборудование новых павильонов вызвало большие расходы. Дела «Фокс-Фильм-Корпорешен» пошатнулись. Биржевики начали поговаривать о возможном крахе. Фокс не давал опровержений; как всегда, Фокс молчал. Он молчал, и он искал доллары. Он поехал в Вашингтон, там он уговаривал мистера Клейса, государственного секретаря коммерции, вступить в фирму «Фокс». Мистер Клейс, подумав, отказался: это чересчур рискованное дело, тем паче для государственного секретаря. Фокс предложил «Уэстерн-Электрик» снабдить его 12 000 000 долларов. «Уэстерн-Электрик» — серьезное предприятие без «звезд» и без мелодрам. Уильям Фокс не получил 12 000 000. Он сидел мрачный в коттедже. Его слуги гнали назойливых репортеров. Он был еще главой «Фокс-Фильм-Корпорешен».

Тогда показался мистер Гарлей Клерк.

Гарлей Клерк — не европейский выходец, он родился в Мичигане. Его биография заведомо добродетельна. Он сын доктора и окончил колледж в Чикаго. Потом он писал статьи в чикагских газетах. Потом он перестал писать статьи и начал торговать машинами. Он встает очень рано: нет восьми — он уже сидит в своем кабинете над грудой бумаг. Он — глава «Ютилитэ Цауер энд Лайт». Это общество обслуживает 830 городов Америки, в Англии у него 2 000 000 абонентов.

Гарлей Клерк человек нежный и отзывчивый, он обожает искусство. Когда журналист хочет расспросить мистера Клерка об его финансовых операциях, он пишет на визитной карточке: «чтобы побеседовать о Шекспире», — и мистер Клерк его тотчас же принимает. Нет большего удовольствия для Клерка, нежели беседовать о Шекспире. Он знает наизусть всего «Гамлета». Это, правда, никак не отражается ни на балансе электрического общества, ни на закупке тех или иных акций — в делах мистер Клерк тверд и решителен. Зато, освободясь от дел, он становится мечтательным, как датский принц. Когда он работает, он говорит только цифрами. Когда он отдыхает, он говорит только цитатами из Шекспира. Он, например, заверяет, что американских сенаторов ждет судьба Марка Антония. Это тончайший эстет. Его кабинет украшают стенные часы XVIII века, часы эти идут с точностью хронометра. Они указывают деловому Клерку — торопись! Они радуют отдыхающего Клерка — наслаждайся!

Кино давно интересует Гарлея Клерка. Лет десять тому назад, совместно с обществом «Ютилите Пауер», он сделал назидательную картину: пропаганда труда. Он даже основал тогда небольшое общество для изготовления просветительных картин, потеряв на этом 500 000 долларов. Подсчитав убытки, он философически заметил:

— У меня правильные идеи, но для этих идей не настало время...

Убытки быстро были покрыты электрическими абонентами. Время для идей Гарлея Клерка настало: он узнал о затруднениях Фокса. Он подолгу беседовал с людьми из «Уэстерн-Электрик». Мистер Клерк — не Уильям Фокс, это не фокусник с волшебным фонарем, мистер Клерк директор «Ютилите Пауер», и люди из «Уэстерен-Электрик» разговаривали с ним всерьез. Любитель Шекспира решил заняться изготовлением полицейских идиллий. Директор электрического общества решил заняться еще одним выгодным делом.

Закончив предварительные переговоры, Гарлей Клерк предстал перед Уильямом Фоксом. У Гарлея Клерка были

свободные миллионы. Угрюмо помолчав, Уильям Фокс подписал бумагу: это был акт отречения.

Фирма попрежнему называется доблестным именем Фокса. Доходы ее растут. 1 200 театров. 102 большие картины в год. Во всех 102 картинах люди на полотне разговаривают, они разговаривают куда лучше того заики, что очаровал братьев Уорнер. Однако у Клерка уйма забот. Он хмурится, как хмурится Адольф Цукор. Заики на экране говорят по-английски. Это великий язык, это язык Шекспира, но на свете немало людей, темных и самодовольных, которые не понимают этого языка. В Париже «Фокс» купил «Мулен-Руж». Там показывают говорящие картины. Парижский представитель «Фокса» сообщает, что выручка падает: французы хотят слушать французских заик. Немцы, не считаясь с патентами «Уэстерн-Электрик», изготовляют свои немецкие картины: стопроцентные говорящие на стопроцентном немецком языке.

Что же тут делать «Фоксу», «Лоу» и «Метро»? Клерк прикидывает. Придется изготовлять картины на других языках: на испанском, на французском, на немецком. Чтобы изготовлять хорошую ткань, англичане ввозят хлопок из Америки. Мы тоже будем ввозить сырье.

Мы выпишем из Европы живых актеров. В Европу мы отошлем готовый товар. Это влетит в копейку, но ничего не поделаешь: каждое изобретение имеет своих мучеников. Зато мы сохраним рынок. Попрежнему будем мы духовниками темной Европы. Мы окупим расходы, и мы к тому же заработаем...

2

Американцы устроили «квоту» для иммигрантов „из Европы. Европейцы надумали усторить «квоту» для американских картин. Они испугались теней на экране.

Хейс переубедил одних, застращал других. С Эррио он разговаривал. Немцев он даже растрогал: «Берлин удивительно красивый город!..» А на венгров он прикрикнул: «В таком случае вы не получите ни одной американской картины!..» Он знал, что без американских картин нет кино, а без кино нет жизни.

Хейс достиг своего. Тогда, как в сказке, выросли дремучие леса. Шоссе превратилось в джунгли. Здесь не с кем бороться, некого подкупать. Даже несчастные чехи — и те требуют картин на своем языке. На каком только языке говорят эти чехи? Сколько в мире странных диалектов? Вилль Хейс растерян. Он идет в церковь. Он обижен на провидение. Он очень грустен. Однако господь всех добрых пресвитерианцев его не оставляет. Почтенный реверенд читает «Деяния»:

— «И исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках...»

Апостолов было 12. В организацию Хейса входят 24 фирмы. Лицо Хейса теперь просветлено благодатью. Мы будем делать версии на иных языках! Ваши диалекты. Наши сюжеты. Наша постановка. Наши доллары.

Когда в Марсель приходит американский пароход, город не узнать: его зрачки расширяет надежда. Лавочники надеются продать затейливые «сувениры», рестораторы надеются попотчевать иностранцев спаржей и шампанским, девушки надеются выйти замуж, нищие — получить милостыню. Особенно волнуются обитательницы непотребных улиц. Они стирают рубашки и, не жалея румян, заново красят свои вдоволь потертые щеки. Американцы приезжают не каждый день, но под их звездчатым флагом пересекает моря таинственная удача.

Во всех кофейнях, где только собираются актеры, говорят об одном: скоро приедут американцы! Это повторяют в Берлине и в Риме, в Париже и в Мадриде. Они приедут набирать актеров. Теперь мало красивых улыбок, мало фотогеничных ресниц, мало волнующих бедер: им нужны подходящие голоса.

В пыльной столовой, над куском холодной телятины, пугая домочадцев, заслуженный трагик то и дело пробует голос: «Гарри, я тебе верна!..»

Первые любовники, задыхаясь, стонут в телефонных будках: «Ради бога узнайте, кого надо угостить завтра-

ком?..» Красавицы рыщут по унылым приемным: кому здесь надо отдаться?..

Потом в серый туман кофеен вползают чудовищные слухи: «Метро» вчера подписал с восемью... «Уорнер» в Берлине набрали для немецких версий... «Ферст Нашиональ» ищет шестерых для полицейской картины.

Осенний парижский день. Идет мелкий дождь и с утра горят на улицах пыльные фонари. Город работает. В Палате депутаты мирно дремлют. На заводах Ситроена грохочут прессы. По лиловому асфальту, как окаянные тени, носятся без толка тысячи и тысячи машин. Обыкновенный будничный день, никому не придет в голову, что сегодня решается судьба многих. На сегодня назначен экзамен: американцы проверяют голоса.

Почтенные актеры, привыкшие снисходительно кланяться под рукоплескания галерки, не могут допить утренний кофе: их подташнивает от волнения. Актрисы, избалованные комплиментами министров, настоящие актрисы из «Французской комедии», просыпают на пол пудру.

В приемной ждут экзаминаторов Федры и Тартюфы, Гамлеты и Ипполиты, Тальма, Марс, Рашели, Мунне-Сюли. Они похожи на перепуганных школьников.

У американцев круглые очки, перья огромные, как снаряды, и улыбка естественного превосходства.

— Крылатый бог, возьми меня!..

— Довольно. Следующий!..

Пароход «Бремен» увозит в Новый Свет столько-то избранных: немцев, французов, испанцев. У них новенькие сундучки и вакхическая улыбка. С презрением смотрят они на отлогие берега Европы и на жалкие европейские монеты, застрявшие в жилетном кармане. Они едут в Америку!

Среди унылых полей Калифорнии можно порой встретить одинокий крест с подвешенной фляжкой: это могила золотоискателя. Сюда приходили угрюмые честолюбцы и наивные мечтатели. Здесь они искали золота. Теперь это только тема для рядовой картины.

На кладбище Холливуда много мрамора и бронзы. Могилы знаменитых актеров засыпаны редкими цветами. Могилы безыменных неудачников аккуратно покрыты дерном. Попрежнему Калифорния влечет к себе чудаков и проходимцев — это связано с климатом, а также с традицией.

Десятки тысяч актеров бродят по бульварам Холливуда. Они ждут ангажемента. Они говорят на всех языках мира. Среди них можно встретить петербургского гвардейца, мечтательную дурочку из Мекленбурга, разочарованного торреадора, бывшую любовницу французского сенатора и даже японских шпионов. Здесь куда больше «звезд», нежели на осеннем небосводе. Здесь 90 000 безработных актеров. Здесь Морис Шевалье стал шутя миллионером. Здесь жестоко палит солнце, и люди здесь жестоко голодают.

В «Кафе Генри» актеры входят благоговейно, как в церковь. Это обыкновенное кафе, оно смахивает на вокзальный буфет. Кофе, лимонад, мороженое. Но здесь решаются судьбы смертных, здесь легко попасться на глаза поставщику, хозяин здесь дружен со всеми «звездами», он может при случае замолвить словечко, здесь люди ищут слиток золота — заветный ангажемент.

Когда экран заговорил, еще шумнее стало в «Кафе Генри». Отрывистый лай американцев смешался с сюсюканием Италии, с хрипом кастильцев, с вежливым взвизгиванием парижанок, с окриками «герра доктора» из Нюренберга.

Трех партугальцев! — мы делаем версию для Бразилии: молодую девушку хотят продать в публичный дом. Она поет. Полицейский узнает песню, он слышал ее в детстве. Он спасает несчастную. Скорее: португальскую актрису, чтобы хорошо пела!.. Полицейского с прочувствованным голосом!..

— Вы откуда?» — «Прямо из Берлина... Не сразу согласился... Однако надо посмотреть Америку... Превосходный сценарий! Арестанты бунтуют, но один из них влюблен в дочку надзирателя. Он во-время раскрывает козни. Немецкая версия. Фигурантов научили:

несколько слов по-немецки. Я — надзиратель. Девушка — первый сорт...»

Любовная драма. Жена хочет изменить мужу. Ее удерживает ребенок. Конечно колыбельная. Бытовые детали: муж — изверг, пропойца. Женщина — святая. Глаза — можно заплакать! Колыбельная — восторг! Обязательно французскую версию!..

Мистер Хейс, как всегда, восемь раз в сутки беседует с Холливудом. Клерк читает Шекспира и отпускает в Европу новые картины.. Критики пишут серьезные изыскания. Девушки в темных залах стыдливо сморкаются. Работа идет во-всю.

Во втором классе «Бремена» пугливо ежились смельчаки, их никто не приглашал в Америку, они решили попытать счастье. Поглядите на них — разве эти глаза не способны растрогать даже бездушных американцев? От тембра этого голоса сойдут с ума все режиссеры!..

Они добрались до далекого Холливуда. Они бродят по бульварам. Они толпятся возле святое-святых — «Кафе Генри». Они жалостливо вздыхают у ворот фабрик. У них больше нет ни долларов, ни жалких европейских монет. Они хотят есть. Но в Холливуде 90 000 безработных. Тогда мечтатель, жмуря неоцененные никем глаза, примеряет дуло к виску. Красавица с никому ненужным голосом запасается тюбиком веронала. На кладбище Холливуда еще много свободного места. Над воротами значится: «Добро пожаловать!»

Мистер Клерк озабочен. «Метро» делает сейчас немецкую версию. Сценарий написан венгерцем. Тема — американская. Режиссер — француз. В главных ролях — немцы. Мелкоту кое-как подучили. Немецкая версия обойдется в 150 000 долларов. Хорошо, если Германия окупит одну десятую... Мы прокидываем сотни тысяч! А товар, говоря по правде, подмоченный. Немцам вряд ли понравится; немудрено: режиссер репетирует диалоги через переводчика!.. Немцы, те работают не покладая рук. Не угодно ли, они делают в Берлине английские версии для Америки!...

Говорят — у Цукора свой план: он собирается делать картины в Европе. Вздор! Это не автомобили Форда. Можно ли перенести в Европу наш бодрый дух? Мы завоевали мир только нашим благодушием. Цукор будет делать в Европе скверные европейские картины. Он неминуемо прогорит.

Клерк усмехается — у Клерка припасен козырь. Все теперь говорят о широкой пленке. Это сенсация по меньшей мере на шесть месяцев. «Парамаунт», разумеется, против. Как принять аппараты?.. И без того кризис... А вот Клерк во-время купил патент Фира. Он может на старых аппаратах пустить широкую пленку. Цукор наконец-то разучится улыбаться!..

Однако поздно! Мистер Клерк смотрит на старинные часы. Он заработался... Нет ничего приятней работы! Как говорит Шекспир: «в волнах страстей нырял он как дельфин, играя той стихией, которой жил...» Кстати, почему бы «Фоксу» не показать разок Шекспира?.. Не все же сыщиков... Поставит ученый немец. Несколько версий. Даже разживешься, но можно одновременно выпустить десяток ходких картин... По завету основоположника Фокса: поменьше «звезд», побольше катушек!

На людях «папа Цукор» продолжает улыбаться. Когда он один, он не улыбается — у него нет времени для улыбок. Он спешит. «Братья Уорнер» решили заняться педагогикой: они обучают своих актеров иностранным языкам. Ерунда! Актеры скорее умрут, нежели выучатся. Это не попугаи и не филологи. Это обыкновенные «звезды». Цукор не отступал от своего плана. В Европу! Клерк зря сорит деньгами. Повсюду скандалы. Испанцы — «долой»— у актеров аргентинский выговор. Аргентинцы — «деньги назад» — эти тени говорят, как кастильцы. Кто здесь разберется в акценте?.. Кто, сидя в Холливуде, скажет, какая картина подходит для немецкой версии, какая для французской?.. Надо перешагнуть через лужу!..

Джесси Ласки об'езжает Европу.

— Мы не навязываем вам наших картин, нет, мы хотим способствовать

расцвету вашего кино. Все ваше: режиссеры, актеры, фигурация, рабочие. Заработок для многих тысяч безработных. Мы поставляем только дух и доллары...

Европа волнуется: где же он будет, этот новый Холливуд? Немцы пишут: «Берлин — сердце Европы». Парижане в ответ презрительно фыркают: «Кто не знает, что Париж — столица мира?» Англичане настаивают на Лондоне: «При говорящих картинах наплевать на туман». Все ждут, куда причалит тысячетонный «Парамаунт».

«Уэстерн-Электрик» воюет с немцами, а Цукор теперь зависит от «Уэстерн-Электрик». Англия? Но Англия в стороне, глупо залезать на остров. Выбирать не приходится. Скорее! Позовите сюда мистера Кена! Этот Кен, как никто, умеет ладить с французами.

— Когда отходит ближайший пароход?..

Снабженный инструкциями Цукора, министр Роберт Кен едет в Париж. Понедельник: он собирается вскорости вернуться. Вторник: он остается на некоторое время в Париже. Среда: он прочно обосновывается. Четверг: он покупает... Сердца французов восторженно бьются. Париж еще раз постоял за себя — Париж, столица мира, светоч свободы, маяк цивилизации!..

Вскоре в газетах появляется коротенькое сообщение: «Под Парижем, в местечке Жуанвиль, «Парамаунт» устраивает новый Холливуд — Холливуд для Европы».

IV. Подлинный патриотизм

1

Войдя в кабинет Адольфа Цукора, г. Клич смутился. Несмотря на свою профессию, этот человек сохранил некоторую наивность. Улыбка Цукора его озадачила. Тайным советником Гугенбергом г. Клич приставлен к немецкой душе. Он заведует издательством «Шерль». В его руках телеграфное агентство и свыше 100 газет. В его руках также кинофабрика «Уфы» и 116 театров.

Собственный корреспондент шлет из Парижа телеграммы — он сообщает то, что думает г. Клич. Лучшие писатели Германии пишут о тщете материализма — их муза на ты с г. Кличем. Режиссер «Уфы» орет в рупор: «Фридрих Великий», вперед! трубачи, трубите!» — ему снятся сны, которые за ночь до того приснились г. Кличу.

Мало кто в Германии знает имя г. Клича, это скромный человек и хороший семьянин, ему не пристало волочиться за славой. У него круглое лицо и круглые мысли. Клич многое видел: взбунтовавшихся матросов и торжество порядка, падение марки и воскресение марки, каскады глицериновых слез на полотне и настоящую мужественную улыбку своего хозяина. Он многое видел, он остался, однако, наивным, как белобрысые сны честной немецкой девушки. Увидев директора «Парамаунта», он невольно опустил глаза: «папа-Цукор» снисходительно улыбался.

У себя дома Клич господин, здесь он бедный родственник, ходатай из провинции. Что значат здесь 116 театров? У Цукора 1500 театров... Кличу поручили нелегкое дело: он должен договориться с Америкой. Мы будем показывать только ваши картины. За это вы нас осчастливите дружбой. Мы ведь не просто оголтелые европейцы, мы — «Уфа»! Может быть, вы согласитесь иногда показывать и наш товар?

Г. Клич вышел из кабинета Цукора смертельно усталый. Признаться, ему давно надоели евреи. От них вся беда. Они не понимают ни высоких идей, ни красивых символов. Увидев на полотне Фридриха Великого, они готовы рассмеяться. Слава богу, в Германии мы немного очистили воздух!.. Но вот Клич переплыл океан, он видел огромные волны, даль, небо. Он причалил к иному материку. Здесь другие фрукты, и люди по-другому улыбаются. Но здесь все те же евреи. Он должен любезничать с Цукором. Завтра — в «Метро» — он будет любезничать с Шенком... Ничего не поделаешь — у этих евреев доллары!

«Уфа» перехитрила всех конкурентов. Немцы хотят, чтобы правительство ограничило ввоз американских картин. «Уфа» — тем временем договорилась с Америкой. Это разумно и патриотично. Правда, мы заключаем союз с врагами. Зато тем самым мы укрепляемся. Мы забьем «Терру» и «Емельку». Это — тор-

жество национального начала. Ради этого стоит поклониться всем здешним евреям...

Проводив Клича, мистер Цукор долго еще улыбался. Конечно, договор с немцами нам на-руку... Но этот Клич!.. Куда ему до нашего Хейса!..

2

У Гугенберга все, чтобы править государством: душа императора, лицо вахмистра и свои люди во всех банках. Он достиг власти в те годы, когда обыкновенно люди ели картофель без соли, соля его своими слезами. Отставные чиновники, единомышленники Гугенберга, продавали перины и сахарницы. Гугенберг покупал акции. Как честный немец, он подбирал добро, чтобы добро это не досталось чужестранцам.

Когда полицейские усмирили последних бунтовщиков, и марка снова встала на ноги, тайный советник Гугенберг оказался хозяином Германии. Среди его приближенных — немало профессоров. Один из них, а именно профессор Бернгард, поспешил разъяснить изумленному народонаселению: обогащаясь, Гугенберг преследует исключительно возвышенные идеалы.

В возрасте двадцати лет Альфред Гугенберг писал стихи, не очень-то складные, но полные самых достойных чувств:

Любовь — сестра зари,
Любовь — царица мира...

Потом Гугенберг оставил поэзию, он занялся более серьезным делом: он стал директором заводов Круппа. Он не изменил лирическому началу. Он произносил речи: «На нас смотрит глаз императора!.. Добродетели нашего народа — это готовность к самозащите и воинская радость!..» Если заводы Круппа поставляли вооружение противникам, деньги шли настоящим немцам. Таков не вульгарный патриотизм, но патриотизм продуманный, патриотизм г. Гугенберга

Гугенберг не довольствуется деньгами и почестями. Он занят воспитанием своего народа. Он учредил институт с таинственным именем «Динта». Его благословил на это сам Освальд Шпенглер, и его поддержали директора всех трестов. «Динта» должна бороться с пагубным материализмом. Гугенберг, как известно, идеалист, он хочет, чтобы любой рудокоп Рура достиг душевных высот. «Динта» выпускает «Газету для горняков» — ее раздают бесплатно рабочим. «Динта» устраивает школы для детей, лекции, спектакли. Она проповедует терпение, труд, бережливость и патриотизм, разумеется, не чересчур сложный патриотизм тайного советника Гугенберга, но обыкновенный патриотизм, доступный пониманию простого народа.

Мог ли не оценить Гугенберг белого полотна с мелькающими тенями?.. Давно, еще в годы войны, он изготовлял патриотические картины, полные бодрости и героизма; картины заменяли недостающие калории. Окрепнув, Гугенберг решил подчинить себе всю немецкую кинопромышленность. Он понимал, что при правильной постановке дела кино должно давать изрядные барыши. Он не забывал также о своей исторической миссии.

«Уфа» накануне банкротства. Дефицит доходит до 50 000 000. Банки отказываются от дальнейшей поддержки столь невыгодного предприятия.

Тогда приходит спаситель. Он сурово шевелит вильгельмовскими усами. Под усами похоронена улыбка удовлетворения.

Разумеется, Гугенберг действует не наобум. Он не филантроп, — он человек деловой. За каждый экземпляр «Газеты для горняков» он взымает с трестов по десяти пфеннигов. Прежде чем взять на себя обремененную дефицитом «Уфу», Гугенберг хочет заручиться благословением других патриотов.

Это было чрезвычайно трогательное зрелище: воротилы тяжелой индустрии собрались, чтобы отпраздновать день рождения г. Эмиля Кирдорфа. Синели цветы старого кайзера, полевые васильки, приятно дымили трубы заводов, бумаги росли в цене, и все фельдмаршалы бронзовые, мраморные или холстяные лили слезы умиления. Г. Эмилю Кирдорфу исполнилось 80 лет. Он, однако, сохранил светлый ум и бодрость. В копях Вестфалии копошатся десятки тысяч рабочих: благодаря их сыновнему

рвенью г. Кирдорф сподобился столь завидной старости.

Гости не привезли юбиляру ни вышитых бисером туфель, ни портфеля с инициалами, ни длинной фарфоровой трубки. У них горячие и деловые предложения. Г. Альфред Гугенберг не на шутку растроган. Он не плачет — настоящий немец никогда не плачет: — он благодарит бога и продолжает свой жизненный путь. Г. Гугенберг предлагает почтить юбиляра добрым делом. Речь идет о спасении сиротки, — не девочки, подобранной на улице, нет, великой сиротки — Германии. Представители тяжелой индустрии должны помочь Гугенбергу. Он хочет оградить немецких юношей от марксистской заразы. Он хочет купить «Уфу». Это, кстати, не столь гибельное предприятие. Оздоровить. Выпустить новые акции. Сократить расходы. Переменить персонал. Однако — об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас: да здравствует дорогой юбиляр! Да здравствует наша великая родина.

Надо ли говорить, что люди угля и железа не заставили себя упрашивать? У них нежные сердца и хорошая смекалка. Они охотно согласились.

Гугенберг что ни день дает в газеты опровержения: слухи о приобретении консорциумом Гугенберга «Уфы» ни на чем не основаны. Он опровергает — следовательно, он торгуется.

Скрипят перья. Хлопают пробки немецкого «секта». Показывается г. Клич. Он поясняет журналистам:

— Если тайный советник Гугенберг решил приобрести акции «Уфы», то только для того, чтобы кино не попало в руки большевиков. Успех картин вроде «Потемкина» заставил тайного советника пойти на все жертвы. Теперь мы спокойны: «Уфа» — оплот порядка!..

Во главе «Консорциума-Гугенберга» двенадцать человек. Эта цифра соответствует всем традициям. Гугенберг говорит: «двенадцать национально мыслящих людей». Он называет их также «крышей». Под землей ползают рабочие, на земле чирикают собственные поэты издательства «Шерль», огромный дом венчает крыша. Это — азбука строительного искусства. Это — также азбука хорошего идеалистического общества. Среди двенадцати избранных: г. Альберт Феглер — председатель «Стального синдиката», г. Эмиль Кирдорф — владелец угольных копей, сенатор Виттхефт — директор «Частного банка», министр Государственного хозяйства доктор Бекер и несколько других идеалистов. Гугенберг ценит науку: профессор Людвиг Бернгард не фабрикант и не банкир, он всего лишь автор толстого изыскания о нравственных достоинствах Гугенберга. Тайный советник вознес профессора до «крыши» — г. Людвиг Бернгард один из двенадцати. Впрочем, все двенадцать только апостолы. Мессия — Альфред Гугенберг.

Когда г. Клич впервые заглянул в огромный дом, занимаемый правлением «Уфы», все завертелось: быстрей понеслись тяжелые лифы, и сердца подчиненных готовы были разорваться. Один боялся за свое прошлое: он недавно предлагал сделать картину против войны, другой — за свой нос: г. Клич сразу догадается, что у носатого темная родословная.

Клич стал наводить порядок. Что сейчас делают в Бабельсберге?.. Недаром бились сердца подчиненных: в Бабельсберге изготовляют картину по роману советского автора. Клич нахмурился и замолк. Вот до чего доводит беспринципность!.. Так легко дойти и до «Потемкина»!..

Один из подчиненных, дрожа и заикаясь, подает новому директору папку. Клич читает. Неслыханно! Белые офицеры пьянствуют, а большевик — ангел. Нет, вы только послушайте — большевик спасает героиню от гибели! Чем не американский полицейский? И это вы думали показать немцам?..

Первая мысль: тотчас же приостановить работу. Однако г. Клич справляется о расходах. На картину ухлопали тьму денег. Неужели начать с убытков?.. Клич — человек деловой. Он не хочет, чтобы зря пропали немецкие марки, марки г. Гугенберга. Половина картины уже сделана. В таком случае вырезать, переставить, подобрать другой конец. Картину ставит упрямый режиссер. У него крупное имя и даже свои идеи.

Клич не сдается. Идеи режиссера — это его частное дело, это никого не интересует. Это не идеи г. Гугенберга. Переменить конец!.. Режиссер возражает: картина испорчена, насилье над художником, свобода искусства... У г. Клича нет времени, чтобы слушать эту болтовню. Кино — фабрика, режиссер — рабочий. О чем же тут спорить?.. Клич недаром заведует сотней газет, он привык иметь дело с независимыми чувствами и с непримиримыми умами. Он знает: рабочие сначала подчиняются, потом бунтуют, господа с высшим образованием, те сначала бунтуют, а потом подчиняются. Будьте добры, г. режиссер, выполнить наши указания! Г. Клич не сдается. Сдается режиссер, тот самый, с крупным именем и со своими идеями.

Большевик очищен от низкого материализма, он уже не большевик: он идет в церковь, там он падает на колени перед богородицей.

На просмотре Клич богомольно вздыхает. Он сам готов пасть на колени: под святой «крышей» — ни греха, ни соблазна, благодать и дивиденды.

Акций А с одним голосом на 42 000 000, акций В с тремя голосами на 3 000 000. Серия В, а также большая часть серии А в наших руках. Итого 93 процента голосов. Чистота идеи обеспечена...

Чистый доход равняется 14 350 000 марок.

3

Когда Хейс приехал в Берлин, Клич угостил его парадным завтраком. Немцы пили шампанское и говорили о величии идей. Блюдя заветы страны, Хейс довольствовался содовой. Он был в хорошем настроении, и он признался:

— Кино — прежде всего развлечение, не следует перегружать картины пропагандой...

В устах пресвитерианца это было почти ересью. Но Хейс снисходителен к человеческой слабости.

Клич последовал совету Хейса. «Уфа» блюдет осторожность: патриотизм приятно перебивается то купальным трико, то ширмочкой, то затяжным поцелуем. Горькое лекарство подается в капсюлях.

Немцы, однако, не американцы, немцы — философы, они доводят свои мысли до конца.

В кино они сидят и думают. Приказчик Вилли щиплет колено своей подруги, сосет пралине, улыбается Гарольду Лойду, ежится, увидев трико, и все же он при этом думает, он думает напряженно, неистово. В парижских театрах душно от табачного дыма, в берлинских — от духовного напряжения. Хейс — малиновка, он порхает. Здесь люди как камни, и птицы здесь водятся только в стихах. Хейсу никогда не понять немцев!.. Мог ли удовольствоваться Кант разговорами по телефону?..

Тайный советник Гугенберг знает душу своего народа. Поглядите на этого белобрысого юношу. Он пришел смотреть комическую картину. Он сейчас думает о книге Шпенглера и о дороговизне бутербродов. Он ищет сокровенных восторгов. В течение десяти лет ему показывали картины с мертвецами и с вампирами, с задушенными девушками и с мягким мясом, в которое впивались острые руки его гримированных двойников. Он задыхался. Он хотел сам душить. Он не знал, что ему делать после сеанса: перечитывать Шпенглера или щипать проститутку? Для глубоких наслаждений у него не было денег и ночью он гнусно мычал.

Гугенберг отнюдь не враг прогресса. Он за рационализацию труда, за воздушный флот, за газы, за телевидение. Однако аэропланом должен управлять древний германец. В Париже усовершенствованные машины выделывают кресла «ампир». Мы, немцы, согласны сидеть на стульях из стали. Но мы хотим думать и чувствовать по-старому. Задача Гугенберга выделывать древнюю душу. Он будет ее выделывать по-новому, он будет раздавать ее в темных залах всем честным немцам.

Фабрика «Уфы» помещается под Берлином в Бабельсберге. Вокруг тишина дачного поселка: сосны и барышни. На фабрике безостановочно идет работа.

Помощники г. Клича охотно сообщают цифры: 450 000 квадратных метров, 42 здания, 1 000 «юпитеров», 10 000 штук мебели, 8 000 костюмов, 1 800 париков...

Цифр много и цифры патетичны. К сожалению, одна из них чересчур туманна: «40 000 прочих предметов». Трудно установить, сколько, например, среди прочих предметов орлов, хороших гипсовых орлов погибшей и, однако, живой империи. Павильоны, коридоры, дворы заселены горделивыми пернатыми. Их снимают, переносят, устанавливают. Это не любовь к птицам, это — воспитание народа.

Гугенберг начинает издалека: как прежде хорошо жилось!.. Орлы парят над парадами. Орлы украшают победителей. Орлы на дворцах и на знаменах. Давняя жизнь кажется нежной и завлекательной: нет ни безработицы, ни переполненных автобусов, ни заплатанных брюк, ни водянистого супа. Барабанщики лихо бьют в барабан. Уланы побеждают. Девушки швыряют им розы и сердца. Да, это была жизнь!..

Давно ли это было?.. До войны... Сотни фигурантов в офицерских мундирах бродят по двору Бабельсберга. Орлы летают. Музыка гремит. Это — веселая оперетка. Декольте дам. Поцелуи крупным планом. Наивные песенки. Полковая честь и любовь очаровательной простушки. Как они жили прежде!

Картина пойдет во всех театрах «Уфы». 112 000 мест. Полные сборы. Миллионы сердец. Темная неодолимая тоска, после гросбухов и машин. Как только жили!..

У фигурантов грудь навыкат, обтянутые ляжки и томные глаза. Это не сброд, не подонки Берлина, это — единомышленники тайного советника Гугенберга, герои «Стальной каски». Здесь нет места подозрительным материалистам. Даже пятилетний мальчик, которого заставляют в десятый раз лихо козырнуть седоусому генералу, даже этот карапуз — сын патриота и в будущем бравый солдат.

Гугенберг не балует своих единомышленников: дисциплина и труд! Съемка кончена. Фигуранты меняют затейливые мундиры на протертые пиджаки, долго трясутся они в переполненных вагонах. Дома их ждет водянистый суп.

Жена спрашивает:

— Может быть, пойдем в кино?..

Усатый трубач сердито отмахивается. Он не верит в красоту прошлой жизни, он ни во что не верит. Он видел, как делают старую немецкую душу, и ему кажется, что у него больше нет души.

Впрочем, вечера фигурантов никак не интересуют ни г. Гугенберга, ни г. Клича. Душа изготовляется безостановочно. Для американцев мы делаем — «Старый Гейдельберг»: наука, пахучие липы, развалины замков, веселые студенты, аудитории, пирушки: великая Германия всегда была миролюбива!.. Для немцев — парад и снова парад.

Вчера в Нейкельне рабочие освистали картину «Уфы». Какие-то наглецы, увидев трубачей, закричали:

— Дудки! Второй раз это не пройдет!..

У некоторых были деревянные ноги и хорошая память: они помнили Верден. Полицейские резиновыми палками отстояли честь «Уфы».

Гугенберг не теряет бодрости: конечно, инвалиды, те кое-что помнят, но инвалиды никому не нужны. Наша ставка — на молодую Германию! Мы покажем ей Верден: не кал, не куски гнилого мяса, не хрип умирающих, не отмерзшие ноги, не смерть тупую и низкую, как жизнь, нет,—мы покажем ей другой, прекрасный Верден — проказы юных лейтенантов, узы дружбы, восхищение женщин, знамена и орлов, ну, конечно же, наших верных гипсовых орлов. «Домон». Да, в годы войны тоже жилось неплохо! Гугенберг, например, вспоминает о войне, как об очень приятном времени. Он не лжет своему народу. Он всегда был патриотом. Того же он требует от других.

У Гугенберга свыше ста газет, но газеты имеются и у врагов Гугенберга. Зато немцы смотрят кинохронику «Уфы». Гугенберг показывает им, как живут люди на белом свете.

Они живут очень странно, эти двухмерные люди на белом свете и на белом полотне. Они никогда не работают. Они заняты более высоким делом: они дефилируют, открывают памятники, освящают знамена, они пьют шампанское при спуске новых броненосцев, смотрят на мертвые петли, и при всем этом они улыбаются. Это не люди, но министры, чемпионы, послы или королевы красоты.

«Неделя Уфы»: воздушный флот Франции, морские маневры в Америке, парад под Триумфальной аркой, похороны испанского генерала, фашисты слушают Муссолини, польская кавалерия, итальянские подводные лодки, дредноуты Англии, солдаты в Албании, да да, даже в крохотной Албании свои солдаты! Только в Германии ни маневров, ни дредноутов, ни военных летчиков. В Германии нищета и позор. Это говорит своему народу г. Гугенберг. Его голоса не слышно, он стыдливо прячется в кабинете, вместо него цокают копыта чужой конницы и трубят враждебные трубачи. Мюллеры, Веберы, Шмидты смотрят уныло на экран. Слов нет, Германию надули!.. Без солдат — нет хлеба...

Тогда экран их на минуту успокаивает: чудак в Саксонии живет на верхушке дерева, «мисс Португалия» мило надувает губы, модные шляпы, англичанка переплыла Ламанш, любовь медуз, салон автомобилей, чемпион курильщиков, в Гаити собирают ананасы...

Это только короткая пауза, благодарность за входную плату, уступка человеческой слабости. Лагерь немецких школьников. Гинденбург едет на освобожденный Рейн. Гинденбург приветствует ветеранов. Дети приветствуют Гинденбурга. Знамена. Музыка. Лорелея.

Мюллеры, Веберы, Шмидты покорно вздыхают: ничего не поделаешь... Придется, видимо, снова воевать... Такова жизнь!..

«Уфа» никогда не показывает ни забастовок, ни безработных, ни нищеты. Она оберегает стыдливость нации. Трубят великодушные трубачи: это сам тайный советник в тысячах театров повторяет слова, сказанные им двадцать лет тому назад: «Наша добродетель — воинская радость»... С тех пор прошло немало. Одни неудачники остались у Вердена, другие, спустив последние перины, на фабрике «Уфы» трубят в бутафорские трубы. Что касается тайного советника, то он знал в жизни только удачу. Он вправе повторить: «На нас смотрит глаз императора»... Император давно не у дел, давно смотрит он только на бледное небо Голландии. Зато вместо него на посетителей смотрит хозяйский глаз императора — Адольфа Гугенберга.

(*Продолжение следует*)

Охранная грамота

Борис Пастернак

(Окончание)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Цепь бульваров прорезала зимами Москву, за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведеньи, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпятся портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящшей прочности хотелось повторить с самого основанья, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было

без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведеньи образца. Таково было искусство. Каково же было поколенье?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войной. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетье сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любевно предоставлено ими в пользованье старикам и детям.

Когда я возвращался из-за границы, было столетье отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное зданье в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого, не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования — равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское изданье «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с училищем живописи, которое состояло в веденьи министерства императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошевую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спинке ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколенье было аполитичным, мог бы я сказать, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для сужденья обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявленьями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в об'ятья первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пережитого со всем волненьем, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички об'единялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влеченье без огня и дара, новаторы ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется, по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково

думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то-есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом. Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явленье многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в четырнадцатом году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное об'яснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарожденье «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, весело и просто направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем,—а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец,—я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличье от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей — играл жизнью. Последнее — без какой бы то ни было мысли о его будущем конце—улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появленьи Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверх'естественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явленьи. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее естественных последствий. Он садился на стул, как на седло, мотоцикла, подавался вперед, резал и

быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его поразила, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее изнанки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально-мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не раз'яряемого исподволь холодною водою, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно, потому что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанные мировой были унизительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко! Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворяясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась на воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под

навеса по направленью к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, растягивались на песке в состояньи негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую. И кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный, таинственный, летний текст, теперь доступный каждому в десятом изданьи.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни в любом направленьи, без которой поэзия — одно недоразуменье, временно не раз'ясненное.

И как просто было это все! Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт — не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войною и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставал меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть.

6

С зарядом непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С—х, семьи, глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

Зеленели тополя, и ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами—на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира [1]. Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком в'езде в именье. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травою двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купаньи. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Он олицетворял для меня мой духовный горизонт. С гиперболизмом

[1] Среди них—Е. В. Муратова.

Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда об'явили войну, занепастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали как быть, и в нее вступали, как в ледяную воду. Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанью. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна не похожего на плач, неестественно-нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды. Это, только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии, начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду, и как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами подков ковырявших грязную древесину подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл, и высунул, и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затменье, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С—х, З. М. М—ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) — И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколенья. Время показало, что я не ошибся. Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня закрыта, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин — лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами, и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара. Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколенье выражало себя драматически, отдавая свой голос по-

эту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращеньи от времени к миру слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М—ьой я увидал тогда первый в моей жизни примус. Изобретение не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе такое широкое распространение! Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя, на нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты, локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на Огненной земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара протягивала лапы к роялю высокая елка. Она еще была торжественно мрачна; весь диван, как сладостями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра, по возможности, то есть часа в три пополудни. Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснялось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознаньем, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную. Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетий. Он обнимал такие виды—и на ряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем кафликовым затеям своей случайной, наспех набранной и до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтоб назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.

10

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда

еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла. Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной России предметам транспорта и снабжения. Уже из новых слов: наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населения в обмен на порченое, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры. Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины. цветочной витрины. Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней происходило, и то, что громоздил и громил этот голос, походило друг на друга, как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М—вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло. Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре затем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же, после летнего освобожденья перед самой войной, освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась там меньше, чем у нас. Там давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный. Как всегда, оживленное движенье столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерок, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снега, чтобы заставить их мчаться в даль и играть. Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве. Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь послал все это гласно к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был помоложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что, если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было избавить. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом, в этом, полагающем себе в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте романтическое жизнепониманье покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непроходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без не-поэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основаньем. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положенье.

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выраженье совсем несовременные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник, чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатленье холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил

на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложеньями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтеньями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках.

При наступленьи темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И, как часто тогда, сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный и безвыходный, переносный со штепселем, жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые, как с обыкновенным смертным, говорил со своим любимцем, и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженьи моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой, и по моей тогдашней безвестности — афектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь», и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет попрежнему. Крамо того совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего, тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя. А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева.

Началось чтенье. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших, и то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритою Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал, как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не

жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится. Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправданья двух последовательно исчерпанных литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойною силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в теченье которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше понимал его. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего пониманья, по-видимому, непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь уместной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся под'емом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого, — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года? Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо и бьется, и думает, и хочет жить? Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются, и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью? Что это не иносказанье, что это переживается, что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и не названный? Что это какя-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть? Что она похожа на смерть? Что она похожа на смерть, но — совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства!

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведенья, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданью. Какова была его личная жизнь? спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается — и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложенья, начинает суще-

ствовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вдыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подомгу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, — естественно ждать соответствующих симптомов и в его поведеньи.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнанье. С тех пор утекло много воды. Его признанье вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилье памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волненье. В нем мигают огоньки, и, кашляя в платки, щелкают на счетах. Его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья! И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир!

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается и мельчает и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности, намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравненьи с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней!

Но она невероятна и бесподобна, и однако так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом! Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком! Каких только слонов не делают тут из мух!

Но, может быть, врет, внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

Просят не курить. Просят дела излагать кратко. Разве это не истины?

Этот? Повесится? Будьте покойны. — Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измеренья правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представит свою драгоценность миру как очевидность, он свое заявленье измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполненьем, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве — и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а, хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

Но одинаково глупо произносятся на свете слова: гений и красавица. А сколько в них общего!

Она с детства стеснена в движеньях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, это так называемый божий мир, потому что с другими нельзя сделать

шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у нее умыслы? Она уже получает письма до востребованья. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было, что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настою некрепкое бледное небо, пыль, родина, сухие щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки, и вся в их занозах — гладкая, молодая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого она рассчитывала встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше, они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, она и он едва поспевают друг за другом, и вот дорога выводит на некоторую широту, где будто малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в то же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествия О. С. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первым известивший меня о несчастьи. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что, когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки,

скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть, так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал, и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле С—ой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

...«И чувствую, «я» для меня мало»...— складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волненья не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакиванья прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шопотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив вниманье на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стрясшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в чуть вскрывшихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз наконец вывереться в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного, Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. «Молчит?! — закричала она того пуще. — Молчит! Не отвечает! Володя! Володя! Какой ужас!»

Она стала падать, ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев на ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествленьем неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на

обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первою плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее! Хохотали. Вызывали. А с ним вот что делалось. Что ж ты к нам не пришел, Володя?!» — навзрыд протянула она, но тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему поближе. «Помнишь, помнишь, Володичка? — оживленно напомнила она и вдруг стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мало!
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит? Мама?
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уже некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу под окном мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что это этот человек был собственно этому гражданству редчайшим гражданином.

Именно у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они об'яснялись навыком к состояньям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в злободневную бытовую силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

От редакции: Печатая повесть Б. Пастернака «Охранная грамота», редакция оговаривает свое несогласие с содержащимися в повести отдельными философскими характеристиками и оценками явлений искусства, носящими идеалистический характер. Развернутую критику этой повести радакция даст в ближайших номерах.

План

Кондопога, Тракторщина, Сясь...
Волны цифр — от Польши до Китая.
Знаки скачут, искрясь и резвясь,
Но геометрически-простая
Их обволокла взаимосвязь.

Осторожность творческой оглядки
Скрыта в кажущемся беспорядке
Рудных дыр и нефтяных озер.
Это — план. Он есть. И он хитер,
Ибо песню к технике притер.

Ведь созвучья, как железо, ковки,
Ведь включил я в план моей рифмовки
Всевозможные перестановки,
И недаром в этих ста строках
Взят предельный для строфы размах.

Многокрасочна и широка ты,
Карта роста, карта скрытых сил!
Дух эпохи, творчеством об'ятый,
Треугольники, кружки, квадраты
На твоем щите изобразил.

Но, символизируя заводы,
Покажи нам, карта, и народы,
Что сквозь сеть твоих координат,
Коллективизируясь, глядят
В наши героические годы.

Там, где, высунув соседский ус,
Пан грозит нам и исходит спесью,
Новый климат близится к Полесью:
Влажный край свой сушит белорусс,
Фонды рек он учит равновесью.

Там, где жито сеют в октябре,
«Дэ з пид нызу чорноземом прэ»,
Мать-плотину строит украинец,
И горит, как бусы именинниц,
Диво, отраженное в Днепре.

Где под хруст азовских солеварен
Спит вино и сушится табак,
Там, в кругу сторожевых собак,
С пыльными отарами татарин
На Яйлу выходит из овчарен.

Где Казбек свой снег окровянил
Содержимым Лермонтовских жил,
С кровной местью распростился горец
И выходит из-под власти сил,
В чьем плену был бедный стихотворец.

Где верблюд, кочующий босяк,
Давит степь своей ступней двупалой,
Там уже воспел киргиз-кайсак
Путь, где шпала следует за шпалой,
Путь, где ног не надобно, пожалуй.

Где — прообраз цирковых арен —
Круг песков миражами обсажен,
Гонит воду из глубоких скважин
И в борьбе с пустынями отважен
Выросший на лошади туркмен.

Где разменивают на каналы
Горных рек серебряный разбег,
В медных струях моются дувалы,
И с жарой торгуется узбек,
Тратя воду с точностью менялы.

Мир Памира первозданно дик,
Солнце здесь — как боевая рана,
Здесь над пиком громоздится пик,
И с высот республики таджик
Шефствует над странами Ирана.

Рысью думку и медвежий вкус
Нужно знать, бродя по Приамурью.
Торжествуя над шаманской дурью,
Вот он вздыблен, даром что кургуз,
Шитый лыком лесовик-тунгус!

Вместо царской алкогольной дряни
Песнь антенн везут собачьи сани,
Для Госторга зверя бьет якут,

И знамена северных сияний
Над советской Арктикой текут.

Вдоль Невы, вдоль Дона и Тунгуски,
Вдоль Печоры и реки-Москвы
Ткань Союза связывает русский,
В нем сошлись окраинные швы...
Да, читатель, он такой как вы!

Не народоведческий каталог
Я пишу, чтоб позабавить вас,
Здесь не ярмарка племен и рас,
И открыт нам не со слов гадалок
Слитный путь разноязычных масс.

Выполнитель энной пятилетки,
Сто кровей в своей крови собрав,
Скажет братьям (и ведь будет прав!),
Что рудою, пущенной на сплав,
Были их сегодняшние предки.

Дух племен, и соки их, и речь —
Все идет в мартеновскую печь,
Все должно одной струей протечь.
Нас ведет планирующий гений
Через формулы соединений.

И недаром в этих ста строках
Взят предельный для строфы размах,
Где созвучья, как железо, ковки,
Где включил я в план моей рифмовки
Все возможные перестановки.

Марк Тарл

Записки Мосолова

Повесть

А. Толстой и П. Сухотин

В январе 193... года с первым сквозным поездом из Москвы в числе других делегатов мы прибыли в Берлин на конференцию русско-германских писателей.

Мы высадились, как обычно, на Фридрихсбанхоф, хотя после налета французских бомбовозов еще не закончились исправления вокзала, под грудами мусора все еще находили трупы и в огромных крышах не было ни одного целого стекла.

За поздним временем мы решили не ходить на первое заседание и, оставив в гостинице наши путевки, поспешили в ближайшее кафе утолить голод. В окно кафе мы видели площадь, залитую электрическим светом, и неимоверное скопление людей. Берлин переживал первые недели «октября». Рупоры громкоговорителей увеличивали возбуждение, крича о (всем теперь известных) событиях, прокатившихся по Западной Европе от Калабрии до севера Шотландии.

Мы курили и болтали. Сосед по столику — седой немец — поглядывал на нас поверх газеты.

— Товарищи, насколько я понял, вы— русские писатели, — обратился он к нам. — Я доктор. Неделю тому назад, во время моего дежурства в госпитале, умер ваш соотечественник, военный корреспондент Мосолов. Капелька так называемого «парижского газа» попала ему через разорванную перчатку на кожу, беднягу уже ничем нельзя было спасти. В его вещах найден дневник, который я прочел с величайшим интересом и считаю долгом передать вам эту рукопись.

Вслед за доктором мы поднялись по внутренней лестнице из кафе в гостиницу средней руки, где на площадке еще стояли пулеметы и красный фронтовик спрашивал пропуска.

Доктор ввел нас в свою комнату, сбросил с дивана ворох противогазов и предложил сесть. Стены были завешены необычайными рисунками плакатов, созданных суровым гением тех недель,— мрачными, как ненависть, и упрощенными, как движение руки, зачеркивающей старый мир.

— Искусство великого голода, щедро брошенное на перекрестке, на волю ветра, и дождя, — сказал доктор, указывая на рисунки. Он вытащил из-под кровати, из чемодана, три клеенчатые тетради, видимо, не раз побывавшие в походной сумке, и протянул их нам. Это были дневники Мосолова, корреспондента «Известий», погибшего тридцатисеми лет от роду в Берлине во время последней попытки остатков армии генералиссимуса Воргана подавить коммунаров.

Эти дневники, записки и материалы мы решили не только опубликовать, но и дополнить их тем, чему были свидетелями сами и что слышали от современников...

Ноябрь 1918 г.

...Все это до чрезвычайности просто, дешево и, если бы не было так кроваво гнусно, — походило бы на скверно разыгранную пьесу где-нибудь в пожарном сарае...

Шестнадцатого ноября экстренный поезд французского генерала Жанена задержался в пути на три часа... Жанен назначен Парижем главнокомандующим всеми военными силами белых в Сибири... Полковник Уорд, представитель Англии, — в сдержанном бешенстве. У него под командой один только Мидльсекский батальон. У Жанена, кроме русских, — пятьдесят тысяч чехо-словаков... Итак, Франция кроет Англию и у нас в Омске спешно перестраивают ориентацию.

...Роту Омского полка, стоящую в почетном карауле, несколько раз уводили греться в зал третьего класса. Там — по неделям сотни пассажиров ожидают маршрутного поезда... Все это валяется на полу, старики и дети ходят под себя, потому что на улице пятьдесят градусов мороза... Поминутно визжит дверь, морозный туман ползет сквозь вонь... Это наш тыл...

Солдатешки тоже зябнут в английских шинелях и злобно поглядывают на чешских легионеров... Эти одеты с шиком,— в белые валенки и короткие нагольные полушубки... На вокзале они появляются, чтобы достать спирта у казаков атамана Красильникова. Атаман встречает генерала Жанена. Казаки — у себя в теплушках, окутанных дымом и паром от пельменей, — варят их в чайниках, торгуют спиртом, режутся в карты. Женщинам прохода нет мимо их эшелона. Вот это жизнь.

...Перрон подметен, посыпан песком. Убожество вокзала скрашено хвойными гирляндами, трехцветными флагами и гербами французской республики... Эсаул в голубом казакине, в белом башлыке с золотой кистью командует казакам построиться. Солнце висит в ледяной мгле, все скрипит.... Красномордые, гладкие казаки — шатаются. Пьяны, как дым. У пехотинцев Омского полка настолько жалкий вид в плохо пригнанной амуниции, выданной только ради торжественного случая, что их решено построить редкой цепью вдоль линии, с французскими флажками на штыках... Жанен их увидит из окна вагона...

Я дежурю при военном министерстве директории.

Колчак необыкновенно возбужден. Вообще он подвержен резким сменам настроений. Так, перед тем как ехать на вокзал, он сидел у стола (в военном министерстве), мрачно подперев голову руками... Затем он попросил оставить его одного, и через минуту-две вышел веселый, с блестящими глазами.

В автомобиле он расспрашивал меня, где я научился так хорошо говорить по-английски, люблю ли я англичан. Слушал мои ответы рассеянно и вдруг вернулся к нашей вчерашней беседе:

— Так вы жили в Сербии?

— Да, ваше превосходительство.

— Напомните мне об этом... через несколько дней.

Все это очень прозрачно... Затем он закрыл глаза и откинулся на сиденьи. Но нас так подкидывало на ухабах, что с него слетела вице-адмиральская фуражка...

— Тысячи бездельников валяются на вокзалах, — сказал он с досадой, — а улицы разметать некому... Это очень характерно, очень характерно...

(Очевидно, характерно для правительства директории)... Колчак — петербуржец, брезгливый, привыкший к хорошему уходу, к торжественным под'ездам со швейцарами и прочее... И вдруг — омская дыра... У вокзала он бодро выскочил из машины, оправил романовский полушубок с морскими погонами, заскрипел обсоюзенными валенками. Из морозного пара вырос перед ним атаман Красильников, — грузный, рыхлый, со всклокоченной рыжей бородой на мучнистом, опойном лице. Крикнул резким бабьим голосом:

— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!.. (Не просто, а высокопревосходительство... Знаменательно!)

Адмирал что-то сказал ему тихо (я не расслышал), атаман хлопнул себя по серебряным ножнам шашки:

— Все будет в порядке! — но не выдержал тона, захохотал, как филин. Адмирал нахмурился. Атаман тотчас подавился смехом и, извинительно согнув спину, проследовал за военным министром в особые комнаты вокзала. Казаки лихо взяли на-караул. Колчак метнул под козырек. Двери сами собой рас-

пахнулись. Проходя мимо членов директории (Авксентьев, Зензинов, товарищ Нил — весьма жестокий демократ, занимающий должность что-то вроде секретаря при директории), — Колчак поклонился небрежно. Он прямо обратился к полковнику Уорду.

— Сэр Джон Уорд. Я не вижу ни одного из ваших солдат в карауле.

Полковник показал все свои желтые зубы, потом так, будто слова доставались ему с величайшим трудом, ответил по-русски:

— Я нахожу, что пятидесяти тысяч чехо-словаков вполне достаточно для торжественной встречи главнокомандующего.

Затем (окончив официальную часть) улыбнулся Колчаку, как джентльмен джентльмену.

Ко мне подошел командующий округом генерал Матковский:

— Решительно ничего не понимаю. Полковник Уорд до сих пор не дает ответа, почему караульным частям не выдали английских фуфаек. Поручик, найдите Франка и попросите его сегодня же добиться толку. Если бы я знал, как по-английски именуют матушку, с удовольствием кое-кого бы обложил...

Франка в буфете не оказалось. Я подошел к его жене. На ней были чернобурые меха, дьявольски пахнущие французскими духами. Она держалась в манере сломанного цветка, что должно было произвести на Жанена несомненное впечатление. С ней была неразлучная Имэн, тоже в мехах, с французским флажком в руке, — вздернутый носик, великолепные веселые глаза,—стиль кокотки, что, по-моему, здесь гораздо более к месту.

Дамы накинулись на меня с вопросами о сегодняшнем банкете. Весь Омск взбудоражен этим банкетом. Ни одной свободной портнихи. Дамы сами переворачивают довоенное тряпье,—Жанен должен увидеть, что революция революцией, но русские женщины, как всегда, на высоте.

Я еще раз заговорил с Магдалиной Франк о полковнике Уорде. Она все еще колеблется, — по-моему, от лени. Ее чем-то нужно пришпорить. Франка я нашел на перроне. Он тряс за грудки низкорослого, в сосульках, солдатика, — у него болталась голова, и, как от лошади, шел пар, в руках держал поднос с хлебом-солью.

— Опоздал, сукин сын!.. Шомполов захотел! Иди, иди к барыне, мерзавец! Да не урони!

Он толкнул солдатешку в дверь, сунул застывшие руки в карманы полушубка, накокаиненными глазами глядел на дымы, застилающие морозное солнце. Я спросил его об английских фуфайках. Он опять обозлился:

— Русскому командованию нечего впутываться в дела Уорда. Раз он фуфаек не дает, значит, имеет основание. Еще Жанен приедет, тоже будет распоряжаться. Вообще, — публичный дом!..

— Планы Уорда смелы и решительны, — сказал я Франку, — Жанен, конечно, будет им противиться. Мы должны поддерживать Уорда всеми силами. Ты согласен?

Для меня не было сомнений, что отсутствие в почетном карауле Мидльсекского батальона будет принято как враждебный ход со стороны Англии. Директория, разумеется, в таких тонкостях не разбиралась, понимает это один Колчак (он замещает главнокомандующего генерала Болдырева, так как тот внезапно уехал на фронт). Тем более знаменательно его замечание Уорду, сказанное в форме скорее дружеского упрека. А по существу он должен был бы намылить голову англичанину.

Поезд подходит к семафору. Все вываливаются на перрон. Четыре военных оркестра дуют марсельезу. В облаках пара проносится два курьерских паровоза. На площадке салон-вагона генерал Жанен. На нем короткая французская шинель с бобровым воротничком. Серого каракуля кэпи, блистающий золотом шнурков (наши дамы обмирают). Он коренаст, среднего роста, с бородкой, густой румянец, строгие галльские глаза. Ему лет сорок. Человек из другого мира. Едва он подносит руку к кэпи, — двойная шеренга красильниковских казаков неистово орет «ура!». Атаман в административном восторге. У

Колчака каменное лицо. Уорд дымит трубкой. Жанен хочет говорить. Атаман простирает руки вдоль фронта. Жанен начинает на прекрасном русском языке, отчеканивая слова по-гвардейски:

— Рад снова видеть русских орлов...

Красильников, казаки, не выдержав, снова ревут «ура!». Жанен с улыбкой здоровается с членами директории; у этих, кстати сказать, вид крайне жалкий: ради демократического кокетства они — в стоптанных валенках и обтерханных шубах. Затем Жанен здоровается с Колчаком. Происходит как бы очень короткая, но торжественная пауза. Дамы задыхаются от любопытства. Жанен передает ему приветы от президента Вильсона, от Массарика, от генерала Марша, с которым он виделся в Нью-Йорке. Колчак не успевает ответить. Дама-благотворительница, самарская купчиха Олимпиада Ивановна Курлина, выхватывает у здешнего купчины Савватия Мироновича Холодных серебряный поднос с хлебом и солонкой (по крайней мере человек двадцать стоят за хлебом-солью) и кидается, как в церкви, на колени перед Жаненом:

— Спаситель! Же сюи а во пье! — с ужасающим акцентом, но упоенно.

Жанен втягивает голову в плечи, раздаются бурные аплодисменты, все улыбаются, все растроганы, у Курлиной текут слезы. Жанен поднимает ее и целует.

Жанена ведут в вокзал. Хор кадетов и учениц института благородных девиц затягивает какую-то французскую песенку сочинения омского танцмейстера Теставена. Жанен любуется детьми, но пение слишком затягивается. Выручает атаман Красильников, — в облаке морозного пара влетает с перрона, за ним — казаки, и — во всю глотку — с присвистами:

Нам, казакам, не годится
Пехотинский русский штык,
На седле у нас девица,
А на пике большевик!

В общем все это похоже скорее на восторг, чем на заранее обдуманную встречу. Жанен, наконец, отбывает в автомобиле Колчака, убранном бело-зелеными лентами.

Ко мне подбежал мальчик, до колен закутанный в мамкину шаль. С ревом ткнулся мне в колени. Я нагнулся, — в лукавых глазах мальчишки ни слезинки, и в моей руке мятая записка. Я понял и поспешил сунуть ее в карман. Мальчик исчез. Подошел Франк.

— Я еду с Уордом. Проводи, пожалуйста, жену, она ждет в моей машине.

На Магдалину приезд Жанена произвел сильное впечатление. В автомобиле, царапая замерзшее стекло, она сказала:

— Мстислав Юрьевич, вы — таинственный человек, вас никогда не добьешься, куда-то все исчезаете... А мне нужно вас о многом, многом спросить. Между прочим, в городе говорят, что ваша фамилия не Мосолов-Дмитриев.

— А еще что обо мне говорят? — (Спросил это, глядя в глаза; она хитро улыбнулась)...

— Будто бы вас несколько раз видели переодетым за Иртышем, в рабочей слободке.

— Говорите уж прямо: большевик, шпион и прочее. (Ее зрачки остановились, расширились... Нет, этого она, конечно, не думает.) А вот про вас и Франка говорят, что вы английские шпионы. (Не моргнула, только высоко подняла брови.) Ну-с, мы квиты, моя дорогая, О чем хотели со мною говорить?

Она близко придвинулась.

— Мстислав Юрьевич, расскажите, что будет с войной? Я почему-то в ужасной тревоге. Франк все время намекает на какие-то головокружительные планы Уорда, — о походе на Север, о соединении с англичанами в Мурманске и Архангельске... Об английском флоте в Ледовитом океане. Говорят, что гениальный план. А какие планы Жанена? Франк сказал, что совершенно противоположные... Боже мой, как все это сложно, как запутано. Кто сильнее, англичане или французы?

Бедная женщина, действительно, запуталась в политике... Я постарался раз'яснить ей «английскую точку зрения». Мы условились, что вечером я ей представлю Уорда...

Прочитал наконец записку, она была от Лутошина: «Немедленно вступи

в МООР. Тревожные сведения, торопись».

Я отпустил автомобиль и пошел пешком. Помнил цвет дома, вывеску с изображением охотника и лайки, по соседству пустырь, но где это — вылетело из головы. Я свернул на базар. Были уже сумерки, торговля на омских базарах кончается засветло, потому что цену на керосин спекулянты раздули неимоверно. Электричество дается только в учреждения и в квартиры высоких особ. Однако главная беда лавочников заключается не в этом — покупатель расходы вернет, — а в том, что с темнотой из слобод, с окраины наползают толпы голодных обывателей, обмороженных и полуголых, нищих рабочих с мукомольных мельниц, с лесопильных, маслобойных заводов, — все это грозит разгромом продовольственных лотков. Случается, что с ведома военных властей голодным солдатам отдается на поживу какой-нибудь базар. Город, особенно по ночам, похож на осажденную крепость. На утро подбирают трупы замерзших. Одни железнодорожники кое-как усилиями комитета добывают жалкое пропитание, но комитет под постоянной угрозой разгрома. Беженцы из деревень, выжженных атаманскими казаками, предлагают себя за копейки. Директория занята делами высшей политики, укреплением власти и партийными дрязгами, к остальному относится так, что, мол, — образуется.

У рогожной, занесенной снегом палатки наткнулся на казачий патруль.

— Кто идет?

— Поручик Мосолов-Дмитриев.

— За кого стоишь? — угрожающе спросил казак. — Небось, за директорию?

— Я ищу Михайловское общество охоты и рыболовства.

— Свой, — с неохотой сказал другой казак и указал на угловое здание.

По грязной лестнице я поднялся во второй этаж... Воняло отхожим местом, под ногами хрустнуло бутылочное стекло, на двери с надписью «Канцелярия» на месте ручки болталась грязная веревка. Та же безысходная грязь была и в прихожей.. На лавках, на полу, на подоконниках сидели казаки, курили, ругались, из железной печки вывалилась и чадила головешка. Кое-кто лениво поднялся и отдал мне честь. Похоже было, что я попал в военное учреждение.

За столом секретаря Общества охоты и рыболовства сидел жандармский чин с мутными глазами и ковырял в зубах спичкой. Тут же недоеденные консервы, недопитая бутылка водки.

Я представился и сказал, что хочу вступить в члены общества. Другим концом спички он поковырял в ухе, оглядел меня сверху вниз, поцыкал зубом:

— Что ж, на медведя хотите?

— На что уж придется.

Он прищурился:

— Насчет медведя не скажу, тут нужны люди опытные... А вот на зайчиков на-днях будет облава.

— Согласен и на зайчиков.

— Зайчики у нас преимущественно железнодорожные... — (Я продолжал не понимать, он, подняв плечи, отчеканивающим голосом): — Поручик, бывают времена, когда всякую забаву можно обратить на пользу отечества. — (Я глупо моргал). — Так вот, господин поручик, да будет вам известно, на языке Общества охоты и рыболовства облава обозначает защиту от красной сволочи, причем медведь — комиссар, заяц — рядовой большевик. Так то-с! Следовательно...

Я перебил:

— Когда же вы хотите это устроить?

— Вопрос поставлен по-военному! — Он звякнул шпорами. — Господин поручик, о дне облавы будет об'явлено особо. С вас единовременный взнос пятнадцать рублей семьдесят копеек.

В соседней комнате поднялась суета, дверь пихнули ногой, появился Красильников. Увидев меня, осклабился, полез обниматься:

— Мстислав Юрьевич, ты наш?.. Вот это да, вот это спасибо!

Я едва освободился от его лапищ, от прокуренной, в винном перегаре бородищи. Он проводил меня до двери, и на этот раз вскочили все казаки, лихо

мне откозырнули. У печки, спиной к дверям, грелся какой-то человек в оленьей шапке и в ватной женской кофте, перепоясанной веревкой. Он быстро обернулся, я похолодел. Это был Петр. Неужели они его?.. Я быстро вышел.

За углом, за воротами дома, происходила какая-то возня. В сумерках, нельзя было разобрать, — кто-то говорил умоляющим, сдавленным голосом:

— Голубчики, ничего... Сейчас умереть, ничего...

— В сапоги спрятал, сукин сын,— хрипел другой, и опять начиналась возня, и голос умолял:

— Голубчики, я мимоезжий... Сейчас умереть, мимоезжий...

Ввязываться не имело смысла. Я опаздывал на дежурство. Невдалеке виднелись санки, я нагнал их. Заслышав шаги, лошадь сама остановилась, обернула морду и заржала. В санях никого не было. Я понял, что возница остался там — под воротами. Я прыгнул в санки и погнал лошадь. Однако мне суждено было еще раз задержаться. От здания Коммерческого клуба бежал человек и неистово кричал мне:

— Стойте! Ради господа, остановитесь!

На нем была жиденькая офицерская шинель, башлык и оленьи варежки:

— Пароль, ради бога! Скажите пароль! Я штабс-капитан Закржевский. Я только что приехал... Сейчас казаки схватили военного, но он не знал пароля...

— Вы из армии Деникина?

— Да, да, да, — у него едва шевелились губы от холоду, — у меня пакет к адмиралу Колчаку.

Я втащил Закржевского в санки:

— У вас отморожены щеки. Где вы живете? (Он неистово тер себе лицо, весь трясся и был как бы без ума.) Я — ад'ютант Колчака, — крикнул я ему и тряхнул за плечо. — Вы только что с вокзала? (Он закивал.) Поедем ко мне. Согласны?

Нужно было торопиться. Я нахлестал лошаденку и вскач в'ехал во двор. Вместе с дворником мы выволокли из саней Закржевского и привели в мою комнату. От тепла он сразу осоловел и не мог даже развязать башлыка. Через несколько минут деникинский пакет был у меня в кармане...

Когда я пришел на дежурство, в передней старинные часы пробили восемь и по всем комнатам началась перекличка часов. Дом, где стоял Колчак, принадлежал купцу Волкову, большому любителю часов с бойной музыкой. Волков сам предложил адмиралу свой дом на весьма выгодных условиях («Да хоть даром, ваше превосходительство! Ни за чем не постоим»). Он выговорил одно только условие, — чтобы ему было разрешено приходить каждый день проверять часы. Когда в городе узнали, что он отдал особняк, а сам поселился во дворе, во флигеле, многие разводили руками, уж очень было не похоже на Волкова. Но не так оценил этот поступок другой наш воротила по купеческой части, мукомол Савватий Миронович Холодных, — с этого дня между ним и Волковым установилась теснейшая дружба, и Холодных стал вхож и к самому адмиралу.

В дежурной я по обыкновению застал Волкова. Старик возился с часами, постукивая по стеклу желтым ногтем. Когда я повернул штепсель люстры, в дверях мелькнула шелковая юбка уходящей Темиревой. Странно — Анна Федоровна как будто никогда не появлялась в официальной половине дома.

— Экономка-с, — покашливая, сказал Волков и хитро посмотрел на меня. — Для порядку-с все ходит... (Помолчав.) Что-то в городе все стреляют-с... Беспокойное время... Атаман Красильников с полковником Волковым, моим однофамильцем, только что тут были. Видно, тоже беспокоятся...

Я сказал:

— А что, видно, плохо без хозяина-то?

— Без хозяина и даже в малом деле плохо-с. (За дверью, мне показалось, опять зашуршало платье...)

Старик хихикнул, покашлял и, потирая ручки, спрятал глаза в ладони:

— Так-с, так-с... Без хозяина ни в каком деле нельзя-с.

Быстро вошел адмирал. Он был в парадной морской форме. Над скулами его дрожали мелкие морщинки, как всегда, когда он в возбуждении. Я подал ему пакет Закржевского.

— Из штаба Деникина. Привезено добровольцем. Он у меня в квартире в жару, без памяти...

Колчак разорвал конверт и быстро просмотрел военные сводки...

— А где письмо? Здесь должно быть письмо. Странно! — Он нахмурился, еще раз пробежал бумаги, сунул их в карман сюртука. Морщинки опять заиграли над скулами.

— Поручик Мосолов, едемте на банкет.

В автомобиле он почему-то стал рассказывать мне о том, как, еще будучи в чине лейтенанта, в первый раз в жизни прочел какую-то политическую брошюрку и с тех пор почувствовал отвращение к политике. И вот теперь, «на старости лет» приходится заниматься этим скучным делом.

— Мое убеждение, что власть порождается самим народом, его великодержавным сознанием. Важно понять волю народа. Власть, понявшая это, будет прочна и законна.

— Вы читали Гегеля, ваше превосходительство?

— Нет. А что, это интересно? Напомните мне как-нибудь...

Банкет в честь прибытия генерала Жанена. В зале купеческого собрания столько свету, что во всем городе выключено электричество. Под хвойными гирляндами и огромными из шелка флагами — трехцветным французским и двухполосным белым-зеленым — сибирско-русским — эстрада. За столом члены директории (пиджаки, но воротнички уже крахмальные, валенок не видно), министры в черных сюртуках (особенно живописна растрепанная, обсыпанная перхотью фигура председателя совета министров Вологодского). В передних рядах партера — цветник из наших дам, в перемежку с генералами, статскими советниками (в орденах), даже какой-то сенатор, со слуховой трубкой и красной анненской лентой через грудь.

Я остался у двери. Адмирал прошел к столу. Это было как раз в то время, когда глава правительства (и член ЦК партии социалистов-революционеров) Николай Дмитриевич Авксентьев говорил приветственную речь союзникам.

Его длинные русые волосы были откинуты, великолепный лоб, небольшие светленькие глаза горели пафосом, как у Дантона или Камилла Демулена на трибуне Конвента (кстати он упомянул о них Жанену, что, по-моему, было бестактно). Он прекрасно владел мимикой, особенно движениями подстриженной с боков бороды, когда, захлопнув рот, вздергивал ее торчком прямо в зал. Рука рубила в воздухе скопление московских комиссаров, голос поднимался до угрожающих высот, он вытягивал руку, вытягивал палец и с высот переходил на сиплый шопот...

Я слышал, как Уорд, не потрудясь даже понизить голоса, сказал Франку:

— Второе издание Керенского...

Я не стал слушать и вышел в вестибюль. Там, развалясь на диванчике, сидел атаман Красильников. Около него стоял комендант Омска полковник Волков и его ад'ютант — поручик Дурново — длинный болван в широчайших галифе. Все трое были под градусом. На широких скулах Волкова багровые пятна, подстриженные усы щетинились над говяжьими губами:

— Демократы! Директория!—говорил он сочным хрипом,—посадили пять дураков! Морды их видеть не могу. Какая это власть? — в пиджаках! Эсеры, шляпы!

Красильников:

— Генерал Жанен личный друг покойного государя. Почтим гимном.

Заметив меня, Волков предостерегающе подмигнул. Рожа атамана расплылась:

— Ничего! Мстислав Юрьевич свой. Почтим, почтим, я уж распорядился.

За дверью гремел голос Авксентьева:

— ...Ради высокой идеи революции мы должны отвести от России воровскую руку большевиков...

— Высокой идеи! — передразнил поручик Дурново, покачиваясь на тонких ногах. — Высокой идеи, сволочь!

В зале почему-то поднялся шум, позвонил колокольчик. Из второй двери выскочил казак, козырнул Красильникову:

— Атаман, боятся, как бы чего...

— Скажи музыкантам, я приказываю! — выкатывая глаза, Красильников начал приподниматься. Казак кинулся в зал. Оттуда Авксентьев на самых верхах:

— ...Перед лицом присутствующих господ представителей союзных великой России держав: Франции, Англии, Чехо-словацких земель, Японии, Китая, Сербии, Польши в лице моем русское правительство... (Красильников: «Пора бы этому лицу набить по морде!»)... Граждане! Во всеоружии революционной мысли и техники союзных и наших войск я говорю вам: с нами на Москву!.. (Голос с потолка слетел до сиплых трагических низов)... Союзники, с нами на Москву!..

В это время сорок медных труб казачьего оркестра грянули «боже, царя храни»... Поручик Дурново, звякнув шпорами, приоткрыл дверь. Почти весь зал стоял, на лицах — радостное недоумение... Авксентьев в столбняке, с раскрытым ртом.

Из зала выпорхнула очаровательная Имен:

— Ах, чудные, чудные звуки!

За ней товарищ Нил, волосы буквально дыбом:

— Скандал! Позор!

Красильников — в упор ему, — отчеканивая:

— Не скандал, а русский гимн, — и, развевая бороду, весь, как красное солнышко, устремился в зал.

Нил накинулся на Волкова:

— Вы должны понять, это идейный провал!..

Волков — (это управляющему-то министерством):

— Пошел ты к чорту, чернильный карандаш!

Товарищ Нил, бормоча что-то о провале революции, отряхнул прах с ног, скрылся. Волков, кивнув дежурному казаку на спину товарища Нила:

— Запомнил этого?

— Так точно.

— Загни палец.

— Слушаю.

Затем из зала появились смеющийся Жанен, нахмуренный Уорд и адмирал с блуждающей усмешкой.

Жанен:

— Я кончил русскую академию генерального штаба, я знаю Россию: русские всегда были парадоксальны.

Уорд:

— Генерал, я — демократ. Я не могу улыбаться этому «боже царя храни»...

Колчак, опустив глаза:

— Полковник, в России больше нет монархистов.

В дверях стоял Авксентьев, лицо бледно и решительно, подмышкой набитый портфель:

— Господин военный министр, — резко сказал он, — как вам это нравится? (с упором на «это».)

Колчак, неспеша повернулся:

— У нас есть армия, но нет своего гимна.

— Марсельеза! — крикнул Авксентьев и, ни на кого больше не глядя, побежал через вестибюль в банкетный зал. За ним другой член директории — Зензинов. Адмирал улыбнулся, Жанен улыбнулся, всегда каменный Уорд тоже улыбнулся. В разговор вступило четвертое лицо, весьма живописное по внешности, так сказать, становая жила омского купечества, Савватий Миронович Холодных, — весь плотно сбитый, на расставленных коротких ногах, курчавый, как цыган, с налитыми щеками и смоляной от уха до уха бородой (яркий галстух и шикарный какого-то голубого цвета костюмчик из Токио), он поклонился по-старинке, положивши мясистую ладонь на сердце (адмирал сейчас же его представил), и деликатным тенорком в сторону Жанена:

— Вот, господа иностранные генералы, в какую беду матушка-то Россия попала... Беги без оглядки... (Любовно задержав руку Жанена и нагло упершись в него немигающими черными глазами)... Матушка наша Россия золотое дно, да народ — вор, напужать его надо покрепше. Вы уж нам подсобите, господа иностранные генералы.

Жанен с легким поклоном:

— Франция не останется равнодушной к судьбам русской промышленности.

— За это мерси. А что, извините, затрудню еще, в Париже слыхать насчет движения капитала? Беда наша, денег нет.

Жанен отвернулся. Подошел министр финансов Михайлов. Жанен с любопытством глядел на его красные, почему-то всегда грязные руки, прижимающие к животу портфель. Михайлов заговорил о предстоящей в ближайшие дни выставке золотого запаса, как известно, вывезенного чехо-словаками из Казани. Этим золотом козыряли во всех речах. Теперь, по мысли Михайлова, предполагалось показать со всей пышностью эти сокровища, чтобы решительно ударить по нервам союзников. Уорд был чрезвычайно заинтересован выставкой, они с Михайловым отошли к окну, где министр финансов стал вынимать из портфеля и показывать ему какие-то списки.

Публика переливалась из зала в банкетную. Военные, проходя мимо Колчака и Жанена, почтительно подтягивались. История с гимном всех, видимо, взбудоражила, как будто ждали, что должно произойти еще что-то более серьезное. Колчак и Жанен говорили вполголоса, но мне удалось уловить несколько фраз, чрезвычайно знаменательных:

Жанен:

— Итак, каковы же планы военного министерства?

Колчак:

— Планов, генерал, пока не существует. Планы есть, но директория страдает нерешительностью суждений.

Жанен:

— Перед от'ездом из Парижа я беседовал с Пуанкаре. Он высказал ту мысль, что Россия с падением Керенского изжила демократические формы и назрел вопрос о единовластии.

Колчак, с живой заинтересованностью:

— Пуанкаре говорил о диктатуре?

Жанен:

— Адмирал, я передаю только пожелание истинного друга России. Историческая аналогия между сегодняшней Россией и Францией эпохи Наполеона напрашивается сама собой, но я затруднился бы сказать, кто назавтра у вас проснется Наполеоном.

Жанен очаровательно засмеялся. Ответив улыбкой, Колчак взял его подручку и, сделав несколько шагов по направлению к банкетной, сказал фразу, облетевшую потом все собрание:

— Да, вопрос о власти — это больной вопрос.

Из банкетной выскочил генерал Шерстобитов (неизвестно, когда, где и кем произведенный в генералы), — лихой мужчина с жандармскими подусниками, с бутоньеркой, надушенный кариолеписисом, неизменный распорядитель ужинами и танцами в Омске.

— Дорогие гости, — отчаянным голосом завопил он, — господа офицеры! Чем бог послал... По-русскому — хлеба-соли... А ла фуршет... Прошу... Силь ву пле... Умоляю!

Минут за пять до второго разразившегося скандала я встретил Магдалину. Она опоздала (портниха задержала платье) и теперь, очень возбужденная и запыхавшаяся, разыскивала меня в толпе. Я спросил об Уорде, она взяла меня под-руку:

— Да, да... Я решилась... Жалованье он будет платить в английских фунтах? Чудно... А вдруг он найдет, что я ужасно говорю по-английски?

— Он ничего не найдет... Во-первых, вы красивы, во-вторых, — единственная женщина в Омске, знающая три языка...

Уорд продолжал еще у окна разговаривать с Михайловым. Около них стоял Франк (ад'ютант Уорда). Франк был послан сибирским правительством во Владивосток встретить полковника Уорда, когда тот после неудачных операций со своим Мидльсекским батальоном против красных (на участке озера Ханки) получил приказ Верховного военного совета в Париже — направиться в Омск, куда Уорд вместе с Франком и прибыли 18 октября, несколькими днями позже Колчака. Франк с востор-

гом рассказывал об этом путешествии; начиная от Иркутска сплошь гремели банкеты в честь войск английского короля... Англичане, сами гордые англичане пришли нас спасать, — это не то что сволочь, япошки, набившиеся здесь, как клопы, во все щели...

Я подвел Магдалину к Уорду. Франк хмуро и пристально глядел на нее:

— Сэр Джон Уорд, — сказал он, — я давно хотел просить у вас разрешения — представить мою жену...

Уорд соскочил с подоконника, вытянулся, поджал губы. Он сразу, видимо, оценил красоту Магдалины. Нагнулся над ней, как журавль в колодезь:

— Я счастлив. С вашим мужем мы уже большие друзья, леди. (В этом некстати брошенном «леди» было больше фамильярности, чем уважения.)

Магдалина очаровательно порозовела, ответила, что не смеет надеяться быть его другом, но «когда в этом ужасном Омске видишь англичанина — кажется не все еще в жизни потеряно...».

— Леди, перед красивой женщиной открыт весь мир...

Надлежащее впечатление было произведено. Я сказал Уорду, что исполнил его просьбу и нашел ему секретаря, знающего три языка. Поняв наконец, что этот секретарь — Магдалина, Уорд пришел в неподдельный восторг. Он заговорил о Лондоне, о Париже, о русских женщинах и сибирской зиме, даже о Льве Толстом... Предложил Магдалине руку, и они последовали в банкетную.

Франк задержал меня.

— Слушай, — сказал он, потирая висок, — Уорд на чем свет ругает Жанена. Не дать бы маху насчет ориентировки.

— Вздор! — ответил я. — Англичане и французы по-разному представляют будущее России, только и всего.

— Ну да, Уорд демократ, а Жанен...

— Не валяй дурака! Какая там к чорту демократия! А что касается ориентировки — дело вкуса, — под каким соусом нравится, чтобы тебя слопали.

Франк захохотал. Кокаин разлагает остатки его мозгов.

Скандал, которого все с нетерпением ждали, произошел после горячей закуски. Есаул из отряда Красильникова, опорожнивший нарзанную бутылку голого спирта, воодушевился, оттолкнул стул и провозгласил тост за великого князя Николая Николаевича. Музыканты грянули Преображенский марш. За столом началось неистовое возбуждение, даже Жанен несколько растерялся, стоя с бокалом в руке и с улыбкой оглядывая собрание. Некоторые лица, в том числе Савватий Миронович Холодных и все красильниковские офицеры, так неистово орали «ура», что членам директории — Авксентьеву и Зензинову оставалось только с большим моральным уроном покинуть банкет. Выскочив в вестибюль, Авксентьев накинулся на атамана Красильникова:

— Позвольте вам заметить, ваши офицеры ведут себя недопустимо!

На это атаман с дьявольским хохотом ответил главе правительства:

— Так точно, ребята веселые.

Всегда уравновешенный, чистенький Зензинов неожиданно накинулся на атамана:

— Прежде всего ваша обязанность охранять власть! Мы власть! Мы требуем!

Авксентьев, теряя равновесие:

— Я требую, как глава правительства, я требую представить мне список всех нарушителей революционной дисциплины!

Атаман отступил на шаг, руки полезли в бока, нос вздернут, рот до ушей, знал ведь, подлец, что в ту минуту, внезапно наступившую минуту, ему нужно произнести историческую фразу. И он сказал со зловещим подвыванием:

— Прикажете и вас туда включить в первую голову?

Опять пауза. В дверях банкетной толпа. Любопытство до границы истерики.

Авксентьев металлическим голосом:

— Вы будете об'явлены вне закона!

Красильников еще наглее:

— А вы вне банкета!

В это время Колчак появляется в дверях и, заложив руки за спину, спокойно наблюдает за падением престижа правительства.

— Господин военный министр, — с бешенством говорит ему Авксентьев, — предлагаю вам вместе с нами покинуть банкет.

Колчак спокойно:

— Это что, приказанье?

— Да, это приказанье!

Колчак секунду думает, пожимает плечом, поворачивается и уходит в банкетную.

Красильников с хохотом:

— Лихо!

Авксентьев в спину Колчаку:

— Вы больше не министр!

Он и Зензинов покидают банкет. Оркестр играет вальс «На сопках Манчжурии».

Когда я возвращался домой, в стороне вокзала догорало огромное зарево. Из-за Иртыша редкие выстрелы. На улице тьма. Извозчик говорит, что горят вагоны с хлебом:

— Народу жрать нечего, а они хлеб жгут.

— А кто они-то? — спрашиваю.

Извозчик отвечает:

— Известно кто, поставщики, первое — Савватий Мироныч Холодных. У них все застраховано, а потом разбирай, что в вагонах-то было.

Мне пришлось стучать. Испуганная хозяйка торопливо открыла дверь и шопотом:

— Казак был с бумагой.

Казаки навели такую жуть на обывателей, что уж если приходил казак, да еще с бумагой, — жди несчастья. Причитывая шопотом, хозяйка побежала вперед и вздула свет в моей комнате. На диване в жару спал Закржевский. Пакет, принесенный казаком, был от Михайловского общества охоты и рыболовства.

Срочно.
Конфиденциально.

Милостивый государь!
приказом председателя общества на завтра в 11 ч. утра созывается экстренное заседание правления по вопросам облавы, куда приглашаетесь Вы особой просьбой.

Секретарь общества
Штабс-ротмистр Дудкин

Сейчас же, на том же извозчике, я поскакал на вокзал и оттуда окольными путями, пешком пробрался через сугробы на полустанок «Раз'езд». В окне железнодорожной будки светился огонек. Постучал в стекло. Вышла Прасковья Лутошина — стрелочница — неласковая, настороженная. Послал ее за мужем. Он появился минут через десять. Вошли в жарко натопленную будку, и он, разматывая шарф:

— Значит, записку получил?

— А ты Петра-то зачем подсылал? Для верности, что ли? Все еще не верите?

— Да нет, — сказал Лутошин, снимая шапку, и пригладил жесткой ладонью густые серые кудри. — Верить тебе — верим, Мстислав Юрьевич. Да дело такое, что и проверять не мешает.

— Ну, ладно. — Я рассмеялся. Мы сели. Я подробно рассказал о посещении Михайловского общества. Передал ему письмо Деникина (то, что Колчак не нашел в конверте с бумагами) и повестку Дудкина. Лутошин долго читал, долго и мрачно молчал.

— Они готовятся, — сказал он, — мы этого давно ждем.

— К чему готовятся?

— Поворот на диктатуру. У нас такие последние сведения, — поддерживать теперь не мелкую буржуазию, — меньшевиков, эсеров, либеральную интеллигенцию... Эти просыпались. А поддерживать промышленный комитет и крупное купечество... Видишь ты, — Япония почти до Байкала отхватывает восток, японцы прямо прут к чему надо... А тут все еще дурака валяют... Да, ждать надо большой крови.

— Откуда сведения?

— Будь покоен — из верных рук... Хотя бы из Москвы... (Он приоткрыл рот и ясно, с каким-то даже юмором глянул мне в глаза.) — Вот как, друг любезный, — и без того мы в подпольи, а теперь на три сажени в землю надо уходить...

У супругов Франк файф-о-клок. Купчиха Курлина, Имен, Аполлон Аполлоныч Бенгальский, кто-то очень важный, с геморoем, из Петербурга, ураль-

ский заводчик Баранов, и на главном месте за чайным столом полковник Уорд и генерал Жанен. Разговор на трех языках. Английские папиросы, ром с головой негра и пылающие от радостного возбуждения щеки Магдалины.

Жанен рассказывает ей о мировом перевороте: парижанки надели короткую юбку до колен... Дамы всплескивают руками... Оживленный спор, — это эмансипация женщины? Нет, нет, это всего лишь послевоенный цинизм. Магдалина в черном бархатном платье, изумрудная брошь, изумрудные серьги. Она обожает изумруды. Уорд посматривает на нее тяжелым взглядом. Для роли мадам Рекамье не хватает политического образования. Я прихожу на помощь и сообщаю сенсацию (разумеется, прося не выносить ее за эти стены): члены директории Авксентьев и Зензинов по настоянию Колчака и Болдырева подписали приказ министру юстиции Старынкевичу о каких-то будто бы весьма решительных мерах против центрального комитета эсеров, вмешивающегося в деятельность военных властей.

Русские (за столом) аплодируют сенсации. Уорд молчит. Жанен неопределенно улыбается. Баранов сообщает, что глава ЦК эсеров Чернов сидит инкогнито в Москве и оттуда диктует омским эсерам углублять революцию. За столом общий скрежет. Жанен Магдалине:

— Каждому народу нужно дать возможность поиграть в революцию, это освобождает некоторые запасы жизненной неудовлетворенности. Народ скоро сам приходит к мысли о восстановлении порядка... Но страшны профессионалы, углубители, — это эсеры, большевики и прочие... В сущности, это — простые преступники, но с огромным размахом разрушительной деятельности. Анархия — их стихия, их мутная вода, где они ловят рыбку... (Страстные аплодисменты за столом.) Бороться с ними можно только принципом жестокого и абсолютного единовластия. Во главе порядка должен стать человек возвышенных мыслей, честный патриот, и его шествие по стране, измученной анархией, будет, уверяю вас, шествием триумфатора.

Магдалина, расширив глаза:

— Но это должен быть какой-то сверхчеловек, герой, Наполеон...

— Зачем? Есть силы, которые его поддержат... есть друзья... (Многозначительная улыбка, и за столом у всех затаенное дыхание.) Неужели среди русских не найдется человека, кому мы могли бы доверить будущее страны?

Уорд сквозь зубы:

— В случае с Россией я думаю также, что принцип народовластия пока еще несколько преждевременен... Диктатура... Гм... Страшные названия меня не пугают.

Магдалина положила красивую руку на голубой рукав Жанена, на золотые нашивки.

— Но где же этот человек, кто он?

Я ввожу генерала Жанена в кабинет Колчака. Адмирал встает из-за стола, спешит навстречу, он, кажется, готов протянуть обе руки. Но Жанен по-французски, в перчатках. Поклоны без рукопожатий приветствия. Садятся на диван.

— Генерал, вы застаете меня за устройством домашних дел. Я решил подать в отставку. Я бессилен что-либо сделать среди развала.

Жанен:

— Адмирал, сейчас я еду на совещание союзного генералитета. Мы должны принять чрезвычайной важности решение. Мы получили ряд писем от военно-промышленного комитета, от биржевого комитета, от частных лиц... Предварительно я бы хотел побеседовать с вами. Вы разрешаете?

Колчак коротко, исподлобья взглянул на меня. Я вышел в коридор. Жанен проводил меня дружеской улыбкой. Дверь в комнату Темиревой приотворена, и оттуда взволнованный шопот:

— Мстислав Юрьевич, на минутку. Тише, ради бога. — Она отогнула портьеру, я вошел в ее надушенную комнату. — Мстислав Юрьевич, я верю вам... Вы наш друг? (Погасила электричество)... Слушайте, о! слушайте... (Сжала мне руку.)

В кабинете — голос Жанена:

— Вам, конечно, известно, Александр Васильевич, что директория подготовляет военный договор с Японией?

Голос Колчака:

— Да, мне стало известно это на-днях.

— Раздел России, и в близком будущем Япония — владыка Тихого океана, Япония — диктатор всей Азии, Китая, Индии...

— Мне нечего скрывать — это именно и было основным поводом для моего ухода из правительства.

— Но это не решение вопроса, дорогой адмирал. Мы не должны допустить безумия...

— Не вижу выхода... Директория своими силами не может справиться с красным движением партизан. Через месяц запылает вся Сибирь. Одни чехо-словаки не удержат железной дороги. И от Челябинска до Владивостока будут большевики

Эти слова адмирал произнес с трагическим подъемом, после чего в кабинете замолчали. Затем голос Жанена — суровый, но очень тихий (я разобрал только часть его слов):

— В случае решения союзного генералитета выступить активно против плана директории о японском союзе, — могли бы мы рассчитывать найти в вас поддержку?

Что ответил Колчак Жанену, я не слышал, — они поднялись с дивана и отошли к окну. Темирева передохнула и шопотом мне:

— Ради бога, никуда от нас не уходите сегодня... Около Александра Васильевича должен быть друг. Вам постелят на диване. Пожалуйста.

В кабинете хлопнула дверь, — Жанен ушел... Звонок телефона, торопливые шаги Колчака и его взволнованный голос:

— ... Атаман Красильников... Что, все готово? Повторяю, что лично я... Кого невозможно сдержать? Нет, нет, я ничего не приказываю. Сегодня ночью?... (Тишина... Слышно, как звякнула положенная трубка. И затем его шаги, шаги, шаги во всех направлениях по кабинету.)

Внизу в дежурной холодно, — плохо топят. Дрова на базаре пятьсот рублей за сажень. Я поднялся наверх, где мне приготовлена постель, чай и бутерброды. За стеной адмирал все еще ходит. В полночь опять звонил телефон. Потом в зале на расстроенном пианино заиграли «Лунную сонату», но сбились и замолкли, — значит, Темирева тоже не спит. В час опять телефон и голос Колчака, но из этой комнаты ничего не слышно. Я прилег, не раздеваясь. В семь часов меня разбудил денщик адмирала: от совета министров экстренно и совершенно секретно:

Его превосходительству

вр. исп. должность военного и морского министра

А. В. Колчаку.

Ваше превосходительство

Господин министр!

Утром сего 18 ноября председателю совета министров поступило сообщение о том, что минувшей ночью в квартирах членов временного всероссийского правительства АВКСЕНТЬЕВА, ЗЕНЗИНОВА и товарища министра внутренних дел РОГОВСКОГО произведен был обыск людьми, одетыми в военную форму, и после обыска указанные лица были арестованы и увезены, причем местопребывание их председателю совета министров установить не удалось.

По указанному вопросу Вы, ваше превосходительство, господин министр, приглашаетесь на экстренное заседание совета министров, имеющее быть в 8 часов утра сего числа...

Председатель совета министров

Петр Вологодский.

Я побежал к Колчаку. Нашел его в передней: застегивает романовский полушубок и не попадает крючком в петлю. Остановившиеся глаза. Когда спускались с лестницы, сказал в башлык:

— Возмутительное насилие...

В зале совета министров пустынно и холодно. За столом министры: немытый и нечесаный Вологодский, Зефиров, Устругов, Гинс и еще кто-то. Я видел их

лишь минуту, когда Колчак отворил дверь. Он вошел, министры поднялись; Вологодский — истово и стремительно, Гинс, — улыбаясь с любопытствующей иронией, остальные, кажется, весьма растерянно. Я остался за дверью. Держась за раздутую от флюса щеку, пробежал в залу запоздавший Михайлов. Оттуда не доносилось голосов. Видимо, дело этой ночью произошло весьма тягостное. Вспомнил разговор с Лутошиным,— действительно, все как по-писанному... В прихожей холодище, ни охраны, ни живой души. Прошел в обмерзших валенках истопник со связкой дров на горбе, грохнул их перед печкой и, вытерев обмерзшую бороду полой полушубка:

— Эх, правительство, правительство!

— Дед, — спросил я, — говорят, правительство арестовано?

— Тебе лучше знать, твое благородие. Ваша каша. А по мне все хороши.

Внезапно дверь открыл Колчак, подозвал меня кивком глаз:

— Немедленно ступайте в штаб-квартиру атамана Красильникова, узнайте подробно, что произошло ночью, где арестованные... (Повысил голос.) По чьему приказу арестованы... Вообще кто распоряжается в городе...

Едва протолкался по лестнице в Михайловское общество охоты и рыболовства. Повсюду полно возбужденного и пьяного казачья. Впереди меня провели под конвоем Ракова (член учредилки, эсер). Он презрительно усмехался, но был бледен до зелени. Его толкнули к столу начштаба атамана Красильникова — капитана Герке. (Непонятно, ради каких приключений попал этот чистенький остзейский барончик в пьяную волосатую компанию атаманов?) Прищурив, как полагается, оловянные глазки, он пронзил ими перепуганного Ракова и так держал пронзенным минуты две:

— Очень хорошо, — сказал ледяным голосом, — вас-то нам и нужно. Гражданин Раков? (Чистенько обмакнул перо и начал писать.) Потрудитесь рассказать об ужине этой ночью у Роговского. Участники пиршества, включая и членов директории, настолько были пьяны, что дали спутанные показания. При обыске мы сосчитали на столе и под столом до сорока питьевых единиц, — ликеры, вина и шампанское...

— Это ложь, — хрипло сказал Раков.

— Потрудитесь выражаться прилично... (Постучал вставочкой.) Что за разговоры были на этом ужине?

— Я не желаю отвечать, это издевательство, — сказал Раков.

— Отлично. Вас заставят говорить. Уведите арестованного. — Он глазами указал на подозрительную дверцу в глубине комнаты, казаки поволокли туда упирающегося Ракова. Я наклонился к Герке и спросил шопотом:

— Как вы намерены поступить с членами директории? Адмирал волнуется...

— Арестованные члены директории будут преданы военно-полевому суду.

— За что?

— За бездействие власти... За сношения с японским генеральным штабом... За подчинение директивам центрального комитета эсеров.

Вошел атаман. За ночь он вырос на голову. Растрепан, пьян и важен. Я обратился к нему с тем же вопросом. Атаман положил руки мне на плечи:

— Передай адмиралу, — за матушку Россию атаман Красильников готов положить голову на плаху.

— Могу я передать адмиралу, арестованные живы?

— Можешь, можешь, голубчик, до утра будут живы.

Бросив меня, он пошел к полевому телефону. Его окружили. Он отдавал приказания...

В городе раз'езды конных казаков. В центре — посты англичан с пулеметами. Мидльсекские стрелки на карауле у дома совета министров. Всюду пропуска, упирающиеся в грудь лезвия английских штыков. Редкие прохожие, с трудом пробираясь через заставы, могут читать расклеенную на углах белую афишку:

К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ

18 ноября 1918 года.

Всероссийское временное правительство распалось.

Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне — адмиралу русского флота АЛЕКСАНДРУ КОЛЧАКУ.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, — объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю — создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, какой он пожелает, и осуществить высокие идеи свободы, ныне провозглашаемые по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению в борьбе с большевизмом, труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал КОЛЧАК.

Адмирал полон энергии. Просил меня позвонить от его имени в редакции всех газет о том, что в целях правильной информации о происшедших этой ночью государственной важности событиях вводится предварительная цензура. Все сведения будут поступать только из его штаба. Начальником штаба верховного правителя назначается Лебедев — молодой офицер с генеральскими погонами, — недавно прибыл из армии Деникина, очень шикарный, с шелковым аксельбантом, несколько подсюсюкивает. В полдень в машине Уорда приехал Франк. Озабочен:

— Мосолов, доложи адмиралу, — полковник Уорд просит подтвердить гарантии, что арестованные эсеры будут целы. Он сказал: на Англию произведет очень неприятное впечатление, если случится что-нибудь такое, понимаешь?

Я рассмеялся.

— Все в порядке. Жанен уже в девять часов утра звонил об эсерах, — по его сведениям Париж тоже очень огорчится, если с ними поступят не аккуратно... Мы ответили, что адмирал до глубины души возмущен событиями этой ночи. Авксентьев, Зензинов и еще кое-кто получат на руки по семидесяти пяти тысяч рублей золотом отступного и под английской охраной отправятся в Европу. А Красильникова со всем штабом адмирал предает суду за безобразие.

— Что ты, смеешься, — говорит Франк, — по-моему, со стороны Колчака это похоже на предательство.

— Но, но, но, милый мой, о верховных правителях так не говорят.

— Красильникова под суд? Вероломство!

— Успокойся, уж заготовлен приказ: полковника Волкова за боевые отличия — в генерал-майоры, а Красильникова из войсковых старшин в полковники.

Тогда и Франк начинает смеяться. Мы курим, подходим к телефонам. Настроение приподнятое. Если бы не заставы, должно быть, половина города приперла бы к адмиралу на поклон.

Вопрос о верховном командовании засел у него гвоздем. Вчера в форме полного адмирала ездил с визитами, но Жанену визита не нанес. Знаменательно! Тут, по-моему, дело еще серьезнее. Адмирал начинает понимать, что настоящими хозяевами в Сибири будут уж никак не французы, не англичане, а Жанен, несмотря на пятьдесят тысяч чехословаков и звание верховного, слабее Уорда с его двумя батальонами мидльсекских стрелков.

Адмирал озабочен, как ему приличнее развязаться с японцами. До Байкала весь Восток под японским влиянием. Японцы выдумали атамана Семенова, — человек весьма серый, но большой охотник до грабежа и резни мирного населения. Японцы его поддерживают деньгами и оружием, и покуда он безобразничает, прибирают к рукам земли и предприятия... Все же, такая форма интервенции даже и японцам не совсем кажется приличной и солидной.

Еще до появления англичан и французов японцы были в Омске монопольными «друзьями России». Правда, среди военных и беженцев из России особой горячности не наблюдалось к маленьким, улыбающимся, кланяющимся человекам, а омское купечество мирилось и с этими спасителями. Савватий

Мироныч Холодных кормил пельменями японских торговых агентов, катал на тройках, накачивал шампанским и даже, рассказывают, ревел медведем для их потехи. А когда дела на фронте пошли плохо, чехо-словаки отдали Казань, пала Самара, и красные уже подступили к Уфе, в Омске начала заседать (совершенно секретно) русско-японская военная комиссия. Японцы предлагали двинуть войска к Уралу, но требовали за это предоставить в их исключительное распоряжение всю сибирскую железнодорожную магистраль и телеграф... Условия тяжелые, но директория пошла на них.

Если отбросить «верховный», то — правитель — звучит совсем шикарно. Была же правительница — Софья. Особенно довольно купечество:—в Омске— хозяин, Омск — столица, — иностранные миссии, автомобили, с флажками, войсковые парады, грандиозный спрос на шампанское. На-днях открывается выставка залотого запаса и драгоценностей. Министр финансов Иван Андрианович Михайлов озабочен устройством банкета на четыреста персон. В министерстве финансов не протолкаться, — поставщики, рыбники, мясники, бакалейщики и какие-то терпеливые люди с чемоданами, — эти предлагают что угодно: кокаин, шелковые чулки, ликеры, опиум, уральские акции, царские деньги и даже весьма модный почему-то в Омске сыр горгонзола.

Адмирал придает чрезвычайное значение выставке. Он уже перевел на имя Сазонова в Париж политическому совещанию триста миллионов франков. Впечатление, произведенное на Париж этим жестом, нам еще неизвестно. Выставка должна во всяком случае его усилить: Жанен и Уорд своими глазами увидят золотой фонд адмирала.

У входа пулеметы. В вестибюле пулеметы. У всех дверей — чехо-словаки (виновники появления в Омске золотого запаса) с примкнутыми штыками.

Приглашенных не так много, — особая комиссия здорово отсеивала публику. Входим в колонный зал. Витрины, и под стеклами золотые слитки, империалы, платиновый порошок в кожаных мешках, драгоценные эфесы сабель, оклады, золотая посуда, опять столбики десятирублевиков, и в центре выставки драгоценные камни, — они насыпаны в хрустальных вазах, на блюдах, разложены по бархату. Гвоздь выставки — огромный, чистейшей воды, бесценный изумруд Потемкина.

Михайлов встречает гостей. На нем новый сюртук, но плечи обсыпаны перхотью, руки почему-то в черных лайковых перчатках. У гостей захватывает дух. Некоторые впадают в болезненное возбуждение. Некоторые плачут. Со мной горячо здороваются Курлина и Аполлон Аполлонович Бенгальский. Михайлов берет у них пропуска, жмет руки и — с широким жестом:

— Неправда ли, импозантно?

Курлина:

— Да уж, батюшка, не нищие.

Аполлон Аполлонович:

— Так мы чертовски богаты, оказывается?

И вдруг у Курлиной слезы:

— Боже ты мой, что у нас было, что у нас было!

У Бенгальского дрожат ноги в светлых брючках, трясутся мешочки под глазами:

— А знаете, господа, больше всего мне все-таки жалко мою оранжерею в Отрадном. Представьте, в январе поспевала клубника.

Гости медленно двигаются вдоль витрин и расстраиваются окончательно: «Ах, Россия, Россия, не ценили, господа, даже и не знали, чем владели». Особенно бьет по нервам изумруд Потемкина. В столбняке глядят на него Имен и Магдалина.

Имен:

— Ты можешь представить, какая ему цена? Говорят, пять миллионов... С ума сойти!

Магдалина:

— В этом камне спит на пять миллионов счастья.

Имен вдруг шопотом:

— Ну да, сунула в сумочку или еще куда-нибудь.

Магдалина:

— Постой, постой, сколько же это будет на франки?

Имен:

— Не знаю, чудовищно много... Ах, не была бы я дура в жизни!

Магдалина:

— Только взять в руку, и жизнь волшебно изменится.

У наших дам явно катастрофическое падение морального чувства. Мне приходит в голову неплохая мысль. С Имен кто-то заговорил, — я подхожу к Магдалине:

— Что с вами, Магдалина, сумасшедшие глаза?

Она молча глядит на меня. Понемногу слова доходят до ее сознания.

— Мстислав Юрьевич, — образованная, воспитанная женщина может быть воровкой?

— Ангел мой, в этом мире все условно... А у нас в Омске и того проще: не пойман — не вор.

— Мне просто жутко. Должны же быть какие-то остатки порядочности.

— А зачем они?

— Вы будто нарочно толкаете меня.

— Сознавайтесь-ка, в чем дело?

Я смеюсь. Она поворачивается к витрине и с тихой страстностью:

— Вот он! Я могу его украсть... Я могу убить из-за него человека... Я могу его... Протянуть руку и — взять головокружительное счастье... Пылает зеленым огнем... Я ослепну, сойду с ума... Я разобью стекло.

Тогда я сжимаю ее холодную руку и на ухо:

— Мы с вами могли бы заключить договор. Изумруд будет ваш. Хотите? (У нее дрожит все лицо.) Как я достану изумруд, это мое дело, — вы его получите... От вас потребую только одного — послушания.

— Что я должна делать? — едва выговаривают ее губы.

— Полковник Уорд должен действовать так, как я вам буду указывать. Поняли?

— Зачем это?

— Не ваше дело.

— Это опасно?

— Не знаю.

Быстрее, чем я думал, она ответила, впиваясь мне в руку ногтями:

— Я согласна.

Большие двери открываются. Чехи лихо берут на-караул. Входят верховный правитель, Жанен и Уорд. Михайлов кидается навстречу. Колчак холодными глазами обводит присутствующих. Правая рука его за бортом морского сюртука, левая (пока еще, не совсем Наполеон) опущена вдоль бедра:

— Здравствуйте, граждане, — говорит он негромко, раздельно, с глухотой в голосе; и союзникам: — вот, господа, вы можете удостовериться, мы платим золотом за снабжение, золотом за услуги.

Жанен идет прямо к драгоценным камням. Он поднимает плечи, восхищенно и повышенно:

— Божественная красота, бесподобно, бесценно!

Колчак:

— Что вас так заинтересовало, генерал?

— Изумруд.

— Иван Андрианович, изумруд, хочу я знать.

Михайлов подлетает:

— Так сказать, знаменитейший изумруд екатерининского вельможи Потемкина.

Полковник Уорд также заинтересовался камнем. На минуту его даже покидает важность. Жанен с пафосом:

— Адмирал, такой камень может быть лишь талисманом вашей славы. Я глубоко верю — России вернется ее величие... И вернете его вы.

Колчак благодарит наклоном головы. К верховному правителю осторожно приближается маленький человек с большой головой, шафранно-желтым лицом и длинными, веером, зубами — директор японского осведомительного агентства Зумотто. Чем шире он улыбается, кланяясь и будто подкрадываясь, тем суровее адмирал надвигает брови. Не подавая ему руки, говорит громко:

— Господин Зумотто, мне стало известно, что амуниция, доставленная японским командованием атаману Семенову, продана им большевикам.

Японец, приседая задом:

— Амирара, японский команда нисего неизвецна...

— Я имею точные сведения... Я должен наконец решительно прекратить анархические выступления атамана Семенова.

Он говорит о добрососедских отношениях, об открытой политике взаимного благородства, о высших принципах... «Господин Зумотто, я не хочу допустить мысли, чтобы император Японии мог пользоваться для своих целей шайками разбойников».

Жанен и Уорд внимательно слушают, маленький японец стоит перед этой группой, глядя снизу вверх на высоких людей, и улыбается. Он явно посрамлен. Адмирал резким кивком оканчивает исторический разговор, отходит к витринам.

Затем случилось то, в чем я до сих пор еще не совсем разобрался. Произошло это непредвиденно и неожиданно... (С самой ночи колчаковского переворота я не виделся с Лутошиным и, не получая от него ни вестей, ни записочек, думал, что комитетчики пережидают события. На самом деле мне продолжали не доверять...) В дверях появился полковник Волков в коротком полушубке и снаряжении, и мне:

— Верховного правителя экстренно к телефону.

Я подошел к адмиралу и доложил. Он резко:

— Я занят! (Но, видимо, что-то встревожило его, обернулся к Волкову.) Кто?

— Атаман Красильников, ваше высокопревосходительство.

— Что? — переспросил он надменно.

— Совершенно секретно, ваше высокопревосходительство.

Адмирал нахмурился, чуть-чуть дернул плечом и через всю залу под взглядами, по-актерски хорошо, пошел к телефону. Сразу заговорили, что наверное — неприятности на фронте. Полетело словечко «прорыв». Дошло до уха Уорда. Глядя на Жанена, он сказал:

— Прорыв на фронте меня бы не удивил.

Жанен уязвленно:

— Почему бы это вас не удивило, полковник?

— Чем глубже русские войска станут заходить на юг, тем сильнее они будут подвергаться опасности прорыва. Соединение с Деникиным — это план безумия.

Жанен пожал плечами. Разумеется, не здесь же было спорить о французской и британской точках зрения,—о преимуществах наступления через Донбасс и Украину, как настаивает Жанен, или через север, как хочет Уорд. Пожав плечами, Жанен сказал какую-то изящную колкость. Он сильно раздражен за последнее время. Уорд собрался ему ответить. В это время к ним подошел Савватий Миронович Холодных, — мохнатая визитка, какие-то фантастические клетчатые брюки, борода расчесана, волосы на пробор, сапоги со скрипом. Положив руку на сердце, с достоинством поклонился и произнес одну из своих замечательных речей:

— Дозвольте мне, господа союзники, представителю омского купечества... (согнул руку коромыслом — большой палец торчком, мизинец вниз и так пригвоздил)... мысль и факт... Ваши знаменитые купцы и промышленники конкурируют друг с дружкой... Неправильно... (И опять пригвоздил пальцем)... За всем тем, мы для вас вроде, как дикие, как есть азиаты. А между прочим, не лаптем щи хлебаем... Между купечеством вообще все врозь, а по божьему промыслу мы, как братья родные... Это мысль и факт. (И опять пригвоздил пальцем)... За всем тем, предлагаю об'явить общую и Европе, в Сибири партию серьезного купечества... Само- собой банк... Всех задушим, братцы... Где какой народишко забаловался, то есть большевизм, — глуши его совместно... Один антирес и, значит, торгуй и улыбайся. Сказал, — руку к сердцу, и два шага назад.

Жанен ответил с улыбкой:

— Мосье Холодных, это большая идея.

— Мерси-с.

Уорд:

— Да, это неглупо, но это чисто континентальная идея.

— Зенкью. И будет к вам, господа союзники, от нас прошеньице. В субботу на этой неделе у нас именины.

Милости прошу откушать сибирских пельменей. Опосля на тройках за Иртыш на всю ночь.

Поклоны признательности. Тут же он приглашает Магдалину, Имен, Бенгальского, меня. Неприятное впечатление от вызова к телефону верховного правителя забыто. На счастливо возбужденном лице министра финансов отражены все удовольствия предстоящего завтрака. Но вдруг все пошло к черту. В дверь ворвались чехо-славаки, брякнули прикладами, и офицер Попек крикнул довольно сурово:

— Господа, в городе Омске восстание черни... Через пять минут помещение должно быть очищено от публики и опечатано.

(Продолжение следует)

Дорога

Повесть

Иван Евдокимов

Руки дать!

Времени Акиндина Штукатурова не жалел никто. Времени не считали. Так прошло года полтора. Арестанта переводили из тюрьмы в тюрьму. Он не успевал обжиться.

Переходы были трудны. Хлестали осенние дожди... Метели заметали придорожные вешки... Незакатное июльское солнце жгло, как опрокинутая на землю домна... Распутицы вдвойне вязали ноги: на кандалах налипала тяжелая дорожная глина...

За тюремной каменной оградой было спокойнее. В пути нередко грозили пьяные этапные ружья... Внезапно конвойный начальник останавливал партию и делал перекличку.... Со стоянок уходили тесной грудкой. Боязливо глядели вперед. А там лежали щетинистые поля, темные перелески, глухие овражьи ямы...

Наконец Акиндин Штукатуров в какой-то день перестал чувствовать дорожную тревогу. Он твердо узнал, куда направилась его беспокойная компасная стрелка. В косматом заволочье поднялась горклая кудель дыма над ссыльным очагом...

К этому подневольному пристанищу в середине лета тянул товаро-пассажирский пароход «Император». Ехали уже несколько суток. И день походил на день. Как только отплыли, так мохнатые лесные берега причудливыми стенами встали на тысячи верст. Узкогорлое верховажье скоро раздвинулось в великие плеса. Выросли на голову и волока́. Они терялись штыками вершинника в рыхловатом свинце северных облаков. Сутки сменялись сутками, как один белый кипень воды за кормой сменялся другим. Каждая горсть земли выращивала полнокровые стволы. Каждый бугорок, точно кудрявая человечья голова, завивался цветным каракулем нежных и податливых лоз.

Судно было густо набито пассажирами и торговой кладью. Ссыльных загнали на корму, отгородили от публики какими-то ящиками и протянули между ними некий бросовый пароходный канат.

Конвой отдыхал от сухопутных переходов, как это делали и политические. Те и другие переставали опасаться за свою судьбу. Политические открыто дерзили конвою. Был в этом озорстве укрытый смысл: раздавался непривычный и бесстрашный голос. Пароход его запоминал.

Штукатуров и сормовский токарь Малушин, с которым свели и подружили Акиндина пересыльные камеры, наблюдали, как пассажиры, слезая на пристанях, оглядывались, незаметно подмигивали, а некоторые снимали шапки. Пароходная корма делалась притягательной, точно встречный пароход в ночных огнях.

«Император» без лишней суетливости отмеривал тяжелыми старомодными колесами петлистые речные версты. Он подбирал на причалах тяжелые грузы дегтярных и винных бочек, соляные кули, тугие мучные мешки, веревочные и канатные круги и в разной укупорке снедяную мелочь. «Император» погру-

жался ниже и медлил в кривых плесах, где ненасытные землечерпалки копали обманчивое наносное дно.

Тесный остаток кормы заняли живностью. Три коровы и молодой бычок упирались на крутых сходнях. Матросы со смехом тянули упрямых пассажиров вперед, а сзади их порол кнутом хозяин-отправитель. Бычок сипло ревел. За полверсты на высокой круче приземисто расползлась приречная рыбацкая деревня. Внизу на отмели бродило огромное, пятнистое, как ярмарочная толпа, коровье стадо.

— В капитанскую каюту гоните скот! — поднял бесполезный бунт Штукатуров.

Ссыльные дружно поддержали товарища. Ввязался конвой. На палубе возникла сутолока и бестолочь. Однако капитан оказался силен, как молодой трубоносный бычок. Капитан не спорил и даже почти не говорил. Коренастый бородач с красным лицом хмуро обругал растерянных матросов, исподлобья взглянул на ссыльных, неожиданно для всех ухватился за бычачьи рога и рванул животное на себя. Матросы поспешно кинулись на подмогу.

Скот смирно и побежденно полез. И сразу скандал потух, потому что матросы тотчас втащили с берега трапы. Огонь остался без топлива. Капитан сурово последовал на свое место.

Пароход скоро отвалил от пристани. Но любопытство к рогатым пассажирам не успело окончательно ослабеть. Около последнего прикола река представляла затруднительный кошель. Покуда капитан осторожно выводил корабль на благополучный фарватер, отступал, останавливал машину, матросы носились с шестами по палубе, бычок уныло и жалобно кричал. Его привязали к железному столбику пароходных перил. Узник беспрерывно мотал головой и настойчиво перетирал веревку о железо. Погонщик вытягивал бычка плеткой. Бычок вздрагивал, но не стоял спокойно. Ссыльные вступились за него и затеяли с погонщиком перебранку.

— Тебя бы вдоль спины так погладить, — сказал Штукатуров, — ты понимаешь, дядя, у него мясо под кожей как и у тебя!

Погонщик криво усмехнулся.

— То же да не то! А вы чего лезете в заступники! Аль знаете скус кнутика? Аль... пробовала арестантская шкура эту науку? Ишь, тварь, их разжалобила! Быку на свободу, вишь, охота! С быком сами равняются! Шалишь! Я его не отпускаю, а вас солдатики-дружки на общую для нас всех пользу сторожат! Эй, служивые, дозвольте, я по ним пройдусь... с песней! Плеть у меня мастерица песни петь! Пускай бычок отдохнет. Скотье тягло на них с нашим почтеньем перекладаю!

Погонщик издевался. Конвой нахмурился и резко оборвал его.

Через какие-нибудь полчаса потерял самообладание и капитан. Едва «Император» выбрался на глубокую воду и начал наверстывать время, как речную дорогу пресекли пороги.

Огромный поток версты на три с гаком, переплывало стадо. В нем было по крайней мере голов двести. Свистки «Императора» не действовали. Скот далеко относило от переправы. Он рогато распространился во всю ширь рейда. Пароходу было некуда сунуться, чтобы не зарезать животных. Волна тянула их по своему произволу. Животные пытались плыть напрямик. Они поддавались течению и медленно, по самым дальним и косым путям, правились на другой берег.

«Императора» несло вниз точно так же, как несло все стадо. Машина не работала. Лоцманы направляли острый нос парохода по береговым приметам. Капитан сдерживал корабль. Когда его почти вплотную прибивало к скоту, капитан давал задний ход. Капитан чертыхался, бессмысленно потрясал кулаками и мрачно отплевывался.

Капитан был не в силах выжидать буквально несколько лишних, хотя и последних, секунд. Он воспользовался прогалом между головной частью стада и хвостом. Пароход проскочил на свободу. Почти у самой кормовой лодки залило глубоким валом и закачало грудку отсталых коровенок.

Пассажиры оборотились вспять. Животные уже ощупали ногами мели и понемногу выбредали. Золотая солнечная вода стекала с гладких, сверкающих боков.

Вот тогда-то погонщик и поплатился. Он загляделся на свою покидаемую деревню. Она с парохода стала казаться еще выше. Точно прибрежная круча приподнялась из воды, — и всю ее забрызгало желтоватым светом солнца, которое спустилось ниже.

Но не один погонщик наблюдал. Ретивому бычку она представилась также незаменимой. Как только он увидел у кормы последних коровенок, так сейчас же упруго натянул веревку, отступил вглубь палубы и беспокойно задумался... А потом бешено, всей тушей ринулся в бок, оборвал увязки и восторженно загудел о своем освобождении. Бычок в одно мгновение прыгнул через перильца и тяжело упал в белую пену потока.

Животное надолго скрылось под водой. Его уже не чаяли видеть. Погонщик заметался возле коров. Те горько мычали. Они так вдруг осмелели, что норовили ударить хозяина рогом.

Пароход охватила тоскливая жалость к гибели бычка. Когда он вынырнул саженях в пяти, потом ошалело закружился в буйном водовороте и, наконец прямо и верно пошел к берегу, на пароходе всколыхнулось оживленное веселье.

— Текай, текай! — громче других кричал Акиндин Штукатуров и, кажется, готов был сам плыть рядом с бычком.

Погонщик умолял капитана об остановке и жестоко проклинал взбесившееся животное. Но капитан насмешливо поглядел на просителя.

— Ты вовсе без ума! — сказал он. — Я не имею права задерживать пассажиров. Ты на берегу своего быка станешь ловить, а мы ожидать должны?

Погонщик требовал немедленной выгрузки коров, так как без бычка ему не удавалось какое-то задуманное предприятие.

— Опять не дело, — сопротивлялся капитан, — опять-таки проволочка времени. До следующего причала не могу останавливать судна. Кидай их за борт, — выплывут! Они у вас тут привычные к плаванью!

В то время как погонщик безнадежно суетился, бычок вылез из воды, задрал хвост и помчался заливными лугами к своей деревне. Он носился взад и вперед по берегу и торжествовал.

На пароходе забыли обо всем, кроме наблюдения за этим радостным звериным беганьем.

— К-а-а-к собака бегает! — бормотал искаженным голосом обманутый хозяин. — Ну, постой же! Я тебе сделаю выучку. Ох, тварь, из всех тварей тварь! Всю торговлю спутал. Гони теперь коров обратно!.. Поджидай второго корабля: когда-то он приползет!

Часа четыре спустя «Император» пристал к пристани. Под общий несдержанный смех погонщик сошел на берег со своими коровами. Ему предстояла переправа на противоположную сторону.

— Так как же теперь? — весело спрашивал Штукатуров. — На одной коровке верхом, а другую потянешь за повод?

Погонщик морщился и молчал.

Происшествие с бычком имело самые неожиданные и серьезные последствия. Начальник конвойной команды находился в полнейшей уверенности, что эта безмозглая скотина показала дурной и заразительный пример. Так же думали и многие из вольных пассажиров.

Они, конечно, могли думать как хотели, но Штукатуров и Малушин еще раньше с немалой жадностью осматривались на пристанях. Они облокачивались на перила, глядели на берега и тихонько о чем-то переговаривались. Когда «Император» уходил, они с большой грустью следили за расстоянием между ободранным боком пристани и пароходным бортом.

Штукатуров и Малушин скупо поглазели на береговую беготню быка и нахмурились вплоть до ночи. Они, точно два темных грозовых облака, провисели весь день на корме прямой дождливой угрозой всякому, кто их трогал.

Досталось Заселяеву. Этот юркий и неверный человек, мигун и надоеда, пытался разгадать мрачность товари-

щей. Штукатуров оттолкнул нелюбимого Петра Степановича. Почти ударил его. Заселяев стерпел. На это он был незаменимый мастер!

— Колючка, колючка! — снисходительно воскликнул незваный утешитель. — Еж-ежович!

Заселяев испуганно отодвинулся, но не хотел еще сдаваться. Притворно благожелательно он обратился к единственной среди ссыльных молодой женщине — Ольге Игнатьевне Голубчиковой:

— Слушай, подействуй ты на него, Голубчикова! Тебя следует напустить! Он... такой стал задира? Я вчуже не согласен с подобными настроениями!

Петр Степанович трудно переносил настойчивый взгляд Штукатурова. А все же Заселяев испытал удовольствие. Голубчикова не пошевелилась, но посмотрела на Акиндина и неловко покраснела.

Ольга Игнатьева, высокая, стриженая курсистка, вот уже полгода как появилась на той же ухабистой дороге, по которой гнала политических империя. Кое-кто из товарищей Голубчикову знал. Попалась она по одному и тому же делу. А поэтому Ольга Игнатьевна была близка всем. Она оказала Штукатурову невольное предпочтение. От Заселяева это не укрылось. Он, кажется, заметил особое расположение женщины к Акиндину прежде ее самой.

Ольга Игнатьевна с трудом справилась со своими розовыми щеками. Она даже прикрыла их ладонями от узеньких игривых щелок заселяевского глаза.

Петр Степанович уединился на свое место. Тогда Голубчикова вскользь повела серыми пристальными глазами на Акиндина и Малушина. Трое людей знакомо переглянулись. Взгляд Ольги Игнатьевны отличался от отчаянных и напряженных взглядов мужчин. Он был грустен и полон скрываемой боязни.

Тем не менее в сумерках этого же дня он сделался совершенно другим. В нем прочно поселились крайнее волнение и радостная нетерпеливость. Более того: друзья так глубоко сосредоточились, словно они находились в опасной засаде и боялись пропустить малейший вражеский шорох.

Солнечная погода после полудня замутнелась. Веселое светило, будто мятой кисейкой, задернули облака. День невесело сник. Но не для всех. Штукатурову и Малушину солнечный блеск, открытый и наглый, золотой ливень света, огненная струя его на каждой песчине были нестерпимы. Пасмурь вечера зажгла в их глазах недостающие звезды на небе. А когда туманы, как дымовые завесы, густо поползли из лесов и даль обширных речных плесов побелела, в голосах друзей появились дрожь и заикание.

— Туман, — осторожно шепнул Акиндин в ухо Ольге Игнатьевне. — Туман, густой туман. Ночью «Император» не пойдет... Он будет стоять на якоре.

Голубчикова так нежно и тепло улыбнулась, будто ей хотелось, чтобы туман никогда не рассеивался над землей.

Ольга Игнатьевна все-таки не поддалась увлечению. Голубчиковой было больно охлаждать Акиндина. Но она же боялась за его удачу! Ольга Игнатьевна предупредила:

— Собирается дождь! Как бы нас не перевели в закрытое помещение!..

Штукатуров огорченно вздохнул:

— Ох! Вот бы этой милости не дали попробовать! Вот бы обнесли этой... невкусной чаркой!

Неуверенность наступила на него, как нога в сапоге на босую ногу.

— Нет, дождя не будет, — начал робко успокаивать себя Штукатуров, — что ты, откуда взяла? Туман-туманом, дождь-дождем! Росы нет на лугах, скорее перед ненастьем, чем перед ведром. Мокреть на лугах, — быть зною и суши! Ничего: усидим, как и в прошлые ночи!

Штукатуров и Малушин следили за конвоем. Недельное безделье приучило его к порядочной распущенности. Так ослабевает крепко перетянутый ремень на поясе.

Расчеты друзей на туман оправдались. В лоб «Императору», точно зимняя беспросветная метель, несло плотные горы белесоватого воздуха. Фонари на мачте ослепли. Лоцманы сначала путались в береговых сигналах и маяках. Потом

они уже смутно видели даже нос корабля. В какую-то минуту они почувствовали себя в рубке, как в маленькой комнатушке с белыми непроницаемыми стенами. Лоцманское колесо замерло и приостановилось.

— На стоянку, к берегу, — раздраженно пробурчал капитан, — а то распорем брюхо пароходу, как рыбаки порют брюхо рыбе. Тут каменисто! Чорт нас пригнал к порогам! Следовало раньше встать к приколу! Придется ждать утра. Туман подстать осеннему!..

Осторожно, как бы пробирался болотной тропой пешеход, капитан стал подводить «Императора» на стоянку. Между делом он утешал себя:

— Кстати выспимся! Все равно не нагоним. Опоздние часов на двадцать. Зато раным-ранешенько сделаем погрузку дров! Верстах в десятке отсюда — штабеля!

Капитан долго приноровлялся и выискивал подходящую глубину. Спустили шлюпку с фонарями. В белой мгле били торопливые весла. Матросы кричали издали, но казалось — совсем рядом. Капитан изредка понукал их в рупор. Скоро донеслось:

— Сюда, сюда! Восемь! Порт, а не берег! Крутизна! Дно чистое!

Капитан остро вгляделся в даль и усмотрел легкое колебание красноватого угля в тумане. Оттуда махали фонарем. «Император» приблизился, загремела якорная цепь, прозвенели склянки, завозилась с издыхающим клекотом машина, — и пароход привязали канатами к двум ближним береговым соснам. Он, как люлька, покачался из стороны в сторону и неподвижно замер.

Дежурный конвой не слыхал всех пароходных приготовлений. Белый преддождевой пар ночи не давал ни свежести, ни прохлады и клонил ко сну.

Не задремали Штукатуров и Малушин. Ольга Игнатьевна дрожала в своем углу, точно на морозе. Заговорщики выждали, покуда конвойные крепко разоспались. Они даже похрапывали.

Точнее, чем это было бы возможно вымерять саженью, товарищи определили расстояние до берега. Этот чуть виднелся. Но они нашли приблизительную меру. До первой гряды камней на суше укладывались три-четыре кормовых трапа.

— Голубчикова, — прошептал Штукатуров, — нам пора. Извини, мы разденемся. Может, придется нырять! Сушиться некогда и негде. Ты отвернись. Тут вот будет узелок со всем... Он на ремешке. Ты мне спустишь!..

Малушин полез за борт. Штукатуров изо всех сил держал его за одну вытянутую руку. С тихим всплеском Малушин опустился на дно.

— По грудь, — раздалось из-за борта, — мелкий песок!..

Тут, как выстрел над головой, вдруг засмеялся от сновидений караульный. Голубчикова еле удержалась от вскрика. Штукатурова всего передернуло и качнуло. Он прижался к перильцам.

— Иди скорее, — однако пролепетал он Малушину, — тревога!..

— Что-о? — не понял тот.

— Беги, говорю, — повторил внятнее Акиндин, — проснулись часовые!..

Малушин почти неслышно передвигался к цели. Он делал шаг и слушал и снова легонько заносил ногу вперед. Так иногда играла у пристаней рыба, которую сгонял со дна пароход.

Конвойный еще раз рассмеялся. Штукатуров искоса проследил за ним, мгновенно разделся, смял в комок белье и перетянул ремешком. Стыдливо, а потому неловко, Акиндин перекинулся за борт.

Ольга Игнатьевна появилась раньше. Ее горячая рука легла на его руку. Он еще держался за кормовую обшивку. Голубчикова стояла на коленях и смотрела на Штукатурова сверху. Она не видела наготы Акиндина. Она не видела ничего, кроме занятых делом глаз ночного водолаза.

— Давай гардероп скорее, — сумел пошутить Штукатуров, сорвался вниз и протянул обе руки за узелком.

Он бережно положил на голову легкую кладь, — и на прощанье, как никогда не говорил раньше, неожиданно для самого себя растроганно пробормотал:

— Оля... Голубчикова... будь здорова... письни на явку!..

Ольга Игнатьевна не задержалась на месте, хотя она испытывала ненасытимый голод смотреть на беглеца, пока он не скроется в туманном лесу. Ольга Игнатьевна отползла. Пустота на палубе была незаметна. Два взбитых одеяла заменяли людей.

Туман стоял дольше, чем предполагал капитан. Штукатуров и Малушин даже возненавидели его, точно живого врага.

Беглецы выбрались на берег, быстро пошли — и вскорости заблудились. Никаких дорог в лесу не было. Там, где деревья редели, туда и поворачивали.

Как пешеходы ни бились, победить туман им не удавалось. Он так часто заводил их к реке, словно беглецы вылезли на небольшой островок и, куда бы ни сунулись, не могли миновать водной преграды. Туман путал шаги, лес не пускал глубже и загораживался непролазными зарослями.

— Путь наш не очень складен, — недовольно бурчал Штукатуров, — надо было бы от реки — за тридевять земель!.. Да куда тут шагнешь? Туман хуже дремучей ночи!

— Лодчонку бы встретить, — мечтал вслух Малушин, — айда поперек... и погоня сбита со следа! Но так не выходит. Место, кажется, нежилое! Не видать ни охотничьих, ни рыбацких стоянок. По выпалинам от костров их всегда узнаешь.

Переправа не состоялась. Ни лодки, ни человека. Дорога шла в неизвестном и неопределенном направлении. А потому ее переносили трудно и сомневались в каждой сажени.

— А ты еще хотел тащить с собой Голубчикову! — сердился Акиндин. — И без нее завязли. Ольга — ходок городской. Тут панелей нет. У нее бы... икры свело... и ноги подкосились.

Позднее бестуманное утро с недостаточным светом порадовало мало. Небо облегли столь прочно и недвижимо облака, что, казалось, солнце уже больше никогда не покажется из-за них. Утренняя неясь и подвела беглецов.

То все не было, не было людей, вдруг почудились многие голоса с разных сторон. Ссыльные заподозрили облаву. Они только надумали припрятаться в гущу куста — и опоздали.

Толпа мужиков и баб с косами на плечах выступила из-за деревьев.

— Вы... на пристань... на пароход? — пытливо спросил передний косарь.

Вопрос застал врасплох. Ответ подвернулся совсем неудачный.

— На какую пристань? Ну, да! К пароходу... Мы из Шуйского... — растерянно запутался Акиндин.

— Так, так ,— продолжал тот же мужик, — значит, малость с рельс сбились... в лес забрели?

Косцы, как по сигналу, переглянулись.

— Леса у нас блудучие, — уже явно насмехался другой.

— Показать людям надо тропу! — звонко выкрикнула бабенка с веселым и задорным оживлением. — Кажинный человек не в своих краях дорогу шарит, как посохом слепой!..

— А мы и сведем... а мы и покажем... пойдемте-ка, страннички! — с опасной простотой заключил первый мужик.

Едва сделали с версту, лес оборвался на высоком пригорке. Внизу показалось раскиданное вкривь и вкось приречное село. Мужик-заправила скинул с плеча косу.

— Вот что, ребята, — с грозой произнес он и крепко взял Штукатурова за плечо, а другой косец ухватил Малушина под руку, — довольно заниматься мордкой. Чего путаетесь и нескладно врёте? Сельцо-то наше на припёке. Ишь, в воде все! Видим сразу перелетную птицу. Окол Шуйского пассажир большаком ходит и ездит, а не заказником. Нам одним тута — сенокос да грибы.

Пойманные тоскливо молчали. В блужданиях среди тумана они толком не разглядели, что шли по пути с пароходом.

— Кажи поспорта, дьявольские молчужки? — потребовали косари.

Товарищей с грубоватостью обшарили.

— Ага! Кармашки пустые! Под нашу деревню в игру!

— Косами их порубить.

— Не-е-т! Пускай в правленье, в холодную, запрут! Пускай урядник со становым зубы им пересчитают. Не всё тем

потешаться над мужиком! Тащи их в волость! Крамольники!

Штукатуров неприязненно вгляделся в свою стражу. Вся она походила на строптивого погонщика бычка.

Беглецов заперли в кутузку, но продержали там мало. Тому сопутствовали следующие обстоятельства.

Туман, как пьяным зельем, напитал капитана, матросов и конвойных. Он и сам провисел без всякой меры и перешагнул через все сроки. Двое дежурных конвойных начали продирать глаза уже в далеком от стоянки месте.

Тот солдат, который напугал Штукатурова сонной бормотой, не поверил своему умению считать до двух десятков. Товарищ однако тоже не доискался двоих. Конвоиры подняли тревогу...

— М-м-ерзавцы! — сквозь зубы заревел начальник конвоя. — Вы на посту не караул несли, а лежебочили? Вместо бегунов на каторгу угадали! Может, соучастники?!

Искать беглецов было бесполезно. Прошла длинная и благоприятная для последних ночь, корабль отплыл давно, до Шуйского не встречалось ни почты, ни телеграфа, чтобы оповестить порядка ради всех урядников и становых империи.

Часовые-сонули превратились в заключенных. Их заперли в каюту повара, которую временно освободили от жильца.

Начальник конвоя храбрился на людях. Он выдал себя капитану. На койке у него начальство плакало навзрыд и бесплодно сжимало кулаки.

Побег вызвал раздор среди политических. Петр Степанович Заселяев ошеломил своей чёрствостью. Он словно надел другой костюм и сразу стал мало похож на знакомого человека.

— Глупое бегство! — шумел он. — Они нас подводят. Они могли бежать с места ссылки! Мы тогда не отвечаем! Я против подобных выходок. Это... частные интересы противопоставляются общим! Это... не революционно. Они нас не предупредили!..

Прибытие в Шуйское доставило такую радость конвойной команде, что начальник ее принял все меры к прекращению дела. Он как-то сладил с волостными властями и не побеспокоил ни единого полицейского чина в империи.

— Канальи! — взревел главный ответчик за целость партии политических, едва он явился в правленскую холодную. — Побеги учинять! Людей подводить! Розог захотели!

Он в горячности замахнулся, чтобы ударить Штукатурова. Но тот так весь побагровел, так ненавистно уставился на крикуна, что столкновение не разразилось... Начальник своевременно отступил.

— Марш на пароход! — в ярости воскликнул он. — Мы поговорим после!.. Мы увидим там... на месте! Я покажу вам. Руки дать! В кандалы их!

Конвой ловко надел ручные кандалы. Политические молча встретили товарищей в темном нижнем трюме, куда перевели партию. Заселяев воспользовался темнотой. Он ехидно усмехался и както виновато сторонился от неудачников.

Ольга Игнатьевна переживала великую боль и досаду. Но девушка тоже воспользовалась темнотой. Девушка испытала невольное чувство радости от возвращения Акиндина.

Только через много часов Ольга Игнатьевна решилась взглянуть на Акиндина и не отвела взгляда со смущением.

Все эти часы она казнилась. «Император» уже подходил без всяких приключений к захолустной ссыльной пристанишке.

Восьмерка

С течением времени каждый нашел свое место в городе Выгорске. А Петр Степанович отметил себя самыми разнообразными деяниями. Он превзошел всех невиданной изворотливостью.

Медичка Ксения Валовникова не послушалась многих доброжелателей и наперекор им соединилась с Заселяевым.

Свадьбу справили на квартире у ссыльного Антона Капитоновича двухдневной попойкой. А на третий день молодожен затмил всех выгорских молодоженов, бывших до него. Он устроил загород-

ный пикник на лодках с факелами, с красными флагами и с пьяным духовым оркестром из городского общественного сада.

Так как оркестранты беспрерывно исполняли «Марсельезу», а со всех лодок им вторили хоры, а Петр Степанович размахивал в передней лодке обширным знаменем и бешено восклицал противоправительственные слова, пикник превратился в необузданный скандал.

Была очень тихая погода. Музыка достигала весь день до ушей некоторых недовольных городских наблюдателей. Немалая рать полицейских разыскала крамольное сборище.

Тут-то Петр Степанович и проявил особенно дерзкое изобретательство. По знаку его немедленно погрузились в лодки. Свадебная флотилия стремительно отплыла на середину реки Верхотурки. Быстрейшее течение понесло недосягаемый караван к городу.

Полиция растерянно сновала на берегу. Даже произвела залп в воздух. Петр Степанович не остановил веселой забавы. Он неуемно дирижировал оркестром. Так на виду у всего города путешествовали взад и вперед, покуда не потухли факелы и поздняя робость не возникала в некоторых сердцах.

Ночь помогла благополучно высадить в укрытом месте музыкантов, в другом— спрятали флаги, в третьем — выгрузили остальных участников, а сам устроитель с супругой где-то проплавал до полночи.

Последствия сказались вслед. Молодожен еще недостаточно выспался после свадебной шальной прогулки, как за ним уже пришли.

Петр Степанович однако выиграл победу. Ротозейная полиция была одурачена и невыгодное дело замяла. Свадебную заселяевскую проделку вспоминали с одобрительным смешком. Ксения Валовникова осуждала мужа за неудержимую игру характера, но и восторгалась находчивостью своего победителя.

Другую свадьбу справили совсем заурядно. Это событие произошло почти одновременно с шумом лодочной гулянки.

Петербургская учительница Марика Молодкина отбыла двухлетнюю высылку. Марика уезжала. У пристани грузился выгорской водкой и мылом пароход «Три святителя». Марика в сером дождевике, с кожаной дорожной сумкой через плечо радостно и бестолково суетилась.

Ее провожал весь ссыльный Выгорск. Над ней добродушно шутили и подсмеивались.

— Я слышал, пароход даже сегодня не пойдет, — рычал Паша Добряков, — мы с Ван Ванычем раньше других пришли, хотели по рюмке выпить в буфете, а буфетчик какую-то медную кастрюлю чистит и пыльные бутылки протирает. Отказал. Приглашал завтра.

— Нет, — смеялся Ван Ваныч, — пароход, может быть, пойдет и сегодня, а может быть, и через три дня, а может быть, и совсем не пойдет, и его поставят на прикол. Говорят, неблагополучно с машиной. Потеряли в дороге сюда какую-то часть и никак не могут найти замену в Выгорске!

Марика дергала за полу пиджака Ван Ваныча и усмехалась Паше Добрякову в расстегнутой поддевке.

— Болтуны! Болтуны! Завистники!

Малушин с Ольгой Игнатьевной и Ксенией Валовниковой держали легонькие ее вещи.

Главный выгорский сыщик Медведков лениво поглядывал на шумливую толпу провожатых и наблюдал за посадкой. У трапа дежурили свои люди и знали всех от'езжающих наперечет. Охрана была поставлена надежно. Через нее никто не мог проскользнуть, кому еще не надлежало оставлять Выгорск.

После второго свистка Марика наспех перецеловала почти всех товарищей, даже мало ей близких.

— Марика, ты меня второй раз обнимаешь, — грустно сказал Акиндин и нежно всмотрелся в нее. — Остальных не успеешь.

Марика дрогнула, начала судорожно поправлять пенснэ, несдержанно расплакалась, взмахнула носовым платком и с билетом в другой руке быстро помчалась на пароход.

Медведков проследовал за ней и по пятам проводил обратно на пристань

Малушина с Ольгой Игнатьевной и Ксенией Валовниковой.

«Три святителя» снялись с якоря и повезли заплаканную, но счастливую Марику Молодкину. Она не уходила с палубы до заворота Верхотурки к старому городищу, откуда Выгорск пропадал. Она стояла неподвижно, ничего не видела и беспрерывно трясла своим мокрым платком. Товарищи медленно расходились по домам.

Акиндин с Ольгой Игнатьевной дольше следили за пароходом. Они миновали сыпучую отмель и выбрались на высокий речной берег. Отсюда еще виднелся рассеянный дым от «Трех святителей». Он туманил подгородный лес и сливался с ним в какой-то непроницаемый, тяжелый полог.

Акиндин шел хмуро и неразговорчиво. Грустно было и Ольге Игнатьевне. Так они отдалились от Выгорска версты за две.

В какой-то балке у реки Акиндин остановился, набрал мелкого щебня и принялся швырять его в воду. Ольга Игнатьевна по лицу Акиндина поняла, что тот забавлялся без всякой охоты. Пожалуй, он не замечал и не следил, куда и далеко ли падали камни? Он сыпал и сыпал их. Он упорно думал о чем-то несвязанном с этой забавой.

Вдруг он повернулся к Ольге Игнатьевне и с затруднением спросил:

— Оленька, а ты когда кончаешь ссылку?

Голубчиковой сделалось неловко и больно от этого вопроса. Акиндин знал срок ее высылки. Ольга Игнатьевна сама иногда думала об этом дне и всегда с тревогой недоумевала, что же она будет делать?

— Ты на год раньше моего уедешь,— вздохнул Акиндин, не поднял глаз, гремел камнями и переваливал их с ладони на ладонь.

Голубчикова замешалась, потом разглядела грустную хмурь во всей его фигуре и горько полуоткрытые губы. И этот вид Акиндина заставил ее, наоборот, как-то всю просветлеть и затаиться.

— Почему ты вспомнил? — спросила она.

Акиндин старался ответить тверже, даже пожелал улыбнуться, но не получилось ни твердости, ни малейшей улыбки.

— Это Марика меня... расшевелила, — сознался он в своем бессилии, — я подумал... придется и тебя провожать... и ты поедешь. Может быть, на тех же «Трех святителях», или на «Императоре»!..

Голубчикова зачем-то хотела отвлечь его от продолжения, но безвольно задала неизбежный вопрос:

— Ты... не хочешь... чтобы я уезжала?

Акиндин неловко рассыпал камни и переступил на месте.

— А ты могла бы остаться? — трудно выговорил он.

Голубчикова внезапно набралась решимости и горячо, даже с неожиданной досадой на самое себя, воскликнула:

— Я никуда от тебя не уеду!

На другой день после этого об'яснения Малушин и Ольга Игнатьевна с дружескими шутками обменялись помещениями.

Петр Степанович и Акиндин явно и тайно враждовали между собой. Вражда и несогласие накапливались постепенно. Крикливая заселяевская прогулка послужила к полному разрыву. Враги едва-едва не угрожали друг другу, каждый из своего заречья.

Петр Степанович главенствовал над большинством. Около Акиндина остался малый кружок товарищей. Антон Капитонович старался и не мог примирить главарей. То же без успеха делали другие. Заселяев умненько и с хитринкой шептал своим друзьям:

— Это не я причина, а мы все, все! Это... недостаточек развития!.. Это... его величество пролетарий впал в высокомерие! Рабочие и интеллигенция! Противоположение! Это-с скрывается, а налицо, налицо!.. Я — жертва. Я ему однажды высказал... И он окрысился!.. И он вознегодовал!.. Нельзя выступать против всех, можно выступить против одного! Товарищ Штукатуров из породы бодливых бычков! Рога у него не опилены. Брык, брык!..

До конца ссылки Ольги Игнатьевны осталась половина, когда и произошла окончательная битва между вожаками.

Штукатуровский кружок затаился в двойном подполье — и от полиции и от Петра Степановича с товарищами.

Акиндин решительно сломал свою жизнь. Он спал днем и бодрствовал ночью. Он протоптал тропку на задворках своего жилья и совсем перестал ходить по Сытной улице. Разве изредка, чтобы показываться городовому Оглодкову и не беспокоить его своим отсутствием.

Акиндин превратился в завсегдатая на Дюдиковской улице. Наставало лето. Оно способствовало планам Штукатурова. Возле каждого из домишек в тесных палисадниках густели деревья. Сады заполоняли задворки. В Дюдиковском проезде оказывалось достаточно высокого бурьяна и своевольной, беспризорной ивы.

Акиндин изучил Дюдиковские просторы лучше, чем здешние ребятишки. Желтый дом с развешенными деревянными полотенцами по углам и с узорчатой резьбой наличников вокруг малых оконцев был виден из всех потайных нор.

Долгими сумеречными и ночными часами Акиндин таился возле облюбованного им места. Он прислушивался ко всякому человеческому голосу, давал установиться безопасной тишине и прокрадывался на тихий двор.

Три рамы мирно светились в густоте сиреневых кустов. Лампа с зеленым колпаком лила ровный и скупой свет. Акиндин подбирался ближе и приникал к стеклам.

Через кружевную оборку занавесок наблюдатель разглядывал домашнего Петра Степановича. Сердце Акиндина несогласно ныло. Вертлявый на людях, человек был у себя другим.

Вдруг Штукатуров почувствовал свою вину перед Заселяевым. Тот тихо, скромно и просто жил в этом желтеньком, захолустном флигеле. Почему же такого обычного, чистенького, в белой глаженой рубашке, приветливого и серьезного было не любить Ксении Валовниковой?

Акиндин с неловкой краснотой переставал прилипать глазами к раме, когда внезапно Ксения входила из соседней комнаты, облокачивалась на мужнин стол, а взгляд ее свежо и молодо сиял,— и Петр Степанович ласкал жену.

Акиндин колебался. Но не оставлял скитаний по Дюдиковской улице. Он как будто договаривался с собой еще немного провести томительных вечеров и ночей в дюдиковских бурьянах. Акиндин со стыдом в душе несколько раз прекращал свою слежку. Он даже решал жестоко наказать себя. Акиндин с трудом удерживался от раскаяния перед Заселяевым. Ему хотелось напролом притти к Петру Степановичу и... ошеломить его.

Штукатуров гонялся за товарищем по всему городу. Он провожал его с квартиры на квартиру. Петр Степанович был безупречен. Заселяев ходил по знакомым Акиндину явкам. Иногда за ним надзирали медведковские подручные. И тогда Петр Степанович, как и следовало, начинал привычную игру с сыщиками. Уводил их за собой в соседние переулки, колесил вокруг нужного ему места и проникал туда через соседские заборы или совсем не заходил. Акиндин с внутренней болью наблюдал за товарищем и гонкой за ним сыщика.

Штукатурову казалось — он выведал всю заселяевскую жизнь. Акиндин точно установил дни и часы, когда Петр Степанович ходил в баню, брился в цырюльне, гулял, работал в кружках, виделся с товарищами... Он с улыбкой открыл наконец маленькую и заразительную страстишку Петра Степановича. О ней не знал никто. Заселяев стыдился ее.

Акиндин проследил, как в облачные дни до свету Заселяев осторожно выходил из дому с удочками на плече, озирался по сторонам и стремительно отправлялся на реку за городище. Штукатуров сопровождал рыболова и туда.

Петр Степанович вел его тайной и самой кратчайшей дорогой. Удильщик так спешил, словно боялся опоздать на какое-то совершенно неотложное, решительно неотложное дело! Акиндин опять убеждался в неправоте своих подозрений...

Ольга Игнатьевна и Малушин уже разуверились в удаче и щадили укорять Акиндина. Они неловко и стесненно встречались с Петром Степановичем. Голубчикова без ведома мужа нарочно зашла к Ксении Валовниковой и привела ту к себе, чтобы понемногу уничтожить вредную распрю. Отношения начинали налаживаться...

— Не верю! Не может быть! — не сдавался и упорствовал Акиндин. — Улики против меня, а Заселяев все-таки не чист! Ему сошла такая проделка, как свадебная его глупость! Он наполовину споил колонию. Кружки у мыловаров и водочников проваливаются только наши! Заселяевские кружки процветают. Почему? Потому что они ручные. Их успеют взять, когда понадобится. На них в сыскном табель есть! Я подозреваю Заселяева, больше некому! Кто еще похож на провокатора? Все ребята, как рабята! Этот низкий вертячка работает по найму! Это темная и... грязная лохань!

Малушин и Ольга Игнатьевна не спорили. Бессильное раздражение Акиндина об'яснялось просто: он ошибался и оправдывался.

Тогда и взяли кружок наборщиков вместе с Малушиным. Самый старый и подобранный кружок. Редко кто из ссыльных знал о нем. Акиндин тщательно оберегал его от провала.

Штукатуров снова кинулся вдогонку за Петром Степановичем. Желтый домишка на Дюдиковской улице, кажется, не мог бы сгореть или подвергнуться ограблению. Акиндин дневал и ночевал вблизи.

Итак, недели через три утомительное и отчаянное ожидание наблюдателя исполнилось...

Петр Степанович вышел поздно на двор. Акиндин был тут. Он проследил у окна за снаряжением Заселяева. Хозяин облачился в шляпу, поцеловал Ксению Валовникову в обе щеки, а она захотела еще поцелуя в губы и потянулась к нему, повернулся к выходу и в дверях помахал приветственно рукой. Акиндин приткнулся к заборчику.

Петр Степанович быстро скользнул на задворки. Путь был новый... Акиндин боялся потерять Заселяева. Он немного отпустил его вперед и напрягся всем своим вниманием, слухом и зрением. Темное пятно двинулось. Штукатуров трудно поспевал за ним.

В самой заброшенной на окраине Подлесной улице Заселяев постучал в некое тусклое окошко: Акиндин отсчитал пять раздельных ударов. Гостя тотчас же впустили.

Сюда Петр Степанович еще не хаживал. Акиндин имел время в точности ознакомиться с местностью. Глухое без окон крыльцо основательно и надолго захлопнулось. Штукатуров вытянулся на носках к воротам и рискнул чиркнуть спичку.

Белый на синей жести вспыхнул жирный и маслянистый номер. Эту увесистую восьмерку Акиндин не забыл бы, упади он тут же от напряженных до крайности чувств и если бы он даже очнулся от обморока через много часов и в другом месте. Незабываемая восьмерка точно переместилась к самым глазам его на переносье и почти мешала зрению.

Штукатуров затаился напротив заповедного угла. Возвращение Петра Степановича замедлилось. Акиндин опасался — не вздумалось ли посетителю отправиться восвояси опять задним ходом, как он проделал часом раньше?

Но Штукатуров уже приобрел полезный сторожевой закал. Продолжительное терпение вознаградилось. Петр Степанович пробежался до собственной квартиры в сопровождении неутомимого спутника.

Акиндин давно не проводил таких беспокойных ночей. Не меньшего труда стоило тянуть до полдня, чтобы без привлечения лишнего внимания прогуляться мимо восьмерки. Штукатуров обогатился малыми познаниями. Под драгоценной цифрой на небесном жестяном цвете вывески он бегло усвоил безвредную надпись:

«Сей дом аптекарской вдовы и
собственницы
Нонны Викторовны Четыркиной».

Ольга Игнатьевна уверенно сказала:

— Брось, Кена! Всё твои выдумки! Ты, право, чересчур подозрителен! Как

бы не пришлось снова хвалить Заселяева! По всей вероятности, в его районе это особенно важная и удобная явка. Потому он так и осторожен. Это не плохо. Видимо, он хорошо работает... при всех его лично неприятных качествах!

Вскорости Акиндину удалось опять проводить Петра Степановича на Подлесную. В эту дикую, дождливую и сумасшедшую ночь, конечно, кроме Штукатурова и Заселяева никого не было на улицах. Акиндин подстерегал. Заселяев вылез в высоких сапогах, покрылся зонтом, что-то недовольно бормотал, а все-таки отправился тем же окольным путем.

Тогда-то Акиндин и припомнил прошлую прогулку. И та и эта случились в понедельник. Третью проверку ровно через неделю Штукатуров производил с самодовольным ехидством.

Уже не было надобности и расчета шнырять по следам Петра Степановича от его желтенькой пристани на Дюдиковке до аптекарской вдовы и собственницы Нонны Викторовны Четыркиной. Акиндин к определенному часу прямо пришел на Подлесную и... ждал какие-нибудь минуты. Заселяев в этот понедельник возвратился домой в одиночестве.

Предательство Петра Степановича подтвердилось дней за пять до последней слежки. Акиндина тянуло на Подлесную в разное время. Тут на него и наехал городской врач Владимир Ксенофонтович Надеждин. Еще хорошо было видно. Извозчик неторопливо погонял. Внезапно Акиндин радостно улыбнулся своей внутренней догадке: так вот же от кого можно было узнать про таинственных жильцов под восьмеркой?

Выгорский старожил Надеждин принял на свой счет радость Акиндина и приостановил конягу.

— Куда вас, батенька, занесло! — засмеялся Владимир Ксенофонтович. — Это же край света в Выгорске! Я доктор и то за полсотни лет езжал сюда только с большим нарочным! Здесь народ или не помирает или не лечится! Не поймешь! Скука, скука, видно одолевает вас в нашей милейшей зырянской норке!

— Да, невесело, доктор! — усмехнулся Акиндин и не сводил с него жадных глаз.

— Может, устали? Покатать? — приветливо предложил Владимир Ксенофонтович и скупо передвинулся на сторону.

Мысль Акиндина находилась в сильной нерешительности. Она подсказывала ему одно и запрещала делать другое.

Владимир Ксенофонтович выслужил право на смелость, ничего не боялся, дружил со ссыльными, но лучше было все-таки не садиться с ним на одного извозчика и лучше было раньше времени не лезть в глаза кому не надлежало. Владимир Ксенофонтович мог понадобиться для более нужного дела, а извозчик мог легко оказаться в связи с сыскным отделением. И Акиндин отказался.

— Нет, Владимир Ксенофонтович, мне необходимо еще кой-куда зайти, — с волнением сказал он и в то же время с тревогой попросил, — но нельзя ли мне... немного погодя забежать к вам?

— Буду ждать, — разрешил Владимир Ксенофонтович.

. . . . . .

Свидание с доктором затянулось. Так часто бывает в жизни. Люди до сих пор встречались урывками. По-настоящему не знали друг друга. Акиндин ни разу не посещал Владимира Ксенофонтовича, а этот заезжал как-то к перепившемуся квартирному хозяину Вёдрышкину и заглянул в комнату ссыльного.

И... вдруг они сразу сблизились, проговорили несколько часов и расстались глубочайшей ночью.

Аптекарская вдова и собственница Нонна Викторовна Четыркина была хорошо знакома Надеждину. Но таинственная восьмерка приобрела исключительное значение отнюдь не от проживания под ней Нонны Викторовны.

Акиндин буквально вскрикнул и привскочил на стуле, когда Владимир Ксенофонтович назвал другого жильца. Восьмерка стояла на мерзком гнезде сыщика Медведкова.

Почти вслед Ольга Игнатьевна принялась прихварывать. Владимир Ксенофонтович навещал ее. Акиндин беспокоил доктора частыми посещениями. В аптеке приготовляли по рецептам Наде-

ждина привычные лекарства от простуды.

Рыболовная страстишка и повредила Петру Степановичу. В последнее время он за хлопотливым недосугом — настойчиво вылавливали мыловаров и водочников — и в немалой степени изза ненастной погоды сильно охладел к ужению.
Петру Степановичу. В последнее время от привычки еженедельно стучаться у Медведкова. Здесь Акиндину мешала темнота и неизбежное невыгодное громогласие схватки. Поневоле приходилось ждать успокоенных и просветленных небес, когда Петра Степановича, может, снова потянет на охоту.

И действительно, провернулось среди сплошных ненастий одно такое розовое утро. Акиндин и не предполагал, как Петр Степанович ежедневно стучал пальцем по стенному своему барометру и дожидался передышки в несчастных ливнях.

Конечно же, он не пропустил редкостного благополучия в природе! Сборы его были так суетливы, а заспанное лицо столь тихо и проникновенно, что Ксения Валовникова проводила мужа с растроганной нежностью.

Акиндин также не запоздал воспользоваться тишиной и благостным порядком в небе, удобными не всегда одним удильщикам.

Встреча состоялась короткая и немногословная. Штукатуров позволил нетерпеливо рассучить лёсы и закинуть удочки рыболову, зорко проверил безлюдную окрестность за городищем — и неслышно подобрался вплотную...

Петр Степанович передернулся от неожиданности. Удочка задрожала в руке и опустилась тонким концом в воду...

Штукатуров немного раздвинул ноги, точно боялся не устоять, сгорбился, угрюмо смотрел исподлобья на ловца и крепко стиснул браунинг, пока еще дулом в землю.

— Подлесная... восемь.... Медведков! Ты... по понедельникам ходил туда, предатель! — трудно произнес Акиндин.

Петр Степанович глотнул воздух, мгновенно кинул отчаянный взгляд кругом, отбросился в сторону и... вдруг прыгнул в реку...

Но его не спасли ни находчивость, ни быстрое течéние, ни попытка спрятать голову в глубине. Ныряние не удалось. Акиндин убил противника первым выстрелом. Вторым он погрузил его на дно. Бурная перекатная струя подхватила Заселяева, как она подхватывала тут всё пловучее и проносила его поперек затейливо изогнутого в петлю плёса.

Штукатуров долго не отрывался от стремительного переката. Вода весело лилась, журчала и пенилась в неостановимом беге...

Семейство Вёдрышкина благодушно и безгрешно спало. Ольга Игнатьевна отпустила и приняла Акиндина в окно.

Она выздоравливала. По череду заболел муж. Так и знали у Вёдрышкиных. Больной все последние дни не подымался с кровати. Ольга Игнатьевна осторожно ходила на цыпочках. На хозяйской половине подражали.

Ольга Игнатьевна втихомолку могла выполнить и совсем неподходящие обязанности. Она превратила свою комнату почти в маленькое почтовое отделение. Груды конвертов лежали на столе. Ломаные каракули бороздили адреса и фамилии более или менее известных людей в Выгорске. Лиловый гектограф расплылся подслеповатыми строками:

«Товарищи и граждане! Политический ссыльный Петр Степанович Заселяев оказался провокатором. Предатель пойман и убит».

Когда жандармы пришли за Акиндином, на круглой тумбочке около его больного ложа лежали горчичники, компрессы, расположилась кучка склянок, пузырьков и ящичек с банками.

Однако шарили повсюду, встряхнули и тюфяк и подушки, заглянули под кровать, а затем с известной осторожностью даже посадили больного.

Тут безобразно и выдалась его спина. Синяки и багровые кровоподтёки густо и криво усыпали ее. Это страшное полосование было произведено Ольгой Игнатьевной как раз накануне обыска. Тогда же выплёскивали понемногу и лекарство из всех сосудов...

Спина, отпитые снадобья, допрос Вёдрышкина поколебали жандармов. Влади-

мир Ксенофонтович в тот же час как бы удивился сомнениям в тяжело простудном заболевании Штукатурова и подтвердил свои рецепты...

. . . .

Много спустя, — Выгорск сначала оставила Ольга Игнатьевна, а за ней бесследно бежал Акиндин, — Ксения Валовникова пришла к доктору.

Тайна тревожила женщину и после второй годовщины смерти Петра Степановича. Ксению Валовникову никто не подозревал ни раньше, ни после. Она знала путаную и недостоверную, казалось ей, историю о падении мужа. Какой-то неоткрытый мститель прислал Антону Капитоновичу коротенькое обвинение против Петра Степановича и описание его казни. Ксении Валовниковой этого было мало.

Владимир Ксенофонтович не стал ее щадить.

— Да, — жестко сказал он, — я полвека лечу в Выгорске всех, в том числе и сыщиков. Даже и живу против жандармского управления. И доподлинно знаю, Ксения Михайловна, кем был Заселяев. Его... там жалели!

Надеждин подвел женщину к балконной двери и с отвращением показал:

— Вон... видите напротив лепной дворянский гербик над колоннами!.. Облезлый!.. Ему служил... Заселяев! Второй Медведков! Нет, хуже!..

Ксения Валовникова дрогнула, задохнулась, но с презрением вымолвила:

— Мне стыдно! Я даже плакала об этом человеке!..

Женщина с узелком

Некий с русой бородой пассажир в картузе поджидал ранний поезд в петербургских Озерках. Начало дня сулило теплынь и солнечную ясь. Станционные скамейки быстро заполнялись. Настолько быстро, что скоро вся платформа пропахла табаком. Курил ведь почти каждый. Над прожорливыми курильщиками поплыло пухлое самодельное облако. Пассажир в свою очередь подбавил дыма.

Из табачного облака в самом конце платформы и появилась тогда нарядная и привлекательная пара. Папироска у курильщика мгновенно скользнула в самый уголок рта и явно дрогнула. Из-под надвинутого на лоб козырька человек пристально глянул на щеголя с точеными женскими ножками, в желтых ботинках, в манишках, в панаме...

Глянул с серьезной медвежатинкой в глазах, встретил и проводил франта взад и вперед, передвинул папироску в другой уголок рта и как будто бы в рассеянности принялся свертывать в трубочку газету. Скоро он трубочку сломал.

Кисейная, тоненькая, с красным китайским зонтиком, в белых башмаках спутница рассмотрена была как-то позднее. Хотя она шла рядом с мужчиной и, пожалуй, заметнее бросалась в глаза.

Редкая беспасмурная благодать на столичном небе не соответствовала душевной суматохе неласкового наблюдателя за прогулкой этой пары. Скоро к ней присоединились другие.

Франты и франтихи стали против ненавистника. Дамы беспрерывно откладывали головки на бок, щебетали и всячески заигрывали с мужчинами. Те любезно выпрямлялись, легкими кивками одобряли любую дамскую разговорчивость и шаркали ножками.

— Ах, первое мая — прелестный праздник!

— Мы с мужем в прошлом году буквально задыхались от цветов в Ницце!

— А мы в Крыму!

— А мы, представьте, справляли маёвку в горах в Швейцарии!

Воздушно-хрупкое существо, которое год назад в эти часы пребывало в Крыму, поторопилось продолжить свои воспоминания.

— А вечером мы уехали на катере далеко-далеко в море! Обворожительно! Непередаваемый восторг!

Мужчины предупредительно изображали на лицах крайнюю заинтересованность.

— Да, да. Но и Петербург сегодня не обманет. Безветренно. Ни дождя, ни вчерашнего тумана. Парад кавалерии на Марсовом будет удачен.

— Мы едва достали билеты на трибуны! Лебяжья канавка мне снилась всю ночь!

— Ах, хоть бы поезд подали во-время! Мы не опоздаем?

— Нет, нет. Никогда этого не бывает. Озерки полны чиновных людей. Само министерство путей сообщения заинтересовано.

— Значит, после парада едем на открытие яхт-клуба? Я так люблю закат на взморье! Мы его увидим в полном величии!

— А обедать в павильоне яхт-клуба! Кухня там от Кюба!

— А не лучше ли к самому Кюба? Я знаю, кажется, все лучшие рестораны Европы, — равных Кюба не встречал.

— Я хочу старого, старого французского коньяку «Наполеон».

— А я черепах. Суп тортю — это же божественное блюдо!

— Это у Донон!

— Я предпочитаю всем Эрнеста на Каменноостровском. В прошлый раз мы запросто сидели рядом со столиком великого князя Константина Константиновича. Он очень весело и мило обедал с с какой-то... французской артисткой!.. И... очень усердно подливал ей в фужер вино!

— Господа, а я предлагаю... чтобы не было никому обидно... розыгрыш! Мы тянем жребий. Кюба, Донон или Эрнест?

Ватага веселых тунеядцев шумно одобрила занимательный план безобидного времяпровождения.

Всю двадцатиминутную дорогу до Петербурга человек с бородкой страдал от настойчивой своей памяти. Она зеркально точно воспроизводила озерковскую встречу. На грех компания отбыла в том же вагоне.

Человек высунул нос в свистящий полет ветра и опустил ниже козырек. Окно на безрадостные рабочие предместья заняло его внимание.

В непроглядном смраде копоти и дыма, в зловещье красных фабричных кварталов человек сегодня с особенным чувством увидел знакомые районы. Он затрепетал от боли и злорадства. Ему захотелось во что бы то ни стало помешать предстоящей маевке вагонных соседей. Месть, месть, месть! Надо вытолкнуть у них из рук рюмки со старым французским коньяком и вышвырнуть на землю жирные явства с серебряных блюд! Надо не позволить этим праздношатающимся болтаться по Кюба, Дононам и Эрнестам! Необходимо загнать эту свору в напуганные норы, запереть все улицы и дворы рогатками, завалить проезды и раскромсать мостовые!

Человек хотел опрокинуть на парадную столицу бунт нищих окраин. Он надеялся, что те сегодня покажут белые необломанные клыки!

Человек целый день метался по городу и учащал дыхание окраин.

И они принесли на прибранные, приглаженные, словно даже затянутые в корсеты проспекты невиданный зной своих песен, гам тысячных толп, тяжелый шаг опорков, пеструю, рваную лавину отрепьев. Они смяли чопорный порядок движения. Будто Нева выступила из серых береговых гранитов и разлилась нежданным наводнением от гавани до Лахты.

Человек запнулся на Невском. Только далеко за полдень он пробился сюда с товарищами из-за Нарвской заставы. Тут он с язвительной усмешкой подумал об озерковской встрече.

И ему представилось, что красные китайские зонтики, белые туфельки, газовые шляпы, панамы, пиджаки, манишки сгинулись в смертном перепуге и смятении...

Человек удовлетворенно и гордо увидел стиснутый до краев Невский. Человек невольно засмеялся от сладкой и злой победы. Он не растратил этого чувства и много позже. Над самодержавным проспектом на неположенной середине вспыхнули красные пожарные фонари. Их несвоевременно зажгли окраины.

Как-будто дрожь несомых знамен передалась всей улице. И прошла тревога. Имперская конница еще не научилась сама скакать под этими штандартами! Она вынеслась из ворот вместительных дворов. Конница рубила и топтала. Она тонула в гуще людей, точно в брод переходила реку. А над ней сверкали длин-

ные, узкие, с изогнутыми хвостами серебряные рыбы. Они выбрасывались со дна, серебряно мельтешили в глазах и стремительно опускались долу.

Высокая невская вода отхлынула в трубы поперечных улиц. Невский проспект уснул. Сабли конницы приблизили пустынную ночь. Она пришла от Адмиралтейской иглы до чугунного всадника на Знаменской.

Человека настигал кавалерист. Серебряная рыба звенела в воздухе. Тут под ноги коню упал один, другой беглец, между конем и человеком вскинулись руки, — и сабля опустилась дальше на чье-то высокое неосторожное плечо. Кавалериста, как речным течением, отбросило в сторону. Он уже поднимал свою ненасытную рыбу в другом месте...

Человека прижали спиной к огромной стеклянной витрине. Он уперся ногами в землю и схватился за чей-то пояс. Человек старался избежать страшного стула, на который его садили.

Но толпа качнулась, — и человек сломился. Витринное стекло лопнуло. Колючая мельчайшая насыпь полилась за воротник. В спину вонзился острый черенок. Человек ясно соображал. Черенок, как беспощадный клык чудовищного зверя, нанизывал человека на этот смертный вертел. Человек сделал попытку найти освобождение. Легкое, осторожное движение убедило его в обратном. Черенок пошел глубже. Вся тяжелая высоченная витрина зашаталась, точно перед обвалом. С негодованием на человеческую трусость, которая мела людей по тротуару, как ветер метет уличный сор, узник закричал:

— Товарищи! Товарищи!

Тогда откуда-то из-за соседних домов конница выгнала новую толпу. Она перебежала наискось улицу и попыталась там задержаться. Толпа была больше раз'ярена, чем напугана. Она внезапно дала кавалерии отпор.

Плечистый, огромнорукий демонстрант гневно швырнул навстречу скачущей коннице длинное и тяжелое древко от знамени. Красная полоска на конце его зажглась точно уголь на ветру. Древко перевернулось в воздухе, свалилось на спины лошадей и грохнулось с треском на тупой торец. Пригоршни мелкого и крупного булыжника неуклюже вломились в кавалерийский строй. Конница подалась, вздымая на дыбы коней. Булыжник бил верно и крепко, точно в ближнюю, мягкую мишень беззвучные выстрелы.

Человек судорожно ринулся вперед. За секунду вровень с его головой трахнул в витрину один из булыжников. Стеклянная стена вытолкнула человека и с переливчатым лязгом села на подоконник. Человек недолго копошился под конскими ногами. Он юркнул в теснимую толпу, повернулся лицом к коннице и ужé потянулся за булыжником...

Полчаса спустя остатки толп, к которым присоединился человек, сгрудились на Пушкинской улице возле памятника поэту. Человек взобрался на решотку.

Он оправдал и одобрил товарищей, когда они не дослушали его до конца и разбежались.

С высокой решотки он заметил маxонького с блудливыми глазками старичка. Этот пронзительно возопил:

— Каза-а-ки!

Тотчас поддер[illegible] акие же подозрительные люди.

— Каза-а-ка! Каза-а-ки!

Толпа вздрогнула и разлетелась на части, точно давеча обрушилась стеклянная витрина. Старик убегал первым. Человек остался один на решотке. Он видел довольных провокаторов вдали. Они разогнали толпу, остановились и настойчиво разглядывали оратора. А потом пошли за ним...

У сыщиков была беспокойная служба. Человек водил их за собою, как хитрый зверь охотников, из одной части города в другую, пропадал в переулках, исчезал в проходных дворах... Он был хитрее зверя, потому что не оставлял следов.

Наконец сыщики проглазели. Человек незаметно проскользнул в одни небольшие воротца на Гороховой улице. Он освобожденно вступил на черную лестницу и передохнул. Однако он чутко прислушался и подозрительно пригляделся к узенькому четырехэтажному колодцу. На четвертой площадке он еще раз проверил. Кухонное окно хранило благопо-

лучные знаки. В условном углу за стеклом была прилеплена карамельная бумажка. Она свидетельствовала о свободном входе. Ее отклеивали при всякой опасности.

В маленькой столовой с тремя стульями, с диваном, со вделанным в стену шкапом, за круглым столом разместились две молодые женщины и гость. На чайном подносе под матерчатым голубым колпаком прел об'емистый чайник, а рядом стояли три чашки и на тарелке лежала горка сладких плюшек. Висячая лампа с зеленым абажуром чуть покачивалась и еще по-настоящему не разгорелась. Ее, видимо, только что зажгли. На это легкое движение лампы человек обратил большее внимание, чем на чай и хлеб. Лампа как будто обозначала загнанное сердце, которое теперь постепенно укладывалось в просторной груди.

— Да отвяжи ты свою пыльную бороду! — шумно воскликнула одна из женщин.

Человек только тогда опомнился и схватил себя за бороду, снял ее, повертел в руках и положил на краешек стола.

Марика Молодкина и Ольга Игнатьевна попеременно примеряли бороду Акиндина и встряхивали ее.

— Дайте, дайте, ну, вас совсем! — тревожно потребовал он. — Что-нибудь повредите. Щетка работает десятый месяц лучше не надо. Выручала из разных ям сотню раз! Бегу с усами, заскочил в под'езд, нацепил, а через черный ход смело выхожу бородачом дворником!

Акиндин развесил на диванную ручку пиджак, покрыл его картузом, а бороду оставил на том же месте. Он немного отошел и увлеченно рассказывал о всех сегодняшних похождениях.

В его рассказе было много знакомого. Оно часто повторялось. Иначе и не могло быть. Товарищи делали тоже ответственное и гонимое дело. Но все-таки они жадно и ненасытно переживали каждое слово Акиндина.

Только к одному Ольга Игнатьевна отнеслась несколько по-другому, чем сам рассказчик. Она мучительно закрыла глаза, когда вообразила мужа втолкнутым в витрину. Ольга Игнатьевна вскочила, осмотрела шею, бережно помазала ссадины иодом и вскинула на свет попорченный пиджак.

— Марика, — горько закричала она, — ты посмотри! Это же... какой-то друшлак! Сплошь, сплошь дырки. Воображаю, спина у Акиндина наколота!

Ольга Игнатьевна настояла на осмотре. Муж упирался и отшучивался, но поддался упорству двух женщин. Докторский осмотр закончился пустяками. Черные иодные мазки, как хвостики горностая, раскидались по спине больного. Кстати вспомнили выгорские банки и сравнили их по величине с царскими рублями.

Ольга Игнатьева пребывала в хлопотах. Лечение мужа было минутно, зато кропание его пиджака отозвалось в спине. Акиндин довольно уселся на диване между женщинами и раскинул по диванной спинке руки.

— Чорт возьми, — весело бормотал он, — я будто давно-давно не видался с вами! Будто из кругосветного путешествия вернулся. А всего-навсего за какие-нибудь полторы улицы от вас бродяжил. И проездил-то всего... недели две с половиной!

Но стали считать, — и Акиндин оказался в трехмесячном отсутствии. Ольга Игнатьевна считала безошибочно, как календарь.

— Нам надоело карамельные бумажки менять и протирать стекло с лестницы, — серьезно произнесла она, — мы с Марикой вообразили: или ты попался или приходил и почему-либо не разглядел сигнала!

Марика Молодкина подхватила укоры подруги:

— Вот ты какой забытоха и расточитель! Сколько лишнего керосину из-за тебя сожгли на кухне. Перевешивали лампочку с одной стенки на другую. Ко всему такому... никто из товарищей не встречался с тобой! Про-па-ал! Ольга мне прискучила своими вздохами. Едва удержала. Хотела уже итти в полицию и заявить о пропаже мужа! Чтобы впредь так не было! А то... переедем на другую квартиру и снимем карамельную бумажку! Оставайся без жены и без пристанища!

Акиндин освободил свои руки и суетливо задвигал ими. Он горячо и радостно задыхался:

— Три месяца — капля! Вздор! А всякий день события одно одного важнее! Мы провели дюжину крупных и мелких забастовок. Гигантик Путиловский стоял неделю! В Думе — запрос! Наборщики добились повышения расценок! Накануне забастовки были все типографии. Массовки удались в Озерках, в Парголове, в Пулкове! В кружки валит народ. На Балтийском закатили здоровенный митинг! Матросы у Поцелуева моста как-будто ни с того ни с сего сцепились с казаками. Едва не вышло свалки и потасовки! Матросов заперли в казармах. Казачки ускакали без всякой бравости! А был это конвой... его величества! Царский конвой! Что это обозначает, товарищи-женщины? Вы ничего не слышите под землей? А? Промоин вы под землей не чувствуете? Не кажется ли вам, что наш брат-мастеровой отдохнул от Треповской и Столыпинской встрясок, встает, откашливается, лезет на улицы! Сегодня он прямо попер со всех концов! К заставам выгнали целое войско городовиков. Полицию стянули со всего Петербургского округа! Не сдержа-а-ли! Куда-а там! А с солдатней повсюду в задир! Дай только в руки вместо рукавиц оружие! Будет, ребята, дело!

В эти довольно еще ранние часы Каменков-Чефранов с голубоглазой своей супругой, какой ее помнил Акиндин по городу Волоку, с неприязненно-брезгливым лицом возвратился в Озерки на дачу к вдовой теще-генеральше. Намеченное вечернее времяпровождение пришлось отложить. Маевка провально не удалась.

Супруги с компанией во-время поспели на Марсово поле и заняли на трибунах удобные места. Сны о Лебяжьей канавке исполнились! Компания договорилась после парада встретиться у выходов с трибун и отправиться на открытие яхт-клуба. Но скоро всё обернулось поиному.

Огромное четырехгранное Марсово поле было битком набито гвардейскими полками. Белоколонные на желтом поле Павловские казармы с крылом из особняка графини Игнатьевой во всю длину плаца замыкали одну грань. Тут стояла кавалерия: серебряные латники кавалергарды, золотые гусары, медные конногвардейцы, сине-красные лейб-уланы, голубые лейб-драгуны, бело-сине-желтые кирасиры, казачий красный конвой его величества, казачьи — атаманский и донской...

Напротив почти в версте укрытая от ветров с Финского залива золотела и слабо трепетала зеленая кудрявая роща Летнего сада. К этой второй грани Марсова поля прильнула Лебяжья канавка с дворцовым павильоном посредине, с трибунами по бокам и ставкой царицы на отлёте.

Слева на горке шумел ровесник Летнему саду парк Михайловского дворца и тяжело присела угрюмая усыпальница Павла Первого — инженерный замок Бренны.

Направо вдали на четвертой грани у Троицкого моста стоял бронзовый денди Суворов-Италийский и пропускал войска, уходившие с парада на Дворцовую набережную к лобастому Мраморному дворцу Константиновичей.

Рядом со ставкой царицы на отступе от дворцового павильона на белом арабском жеребце восседал плюгавенький всероссийский самодержец Николай Второй с конной своей свитой. Парад гвардейской пехоты проходил строго и безупречно. Самодержец был весел, как чищенные латы на кавалергарде.

На трибунах не сиделось от нетерпения, — и люди приподымались, чтобы видеть и самодержца и стройный, тяжелый, громовой поток гвардии мимо воображаемого державного хозяина. Зрелище захватывало, как если бы над Марсовым полем поднялся настоящий оснащенный кронштадтский броненосец.

Но все ждали самого первостепенного и величественного, последнего торжества первомайского парада, последнего торжества самодермца! Кавалерия, которую одели во все цвета, мыслимые и немыслимые на свете, в киверах с султанами, в шлемах, в касках, в серебряных и медных латах, на вымытых и причесанных конях, в сверкании уздечек и

стремян, ожидала зовущей серебряной трубы императорского лейб-горниста.

Плотная тысяча тысяч, каменная стена всадников, точно подлинно распрямили какую-то древнюю крепостную ограду вокруг города, всю в узорных башнях и бойницах, в цветистых и радужных колерах, неколебимо вросла в землю.

Кавалерию для показа самодержцу в этот незабываемый весенний парад обучали и подготовляли весь апрель. Кавалерия от первого до последнего конника должна была нестись марш-маршем на своего императора и в бешеном скаку остановиться в трех саженях от головы императорского жеребца.

Этого лавинного марша, точно трижды голодные перед душисто-вкусным паркóм из суповой миски, ожидали все на Марсовом поле. Для него раскупили дорогие места на трибунах. Для него шили тысячные парадные платья и костюмы. Для него вставали до света, когда обычно просыпались за полдень, до света выезжали из Царского села, из Павловска, из Гатчины. Для него гадали, получат ли пригласительные билеты от церемонимейстерской части? Не сдерживали зависти к счастливым обладателям связей!

И вот кавалерия пошла... Самодержавный петушок остолбенело любовался. Мохнатый, громоздкий вихрь в пыли, как в боевому дыму, в грохоте, в железном лязге оружия и конского снаряжения мчался к прищуренным глазам императора.

В царском павильоне, на трибунах ерзали тысячи людей, словно сидения под ними горячо накалились и занимались первой огненной струей неслыханного пожара. И вдруг... все охнуло и вскочило и завопило в сумятице. Царица с криком высунулась из палатки. Кавалерия, как гигантское живое било, пронеслась дальше церемониального рубежа, столкнула самодержца, поворотила императорского жеребца задом, раскидала по плацу обалдевшую свиту и салютовала спине скорченного в ужасе офицерика.

— Покушение! — пронзило одно слово дворцовый павильон и трибуны. — Покушение на государя! Террористы! Революционеры!

Но потный и недовольный император был жив-живехонек. Кавалерия уже твердо вкопалась на месте и как бы опустила стыдливо глаза от неудачи.

Встревоженный конь под императором не повиновался удилам, как и оплошавшая гвардия. Самодержец, кажется, имел теперь одно желание — как можно скорее поворотить жеребца. Он слабосильно возился с ним и долго не мог одолеть норовистое животное.

Свита верноподданнически следила за усмирением строптивой лошади и более умело управляла своими конями, чтобы все время держаться лицом к повелителю. Николай устал, но добился победы.

Ошибку кавалерии он однако не забыл. Виновники ошеломительно неудачного парада, потупясь, трепетали в седлах возле самодержца. Он лукаво усмехнулся и как-будто снисходительно к их смущенному виду неясно и непонятно сказал:

— Ничего, ничего...

Гвардейские царедворцы тем не менее не просветлели: они знали, как был злопамятен император! Тут же на Марсовом поле, лишь Николай поворотил коня домой к Зимнему дворцу, кто-то из свитских уже слышал устный приказ императора об отмене на будущее первомайских парадов петербургской гвардии. Немилость самодержца была ясна.

Так Каменкову-Чефранову и не пришлось разыграть ресторанов. Правда, у выходов с трибун по условию встретились, но кислые и разочарованные промашкой гвардии. И всем сделалось не до празднества. Дальнейшие затруднения еще более убавили азарт утренних приготовлений.

Покуда царь и петербургская знать потешались парадом на Марсовом поле, градоначальник с трудом очищал столицу от рабочих. Он планировал и дробил ее на запретные и свободные участки, задерживал людское и экипажное движение в одном углу, допускал в другом, приостанавливал в третьем. Он был бы рад прекратить его вовсе и раньше времени уложить взбаламученное свое воеводство спать.

На открытие яхт-клуба раздосадованная компания не пробралась. Она суну-

лась к полицейским рогаткам. Пристава и околоточные учтиво вытягивались — и не пропустили.

Улицы сегодня не располагали к путешествиям. Дамы первые возмутились на беспорядок. Улицы показались им сегодня чересчур неприветливыми. На беду дамы увидали у Николаевского моста красные флаги. Тут же на вспененном лихаче попался знакомый, вылез из экипажа и сообщил совсем унылую новость: в ресторане у Кюба толпа выбила зеркальное стекло.

Компания с досадой раз'ехалась по своим городским квартирам. К вокзалам надо было пробиваться тоже не без усилий. Игорь с женой попал туда в переполненный вечерний поезд...

Знай Акиндин о всех первомайских препятствиях Каменкова-Чефранова, он имел бы право злорадствовать. Вечернее его пребывание на Гороховой, а затем и ночное — товарищи засиделись на диване — было бы еще приятнее.

В свою очередь Каменков-Чефранов весьма бы поправил брюзгливое настроение, если бы мог усмотреть из тещиных окон то, что вскоре произошло с Акиндиным.

Около часу ночи на Гороховой резко рванулся звонок у кухонных и парадных дверей. Трое товарищей сорвались с дивана. Ольга Игнатьевна мелькнула в узенький коридорчик, точно она не бежала, а летела. Акиндин поспешно начал напяливать непослушный пиджак. Марика Молодкина чутко вся вытянулась вперед, как-будто перед прыжком...

Ольга Игнатьевна знала, что делать. Она чуть пошевелила непроницаемую занавеску на кухонном окне и выглянула в едва заметную, не толще человеческого волоска, щелку.

— Марика, шкап! — требовательно приказала женщина, снова появляясь столовой.

Акиндин, несмотря на опасность этих бегучих секунд, по крайней мере на одну из них остолбенел. Жена успела преобразиться. На ней был грязный кухарочий фартук, на голове повязан неряшливый платок, руки точно бы в золе и в саже, а ноги босые.

— Вытаскивай! — приглушенно крикнула Ольга Игнатьевна мужу.

Полупустой шкап со столовой и чайной посудой легко вылез из стены. Акиндин подхватил с дивана смятый картуз и шмыгнул в стенную нишу.

Она была достаточна. Шкап занимал в ней только половину. Его давно взамен хозяйского искусно убавили. Хозяйское нескладное и бесполезное деревянное чудовище тогда же переместилось в коридор и было переделано в платяное хранилище.

Женщины вдвинули свое хитрое изобретение на место, — и человек безвозвратно исчез. Теперь они достойно приготовились к встрече гостей.

А те уже понуждали к торопливости. Звонок рванулся резче и требовательнее. Довольно основательно тряхнулись двери. Настойчивый стук повелевал. Кухарка кинулась открывать.

Квартирка стеснилась многолюдством. Три небольших комнатушки заполнились жандармами и городовыми. Обыск, как ищейка, обнюхивал каждое пятно, каждую дырку и всякий подозрительный след. Уже осмотрели стенной шкап.

Тогда-то Ольге Игнатьевне и пришлось пережить ни с чем несравнимую досаду. В суете с передвижкой шкапа при быстрых движениях троих людей на уголке стола загнулась скатерть. У самой кромки лежал полураскрытый спичечный коробок. Он-то и вводил в заблуждение Ольгу Игнатьевну и всех чужих. Люди давно ходили мимо, а кухарка стояла рядом, и никто не замечал клочка бороды, которая высунулась из-под скатерти и уперлась в спичечный коробок.

Ольга Игнатьевна открыла забытую бороду Акиндина случайно. Она почему-то более приметно, чем в других, всмотрелась в одного старого бородача городового у шкапа и сразу увидала бороду под скатертью.

Женщина, кажется, соображала с невиданной на свете быстротой и была так глазаста, точно все жандармы и городовые вместе. Она еще не решила как поступить, но уже придвинулась тесно столу, уже наблюдала за малейшей не-

осторожностью гостей, чтобы вырваться из беды.

Но Ольга Игнатьевна волновалась и сделала глупость. Она для чего-то потянула скатерть к коробку и совсем прикрыла бороду, словно ее так бы никогда там и не обнаружили. А некий рыженький жандарм уже загремел чайником и приподнял поднос. Обыск подкрадывался к бороде...

Ольга Игнатьевна поспешила. Самый ловкий фокусник взял бы ее в свои помощницы. Она будто бы только мигнула, а скатерть с'ехала в висячее свое положение, спичечный коробок не шелохнулся, борода смятым комком очутилась в руке и последовала за пазуху.

Но что же было за укрытие под фартуком? Это борода скрылась из глаз лишь ненадолго. Вон в коридоре дожидалась веснусчатая жандармская баба с цепкими и беззастенчивыми пальцами. Ей предстояло раздевать Ольгу Игнатьевну, укромно лазить по ее голому телу, вытряхивать и осматривать ее одежды! Борода попадалась...

Время шло. Полагалось торопиться. Женщина меняла решения быстрее, чем вертелся бы детский волчок на полу. Борода перебывала и под столом и за диваном и под нижней рубашкой у Ольги Игнатьевны и даже в кармане у дворника — понятого. Но все эти прятки никуда не годились. Женщина тоскливо и безвыходно отвергала их.

А в конце концов выручил тот же неприятно рыжий жандарм. Он выщупал весь стол, все переставил и передвинул, скинул скатерть, не накрыл ее вновь, а небрежно оставил возле раскрытого чайника.

С последним он возился особенно внимательно: булькал в нем ложкой, цедил воду из горлышка, заглянул на закопченое дно, стрекнул дважды по никелированному боку и к чему-то прислушался. Ватный колпак с чайника он подпорол хозяйским столовым ножом и шустрой рукой выпотрошил колпачные внутренности на поднос. Пустой колпак жалкой голубой тряпкой лег вблизи чайника. Марика стояла недалеко от своего разрушенного чайного обзаведения.

Ольга Игнатьевна тут и отыскала кладовку для бороды. Женщина легонько переступила к Марике, выбрала удобную передышку в наблюдении за собой ищеек и сунула бороду в руку подруги. Та встрепенулась, чуть-чуть не выронила и вскинула кверху удивленные пенснэ.

— В чайник! — едва-едва пошевелились губы Ольги Игнатьевны.

Марика однако услышала, покраснела и счастливо улыбнулась от догадливости подруги. Борода почти вслед угодила в назначенное помещение. Марика судорожно окунула ее глубже и показала кухарке мокрую руку. Обе женщины так расцвели, словно нежданно столкнулись в незнакомом захолустье.

А через две-три минуты усталый жандармский офицер захотел пить, захотел для чего-то показать ненужную учтивость, закрыл чайник крышкой, взялся за висячую ручку его и обратился к Марике:

— Вы позволите?

Женщины обомлели и как-будто вспыхнули от жандармской вежливости. На всякий случай они предусмотрительно отвернулись, пока вежливый жандарм насыщался.

Нельзя сказать, чтобы в замурованном склепе Акиндин чувствовал себя хорошо. Он так неподвижно застыл в темноте, что сердце как-будто бы существовало совершенно самостоятельно. Сердце било свою торопливую дробь, точно при под'еме на гору. Неизбежная пыль першила в горле. Узник старался прикровенно дышать, а тут возникали позывы к чиханию. Акиндин давился и крепко обеими ладонями клепал предательский рот.

В склепе все было слышно. Голос Ольги Игнатьевны показался даже довольным, а все-таки унылое сомнение в безопасности жены, товарища и себя не проходило. Акиндин жестко казнился и обвинял себя в нелепой, непростительной растерянности. Он вспомнил о забытой бороде почти сразу же, едва очутился за шкапом.

Но обыск продолжался с такой развалкой, с какой шла бы некормленная лошадь с возом. Акиндина почему-то не трогали. Рылись в шкапу, шарили вну-

тренние стенки, словно касались по телу заключенного. Вот, вот должны были потянуть на себя шкап и... не тянули!

— Госпожа Молодкина, — слышал Акиндин вкрадчивый и недоверчивый голос, должно быть, того жандарма, которого поили из чайника, — вы три года тому назад отбывали административную высылку?

— Да, — отвечала Марика.

— А чем вы теперь живете?

— Частными уроками.

— А почему вы не служите? Вы же бывшая преподавательница Василеостровской гимназии?..

— Потому, что бывших политически-неблагонадежных на службу не принимают.

— Но вы же теперь... вполне... ведете образ жизни... благонадежный...

— Однако вы у меня делаете обыск...

— Конечно... но это очередная... проверка... случайность...

Акиндин отчетливо различал по звуку, что у жандарма была привычка писать каждую букву отдельно. Перо работало с правильными промежутками во времени. Акиндин представил себе, как около стола стояли Марика и кухарка Оленька, невинно глядели на жандарма, сдерживали дыхание, впопад отвечали и невпопад напряженно думали о зашкапном жильце.

Но где же, где же, куда же девалась злосчастно забытая борода?

— А это что за женщина? — допрашивал жандарм.

И вместо Марики сунулась было с ответом Ольга Игнатьевна:

— А я прислужница — Палашка Козихина. Рязанская. У меня и паспорт в сундучке.

Жандарм обнаружил недовольство от непрошенного вмешательства говорливого простонародья:

— Тебя не спрашивают!..

— Я... я это так, — разыграла Оленька испуг от выговора начальства и будто бы простосердечно, с восхищением добавила, — какие в Питербурге у царя... полковники... строгие! Ох, страсть неуживчивые!

Акиндин и улыбнулся и осудил излишнюю болтливость жены: она затягивала допрос и, может быть, освобождение из зашкапной темницы. В столовой принужденно закашляла жандармская свита, а Марика хозяйски покровительственно возвысила тон:

— Перестань, Палаша, вмешиваться! Отвечай, когда к тебе обратятся!

Но к кухарке не обратились, — и скоро пошли вон. Палашку Козихину многозначительно ущипнул в тусклом коридорчике рыжий жандарм и получил от нее сильный совок в спину.

Однако же рязанская простофиля вышла провожать посетителей на лестницу, любопытно свесилась головой через перила и будто бы даже подморгнула кой-кому глазом.

Обыск благополучно пронесло.

Ольга Игнатьевна вышла ранним утром в лавочку. Она уследила около близкого фонаря охранного зевающего человечка.

Не трудно было разведать у благосклонного к ней дворника-понятого некоторые подробности. Иван подтвердил о розысках некоего опасного бородача. Друзья вместе поохали и кстати таинственно, с уважением оглядели бесчисленные окошки дома, за которыми где-то прятался неуловимый хитрюга. Акиндин привел за собой первомайского языка...

В этот вечер мимо Ивана, занятого разговором с Палашкой на лавочке у ворот, проследовала из калитки высокая плохо одетая женщина с узелком в руках. Ивану сейчас было некогда интересоваться всякими проходящими бабами.

Пропустил ее и бродячий страж на той стороне Гороховой.

Веселый Акиндин нёс в узелке свои мужские пожитки...

Человек с мокрым портфелем.

Другая по цвету и прическе борода заменила размокшую в чайнике. Акиндину не требовалось ее холить, а служила она исправно. Не менее исправно всех предыдущих. В употреблении же она бывала очень часто.

Вскоре после игры в ряженых на Гороховой Акиндину довелось проникнуть на Балтийский завод. Там она и понадобилась.

Предстояла забастовка. Деревообделочный цех коноводил. В нем у Акиндина была ватага бесстрашных товарищей. Туда-то в послеобеденное время, когда сторож в проходной будке зевнул, Акиндина и протащили.

Собрание получилось горячее. Все цехи побросали работу и повалили в деревообделочный. Народ не вместился. Митинг перенесли на двор.

С какого-то ящика товарищ Федор Бояринцев, — такова была кличка Акиндина на Балтийском, — долго и беспрепятственно говорил. На потайных собраниях с представителями цехов забастовку уже наметили и подготовили.

Теперь предстояло расшевелить только диких, не совсем твердых и маловеров. Толпа раскаливалась быстро, точно солнце вдруг начало печь вдвое сильнее. Товарищи не замечали один одного. Каждый кричал и размахивал руками порознь, а все крики сливались в единый благожелательный гул.

Акиндин радовался этому своевольному единодушию. Оно уже решало успех забастовки. А поэтому и все заранее заготовленные требования к администрации поддерживались такими криками, как будто толпа подбрасывала чтеца до высоты заводских корпусов и восторженно качала.

Тогда-то администрация и спохватилась. Городовые и военная охрана показались у ворот. Стражу встретили шумом и свистом.

— Опоздали!

— Кто же к шабашу, дурни, ходит в церковь! Разве одни нищие!

— Сейчас пойдем... подавать будем!

— Прискакали раньше, может, вместе бы обсудили требования!

— Начальство в почетный президиум!

— Вам, небось, прибавка к жалованию тоже люба!

— Подымай руку за восемь часов.

— Кричи — долой Думу!

— Долой говорильню фабрикантов и помещиков!

— Долой белого царя!

— Николашку с министрами!

— Угодника Распутина!

— Поворачивай винтовки на хозяев! Там мишень, не здесь! Паляй в сытое, а не в голодное рыло! Будет дураками набитыми служить против самих себя!

— Привязанному псу не изловить лису!

— Вопи вместе — да здравствует вооруженное восстание!

Митинг уже кончался. Прибытие наблюдателей малость сбило с толку. Но Акиндин все же успел овладеть последним вниманием толпы и осипшим голосом выкрикнул:

— Товарищи, ставлю на голосование — кто за забастовку, поднимите руки!

На заводском дворе стало тесно воздетых рук.

— Кто против?

Заводский двор освободился от тесноты, присел, лишь тут и там высунулось немного рук и неловко опустилось.

— Что-о, руки в локтях сводит? Не распрямляются? — насмешливо подпустили непримиримые. — Вы бы за раз со всеми! Тогда кулак сам к небу просится!

Несогласных были капли в большом полноводном пруде, — и о них тут же забыли.

Гости времени не берегли. Они задумали пропустить тысячную толпу через проходную будку. Посторонние попадались.

— Товарищи, это не годится! — закричали с разных концов. — Это мы все равно что дичь на привязи! Любого подавай на обед, любого на ужин! Стой! Ни с места!

Акиндин слез с ящика. Стража успела запомнить оратора. Несколько человек прошли в будку и застряли там.

— Товарищи, это не дело! — беспокойно взывали распорядители. — Ломи прямо! Ворота что ли забыли? Ворот у нас что ли нет!

Замок сломали, все равно что раздавили рыхлую льдинку. Толпа бросилась в проход.

Городовые и солдаты напрасно сопротивлялись. Толпа грянула дружную марсельезу и как бы стала сильнее. Не удалась попытка разорвать толпу и на части. Стражу смешали с собой, словно на темной осенней реке накрошились цветные листья с прибрежных кустов. Усми-

рители бестолково хватали рабочих товарищи отбивали.

Акиндин видел, что с него не спускало глаз несколько городовых и настойчиво пододвигалось ближе. Они даже подымались на носки, когда Акиндина загораживали более высокие люди. Акиндин нагнулся, прицепил верную мочалку и вынырнул неузнаваемым. Он беспрепятственно уходил...

Начальство свистками собрало подчиненных и с досадой следило за торопливым шагом рабочих. Забастовщики миновали ворота и оправились. Тогда по привычке к порядку, по привычке к заводской машинной дисциплине, начали выравниваться в крепкие и стойкие ряды, сцепились за руки, как в дереве слой к слою, и привольно распространились вдоль улицы. На коротких железных тростях вспорхнуло немного краснознаменных птиц.

Они-то и явились сигналом начальственной ярости. Из-за соседнего забора хватил тупой хлопок. Он точно столкнул рабочих с дороги. Пули загудели, как невидимые и страшные насекомые. Краснознаменные птицы на мгновение взвились выше и опустились. А потом помчались над головами, беспрерывно ныряя то вниз, то вверх, как узорные санки по крестьянскому проселку.

Акиндин бежал в полной забывчивости. Он прыгал через груды товарищей, неуклюже застревал ногами—и все гнал и гнал с искривленной своей бородой на сторону.

Только вдали от Балтийского Акиндин проскочил в пыльном зеркале какой-то торговой витрины и мельком обнаружил непорядки с бородой. Кстати он ее во-время исправил. Навстречу неслась опоздавшая казачья сотня и била нагайками рабочих на каждом камне мостовой. Она сметала людей с улицы, как если бы катилась по ней высоченная волна вровень с трубами.

Борода пригодилась: Акиндин шмыгнул в одни полураскрытые стеклянные двери. Человек в жилетке и белом фартуке, с засученным по локоть рукавом рубахи взмахнул на него огромным фарфоровым чайником. Акиндин потупился, точно по голове уже угадал удар этой посудины.

Но человек все-таки грубо впихнул его внутрь чайной, а молодых ребят с улицы не пустил. Он уперся грудью в дверь и захохотал, когда неудачные беглецы ровнехонько наткнулись на казачью порку.

— Эх, жжигнула! — с аппетитом просмаковал он и влажными глазками обвел полупустую чайную. — И... эх и работяги же, донцы! Лучшей науки не надобно!

Прелый и потный народ — извозчики, торговая мелкота, чиновники заинтересованно глазели в окна. Привратник с чайником передал им свое восхищение умелой расправой. Вся эта братва словно облизнулась.

— И по тебе б угадала! — сказал Акиндину человек в фартуке и... вдруг задумался. — А ты... не из той же будешь лавочки? Может, тебя тоже следует за гребень вон? Может, у тебя и борода-то не настоящая?

Чайная «Союза русского народа», куда занесло Акиндина, насторожилась. Акиндин нашелся. Он дерзко передразнил привратника, игриво приподнял бороду на ладони и, точно бы изо всех сил, дёрнул ее.

— Хватил тоже, умная голова!—подделался Акиндин к голосу черносотенца.

Борода временно выручила, но она же могла и погубить. Акиндин долго не засиделся в этом черном тараканьем пазу. Раньше еще окончания лихого казацкого наезда он постарался выскользнуть на волю.

Быстроногий Федор Бояринцев, то бородач, то в собственном виде вертелся по Петербургу подобно лихачу. С той только разницей, что лихач кормил своего коня, что лихач давал ему отдых, что лихач работал неделю ночью, неделю днем. До разделения ли на день и на ночь, до кормежки ли было Федору Бояринцеву?

Он работал сплошные сутки и не заводил своей постоянной конуры. Вороны и галки где-то ночевали в привычных пристанищах, — он же беспаспортно скитался с явки на явку. Акиндин не

всегда попадал на ночлег, так как ночлег стерегли.

Федор Бояринцев запутывался в облавах и вылезал из них. Он слонялся до утра в глухих, заваленных фабричными и заводскими отходами пустырях, спал возле дровяных штабелей на набережных, в запертых скверах и садах.

Редко он по-людски раздевался на Гороховой. Но и тогда рядом на стуле была сложена вся его сбруя, чтобы проснуться от ночного звонка, схватить в охапку свою кладь и отсидеться в нише за шкапом.

Скоро пришлось отказаться и от этого роскошества. Бессонные люди в Петербурге были и кроме Федора Бояринцева. Они часто навещали квартиру на Гороховой. Дворник Иван откровенничал с Палашкой:

— «Гляди, — говорит сыщик в сыскном, — пуще своих глаз гляди за помещеньем на четвертой площадке. Барынька с душком. Беспременно к ней разные секретные революционеры шляются. Только поймать не можем». Я сыщику смеюсь напрямки. Нежто в какую другую квартиренку проскальзывают, а в эту нет! Ручаюсь! Да мне Палашка Козихина по дружбе всёшеньки открыла бы!

Ольга Игнатьевна серьезно подхватывала:

— Ясно б не промолчала! Мне моя хозяйка — сегодня хозяйка, а завтра я ее и знать не знаю! А еще и ответишь за них!

Иван насмехался над несмышленым сыщиком:

— И на счет тебя наущает. «Сговорись, — грит, — с Палашкой и от нее выведывай. Обоим вам будет награда. Молодкина — запачканная. Конечно, дозирай за всеми жильцами, а Молодкину более прочих не опускай из виду».

Ольга Игнатьевна с осуждением качала головой:

— Вот, дьяволы, привязались!.. Что науставляли о барыне! А я тебе скажу... уж и человек-то она хороший-прехороший! Никогда не обругает, ни в чем не обидит. Одни свои урочки знает! Ни с кем она никаких дел не ведет, все про нее врут! Я бы первая заметила. Вся квартира мне ведома. На запоре от меня ничего нет...

Наблюдению Ивана и Палашки не верили и проверяли сами. Ниша оставалась неприкосновенной. В шкап только-только не забирались с ногами, знали на какой полке ставят сахарницу, на какой кладут ножи, а про углубление не догадывались.

Ольга Игнатьевна и Марика Молодкина настойчиво пользовались своим обстроенным погребком. Палашка Козихина больше того: она так привыкла к обыскам, что знакомо и приветливо открывала двери ночному воинству и задорно дерзила ему.

— А, сызнова обыскиватели! Вали, вали валом! Добра вам припасено, — на подводе не увезете! И что это за наказанье — которую ночь за зиму не дают поспать! Прямо-таки пущать не буду! Прямо-таки, хоть не пущай!

Палашка Козихина не испугалась, а даже рассердилась, когда однажды возмутился главный жандарм и прикрикнул:

— Ну, ты, рязанская дура, молчать!

Ольга Игнатьевна задорно играла. Все фразы давно были обдуманы. В маленькой столовой она как артистка упорно проходила свою роль в комедии и смешила единственного зрителя — Марику.

— А ты чего лаешься? — с притворной злостью выпучила глаза Палашка на жандарма и обратилась к Ивану-дворнику. — Иван, будь свидетелем! В своей квартире да еще и обдурили! Я к мировому с жалобой пойду!

Только друг Иван и одёрнул разгневанную женщину.

— Заткни рот, пустобреха, — в ужасе прошептал он, — засудят, голову сымут, чего ты, несуразная, с ими калякаешь!

Федор Бояринцев никак не мог пропустить без внимания столь основательно проверенное помещение. Он отказался от посещений квартирки на Гороховой. В склеп начали муровать вещи.

Хозяйственная кошелка Ольги Игнатьевны была вместительна, будто обслуживала она целый этаж. Кошелка эта для домашней снеди появлялась, кажется, на всех петербургских рынках. Оль-

га Игнатьевна любила покупать некоторые предметы с рук. Акиндин без запроса продавал их. Продавали друзья Акиндина. Ольга Игнатьевна тяжело несла свою кошелку. Зеленые султаны моркови свежо и кудряво торчали из нее.

Самодельные полки перегородили зашкапное пространство. На них навалом копили полезную кладь. Шкап без нужды перестали выдвигать и укрепили его прочно в стене. Даже тоненькую щелку между шкапом и стеной, в которую едва входила женская головная шпилька, старательно и аккуратно зашпаклевали.

Ольга Игнатьевна и Марика Молодкина превратились в маляров. Куски новых обоев немножко выгорели на солнечных подоконниках и неотличимо подошли к старой выцветшей оклейке.

Теперь трудолюбивая кошелка Ольги Игнатьевны действительно наполнялась необходимым кухонным харчем. Акиндин совсем изменил квартирке на Гороховой. Он редко видался с женой в укромных переулках.

Лихач Федор Бояринцев скакал с такой редкой удачей, точно его прикрывала шапка-невидимка. Гром от лошадиных копыт, свист и ветер слышали все, кому надлежало слышать, а сам лихач неясно мелькал, как скудное финское солнце в невском тумане.

Федор Бояринцев точно бы сидел в земле глубже, чем он посадил троих товарищей под полом в сырной лавке на Черной речке. Там днем торговали дешевыми молочными продуктами, а ночью кропали на типографских станках папиросные шелестящие изделия для петербургских застав. Рынок был так ненасытим, что типографщики не знали досугов, как и неугомонный лихач Федор Бояринцев.

Вообще они, — и типографщики и лихачи, — были похожи друг на друга, как саженый лес в делянке. Они отличались такой бдительностью к своим подпольным заповедникам, точно часовые к пороховым складам.

И осторожность давала долголетние удачи!

Но было бы слишком много удач в жизни! Провалы, как ветер рвет с ног, вдруг выкидывали товарищей из подземелья.

Федор Бояринцев любил веселую Финляндскую дорогу. Поезда неслись по ней совсем непохоже на другие дороги империи. Медный колоколец над паровозом заливался, как будто ехали пожарные.

Поезда бежали болотистыми петербургскими полями, — и все-таки Акиндин чувствовал близость другой земли. Великое княжество Финляндское именовалось в царских манифестах неделимой романовской вотчиной, но оно гремело своим непокорным колокольцем, лежало в своих гранитных границах, оттуда дул на затхлые равнины империи крепкий ветер неодолимой свободы.

Федор Бояринцев пристроился на финляндском рубеже. В одном белоостровском домишке, где проживал отставной петербургский профессор, помешанный садовод-любитель, вгнездился землекоп и сторож Пантелей Рябухин.

Профессор скрещивал невиданные породы цветов с российскими васильками и колокольчиками. Пантелей взрывал пухлые, как кондитерские торты, гряды, сторожил ночное произрастание цветников и возил профессора на прогулку к белоостровскому дебаркадеру.

Профессора часто одолевало садоводственное беспокойство. Он выезжал в столицу за семенами. Он привозил от садовников горшки особо упитанной земли. Тогда Пантелей опекал профессорское слабосилие и в обеих руках носил за садоводом по Петербургу гончарные хранилища с черноземом.

Пантелей был ретив к работе и ко всякого рода перевозкам. Убогая сторожка в профессорском саду вмещала не только производственную рухлядь, а и всякие грузы со стороны.

Федор Бояринцев знал кратчайшую тропку к этому собачьему ящику Пантелея. Тропка кроме того далеко убегала за финляндскую границу. С попутным случаем Пантелей доставлял профессорскую кладь на белоостровский вокзал, передавал надежным проводникам или отвозил сам.

Пантелей решил, что уж если взялся быть землекопом, то никогда не должен

сидеть сложа руки. Пантелей так рыл землю, словно ему был задан урок перекопать ее всю. Землекоп сильно подсох, как нанялся к профессору, но и руки же у него огрубели, но и настойчивость же он развил в себе, в пору усмирять необ'езженных жеребцов!

Пантелей столь крепко упирался ногами в черенки лопаты, что сильно подправил дряблые икры. Они напрягались под кожей точно осенние антоновские яблоки. Пантелей быстроного в ночь до света ходил в Финляндию и без устали возвращался в свою конуру. Он не уступал ни петербургским лихачам, ни упорным торговцам сырами на Черной речке!

. . . .

Федор Бояринцев совершал привычный и потому довольно спокойный рейс. Пантелей вывез на станцию неряшливый мешок. В нем притаился кургузый ящичек. Пустой цветочный горшок неизменно добавлялся к каждой пантелеевой посылке.

Федор Бояринцев выставил его на лавке. Массивная корона с перьями и мехом, родственная извозчичьей зимней шапке, на двух каких-то диковинных злаках, определяла принадлежность горшка полоумному профессору. Герб был во весь горшок. Белильная накипь грубо кричала о кичливых страстях белоостровского садовника. Но... она же была и безукоризненным сопроводительным паспортом для заграничных товаров Пантелея.

Финляндский вокзал в Петербурге видал всякие грузы под мышкой у Федора Бояринцева. Он с независимой уверенностью направился к извозчику. Горшок с гербом стеснял. Однако ни швырнуть его было нельзя, чтобы освободить одну руку и поддержать тяжесть под мышкой, ни воспользоваться занятой рукой, чтобы не раздавить горшка о деревянный ящик. Ну, прямо хоть неси дурацкую профессорскую посуду в зубах!

Федор Бояринцев довольно неуклюже размахивал этой бесполезной вещью, неловко перевешивался на бок и вообще обладал фигурой мало устойчивой.

В неприятной связанности он утратил необходимую наблюдательность. Он не заметил за собой четверых провожатых. Двое его встретили на перроне, а по одному сошло с вагонных площадок.

Окружили его плотно и заботливо. На изогнутом плече показалась цепкая лапа, другая услужливо овладела горшком, третья предупредительно подхватила под руку.

— Пожалуйте с нами, — сказал четвертый и требовательно добавил, — позвольте ваш мешок!

В дверях станционного жандармского отделения уже поджидали. Федор Бояринцев хмуро взглянул на любопытного ротмистра.

— Что у вас тут? — строго спросил тот.

Он пальцем показал на вынутый из мешка ящик. Стул под ним заскрипел. Федор Бояринцев с брезгливой усмешкой заметил жадные жандармские взоры.

Профессорскому горшку пришлось стоять с известным почетом. Его поместили на письменный стол возле чернильницы. Федор Бояринцев с неожиданной для себя смешливостью вдруг уставился глазами на извозчичью корону. И язык арестованного невоздержанно проболтался:

— Вы из него устроите хорошую пепельницу.

Но ротмистр гневно не пожелал заниматься шутками!

— Без скоморошества!—крикнул он.— Содержимое ящика?

И с тем же азартом Федор Бояринцев огрызнулся:

— Бомбы с часовым механизмом!

Жандармы неуверенно переглянулись и замерли, а ротмистр язвительно хихикнул:

— Ага! Но... Упаковка... в тех случаях бывает иной! А эта не соответствует вложению! Слишком... Были бы плоскими бомбы! Вам не угодно, конечно, отвечать?

Ротмистр иронически развел руками, так что на груди у него дрогнули аксельбанты, точно индючья кисть.

— Да, не угодно, — подтвердил Федор Бояринцев. — Разговоры бесполезны. Открывайте и увидите! Тащите меня в вашу... какую-нибудь мерзкую дыру!

— О! Нам это знакомо! — издевался ротмистр.

— Знакомо? В чем же дело? — пробормотал Федор Бояринцев.

Его оставили. Ротмистр повертел в руках профессорский горшок, потрогал пальцами выпуклость короны и пренебрежительно сунул сосуд в руки ближайшего жандарма. Осмотру подлежал ящик.

— Взломать! — приказало неспокойно начальство. — Осторожно!.. Ящик должен быть цел!

Федору Бояринцеву сделалось так обидно и тяжело от неудачи, так стало жалко новеньких маузеров, винчестеров и браунингов, что он страдальчески скосил глаз на ящик.

В это же время ротмистр пристально всмотрелся в арестанта, важно кашлянул и протянул свою правую длань...

— А вот мы и помолодели! — восхищенно загрохотал ротмистр.

Одним движением он оторвал чернявую бороду Акиндина и даже с некоторым мальчишеством вознес над головой.

— Обыщите его!.. — задыхался счастливый разоблачитель государственного преступника.

Этот же день не обласкал и Пантелея Рябухина. Акиндин еще не доехал до Петербурга, еще верил в покровительство глупого горшка и нарочно подвертывал лобастый герб всем предполагаемым сыщикам, как за Пантелеем вкрадчиво и осторожно пришли. В великой дрожи и немоте находился тут же лупоглазый профессор.

Подобно Федору Бояринцеву, не открыл своего ни имени, ни звания и Пантелей Рябухин. На самом же деле это был заскучавший в Выгорской тюрьме беглец-подкопщик товарищ Малушин.

Но промахнулся не он первый, не он последний. Покуда Малушин скользил как по воздуху в белоостровских местностях, в недалекой от садовой сторожки избе прильнул к окну приплюснутый нос одного мужичка-доброхота. Этот, извозчичьего ремесла мелкий хозяйчик, имел избитую пролетку. Он возил на ней с железным тарахтением летних дачников, рубаху не скидывал от лета до зимы, но уважал богатство и знатность и власть, не любил пришлых скудельных людишек и по следам выведал Пантелея, как медведя в берлоге.

Тогда и появились охотники с рогатиной. Они раньше нюхали медведей в Белоострове, припадали ухом к подозримым берложьим жильям, — и ошибались. Добровольный любитель-наводчик за спасибо, с легкой и хитрой улыбочкой верно показал длинным пальцем.

. . . .

Облезлая, как старая енотовая шуба, охранка на Мойке подслеповато глядела на столицу. Эта доставляла ей достаточно хлопот. Федор Бояринцев позаботился умножить их.

Вот уже около году его возили взад и вперед: то сюда, то в Кресты. Дело о безымянном революционере было тоще и никак и никуда не двигалось. В заерзанной папке почивал один исписанный протокол об аресте и пустые листы дознания. На них прибавлялись новые кличи Федора Бояринцева, — и ничего больше.

— Иван Непомнящий! — в бешенстве восклицал следователь. — Вы пытаетесь отыграться молчанием! Вы полагаете, оно вас выручит! Напрасные уловки! Мы вас предадим суду... сугубо... с учетом всего вашего поведения! И вам, смотрите, не поздоровится! Перестаньте заниматься преступной игрой! Мы рано или поздно заставим вас заговорить!

Акиндин с отвращением разглядывал грязную трущобу, разглядывал свои ногти и не произносил ни слова.

— Вам мало карцера! — ненавидел и бесплодно добивался ответа жандарм.— Вам мало одиночки! Вам, может быть, хочется поносить браслеты? О! мы вам можем доставить и это удовольствие! Плохое, очень плохое, конечно, удовольствие! В кандалах у нас недостатка нет! Вы, я вас спрашиваю в последний раз, скажете свое настоящее имя или будете попрежнему упорствовать?

Акиндин как будто был занят совершенно посторонними мыслями, зевал и нехотя говорил:

— Какая у вас скверная и нездоровая комната! У нас в Крестах гораздо лучше. Езжу, езжу сюда, не могу привыкнуть. Одно преимущество перед Креста-

ми: у вас, кажется, меньше сырости. Но пахнет как-то одинаково и тут и там!..

Человек без роду и племени равнодушно взирал на гневные багрянцы начальства и непринужденно болтал:

— А я все-таки доволен переменой места! Возите меня почаще! Прогулка не без приятности! Лишний глоток воздуха дохнешь, освежишься и посмотришь город, людей! Представьте, — даже собак приятно видеть, как они бегут по улицам!..

Акиндина отправляли, — и он снова появлялся в той же комнате.

— Федор Бояринцев, Никита Разживин, просто Клим, просто, Вертёлкин, просто товарищ Никанор, кто же вы из них? — начинался старый разговор. — Все же сразу не могут быть в одном лице?

— Почему не могут? — улыбался Акиндин. — Вон попы говорят, — господь бог бывает в трех лицах. Ваше дело угадать!

Жандарм старался не раздражаться и напускал на себя уверенность.

— Зачем угадывать? Мы допытаемся точно и безошибочно. На всё время... Хочется только ускорить судопроизводство. Излишняя возня и проволочка. Вы все равно не сможете оказаться на свободе! Ваша противоправительственная деятельность доказана. Транспорт с оружием — улика бесспорная и... тяжкая! Ваши сообщники уже сознались. Пантелей Рябухин вас дальновиднее. Он пойман, как и вы с поличным и... не стал отпираться. Он понесет безусловно и ме́ньшую кару. Вы ответите больше и за всех, решительно за всех! Правительству важно чистосердечное раскаяние. У вас его нет. Вы, наоборот, отягчаете свое преступлене укрывательством своего имени...

Акиндин молчал, вздыхал и равнодушно смотрел в пристальные глаза следователя.

— Кстати, — спрашивал тот, — для какой цели вам понадобилась борода, когда вы и без бороды сумели скрыть свое звание.. и пока никем не узнаны? Я понимаю, — вы обманывали наших агентов, скрывались... Но, может быть, вы еще для чего-нибудь носили бороду? Вы на это не откажетесь ответить?

— Отчего же, — соглашался Акиндин, — улики так улики! Я мальчишкой учился в школе. Поп у нас был отец Александр. Страсть не любил красных рубашек. «Почему, — говорит и... называет меня по фамилии, — Акиндин весело наблюдал за жадным движением жандарма, — почему ты... такой-сякой... носишь красные рубашки?» А потому, отец Александр, что белых я не ношу, а ношу красные! Так и с бородой. Из прихоти носил. Дай, думаю, бородку подвешу!

Жандарм разочарованно наклонялся к столу и внезапно задавал вопрос:

— И вам этот дерзкий ответ сходил? Вы, значит, учились в городской школе? Может быть, в гимназии или в реальном? Интересно — побоитесь вы нам открыть даже это отдаленное ваше прошлое или не побоитесь?

Акиндин насмешливо клал поперек своих губ палец.

— Хорошо. Я вас понимаю, — играл жандарм дальше, — сказать об этом вам нельзя... Все-таки, правда, немного, мы бы о вас узнали! Мы бы определили ваше исходное происхождение... И это уже для нас руководство к дальнейшему. А то у нас есть сведения о ваших связях с заводом Нобеля, Сименс-Гальске, с Невской мануфактурой, с Путиловским, с Балтийским и, пожалуй, всё. Да, вас еще часто видали на Гороховой. Но все эти данные достаточно не обработаны. Вы чувствуете — мы к вам подбираемся не так быстро, но верными путями? Повидимому, мы с вами знакомы уже второй год? Уверяю вас — все основания укрываться давно отпали. Ваши товарищи по преступной работе нами переловлены, кружки разгромлены...

Жандарм помолчал, словно припоминал что-то самое важное.

— Ах, да, — вдруг он резко воскликнул и упёрся в лицо Акиндина возбужденными глазами, — мы вас проследили несколько раз на Черной речке. Помните, где была ваша типография под вывеской сырной лавочки?..

Акиндин похолодел от боли за потерю давнишней типографии. Но его

обеспокоило сразу одно, — не отразилась ли как-нибудь внутренняя горечь на его внешности? Он собрал все свои силы, чтобы притворно расхохотаться.

Это ему так удалось, что от искусственного смеха у него даже глаза сделались влажными. Жандарм недоверчиво приглядывался и сомневался в искренности подобной веселости. Он не хотел отступать с провальной неудачей от запутанного дела. Он вражески ненавидел безыменного каналью и желал торжествовать над ним!

Вскоре и Акиндину пришлось пережить досаду.

Однажды его выводили из охранки под проливной весенний дождь. Экипаж с поднятым верхом поджидал Акиндина.

Надо было сделать только два шага, чтобы ничего не произошло, кроме очередного выезда из Крестов и обратно. Акиндин так бы и уехал со своим простым, скромным, но тайно победоносным видом. И, может быть, жандарму еще многие месяцы назначалось терпеть неудачу.

Но сыщик замедлился в под'езде, видимо от неприятного чувства сразу попасть под дождь. Секунду даже сыщик намеревался пережидать ливень, а затем раздумал, открыл двери и пропустил вперед арестанта.

Человек с мокрым портфелем поспешно вывернулся откуда-то со стороны и наткнулся на выходящих. Сыщик почтительно раскланялся с ним. Акиндин и торопливый встречный переглянулись и оба нахмурились.

Акиндин всю обратную дорогу мрачно прислушивался к звонкому цоканью лошадиных копыт, в ушах у него неотвязно гремели двери, пропустившие внутрь охранки человека с мокрым портфелем.

Месяца два спустя, в той же комнате, где отчаивался в успехе жандарм, Акиндина встретило настоящее сияние. Оно истекало от всей затаенной в наслаждении фигуры жандарма.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста, Акиндин Кенсаринович господин Штукатуров, — захлебывался от долгожданного удовольствия сыскной чин, — я, знаете, вас давненько не беспокоил!..

Всё, знаете, матерьяльчики подбирал, сортировал, комбинировал!.. Вы, надеюсь, будете довольны! Я же премного! Какие вы, говорили, рубашки носили в школьном возрасте? Красные? Ха-ха! Ну, не ровён час, вам придется надеть и белую!

Дерзкий свист

Помещение петербургской судебной палаты было знакомо многим, которые пришли сюда. Самодержавная империя имела здесь через день свои судебные постановки. В этом каторжном театре воистину рубили человеческие головы, и женские слезы лились неутешно и сиротски, точно у могильной ямы.

Ольга Игнатьевна возвратилась из продолжительного безвестного отсутствия. Она скинула с себя звание Палашки Козихиной, как сношенное платье.

Ольга Игнатьевна об'явилась вместо Гороховой на 11-й линии Васильевского острова. Тесная прикухонная клеть какой-то рыхлой сдавальщицы комнат заменила ей поднадзорное дупло на Гороховой. Марика Молодкина передала подруге некую долю уроков с недорослями петербургских гимназий и замкнулась в одинокой сторожке своей квартирки.

После многих тягучих месяцев разлуки с унылой скамьи подсудимых Акиндин увидал жену среди публики. Товарищи бегло и нежно взглянули друг на друга. Ольга Игнатьевна предусмотрительно отвела свои взволнованные глаза к судейскому зеленоватому столу с кукольным зерцалом империи.

Акиндин принялся разглядывать разодетую толпу. Сердце его вдруг непокорно затрепетало и возмутилось. В зале густо, точно огромная витрина с дорогими мехами, расположились враги.

Приподнятое над полом лобное место с судейскими громоздкими стульями еще пустовало. Петербургский торгаш, мещанская домовладельческая управа и обшарпанный писец-чиновник в деревянном порядке, словно пришитые пуговицы на сюртуках, вытянулись вдоль стенки. Верноподданные сословные представители безропотно дожидались начальства.

Публика представлялась Акиндину не чем иным, как отвратительным размножением судей. Акиндин с возросшим негодованием усмотрел в близком соседстве с собой знакомую озерковскую свору. Он не узнал бы на улице каждого по отдельности из этих лакированных человечков. Но опять повторилась встреча с тоненькой кружевной женщиной. По ней нетрудно было найти и остальных. Они так брезгливо щурились на Акиндина, словно он был нагим среди одетых или обладал какими-либо редкими уродствами. Например, у него было две, а то и три головы.

Акиндин остро скользнул взглядом мимо. Он чувствовал, как кровь вступила ему в голову и заставила напружиться виски. Он даже потрогал на них извилистые, как черви, жилы. Кровь немéрно токала, будто сбивчивый человечий шаг на трудной осенней дороге.

Акиндин искал Каменкова-Чефранова. Где же он? Неужели тот прислал сюда только этих любопытных? Неужели же тот устыдился встречи? Даже странно! Человек с мокрым портфелем, а это был не кто иной, как Каменков-Чефранов, надоедливо осаждал Акиндина от дверей охранки до настоящей минуты. На нем сосредоточивались весь возмущенный пыл за неудачу, вся ненависть к победившей империи.

Чувства Акиндина возросли до невыносимого накала. Он сомневался, но предполагал, что должно было произойти в следовательском кабинете охранки вслед за бессмысленной случайностью встречи у под'езда.

. . . .

Каменков-Чефранов, как будто его подгоняло желание поделиться интересными воспоминаниями об Акиндине, встряхнулся от дождя, торопливо вбежал на лестницу и нырнул к следователю.

— Ну, Аполлон Иванович, — закричал о нв самом повышенном настроении, — бывают же в жизни оказии! Никак не ожидал, решительно никак не мог ожидать! Я только что столкнулся нос об нос с другом моего... глупого и... обязательного детства! И где, и где происходит это свидание? В охран-н-о-м о-тде-ле-нии! Забытый друг жалует вон... узнает... отвертывается... его везут... я спешу к вам!.. Ха-ха!

Жандарм даже привстал с места.

— Где? Сейчас? — почти захрипел он.

— Да в самых дверях! Как его, как его... — неожиданно забыл фамилию своего друга Каменков-Чефранов и сделал в воздухе пальцами, — Штукатуров, Акиндин Штукатуров! Фамилия, имя самые п-п-пролетарские!

Жандарм с величайшей быстротой уже листал дело о безымянном подследственном. Он неверно схватил ручку, уронил ее, подцепил снова и крупно нанес два заповедных слова в середине чистого писчего листа. Жандарм писал с такой стремительностью, что чернила разлетелись по бумаге, точно просыпанный наждачный порошок.

— Да вы, никак, Аполлон Иванович,— весело подшутил Каменков-Чефранов,— намереваетесь усадить меня в качестве свидетеля и заняться допросом? Разве Штукатуров такой... ценный преступник? Я думаю, он же — замухрышка! Какие-нибудь... те... подпольные книжонки читал!.. В чем его обвиняют? Еще два слова о нем и давайте займемся более важными персонами! Дождь кстати меня загнал к вам. Мне необходимы некие дополнения к следствию о типографии на Черной речке!

Аполлон Иванович обладал лысиной, которая удивительно походила на чернильницу. Бывают такие плоские чернильницы с выдвинутым вперед носиком. Каменков-Чефранов взглянул сверху на склоненную к бумагам голову охранника и лукаво сдержал смех. Лысину Аполлона Ивановича шутливо именовали чернильницей. «А чернильница почему-то покраснела?» — подумал наблюдатель.

В ту же заминку разговора жандарм захлопнул штукатуровское дело, вылез из-за стола и с влагой в довольных глазах начал благодарственно трясти руку посетителя.

— Я вам, дорогой Игорь Павлович, — тонко взвился он, — заготовил такое, о чем вы и не предполагаете! Я заготовил, а вы... подтвердили! Какие там добавления по делу о Черной речке! Его надоб-

но перевернуть все сначала! Мы возились с подсобной мелюзгой, а в заправилах-с состоял Шту-ка-ту-ров! Я второй год за ним охочусь! Этот большевик-негодяй в любые сети уходит! Он замучил меня! Пятьдесят раз сбивал с толку. Правда, я к нему подполз пластуном, вот-вот схвачу за шиворот... но вы облегчили охранному отделению всякую неуверенность в работе! Штукатурова мы знаем! Большевистский формуляр его нам известен, будто сердобольной мамашеньке грешки ее неудачливого сынка! Пятнадцать дел придется уничтожить и свести их в одну штукатуровскую папку! Прекрасные результаты! Вы главный, главный наш наводчик!

Давно Акиндин бродил по камере в Крестах, стоял у решотки и расстроенно кусал губы. Давно прекратился ливень, стекла вода и мостовые уже подсыхали. В кабинете охранки временем не интересовались.

Аполлон Иванович жутко надымил и все подкладывал и подкладывал в переполненную пепельницу папиросу за папиросой. Чернильница его как покраснела, так и не сдавала в яркости. Он умел выражать радость непременно каким-то подвизгиванием в голосе и беспрерывной суетой рук, глаз, носа...

Каменков-Чефранов брезгливо следил за этой сутолокой. Радость охранника была слишком приторна. Однако Каменков-Чефранов нуждался в Аполлоне Ивановиче. Мокрый портфель, тщательно протертый прислугой, которую вызвали из коридора с тряпкой, блестел в руках Каменкова-Чефранова и не закрывался. Обладатель его совал туда разные полезные бумаги.

Дело о Штукатурове и типографии на Черной речке сулило принести Каменкову-Чефранову всяческие служебные блага. Для этого, конечно, следовало преодолеть в себе неприятные чувства от противных телодвижений и возгласов Аполлона Ивановича.

Каменков-Чефранов дружески простился с сыщиком. Тот крепко жал руку, сытый от своего успеха.

— Я вас, Аполлон Иванович, не предупреждаю, — извивался Каменков-Чефранов, — вы сами понимаете... гласность.. пресса... Словом, по ведомству кое-кто будет знать о моем непосредственном участии... Это я прошу. Но для всех, для гласности — Штукатурова открыло охранное отделение. И вы, вы преимущественно! Я не хочу известной неловкости... глупых пересуд и кличек.

Аполлон Иванович тонко взвизгнул:

— Пополам, всё пополам! Хе-хе! С вами-то мы, Игорь Павлович, всегда поделим любую шкурку!

Охранник проводил гостя и сладко облизнулся, точно накормленная ищейка в собачнике после продолжительных розысков сбивчивых следов.

Акиндину предстояло увидеть худшее, чем он ожидал. Подсудимый ненавидел толпу зевак, бесился от присутствия в зале знакомых Каменкова-Чефранова, но бессознательно, с временной утерей понимания поступков врага, был доволен, что тот не пришел сюда. Так случается ценить даже малодушие противника и с удовлетворением находить в нем хотя бы скудную каплю чистоты!

Но скоро Акиндин вспыхнул, как подожгли его. Это вышел суд. Товарищ прокурора Каменков-Чефранов с сияющей белизной сорочки, с остренькой головой, в изящных брючках был налицо. Он умел ничем не смущаться. Акиндин поймал в его холодноватом и чужом взгляде полнейшую застылость.

Каменков-Чефранов разыскал глазами жену с приятелями и слегка приветливо усмехнулся. Усмешка многозначительно обещала самый занимательный день. Острый, как суп из черепах у Кюба.

Акиндин никого не видел и не слышал, кроме Каменкова-Чефранова. Он нацелился в него, словно стрелок в мишень. Обвинительный акт, длинный и скучный, как складывали в однообразные стопки мешки пятаков и выставляли их тусклыми дорожками на огромном судейском столе, никому был не нужен. Меньше всех он занимал Акиндина, Малушина и типографщиков с Черной речки.

Каменков-Чефранов встряхнулся для допроса. Товарищ прокурора снисходительно озирал обвиняемого, который вытянулся к нему и неотступно глядел. Акиндин помолчал на первые прокурорские фразы, а потом громко, отчетливо,

как будто он говорил, чтобы его слышали не только в этом небольшом зале, а на обширной площади с тысячами людей, сказал:

— Я этому человеку отвечать не стану! Не потому, что я его знаю с детства. Это случайность. На его месте мог быть другой. Но я в его лице отказываюсь отвечать всем прокурорам и насильникам царской России!

Зеленее и шершавее сукна на столе оглушительно зазвонил в колоколец председатель суда. В зале произошли беспорядочное движение, кашель, шум...

— Господа, соблюдать тишину! — старчески воскликнул председатель. — В противном случае я прикажу удалить публику из зала заседания!

Каменков-Чефранов с неожиданной бледностью слушал возмутительный крик Кенки. Слова его и страстное волнение руки были обращены к товарищу прокурора:

— Предатель! Ты гаже сыщика! Ты добровольно донес! Ты воспользовался встречей со мной, чтобы заслужить одобрение гнусной николаевской охранки!

Звонок председателя неистово заливался и глушил. Зало не слушалось. Люди беспрерывно приподымались. Лавки и стулья скрипели. Сословные представители потрясенно сжались вместе, словно окончательно обомлели и больше уже никогда и ничего не могли бы разумно понимать на свете. Акиндин упорствовал. Сильный голос побеждал председательский звон и волнение зала.

— Ты верный пес монархии. Ты на нашей борьбе с этим чудовищем строишь свою жизнь, карьеру, подлые связи с камарильей!

Председатель только тут догадался о страже, приставленной к подсудимым. Он сделал резкий знак. Солдаты с угрозой взялись за Акиндина. Но он еще успел швырнуть Каменкову-Чефранову:

— Ничтожество, ты привел сюда свою жену! Твоих мерзких друзей! Они пришли любоваться твоими подвигами! Любуйтесь же продажным прокурором!

В общей неразберихе Малушин и типографщики с Черной речки точно сделали рупоры у ртов и азартно гаркнули:

— Негодяй! Купленный палач!

Скандал вызвал не одну багровость на председательском лице. Полиция тут же принялась выпроваживать неприятных свидетелей прокурорского посрамления. В зале оставили незначительную кучку своих с особыми пропусками. Ольга Игнатьевна одобрительно кивнула Акиндину уже из коридора, когда буйную ватагу преступников во время перерыва вели из зала, а ее самоё вместе с гонимой толпой в давке и толчее несло на улицу.

Заседание суда прерывалось и возобновлялось. Политические настойчиво буйствовали. Каменков-Чефранов дрябло и скороговоркой пробормотал обвинительную речь.

— Я с особенным удовольствием, — закончил он ее без всякого под'ема, — выступаю с обвинением против так называемого моего друга детства! Я считаю — его надо наказать всеми имеющимися у государства Российского средствами. Преступник должен понести кару. Пусть будет другим неповадно подымать дерзновенную руку на священные основы наших государственных установлений! Преступный разрушитель порядка вполне заслужил 126-ю статью. Я требую опустить над его головой этот сверкающий грозой, но справедливый меч!

На скамье подсудимых шикали и смеялись. Акиндин изловчился выкрикнуть:

— Долой кровавое самодержавие!

Товарищи не отстали. Подсудимые вели себя против всех привычных правил. К председательской руке буквально прирос колокольчик. Зеленовато-багровый старик путался сам, путал других. Но он, как капитан дырявого судна, упорно желал довести свою посудину до пристани.

— Мы не признаем палаческого суда! — издевались типографщики с Черной речки.

— Вешатели! — вопил Малушин. — Намыливайте скорее веревку! Пора! Подождите!.. Качаться и вам на перекладине!

Обвиняемые отказались от защиты. Последнее слово они не уступили никому.

— Виновные не здесь, — убежденно произнес Акиндин и показал на арестант-

ский помост, — они на вашем месте! — Акиндин протянул палец на зерцало. — Мы судим вас, а не вы нас! Мы судим тираническую империю! Мы судим весь капиталистический буржуазный строй! Мы уйдем отсюда с непоколебимой верой и надеждой в победу нашего дела! Не мы, быть может, другие, как мы, но они придут сюда и потребуют от вас ответа за все ваши преступления перед страной и трудовым народом! Дрожите перед этим неизбежным часом! Вам тогда не оправдаться, наемники царской и помещичьей власти! Ваши кандалы — гордость для нас! Но они будут нашей почестью и доблестью в освобожденной России!

Судейский капитан утло дотащил свою барку к приколу. Дерзкий, гнушательский свист встретил шепелявое об'явление приговора о шестилетней каторге. Председатель с гневом подхватил драгоценный протокол подмышку и, семеня, выскользнул за двери.

В кабинете его замучила испарина. Сухонький старик вынул из кармана надушенный платок и приложил ко лбу.

— Мерзавцы!—яростно рванулся он.— Как жаль, что я вынужден был применить только 126-ю статью, а не вынести смертный приговор! У нас несовершенные законы! У нас пустые и вредные традиции! Я всегда держался этого мнения!

Свита сочувственно и разочарованно делила с ним эту печаль.

Через минуту Каменков-Чефранов устало и кокетливо целовал дамские ручки жениных приятельниц. Дружеский выводок поджидал его на лестнице. Он рукоплескал пострадавшему в этот трудный день товарищу прокурора. Каменков-Чефранов скромно отказывался от похвал и... очень краснел.

Голодная компания на четырех лихачах поехала ужинать к Эрнесту на Каменностровском.

Тачка сорвалась

Может быть, Каменков-Чефранов уже забывал неприятности судебного дня, а председатель по короткости старческой памяти забыл их наверное,—в то время в пересыльной тюрьме произошла заковка арестантов в кандалы.

Товарищи волочили по камерам кандальный звон. Он подымал строптивый гнев. Тут и загремел бунт, точно спертый пар в котле.

Каторжанин Суконкин был вертляв и пуст. Это знали товарищи в бытность на воле. Суконкина не уважали, а только терпели. Он надоедал и в тюрьме. Он принес и сюда все свои легкие и хрупкие доспехи.

Суконкин озорничал, излишне веселился и скоморошески обращался с кандалами. Он искусственно названивал цепью. Даже изображал кандальный танец. Суконкин противно бросался в глаза.

— Знаешь, Суконкин, — гадливо сказал однажды Акиндин, — ты допляшешься... до подачи прошения на высочайшее имя! Плясуны в несчастии и... подаванцы — близкая родня!

Слова Акиндина не так возмутили Суконкина, как всю камеру. Обличитель долго сопротивлялся нападкам на него товарищей. В конце концов он уступил и признал свою вину.

Должно быть на радостях от победы над Акиндином, а больше от тюремного бессмысленного бездействия, Суконкин стал нестерпимо развязен. Все это вскорости и вызвало столкновение с тюремными хозяевами.

Сегодня с утренней переклички Суконкин превзошел дурачествами все предыдущие свои выходки. Он настойчиво дразнил часового под окном. Суконкин подкрадывался к решотке, замирал, высовывался на свет и со смехом приседал. Он проделывал все эти невеселые шалости, покуда не уставал. А после передышки начинал их снова. Вначале смеялись, — и то без всякого увлечения. Неугомонный скоморох беспрепятственно продолжал свои проделки. Товарищи хмуро и раздраженно останавливали его.

— Стрелять буду! — глухо кричал солдат снизу. — Не подходи к окошку! Не приказано!

Он уже находился в состоянии, близком к исступлению. Часовой [illegible] за

твором и сквозь зубы изрыгал придушенную матершину.

Паясничание Суконкина возмущало. Он как будто дразнил привязанного медведя. Он играл своей выдуманной отвагой, когда все видели и понимали, что Суконкин был далеко не отважен.

Солдат подстерегал паяца. Но этот научился его обманывать. Суконкин нагло простаивал у решотки секунды и скрывался от первого шороха караульного. Солдатская брань усиливалась.

Суконкин переиграл. Акиндин словно охнул от боли. Вдруг он соскользнул с нары, поймал за шиворот Суконкина и сильно отбросил его в другой конец помещения.

— Кривляка! — с одышкой захрипел Акиндин. — Моська! Трус! Тебе под лавкой сидеть, а не с оружием играть!

Часовой возбужденно наступал. Он теперь по-настоящему охотился за Суконкиным.

— Высунись, политика, попробуй! Я тебе размозжу башку!—матершинил караульный, как двадцать матершинников сразу. — Ты игорку обмозговал нехитрую, каторжная шкура! А силенки не хватает в дуло мое глянуть! Д-держись, заяц, прямо: я на тебя с земли плюну!

Акиндин отбросил Суконкина, прислушался к вызывающим словам солдата и решительно встал у решотки. Грудь его вплотную прижалась к окну. Акиндин находился в прямой опасности столь продолжительное время, какого было достаточно, чтобы умереть.

Суконкин ошалел от заслуженного урока. Камера примолкла в тревоге за Акиндина. Она словно не решалась пошевельнуться.

Но должно быть в немалой огорошенности был и часовой: он растерялся при виде другого смелого человека за решоткой. Пуля раздробила стекло, щелкнула о внутреннюю стену и закатилась под нары, когда Акиндин угрюмо сошел с места.

Пересыльная тюрьма не часто содрогалась от такого буйного рева, который раздался в этой как бы огромной кадке с дохлой капустой. Первый же возмущенный крик Акиндина подхватила вся камера. И потребовалось ровно столько секунд, во сколько доходят такие звуки до обостренных ушей заключенных, как молчаливых камер в пересылке не оказалось. К тому же был услышан и карательный выстрел.

Акиндин подал пример к истреблению нар. Его охотно повторили всюду. Тюрьма затрещала, словно выламывали всю ее внутренность на дрова и собирались разложить невиданный костер. Выткнули стекла в рамах. Вдруг тюремной конопатки не стало. Веселый ветер с Финского залива точно того и ждал. Затхлое логовище начало свежо́ и приятно продувать. На ветру была спора и другая работа. Ветер как будто помогал безустали раскачивать решотки. Железный частокол бело и розово облепили руки, как яблоки яблоню.

Арестанты рвались в коридоры и нещадно били, чем попало, по дверям. Зов был услышан. Надзиратели и солдаты появились с оружием. Бунт устал и покорился, как обессилевший зверь.

Тогда и выстроили в шеренгу камеру-зачинщицу. От нее ничего не добились. Часовой опознал Суконкина. Но камера не подтвердила.

— Это не я, — собрался с силами обличенный, — это... ошибка!..

— Так кто же? — рассвирепел начальник тюрьмы.

— Я... не знаю! — пробурчал Суконкин и посмотрел на Акиндина.

Тот, как на солдатском смотру, выступил вперед и обвинил солдата:

— Никто! Никто не подходил к окну! Часовой стрелял потому, что ему так вздумалось. Мы же спрашиваем, почему нас расстреливают ваши солдаты?

Начальство обагрилось, как будто лицо ему покрыли кумачом, и топнуло взбешенными ногами:

— Ввы, канальи, нас спрашиваете?

Камера взорвалась, точно пистон под сапогом.

— В карцер! Взять их всех! Все виновны! Все получат наградные! Я вам покажу, как портить государственное имущество! Тащи их по ямам!

Стража умело распорядилась. Голочастый начальник тюрьмы, будто черный столб с багровым шаром на вершинке,

открыл беспокойное шествие. Молчал один Суконкин.

Однако из начальственных угроз осуществилось меньше, чем следовало ожидать. Как бы сразу со всего Петербурга собрались стекольщики — и к вечеру тюрьму уже застеклили. Почему-то оказалось неудобным затевать возню с бунтовщиками. Они немного пробедовали по карцерам, — и пересыльную тюрьму обновили новыми жильцами.

Ольга Игнатьевна точно следила за мужем не с Васильевского острова, а у самого окна, за которым жил Акиндин.

Никому бы не пришло в голову, что в конторе пересыльной тюрьмы давно приспособился старичок-писец Мокрухин, который не отказывался от ежемесячного тайного приработка. Мокрухин аккуратно служил по-найму и тем и этим.

Ольга Игнатьевна получала точные справки.

Никому из конвойной команды не пришло в голову, что же это за ранняя попутчица сопровождала партию шлиссельбуржцев до пристани?

Ольга Игнатьевна несколько раз прижала руку к губам и послала свой секретный поцелуй Акиндину и Малушину. Но поцелуй был всем товарищам. Его заметили каторжане — и не заметил конвой.

Ольга Игнатьевна с невольной приязнью оглядела крепостное малое суденышко и даже не без улыбки прочитала его наименование «Пароход». Мрачноватый корабль уже был пловучей каторгой. Но «Пароход» перевозил товарищей. Вдруг он сделался страшно знакомым.

Тогда же Акиндин насмешливо шепнул Малушину:

— Названьице придумали тонкое и... действительно каторжное! Лучше не выберешь. Не на «Императоре» нас какой-нибудь везти в могилу или не на какой-нибудь «Святой Ольге»! Именно, на «Пароходе».

Бывают в человеческой жизни внезапные сопоставления прожитых дней с настоящими! Ольга Игнатьевна вспомнила проводы из Выгорска Марики Молодкиной и не удержала мгновенных слез. Прошлое показалось светлее, чем сегодняшнее раннее солнце, не уставшее еще светить.

. . . .

Наискось от одиночки Акиндина росло у забора деревцо с чахлинкой. В один ветреный день, когда гнало Неву против шерсти, Акиндин застоялся у своей оконной дыры в мир, будто часы в сетке.

Тут одиночник и почувствовал, что тюремная жизнь шла с такой же уверенностью, с какой ходят исправные часы из суток в сутки, месяцами, годы...

Деревцо значительно поднялось даже под этим скупым на тепло чухонским солнцем Шлиссельбурга. Деревцо пустило новые ветки и развернулось, будто отрок коренасто превратился в юношу.

Акиндин подсчитал унылый календарь пребывания здесь. Подсчет не совсем удался. Заключенный точно забыл правила сложения. Понадобилось некоторое усилие, чтобы припомнить, когда «Пароход» пристал к пристани. Время обрывало листки календаря, как вон ветер обрывал с деревца порыжелую шапку.

Время шло настойчиво, как росло деревцо под забором, но шестилетний срок убывал медленно, как если бы из полной кадки под водосточной трубой пил один хохлатый воробей.

Империя богатела крамолой, словно от хороших урожаев зерном. Верноподданных убывало, точно мельчали реки. Империя строила тюрьмы. Строили и в Шлиссельбурге новый корпус.

Акиндин бил с утра до сумерок щебенку и подвозил ее на тачке к постройке. Империя берегла средства и принудительным трудом строила жилища будущим своим противникам. Они же сами их и строили!

Работа была не сладка, но она рассеивала мрак одиночки. Как застоявшийся у коновязей конь рвется со всех ног вперед, так порой хотелось Акиндину выбежать из узкой каменной колоды камеры и вдохнуть, кажется, весь воздух тюремного двора.

Другая работа давала настоящую отраду.

— После барщины, — шептал Акиндин Малушину, стуча дробильным молотком, — мне надо доделать Четьи-Минеи Макария. Переплет я мастерю из тол-

стенного картона вроде черепицы. Самого Мюллера стукнуть по темени, голова в студень, а мы осиротели в крепости... без полководца!..

Малушин с улыбкой отвечал:

— А мне сегодня хочется в деревообделочный цех. Стол мой что-то плохо пододвигается. Заказчик торопит. Я хожу в нерадивых столярах.

Каторжане завели переплетные и столярные мастерские. Тонко и нежно, как от невидимых цветов, пахла кудрявая стружка. Запах в столярной был, как в настоящем лесу. Когда роняли на пол инструмент и ворошили копны стружки, это называлось — ходить по грибы.

А грязные, растрепанные книги, словно их долго рвал ветер, приятно было одеть в разноцветные бумажные платья и поставить на полки такими щеголями с золотыми позументами.

Столяры и переплетчики собирали и украшали библиотеку с неменьшим упорством, чем ласточки делали свои узорные мазанки под тюремной застрехой. Библиотека росла, как хорошо поливаемый цветок. Ею гордились, как мать гордится краснощеким первенцем.

Еще гордились садоводством. В прогулочных местах, будто донышко от небольшой бочки или малая площадка солнечных часов, развели каторжные цветники. Клумбы переливались всеми мирными и зловещими цветами, какие могло рождать шлессельбургское солнце.

Крепостной воевода Мюллер поощрял садовое благоустройство. Он водил сюда столичных инспекторов, а на его домашних столах благоухали даровые оранжереи.

Мюллер не прочь был выпустить всех из темных щелей каторги благопристойными садовниками с петуньями в руках. Его немецко-остзейское сердце умилял скромный работящий передник садовода и гневало орлиное сверкание глаз государственных преступников.

А потому, со дня своего появления, второй год он все увеличивал и увеличивал барщину. На свою работу оставались сумеречные часы.

Мюллер был слаб к разведению цветов, но закоренело жесток ко всем другим вольностям каторжан, которые были давно и трудно добыты до него.

Платили за них натурой. Гнилые карцеры без света и тепла, без воздуха и хлеба, гиблые порки выбивали свободомыслие. Зато и берегли неписаные каторжные законы, точно мастер на смертном ложе торопливо шепчет подмастерью секрет своего непревзойденного мастерства.

Акиндин с товарищами старался удержать вольности и передать их следующим пленникам империи.

Надобность в борьбе возрастала. Шлиссельбургский воевода Мюллер получил крепость на откуп.

Незадолго перед тем, как Акиндин стоял у окна, в тюрьме появился новый заведующий Клещеев. Он обладал в такой мере крутым нравом, в какой это даже не требовалось.

Мюллер точно встал на каменный цоколь, а не на рыхлую жижицу крепостного грунта.

— Здорово, ребята! — гремел Клещеев на утренней поверке и вперевалку обходил камеры.

Он обошел все корпуса и остался недоволен ленивой встречей. Ему хотелось слышать восхищенное урание при виде его мясистой особы. Или в худшем случае, некую зависимую приветливость глаз и поклонов. Ни того, ни другого он не встретил.

— Чистокровное животное! — определил Акиндин.

Заключенные перевидали стольких стражей, что нельзя было обмануться и в последнем. Клещеев сразу наскочил и забушевал:

— По швам! Руки по швам! Тары-бары-сухие амбары кончать и... помнить — здесь шлиссельбургская каторжная тюрьма, а не вольная квартирка для легкого времяпровождения! Вас прислали сюда для исправления, а не для потехи! Довольно баловаться! Потачек не будет! Всякую глупую заносчивость и горделивость характеров вон! Преступник — есть преступник! Посему — все слова и все действия его не должны походить на слова и действия честных и вольных людей! Н-не разрешается! Я, Иван Клещеев,

приказываю об этом помнить всем мне подведомственным арестантам и... запрещаю в чем-либо прекословить з-закону!

Новый заведующий оказался прижимистым не на словах. Некоторые товарищи напрасно усмехались.

— Слушаюсь-с! — покорно вытягивался Клещеев перед Мюллером. — Рад стараться! Достанем жилы на сыромятные ремни! «Барыню» будут плясать в угоду государю императору! В линейку кривизну выправим! Без мыла вымоем и пуповину выгрызем!

Клещеев затейливо выдумывал одно за другим усмирение строптивых. Клещеев получил весьма лукавые цифры. Они соответствовали числу дней в каждом месяце. Карцеры в башнях никогда не пустовали.

Но орлиная непреклонность в глазах кандальников не напрасно будоражила Мюллера.

Пухлое существо Клещеева однажды вспыхнуло лютым возмущением, налилось алым соком, как огромная бутыль с красным вином, и даже, даже смутилось.

На утренней проверке никто не отвечал на приветствие начальства. Клещеев грузно совершал свой обычный обход. Презренные люди безмолвствовали, как истуканы.

От гнева, а больше от растерянности, хотя Клещееву казалось, что он поборол ее, заведующий нарочно здоровался во всех камерах. Его слушали — и молчали.

В камере Акиндина произошло то, с чем не справилось самолюбие Клещеева. Акиндин дерзко подмигнул начальству, а потом повернулся к нему спиной.

— Мерзавец! — взвыло несколько голосов в пересохшей гортани Клещеева.— Я... тебя запорю!

Неуклюжее существо не нашло никакого другого способа выразить свою обиду, как дико затопать ножищами. Акиндин явно бесил его. Он рассмеялся, а затем и сам начал топтаться на месте.

— Карцер! Тридцать суток! — тяжко захлебывался Клещеев. — Там попляши. Там поскачи! С к-кры-са-ми!

Акиндин по-бабьи руку в бок изобразил пляску и чуть-чуть не обошел кругом ревевшего медведя в мундире.

Акиндин вспоминал эти минуты даже на мокром от плесени земляном полу карцера, действительно среди крысиного писка и крысиной беготни между ног, действительно в неудобном помещении для пляса... Акиндин не корил себя за вольность. Злой враг все-таки пережил урок!

Неприятности повалились на Клещеева, как встряхнутые листья с осеннего дерева.

Незадачливым утренним выходом заведующего дело не кончилось. В тот день во многих камерах не приняли ни обеда, ни ужина. В баках была пустая вода вместо похлебки. Некоторых разборчивых арестантов потащили в карцеры рядом с Акиндином. И... помогли распре.

Сам барон Мюллер переполошился и двинулся к ошалелым буянам. Он долго уговаривал.

Тут и выступил Малушин. Товарищи заранее подготовили заявление. Малушин подал маленький клок бумаги с сотней подписей.

— Что-о! — воскликнул Мюллер. — Бумага сообща, скопом, сообществом?

— Да, коллектив заключенных протестует против поведения Клещеева, — в негодовании сказал Малушин, — и подвергает его бойкоту. Мы требуем удаления этого человека из крепости! Мы все согласны поступить так же, как поступили наши безвинно наказанные товарищи! Переводите всех на карцерное положение!

Барон Мюллер сегодня не отличал запаха резеды от левкоя. Он с угрозами покинул камеру и судорожно тряс бумагой:

— Прошение, а не заявление! Осужденные подают только прошения и... никаких заявлений! Осужденные могут говорить только за себя! Только поодиночке!

Барон Мюллер прочитал крамольный клочок и небрежно сунул его в карман. Но на поверке другая сотня преступников устно присоединилась к выступлению первых. Шлиссельбург еще не помнил такого каторжного единства.

С тех пор Клещеев не здоровался на поверке, и нельзя сказать, чтобы шаг его

сам собой не ускорялся. Начальство надзирало над мертвыми или глухонемыми людьми. Они не принимали его взглядов и смотрели ему только в коренастую и малость согнутую спину. Бойкот действовал, оказывается, на любую человеческую кожу, даже на клещеевскую!

Он пришелся на какое-то больное место и в главном тюремном управлении. Неделю спустя от начала заварухи из Петербурга прислали инспектора. На этот раз садолюбивый Мюллер не водил его к цветникам.

Тонкий человек с прямой спиной, словно его кто-то всего обглодал, человек без мяса, инспектор Померанцев сломя голову обскакал неблагополучные норы, пронес по корпусам неуловимую усмешку и резко, по-клещеевски, заморгал в одной одиночке.

— А ты имеешь претензии? — вдруг вздумалось ему спросить товарища с грубоватой и непривлекательной внешностью.

— Имею, — неприветливо пробурчал тот, — я хочу, чтобы был вежлив не только Клещеев, а и приезжие инспектора. Вы, а не ты, господин Померанцев! — поправил он снисходительного к малым людишкам грубияна.

Тонкоствольная тюремная штучка повидимому привыкла так обращаться со своим управленским сторожем или в поездках по другим тюрьмам с уголовными. Она вышла из себя, — и померанцевская ревизия скоренько закончилась. Требование о вежливости было выполнено тотчас: дерзкому одиночнику назначили двухнедельную высидку в карцере.

Вольности каторжане защищали во всякой мелочи и готовы были отдать за них свою жизнь!

От инспекторского посещения крепости выиграл Клещеев. Он приободрился. Новые его подвиги особенно не замедлились.

Шлиссельбургский корпус возводили основательно и надолго. Неудобные лямки натирали плечи каторжан, как неловкий хомут натирает лопатки битюга.

Раз Малушину как-то особенно не работалось. Тачка его подпрыгивала, кривила на стороны и упиралась в малейшие пустячные препятствия. И... вдруг лямка лопнула, колесико подвернулось, а тачка сорвалась с настила.

— Лентяй! Лодырь! — воспылал Клещеев. — Я давно наблюдаю за твоей тачкой! Ага! Н-нам не нравится трудиться! Н-нам нравится тары-бары сухие амбары разводить! Ж-живо подымай тачку на каток! Не стоять у меня! Галопом, галопом! Марш-маршем! По-кавалерийски! Эй, конница, не размахивать зря хвостами!

Каторжане подняли крик. Среди общего шума внезапно выскочило короткое и хлесткое, как бич, слово. Кто-то, неузнанный враг, ударил по озверелым глазам Клещеева:

— Скот!

Это было через край. Малушин отвечал за всех.

— В башню! — сплошным воплем зарычал Клещеев. — На тридцать суток, на полтора года, на год!.. Я вам покажу кривить морды на казенной работе!

Клещеев свирепо носился вокруг каторжан, точно щетинистый кабан на веревке. Выхватил еще несколько неосторожных человек и отослал вслед за Малушиным. Порядок восстановился. Снова побежали тяжелые тачки, и лямки натирали мозолистые плечи.

С этого и обострилось всё, словно люди бесповоротно накололись друг на друга. Клещеев не удовольствовался карцером. Под двери узилища без окон и без пола, без сидения и без койки, куда швырнули Малушина, хлынула зловонная, ледяная жидель. Раз'яренный Клещеев собственноручно опрокинул в карцер протухшую кадку с водой. Трое надзирателей едва притащили ее из темного угла в коридоре. Предусмотрительный палач всегда держал ее наготове.

— Ага! — с злорадным торжеством произнес Клещеев из-за двери. — А ванночку тебе, сукина стерва, не угодно? Шль, шль! Шипит, бежит, журчит водичка! Хлм! Хлм! Постой цаплей! Постой попеременно на́ правой да на левой! А то хлопнись в студень задом! Подмокай! Прохладись до костей! Околевай себе на здоровье! Плакальщицы по тебе одни крысы! Казне польза — лишнего нахлебника-негодяя сбросим с довольствия!

Вода с клекотом и пеной врывалась в карцер. Слышно было, как Малушин торопился куда-то спастись от нее, шаркал тяжелыми и неловкими котами по скользким стенам, обрывался и расплескивал воду.

— Я тебе наводненьице сладил, не хуже, чем княжне Таракановой! — потешался Клещеев. — Нагреби, нагреби, бугорок и залезай на него! А то утоплю! До маковки напущу тебе холодняки с запашком! Плавай! Вставай с ручками! В углу я тебе крюк оставил. Пошарь! Может, вздумаешь себя вздернуть! По крайней мере простуды не схватишь! Ножки сухие будут, на весу! Ха-ха-ха-ха!

В ночь Клещеев приказал выпороть всех карцерных, замешанных в истории с упавшей тачкой.

Заведующий умел наказывать, но умел и прятаться. Тюрьма узнала о порке несколько дней спустя. Шлиссельбургские внутренние трубы и стены словно внезапно населили стаями сверчков или начался ремонт отопления. Тюрьма превратилась в какой-то неугомонный, заваленный депешами телеграф. Тюрьма перестукивалась и подымалась. Акиндин выручал друга.

Последний уже решил свою судьбу. Клещеев достиг полной и завидной победы. Он выморозил и утопил Малушина. Его вынесли из карцера в тюремную больницу.

Доктор Варравин привык не заботиться о малоценном здоровьи каторжан. Он лениво приказал обогревать больного и растирать щетками.

Когда Малушин окреп, тут доктор Варравин навсегда и запомнил о своевольных нравах больных, даже кандальников. Варравин никак не ожидал такой прыти от еле живого человека. Доктор ему сказал только то, что он говорил всем каторжанам. Тюремный лекарь небрежно откинул одеяло, приложил черную свою трубку к малушинскому сердцу и брезгливо отстранил халат левой рукой от неряшливой постели.

— Пустяк! — пренебрежительно воскликнул Варравин. — Сердце заведено на сто лет! Можно хоть сейчас отправить вас в карцер досиживать срок!

Малушин передернулся, уцепился за докторский халат, подтянул Варравина к себе и сильно ударил его по очкам. Очки сорвало с переносья, — и они жалко повисли на одном ухе. Доктор беспомощно и близоруко ловил эту смешную висюльку и уронил ее на пол. Вывалилось и покатилось стеклышко, словно убегало от позора через всю палату, а Варравин торопился и неудачно хватал его слепой рукой.

Казалось, оскорбительного прикосновения каторжанина к докторскому лицу не было, а была какая-то собственная неосторожность в пользовании очками.

С таким прикрытым видом, со стиснутой в кулаке трубкой, Варравин выскочил с неудачного больничного обхода.

Тюрьма перестукивалась. На следующее утро после наказания Малушиным доктора, шлиссельбуржцы не встали на поверку.

Опять, но уже не Померанцев, появился в крепости инспектор. Он делал то же, что делали все инспектора империи. Товарищи по карцерам получили прибавку к ежедневной порции хлеба, их напоили горячей водой, им выдали соль. подкандальники, платки, портянки и пояса... Но никого из бунтарей не освободили из карцеров.

На квартире у Мюллера за веселым преферансом — играл и Клещеев, и Варравин — инспектор тонко и лукаво усмехнулся:

— Я полагаю, господа, что выход уже найден мною. В ответ на петицию мы кое-что сделаем... Эти... подлецы... желают отмены порки и тридцатисуточных карцеров... своевременной расковки и выпуска в вольную команду... улучшения пищи и медицинской помощи!.. Я сел без одной! Это называется Мамаево побоище! Потасуем снова...

Инспектор с тем же довольным самочувствием возвратился к прерванным картами рассуждениям:

— Чего они еще добиваются? Ах, да! Они, видете ли, соскучились по печатному слову! Ха-ха! Они... ходатайствуют о допущении журналов! Потом... им слишком тесно гулять на улице. Место прогулок во втором корпусе они называют... ха-ха... ящиком!

Преферансисты со старательной угодливостью хихикали и писали беззаботными мелками.

— А главное, — заигрывая, продолжал инспектор, — они требуют... удаления из пределов крепости нашего неподкупного... ха-ха... и кроткого Никанора Флегонтовича Клещеева!

— Я готов подчиниться!—смешно раскачивал на стуле громоздкую свою кучу заведующий, словно хотел уже встать и скромненько с пилигримьим видом выйти за крепостные ворота.

— Так, так! — любовался собой инспектор. — Субординация — украшение жизни! Но я достаточно расследовал о... несчастненьких узниках!.. Тем более об их аппетитах! Я предлагаю, господа, вполне осуществимый план! — Инспектор серьезно провозгласил: — Драчун Малушин сам себя устроил. Дорогой доктор, вы надеюсь, не откажетесь подписать некоторый актец... после нашего свидания, с вашим обидчиком... в уголку двора на рассвете?.. Ваше присутствие желательно! Я бесповоротно решил затем предложить вам следующее: мы отбираем самые от'явленные и блудливые шкуры и отсылаем их на исправление в Орловский централ. Там знают, как следует с ними няньчиться! Там им покажут... каторжные правонарушения!

Общество одобрительно зашумело в честь светлой мысли, которая родилась в инспекторском мозгу.

— Блестяще! — радостно проворчал Мюллер. — Я даже от неожиданности сломал мелок! В Орле бывший начальник санкт-петербургской пересыльной тюрьмы, первоклассный администратор и... достойнейший человек! Он безусловно выдвинется на крупные должности! Звезда!..

— Ну, вот, — пошутил прельщенный вниманием партнеров инспектор, — мы к этой тюремной звезде на выучку и отправим нашу банду! Дайте мне уехать, — и действуйте!..

Вскоре на свету выпустили Акиндина из карцера, переодели, заковали в наручники и привели в контору. Там уже дожидалось человек двадцать товарищей. Напутствие барона Мюллера было кратко:

— В Орел за участие в подаче заявления скопом!

Отправляемые внимательно переглянулись. Конвой принял узников и повел. Акиндин уходил без Малушина.

Караульная рота солдат

— А, бестии, к на-а-м! — так начал приемку шлиссельбуржцев помощник Утюгов. — Хорошо-с! Орел всегда орел!

Пятипудовый низенький человек пустил многозначительную и опасную искру из глаз. Акиндин как бы ожёгся о нее.

— Кто бестии? — в горячке спросил он. — Мы или...?

Товарищи резко и шумно подхватили. Акиндин с неприкрытой ненавистью дышал на Утюгова, который кривлялся напротив со списком в руках и без всякого удивления прислушивался к гневному голосу арестанта.

— Мы, господин помощник,—напрасно волновался Акиндин, — не хотим слушать таких наименований! Мы не станем отвечать на грубые вопросы администрации! Просим это запомнить!

Тут Акиндину пришлось раскаяться в бесплодном разговоре. Утюгов так бурно раскатился смехом, словно где-то вблизи опрокинули под гору воз мелкой щебенки. По смеху помощника было понятно, что он совершенно даже не представлял себе, как могли каторжане делать какое-то замечание начальству. Утюгов, казалось, даже был не в силах гневаться на арестантскую глупость.

— Ох, мошенство! — восклицал он в упоении. — Ох, и гроза же прибыла из Шлиссельбурга на нас, грешных! Ха-ха-ха! Разразит! Прямо каменный дождь на наши бедные головушки! Добро бы навалился один, а то мы.... мы.... целой сворой! Ну, ка-ак тут устоишь на ногах! Ха-ха!

Утюгов скоренько произвел приемку и приказал выстроить шлиссельбуржцев у крыльца тюремной конторы.

— А кто тут недоволен нашей встречей? — иронически гримасничал Утюгов, передергивал аршинными плечами и приподымался на скрипящих носках.

Крепкое тело помощника упруго стягивал белый китель с золотыми пугови-

цами. Акиндин почему-то остро почуял запах недавней стирки и совсем свежего глажения кителя.

И странно, этот запах оскорбил его сильнее всех шутовских выходок Утюгова. Нарядный китель ладно и красиво сидел на явно отвратительном человеке, о котором заботилась какая-то женщина, заботилась совсем недавно, может быть, еще не остыл утюг и где-то горько и слатимо дымил. Женщина зачем-то наряжала и холила эту грубую, здоровенную, распёртую человеческую мускулатуру!

Акиндин испытал немыслимую обиду за ее ненужную работу. В летучие порошинки времени каторжанин захотел сдернуть с Утюгова его блестящий китель. Как будто от этого действия помощник получал бо́льшее наказание, чем если бы ударить его.

Но действия не произошло. Утюгов беспрепятственно сиял в своем белом и чистом одеянии. Густое вечернее солнце выделяло его на крыльце, точно кургузую садовую тумбу для цветочной вазы или статуи. Помощник с непоколебимой уверенностью в своих словах поддразнивал:

— А кто не одобряет нашего воспитания, выдь из строя вон! И... покажись! А мы... того солдатика и поглядим! Да ка-а-к поглядим: с ног до головы! У нас ласка ко всем одинаковая, а какая—сами увидите! Пошел, что ли из рядов, л-лёва неукротимый, ежели у того льва хватит гонора и... душёнка не заклянчит о милости! Ну же, собаки, выкидайся!

Утюгов моментально почернел, как поздний и пасмурный вечер. У помощника словно зашевелились уши и начали приподнимать форменный картуз.

Конвой с обнаженными шашками окружил Акиндина и несколько товарищей.

— Добавления не будет? — издевался Утюгов и вызывающе смотрел на остальных. — Неужто сразу выдохся порох? Ой, ой, машина топлена не на дальнюю дорогу! Третина всей сволочи засядет в карцеры. Только-то? А другие же как? Шлиссельбург нам за каждым прислал по мешку провинностей! Катай! За одно мешки не завязывать! Сидка у н ще, чем на реке Неве!

Человек имел какую-то свою тюремную мысль, которую настойчиво проводил и был подготовлен ко всему, что бы она ни вызывала и что бы из-за нее ни случилось.

— Похвально! Вот это похвально! — взвизгнул он от наслаждения, когда весь строй дружно сошел с места и присоединился к прежде отделившимся. — Вот это ватага! Этто здорово! Всем сестрам по серьгам! Очень, очень приятно лицезреть такую сплоченную шайку!

Утюгов немедленно усилил конвой и энергично пошаркал рука об руку. Теперь, повидимому, все было так, как он желал.

— В баню! — гаркнул помощник. — Совершим омовение и распарим дальних вошек! Маскарад полагается и для подобных путешественников!

Покуда шли, Акиндин успел заметить на некоторых лицах товарищей нехорошие усталость и уныние. Он шептал:

— Ребята, не сдавай: начало всему начало! Нас хотят огорошить и сломить. Орел, знаем, десяти Бастилий стоит! Первый отпор дороже всего! Выдержим — не будут налезать дальше!

На дворе у бани Утюгов приказал раздеться и голышом погнал в предбанник. Здесь остановил и с подлой улыбочкой сказал:

— Прежде надобно легонький... легонький обыск! А ну, слазьте пальцем в места не столь отдаленные! А ну, покажите некие потешные фокусы! А мы глянем! А мы не девушки невинные!

Товарищи едва удержались. Один толчок еще, — и они могли кинуться на Утюгова. Последний не пожелал бесплодно тянуть время.

— Мыться! — скомандовал он.

В бане торчала стража. Утюгов забыл о своем чистеньком без пятнышка кителе, который, как колпак на чайнике, мог отпотеть. Помощник разместился посредине и закурил.

— Эй вы, мордачи, — попыхивал он крепчайшим табачищем, — соблюдай казенную экономию! Мочись с толком!

И экономию соблюдали. Шлиссельбуржцам в насмешку выдали по одной шайке воды без мыла.

— Не будет, не будет! — хихикал Утюгов. — От мыла кожа портится. Стой стой, осторожнее плещись: забрызгаешь, заставлю бабью стирку делать!

Товарищи наскоро мылись. Их торопили и слегка толкали. И всё время со всех сторон раздавалась крепкая, как махра, площадная ругань. Стража отпускала глупые и вздорные шуточки, нелепые словечки и подчеркнуто гоготала. Смех был нужен для увеселения Утюгова и для выражения ему служебной преданности.

С гамом шлиссельбуржцев повели через двор, безмолвный как ночной погост. Надзиратели шли беспорядочной грудой и продолжали угождать начальству беспрерывными насмешками.

В коридоре одиночного корпуса шлиссельбуржцев выстроили по-солдатски. Они стояли долго и никому не нужно. Утюгов медленно шествовал по фронту. Говорливость его не покидала.

Покуда очищали одиночки, он пускал свои немудрые остроты. Они поражали одних надзирателей. Строй не проронил шороха.

Он остался молчаливым, когда прибежал на дряблых ножках длинный и зеленый, похожий на капустного червя, начальник тюрьмы Кононов. Это был тот, о котором с завистливой восторженностью упомянул за преферансом барон Мюллер.

— Повиновение и подчинение! Слышите? — сказал начальник. — А то от вас останется мокро!

Кононов заглянул и скрылся в темных лабиринтах своего мертвого воеводства. Утюгов охотно продолжил начальническую речь.

— Бандиты! — строго выкрикнул он. — Пиши завещание, ежели кто из вас пикнет! В Орле устав монастырский, будто... в Саровской пустыни. Начальник — архимандрит, я — игумен, надзиратели — послушники, а вы — богомольцы-грешники! Молить вам не замолить... го-го-го... прегрешений!

Акиндина толчком швырнули в одиночку. Заключенный почти уткнулся носом в стену. Утюгов захлопнул раскрытую койку и с раздражением бросил:

— Вот тебе, мерзавец, место жительства! Не спать, не дремать, только в жмурочки играть! Четырнадцать суток карцерного положения!

— За что? — трудно спросил Акиндин.

— Узнаешь попозже! — как-то нескладно повернулся к дверям помощник. — Должок за тобой прислали из Шлиссельбурга. А мы с должников берем проценты!

Акиндин начал осваиваться в привычной по другим тюрьмам конуре. Но его не оставляли одного. Какие-то люди часто смотрели в дверное очко.

— Ишь, сидит, собака! Думу думает! Ничего, брат, путного не сыщешь в башке! Отвернуть тебе ее надобно! Винт-те нарезать заместо шеи!

Акиндин ходил по камере и не оборачивался к злобствующему оконцу. Так же ходили другие товарищи. Весь одиночный коридор был занят шлиссельбуржцами. В этом близком соседстве каторжане находили некую радость. Можно было встать к стене и внятно различить понурый звон цепей соседа, глухие шаги, сдавленный кашель...

Акиндин устал. Приближался сладкий последорожный сон. Уже прошла поверка. Орловский централ замолкал ночной, беспробудной жутью.

И сразу тишины не стало. Акиндин вздрогнул, точно его стрельнуло в бок. Голова шлиссельбуржца, которую клонило к столу, вскинулась и выпрямилась. Акиндин осторожно поднялся с табурета. Последний и стол заменяли ночное ложе.

В коридоре шорохшили многие подошвы. Щелкнули замки. Люди ходили по одиночкам. Сердце Акиндина сбилось, словно ребенок сбивается с неверного шажка, дыбает, качается, робко переступает и мрёт на месте. Шлиссельбуржец с мучительностью закрыл глаза. Утюгов широко распахнул дверь.

— Фамилия?

Помощник мелом написал ее на наружной стороне и вместе с надзирателями ввалился в одиночку. Они молча развязали веревку, которой была затянута к раме койка. Брезент и веревку тотчас

унесли. Люди обошли все одиночки и, должно быть везде делали то же самое. Такая срочная надобность в брезентах и веревках ввели Акиндина в ошибку. Он предположил о покушении на жизнь кого-нибудь из товарищей. Кстати Акиндин припомнил давешние лица некоторых шлиссельбуржцев. Уныние, как гнилой сук в дереве, жалко скользило в глазах. Но кто же, кто же надломился и упал?

Акиндину не довелось долго горевать о воображаемой гибели.

— Товарищи, бьют! — вдруг раздался вдали высокий и тонкий клич, — Ой, ой! Караул!

Орловский централ кричал не в сонном бреду, а в самой живой яви. Тишину в коридоре проткнули, словно стекло в окне, и ветер хватил между тесно сближенных одна к одной стен, как в длинной воющей трубе.

Акиндин узнал звонкий голос типографщика с Черной речки. Крики неслись из его крайней одиночки. Дальний лязг, будто бы бросали из угла в угол камеры цепи, шум возни, хрип, страшное затихание вошли в сознание Акиндина.

Шлиссельбуржец стремительно и беспомощно огляделся в своей каменной лачуге. Но он ничего не нашел, что бы могло вооружить его. Единственные предметы — стол, табуретка и койка были прикованы к камню. Сознание повелевало защитить товарища.

Акиндин, а вместе с ним и другие шлиссельбуржцы, били кулаками и ногами в двери, кричали, звали неизвестно кого на помощь...

Дребезжащий стук, точно по камню неслись телеги, был напрасен. Шлиссельбуржцы не сумели отвлечь орловских громил. Они с глухими ушами выполняли порученное им дело до конца. Они даже не торопились.

Типографщика топтали ногами, — такой молот ног не мог обмануть, — типографщика волочили по полу, — такой шелест был понятен, — типографщика вскидывали на воздух и роняли. Типографщик переставал кричать, реже и реже напоминал о себе, пока не умолк...

Тогда кто-то суетливо пробежал по коридору. Около одиночки был водопроводный кран. Вода со свистом хлынула в железное ведро. Человек кинулся обратно. Это приводили в чувство типографщика.

Акиндин с трепетом, с яснейшим сознанием, словно открытое лунное небо зимой, проследил мученический путь товарищей одного за другим. Очередь была неизбежна. Он подготовился к ней так, как никогда еще в жизни не был ни к чему готов.

Утюгов с рычащей свитой ворвался к Акиндину. В левой руке у помощника был моток веревки, до колен болтался рассучившийся, как рыжеватый коровий хвост, пеньковый пушистый конец. Утюгов от быстроты движения даже запутался в нем правой рукой, резко освободил ее и ударил ладонью по уху Акиндина. Тот пошатнулся и устоял.

Толпа надзирателей взнесла шлиссельбуржца наравне с головами, перевернула его грудью к полу и бросила. Акиндин не осилил боли и охнул.

— А, — заревел Утюгов, — по-французски заговорил! Вежливости захотел, мразь! Бей его, молодцы, отбивай ему гнилые потроха!

Он должно быть сам наступил на плечи шлиссельбуржца и скрутил ему веревкой назад руки.

— Гляди, команда, — издевался помощник, — террорист проклятый, да он сопротивляется! Да он бунтует и не подчиняется!

В сознании Акиндина мелькнула мысль, что этот безответственный ночной погромщик все-таки помышлял что-то иметь про запас для оправдания своего поведения. По знаку Утюгова один из надзирателей двигал ногами шлиссельбуржца, точно этот оказывал сопротивление.

Но изображение борьбы продолжалось секунды, а затем ноги прикрутили к вывернутым рукам.

Акиндин перемогался от болей и горделиво не хотел проявить слабость перед пытками.

Истязателей бесила стойкость шлиссельбуржца. С досады они пинали его сапогами и били кулаками по темени. А кто-то самый изворотливый держался за веревочный узел, вязавший руки и

ноги Акиндина, крепко стоял на полу одной ногой, а другой топтался на спине лежачего. Он точно забивал в землю тупую бабку.

Выдержка оставляла Акиндина. Силы вычерпывались, как будто в маленькую лунку с дождевой водой на дороге вкатилось большое колесо и выжало досуха содержимое.

Тогда Акиндина и ударили ключом под ребра. Тогда шлиссельбуржец и понял, почему так отчаянно кричали его товарищи.

Утюгов издал ироническое восклицание, схватил лампу, сел с нею на пол, осветил измученное лицо каторжанина и уцепился ему за нос.

— А ну-ко, наддай!—приказала потная от натуги приседания мясная глыба, которая почему-то умела говорить по-человечьи и, должно быть, потому только не относилась к какой-либо другой животной породе, — наддай с вытяжкой! А я погляжу ему в морду!

Утюгов наблюдал. В белом кителе помощник оберегался от грязи и тот костюм его связывал. Сейчас помощник сидел на полу переоблаченный в домашнюю затасканную тужурку. В ней он чувствовал себя удобно.

— Жарь его, сукина сына! — покрикивал Утюгов. — Размолчальнили мы животину! Свинье не уступит по вереску! Ручки у нас нежные, обходительные, легкие. Нож в сердце всадят, — одно удовольствие!

Битье ключом утомило. Помощник с кряхтением выпрямился, устало сказал:
— Дайте ему дыхнуть! Еще трясок, и хватит за глаза! Мы с ними со всеми обойдемся разборчиво!

Акиндина качнули в воздухе и выпустили из рук на высоте, как и в первый раз.

С последней разумной мыслью Акиндин услышал голос Утюгова.

— Что же вы, заплечные мастера, личико-то ему оставили такое чистое! Надо подрумянить!

Шлиссельбуржца уже без чувств уткнули щекой в пол и протащили поперек одиночки. Кровавая ссадина, как родимое пятно, обезобразила половину лица.

В глуши сырой ночи седой бывалый фельдшер с бессонным Утюговым обходили избитых.

— Спит этот калач? — спросил помощник у старика.

Фельдшер ткнул ногой Акиндина и дернул за веревчатый узел. Связанный шлиссельбуржец, похожий действительно на калач, очнулся и попросил воды. Его напоили.

— Нéчего лежать! — приказал Утюгов. — Знаем вас, притвор! На ноги!

Тело было распухшее. Руки водянисто отекли. В камеру явились с обхода других помещений двое надзирателей. Они и поставили Акиндина кривым качающимся столбом.

— Ну вот, сволочь, ты и стоять-то не умеешь перед начальством! — осудил постарше надзиратель и сделал попытку вытянуть руки шлиссельбуржца по швам.

Акиндин не вынес и закричал.

— Те-те, — передразнил фельдшер, — не может быть! Руки тут ни при чем! Природа избалованная! Медиков не надуешь!

Акиндин собрал какие-то лохмотья сил, тяжко вздохнул и громко обратился к Утюгову:

— Добивать не будете, господин помощник?

Утюгов ожидал всего, кроме этого вопроса. Он даже отступил на шаг. Надзиратели переглянулись и приготовились...

— Нет, сегодня не будем, — мрачно пробурчал помощник, — люди устали и спать пора! А за дерзость на сутки наденем смирительную рубаху.

— Кстати вы ее захватили с собой! — даже нашел в себе крепость усмехнуться шлиссельбуржец.

— Молчать — заревел и обагрился Утюгов.

В смирительную рубаху вязал крепкорукий фельдшер. Старик вязал так прочно, что Акиндину потребовалась большая сноровка, чтобы приучиться дышать. А покуда фельдшер управлялся со знакомой работой, Утюгов вопил рядом:

— У нас бунты устраивать ни-ни! У нас стук в дверь дозволен во время пожара! А так — остерегись! Изломаем! За

все полагается наказанье норовистым лошадям! Едва нос к нам показали, а наш устав топтать, цареубийцы! Вежливость им подавай, перины, баню с мылом, после поверки в двери ломятся! Кто живым из Орла выходит, тот все вольные слова позабывает, разбойники! Имей память, а то и не понадобится она тебе больше!

Акиндина бросили на пол и ушли. Одиночный коридор замолк гробовой колодой. Он не смел шевельнуться. Он даже не стонал. Шлиссельбуржцы давились в смирительных рубашках.

Утюгов обзавелся дрессированной опричниной. Надзиратели, отделенные, коридорные подражали ему, как ученики подражают мастеру. Главное истязание было произведено для острастки. Не счесть продолжений... Исправление проводилось упорно, как медведь ходит в овсяное поле, покуда мохнатого гостя не убьют мужики.

— Здорово! — орал отделенный.

Акиндин словно не понимал, на каком языке обращались к нему.

— Ты, что же, арестантская харя, играешь в молчанку? — грозно приготовлял кулаки отделенный. — Отвечай: «Здравия желаю, господин отделенный!»

Акиндин минуту колебался и сухо отвечал:

— Никогда я так не скажу!

Отделенный наносил бешеный удар.

— Не скажешь? Так получай гостинцы!

Утюгов заведывал одиночным коридором с яростью, точно он исполнял самое кровное дело в своей жизни и боялся хотя бы ненадолго отвлечься от него. Он шнырял из камеры в камеру и везде искал посягательства на тюремные законы Орловского централа. Выпученные глаза помощника, точно стекляшки у чучела совы, беспричинно краснели и неистово вспыхивали опасным сверканием.

— Всех, всех титуловать! — хрипел Утюгов и как бы стискивал в ручищах железные подковы. — Военный режим против Орла есть плевок! Громко, с усердием встречать начальство! Вставать! Не жалеть поклонов! Ключ в замке повернулся... живо на ноги! Караульный у очка... вскакивай! По коридору не ходить, а бегать рысью! На прогулках снимать шапку, чуть надзиратель заговорил с вами, подлецами! Почет страже, будто чудотворной иконе! Отвечать на всё: «так точно», «никак нет»! Никаких барских «да» и «нет». Рылом не вышли! Нагадили на свободе, — тут вам отместка, собачья стая! Заживо заморю по карцерам! Ни спать, ни лежать вам! Собственное свое мясо будете жрать от голодовки! Мы вас вытончим в тросточки! Закашляете у нас! Цыц — и больше не разевай рот! В колоду живьем забьем!

Акиндин невольно приучился как-то наискось носить голову. Ухо бессознательно было настороженно. Утюгов стерег одиночки с таким же неподкупным лаем, с каким стережет двор выдержанная со щенков на цепи собака. Он дико, как хмельной, обучал каторжан тюремному терпению.

— Ты что, ты что, негодяй, — наваливался на Акиндина помощник. — Как ты чистишь посуду? Я тебе приказывал что? Я тебе заказ какой давал? Быть посуде светлее солнца! Вместо зеркала чтобы я в нее смотрелся и каждую морщину мою, каждый волосок видел отчетливо! Перечистить, лодырь! Пол натирать также видом под солнце! Суконкой! Становись на четвереньки! Спина у государственного преступника должна быть гибкая! Вроде моченых розог!

Акиндин не отказывался и чистил кастрюли, ползал на четвереньках, бегал рысью по коридору, пил воду из-под крана, куда выливали парашу и касались ею до ржавой меди. Шлиссельбуржцы надламывались и... вскипали снова.

Утюгов не достигал всего, чего хотел. Он был только случайный завоеватель, победу у которого иногда выхватывали...

Помощник больше всего не любил хлопотливой возни с голодовками. Шлиссельбуржцы с мукой и необходимостью направляли на него эту рогатину. Побои вызывали голодовки. Тогда Утюгов беспокойно бегал.

— На одеяла! — орал он. — В больницу! Кормить клизмами!

Шлиссельбуржцев несли и насильно питали. Утюгов не унимался от гнева.

Излишняя возня с голодающими раздражала, как дождливая мразь непогод.

Помощник выучился срывать голодовки проще. Он подсаживал в одиночки к голодающим уже забитых людей, кормил их вдвойне — втройне...

Утюгов, как охотник наблюдает из-за куста подходящего зверя, жадно следил в дверное оконце. Утюгов имел беспроигрышные удачи. Он победоносно хохотал, удовлетворенно щелкал пальцами и спесиво надувал щеки. Товарищи не выдерживали такого испытания и кидались на жалкую, но незабываемую пищу...

Месяц так на пятый после высылки Акиндина из Шлиссельбурга однажды знакомый уголовник, к которому заключенный сначала присматривался, пришел в камеру вынести парашу. Акиндин поймал зевок караульного и улучил мгновение, даже не прошептал, а только пошевелил губами:

— Карандаш...

Парашник согласно мигнул. Он много раз приноровлялся сунуть вещь. Осторожнее кошки подстерегал и ловил это движение одиночник. И оба они не решались. Провал грозил бедствием и тому и другому. Но все-таки, наконец, Акиндин сжал в счастливой горсти кончик графита и клочок лубка от половой щетки.

Орловское подполье клейкими паутинками связывалось с централом. Паутинки часто, как ветреным рывком, смахивало и разносило. Их с трудом ткали снова. Охранка громила ткацкие гнезда.

Ольга Игнатьевна вдогонку за мужем появилась в Орле. Короткое, точно задушенный человеческий крик, послание на желтоватом лубке дошло до нее. Уголовный почтальон не заблудился на орловских улицах и доставил его из рук в руки по адресу.

Неведомый оборванец вертелся около партии уголовных, которые очищали хлюпкую городскую площадь от весеннего таяния. Он подавал сигналы, ясные одним письмоносцам. И лубок пошел по свету...

Ольга Игнатьевна кинулась в Петербург. Утюгов шел по ровной каменной панели, не глядел на свои шаги, — и ему сделали подножку. Тогда корявая утюговская лапа и начала нетерпеливо сучить в ниточку жидковатые усишки ухватиками.

Утюгов наверстывал время. Одиночный коридор еще не знал подобной стремительности набегов. Водопроводный кран напористо низвергал струю. Надзиратели избегались по камерам с ведрами: то отливали после расправ шлиссельбуржцев.

Утюгов загремел на всю империю. Государственная Дума церемонно раскланивалась и просила о снисхождении. Запрос был вял и беззуб, как старческий рот. Но шамканью вняли...

Настал такой неблагонадежный день, когда подобно огромному вместо зеленовато-сероватого красному глобусу Утюгов вкатил себя в камеру и возопил Акиндину:

— На этап, гадина!

Случилось это после утренней молитвы. По прихоти помощника ее выли отдельно в каждой камере. Разноголосое заунывние наполняло спертый коридор, словно закупоренная угарная печь. Ежедневная минута эта отвращала своей церковною гнусью. Сегодня Акиндин, кажется, готов был повторить ее, как веселую плясовую.

Группа шлиссельбуржцев проходила проклятым двором за тюремные ворота. На большом круге по-четверо в ряд шагали в ногу остающиеся каторжане. Звонкая кандальная команда разрушала всю бодрую прелесть утра:

— Раз, два, раз, два!

Человек тридцать надзирателей с винтовками охраняли арестантскую прогулку. Акиндин тоскливо зажмурил глаза.

Московская Таганская цитадель немногим радушнее приняла орловского узника. Централ и Таганка украшали империю.

И все-таки Акиндин будто передохнул от долгой работы. И все-таки было легче, хотя его и ввергли с явным умыслом в уголовную камеру для бессрочников.

Акиндин осторожно приспособлялся к отчаянной банде, точно опытный лодочник с расчетом ведет свое скорлупное суденце в бурливом срединном течении реки. Люди мокрого дела, притонов и

харчевен, потрошители, пройдохи и воры будто одним взглядом обвели собрата и определили ему место среди себя.

Сожительство наладилось не трудно, Акиндину часто казалось, что он идет по самому рубчику карниза высоченного домины, грубо и прямо становятся негибкие его кожаные подошвы, а с пологой крыши рвет и треплет ветер. Воздушный акробат пошатывался и сопротивлялся ветру, отвертывался от страшной пустоты под ногами, протягивал вперед робкие, неверные руки...

Акиндин засыпал, но он прежде подолгу прищуренно следил за ближними и дальними нарами. Там была наваль людей. Стриженые, круглоголовые, как затасканные футбольные мячи, с босыми ногами, а пальцы будто молодой картофель в земле, они беспробудно храпели и почесывались.

Необходимая ночь брала свое. Однако только день по-настоящему приносил отдых, и глаза смотрели без ночной стражи.

Такое бодрствование пришлось нелишним.

В одну послеповерочную тишину, когда камера слегла наповал и пришли храп, сонные бреды и бормотанья, Акиндину понадобилось притворство. Он заметил, как днем около него вертелись трое камерных заправил, что-то намеревались сказать, насупливались — и отходили. А то почему-то одобрительно хлопали его по плечу, — и все подозрительно с тайнинкой усмехались.

Денные разведчики улеглись первыми. Они покрикивали на соседей и старались скорее уложить всех. Акиндин понял несложную уловку. Какая-то опасность неостановимо подползла к его наре.

Акиндин напряг уши тоньше гонимого лося, едва зашелестел шопот на недалекой разбойничьей лежке. Каторжанин хотел во что бы то ни стало слышать его. Акиндин простонал, выкрикнул бессвязные бредовые слова и, как можно естественнее, откинул руку с нары. Шопот усилился. И Акиндин мог разобрать.

— Под красный галстук и... скостили! — настаивал главный. — Спортит ход машине! Что десятеро надзирателей, что одиннадцатый на придачу, воз вывезет! Открывать ему робко! Войдет в святошеский характер! Пожалуй, нос своротит на сторону от нашей компании! Все равно резать придется. Возня.

Двое других не соглашались. Попеременно они уговаривали вожака.

— Обойдемся без мокрого! Постой тучу в колокол звать! Добро бы в дяде шнырь сидел, а то свой каторжанин... только что по другому ведомству! Слушать кукушку, может, и он захочет? Ему с нами неминучая. Со свечами ходить, поди, ему наскучило не меньше нашего! Списать его всегда время! Дрыхун ничего, мозговатый, не сиварь! Парень крепыш в сердцах, не какое-нибудь поддувало! Как бы не повредить нашей охотке!

Акиндину было невпервой слышать блатное подспудное слово.

Он привык не теряться. Каторга приучила понимать все ее сложности и самые прихотливые обстоятельства. Акиндин не раскрыл горько и уныло рот. Глаза его, как хитрые зверьки в облаве, юркнули к дверям, точно и безошибочно наметили путь бегства и рассчитали каждый прыжок.

— Спросить его надо без всяких! — грубо и резко сказал главарь.—Нечего тут волостные сходы устраивать! Идет с нами или любо нюхать ему до окончания века парашу?

Акиндин не стал дожидаться непрощенных ночных гостей. Он совершенно неожиданно вмешался в беседу.

— Не нашли времени для разговоров засветло,—добродушно подшутил он,—спать мешаете! Бежать, что ли, надумали?

Арестанты довольно засмеялись.

— А чорт! Ловко ты нам пулю залил! Классная работа! Обвел ровно маленьких! — одобрительно зашептала тройка.—И ручку свесил и языком лопотал!..

Заправила шикнул на разболтавшихся товарищей, с великим и грозным смыслом погрозил Акиндину пальцем и сказал прямо:

— Ловкость и не всегда ловка! Вдругорядь на нее не обопрешься! Подпорки вышибем! Слушай, Штукатур! Мы до твоего прихода порешили усвистать из Таганки. Ты нам напутал тропы. Тебя

хоронится вся камера. Али убить, али взять с собой? Ты вникай, — подпустил он внезапную злость, — раз я вымолвил об этом, значит, придушим! Иначе немыслимо, нельзя губить ребят!

— Не прыгай зря и не горячись, — с тем же спокойствием и легкой насмешкой возразил Акиндин, — я не собираюсь у надзирателей виснуть на шее. Сначала спроси!

Арестант долго шептал Акиндину о всех подробностях задуманного побега. Слушатель не перебивал. Теперь ему незачем была и осторожность. Теперь обсуждали план двое равных участников.

— Мне охота, — с несдержанной яростью, а в забывчивости вместо нужного шопота почти в голос заметался вожак, — уборку тут развернуть в пласт! Все коридоры выстлать красными коврами... На стенах мазнуть теплое письмо во всю ширь! Бока мои, грудина, дуразад требуют отплаты! Жалованье мне плати, высокая таганка-могила!

Акиндин уже разобрался в предприятии и старался отговорить от него.

— Ничего не получится, — безнадежно качал он головой, — камера на чердаке, четвертый этаж... надо пройти всеми коридорами, всеми лестницами... внизу опять охрана... Задумано пустое и вредное дело! Будет провал! Заработаем одну виселицу. Я не пойду...

Арестанты зашипели, точно бешеные коты перед дракой.

— Но, — продолжал Акиндин, — ежели вы рехнулись прочно, я, конечно, вам не враг. Пожалуй, красный галстук мне подвязывать не к чему! Я из камеры не выйду. Побег лопнет. Зряшный риск никому не нужен!

— А мы... рехнулись... и пойдем! — густо слился в согласное едино тройной шопот уголовников.

Утюгов и тот бы не хотел более запутанного положения своему ускользнувшему врагу, в каком безвыходно пребывал Акиндин. Он не участвовал в побеге. Но кто же поверит в случае неудачи, что тут не было никаких хитроумных подвохов с его стороны? И зачем это станут разбираться таганские тюремщики, вся ли камера покушалась на бегство или без одного? Тюремщики знали быстроногих революционеров!

Акиндин чувствовал себя как человек на подоконнике горящего дома. Внутри кипела огненная печь. Полы прогорели и провалились. Ныряй в зной палящего столба и гори, как крылатая птица! Или прыгай на булыжное ложе улицы! Спасал случай...

Медный с тусклыми протоками обеденной жижицы бак на продетой в уши палке, в пару и тепле внесли надзиратели. Акиндин даже не любопытствовал. Он отвернулся.

Безысходный пожар начинался... Бак загрохотал о пол. Кудрявый парок пошел к потолку. Надзиратели, как плясуны на бульваре, оказались в кружке. Их стиснули и разорвали молча, сосредоточенно и равнодушно. Так походя объедает ягодный куст на лесной дороге стадо. Только слышно было какое-то спертое, задавленное дыхание.

Акиндин увидал возле остывающего бака розовые брызги, не похожие на плески похлебки. Тут же он поразился отчаянному проворству переодевания арестантов. Двое заправил немедленно превратились в надзирателей...

Умирающие вздрагивали в белых своих рубашках. В опустелой камере часто, как где-то с крыши падала на подоконный сандрик весенняя капель, билось одно живое сердце Акиндина.

Он удивился необычайной мякоти шагов тридцати взрослых людей, которые пошли по коридору. Так могла подкрадываться к добыче какая-то стая животных с пушистыми лапами и по скошенным лугам.

Надзирательская смена действовал безошибочно. Акиндин услышал шум раскрываемой двери в коридоре и сразу по полу поволокли точно мешки с зерном.

Двое новых переоблаченных надзирателей прибавилось к ватаге,

Акиндин уже не слышал дальше человечьих шагов. Одна весенняя капель лила и лила с крыши. На улице происходило свое, внутри здания—другое. И внешнее никак не походило на внутреннее. Разве дым таянья земли напоминал немного курившийся суп из бака.

Акиндина словно привязали к одному месту. Он в странном оцепенении упер глаза к выходу и не мог больше ничего воспринимать, кроме этой полутемной продолговатой дыры. Он томительно дожидался несчастья, которое должно было вот-вот произойти. Даже непонятно — почему оно так затягивалось?..

Между тем беглецы прошли уже и второй и третий коридоры. Вблизи от земли, один этаж оставался до весенней ледяной корочки, до светлых с отраженными облаками луж арестанты не сдержали торопливой дрожи в руках...

Арестанты так хотели слушать кукушку, что жадно напирали на вожаков, подталкивали их и сбивали с точного и нужного расчета. Ватага гнала вперед напролом...

С белым костяным черенком ножа в шее вырвался последний удачливый караульщик и с воплем покатился вниз по лестнице.

Резкий звон по всей Таганке заглушил весеннюю капель с крыши. Акиндин вяло пошевелил губами и покорно вздохнул...

Загремели лестницы, застучали двери. Точно хлопнули ворота на ветру, оглушительно треснули выстрелы. Акиндин все яснее и яснее разбирал беспорядочную гонку. Вся бессрочная камера неслась обратно. Она мчалась завоеванными было коридорами, словно мчится разбитая армия по знакомой опустошенной дороге. Арестанты безумно лезли в тесные двери. Караульная рота солдат залпами преградила всякий путь из камеры. Медный бак опрокинули. Муть залила убитых и густо расплылась повсюду. На скользине люди бились головами о пол, как будто неосторожный человек не выстаивал на ледяной горе и валился навзничь. Бессрочники уползали под нары, прятались в углы, без памяти висели на решотках...

Акиндина точно проткнуло в грудь длинной рогатиной от самых дверей до стены, он наклонился вперед, зажмурил глаза, поехал по этой рогатине, обломил ее и... вдруг забылся.

. . . . .

Над Таганкой крутило первую московскую мятель, когда Акиндина перевели из больницы в одиночку. Другие бессрочники сидели в камере. Слушать кукушку первым не удалось.

Акиндина даже не допрашивали. Даже не вмешивали в длинную бумажную почту, которая ходила взад и вперед между Петербургом и Москвой. На этот раз империя не пожелала дважды вызывать караульную роту солдат. Акиндин остался.

Остались и другие. Утюгов и Клещеев в ту осень хлопотливо перевозили свои вещишки: один в Орел, другой в Шлиссельбург. Помощников направили по новому местожительству. Империя переместила их.

Смерть бабушки

1

Елец! Мы тебя не видали ни разу,
Ни я и ни сестры. По вечерам
Ты изредка нас навещаешь рассказом,
Прищуришься ласковым теткиным глазом,
Которую слушаем мы — детвора,
Которая потчует нас до утра,
Души в белокурых ребятах не чая,
Провинцией и настоявшимся чаем...

2

Сегодня же, сидя под лампиовой лапой,
Она говорит про далекие дни.
Тогда еще не были мама и папа
Женаты, а только влюблялись они.
Тогда еще бились сквозь прорванный клапан
Война, забастовка, метели, огни,
Бураны, заносы, резня, непогода:
Так шла революция пятого года.

3

Лабазник-сосед материл «жидовню»,
Студентов громил, ветчину нарезая.
Тем часом, как черная сотня, с глазами,
Набухшими с водки, сползала к огню
Еврейской слободки, готовя резню,—
Тем часом принес телеграф из Рязани
Весть: «При смерти матушка (бабушка мне)...
Спешите... Страдает... В жару, как в огне...»

4

Заплакала мама — невеста: «Скорее!
Отец что-то теплое наспех сказал,
И трое — он, тетка и мать — на вокзал
Помчались на санках...
По улицам, рея
Двукрыльями фалд, пробегали евреи
По мокрому снегу, сквозь ветер и гвалт,
На поезд, на поезд!.. Отсюда, отсюда!..
За ними грохочет погром, как посуда.

5

И гонит, и гонит...
И дома и тут
Извозчиков пьяная бродит орава.
Узлы вырывают и девочек жмут,
На шею еврею наденут хомут
И с гоготом гонят: «Ну, трогай! Эй, пава!»
Еврейки ревут, матерится толпа,
Ребята визжат, матерей торопя...

6

О паника!
Сбились в проходах у касс
Подушки и дети, еда и пожитки.
Столетние деды недвижны, как слитки
Из воска.
Кошмар в полнолуниях глаз
У девушек, с грудями, смятыми в пытке,
У мальчика, брошенного на матрац.
Ведь только недавно рукою сторожкой
Кассир равнодушно захлопнул окошко.

7

И нету билетов. И выхода нет.
Дых жженого мяса по снегу сочится,
Снег парит, в снегу угольки, как корица.
Весь город пожаром и горем прогрет,

И дыбом стоит над домишками свет,
И в воздухе каркают красные птицы.
— Кассирчик! Голубчик! Откройте окно!
Надбавим — не жалко — и вам заодно!

8

Неся над трубой дымовую папаху,
Из сумрака, издали гулко заахав,
На свет фонаря наколовшись с размаху,
К платформе заиндевевший паровоз
Пристал.
Он сквозь версты мороза провез
Вагоны, пропахшие пóтом насквозь,
И толпы, галдевшие в кассе и в зале,
Как спрут многоногий, к дверям присосались.

9

Попробуйте скинуть их, кондуктора!
Евреям не боязно больше на свете!
У них ни черта — ни кола, ни двора!
Разбросана голая их детвора.
Рубите их! Жгите их груди! Убейте!
Варите похлебку из ихних сердец!..
...И в руки кондуктора брошен малец.

10

Громадина, оборонявший площадку,
Застыл, очумевши, с дитём на руках.
Потом матюкнул сокрушенно и сладко
И под грохотанье стогорлого «ах»!
Поставил ребенка и — дверь нараспах,
Отчаянным голосом гаркнув: «Посадка!».
Сгрудились евреи, поперли они,
Разняв чемоданчики нашей родни.

11

И вдруг стало тесно, как в братской могиле.
Все омолкло. На время утихнувший гул
Вселился в колеса и еле тянул
Протяжную песню — на мили, на мили:
«Зачем мы родились? За что нас громили».
И тетя уснула. И папа уснул.
Лишь ночь не спала, фонарями мигая,
Да поезд мотался степями и гаем.

12

Он мчался к спасенью, в леса напролом,
Стелился, задóхнувшись, свистом заливным...
Под утро, набитый людьми, как паром,
Состав, зашипев, навалился на Ливны.
Но Ливны гудели. И в Ливнах погром!
И новый поток вереницею длинной
На двери, на тендер, на окна полез.
«Куда вы?» —
«Из Ливен...
спасаться...
в Елец!»

13

Тут тетка замолкла.
Ей 70 скоро.
Старость — не радость.
Устала она.
Горелка сипит.
Холодком от окна
Прохвачена, ежится мамы спина.
Затих самовар, и конец разговорам...
«А бабушка?» — тетку опросили мы хором.
Та только очками на нас повела:
«А бабушка? Бабушка... умерла...»

Николай Дементьев

Старость

Еще жизнь в разгаре. Еще бодрость
такая,
Ни отдышки, ни дрожи в руке.
И все же ты стареешь, моя дорогая, —
Это я говорю о себе.
И этому горю нельзя помочь.
Юность была и юности нет:
У меня уже имя, у меня уже дочь
Восемнадцати с лишним лет.
Уже седой ветерок подул,
Вестник далеких отплытий.
Уже мне иногда уступают стул:
«Сядьте, мол, отдохните».
И, случается, я отдыхаю. Что ж,
Пусть постоит за меня молодежь!..
Неужели и вправду пора на покой.
Старость, как ни верти там.
Старость. Это бывает с любой
Даже партийкой.
Естественное явление,
Очень грустное, тем не менее.
Особенно грустно бывает весной,
Когда на закате шел дождь проливной,
Когда он щебетал, заливался и цокал
И после него мостовая блестит,
Когда распускается тополь,
Когда ты [illegible]
Готов обратиться с прошеньем во ВЦИК
Об отмене весенних закатов.
Но я обойдусь безо всяких амнистий.
Я почти без сердечных болей
Слежу, как распускаются листья
У молодых тополей.

Как бы сердце мое не болело,
Я за него отвечать не буду:
Старость это личное дело
Моих кровеносных сосудов.
Не в них суть. Не они важны.
Важно, чтоб не пропала зря
Ни одна грусть, ни одна заря
В хозяйстве моей страны.
И мы, пока в нас сила есть еще,
По закону контрастов, что ли,
Мы будем писать превосходные вещи,
Лишенные тени боли.
И ты, строфа моя, молодо лейся ты,
Если что велико, так это
Коэфициент полезного действия
Грусти на душу поэта,
Чья старость должна
Быть тебе отдана
Всецело, моя молодая
Страна.

Вера Инбер

Конь и Кэтеванна

Повесть

Шалва Сослани

(Продолжение)

— Кэтеванна, ты знаешь этого молодца, что так пристально смотрит на нас? — спросил вдруг Бондо Кэтеванну, повернувшись к ней в лунном свете.

Я стоял рядом с ней и дрожал от гнева. Наши тени стояли рядом и колебались, готовые слиться. Но она подняла глаза на них и сказала:

— Нет, Бондо, я здесь не знаю никого.

Сейчас передо мной груда писем, залежавшихся в моем почтовом ящике.

Все письма на имя Кэтеванны, от которой я, однако, не имею ответа. Не знаю — может быть, за все это время я не сумел написать ни одного письма, достойного ее. А может быть, я не по тому адресу отправлял все эти письма. Не знаю. Только вот сознаюсь, товарищи, что когда мне сейчас приходится рыться в хурджини (куда я еще вчера перед сном вытряхнул все содержимое почтового ящика), — я догадываюсь, что вина все же была моя.

Не знаю, сумею ли я искупить эту вину письмом, которое отправляю Кэтеванне через Швилду.

Сегодня вечером он выезжает из города к нам в деревню и повезет с собой и мое большое письмо. (Это будет первое и единственное письмо, которое получит она от меня.)

Я не открою вам содержания этого письма до тех пор, пока не получу ответного письма от Кэтеванны.

Предоставляю вам содержимое хурджини, разбирайтесь в нем вы сами, как в сказках, а тем временем, до вечера, я успею закончить и это письмо.

Письма, не известные Кэтеванне

5 октября.

Сегодня я в первый раз вошел в город.

На небе пасмурно, но улица освещена, как солнцем, хотя отдельными кустами и не везде.

Все тыкают в меня пальцем, и мне трудно пробираться через площадь. Какой-то безголовый и суматошный народ.

Хочется тебе писать письмо прямо на седле, но коня никак не могу удержать: все рвется и мечется из стороны в сторону.

Устроюсь скоро и тотчас же напишу.

7 октября.

Я стою в центре города. Вокруг меня люди. Много людей: целых сто или тысяча. Столько же домов и улиц. Все имеют свое направление и цель. Улицы тоже. А у меня нет никаких направлений: цели растерял или не успеваю их обдумать — не знаю. Пытаюсь остановить кого-нибудь и спросить о чем-либо, чтобы вспомнить хотя бы, где выход...

Конь, навострив уши, слушает площадь.

Светлокарие большие глаза его выжидательно косятся в сторону выхода. Но выхода нет — есть только движение, а в центре движения стою я, с конем на привязи, и кричу:

— Эй, кто там? Выглянь! Нет ли кого?

Никого...

Спокойно, как камень в поле, стоит милиционер на перекрестке и, как волшебную надпись, поднимает ладонь — из центра к воротам, от ворот в поворот, из-за поворота в ворота, а оттуда врываются, кружась: автобус, авто, люди, трамвай, пионерские галстуки, дроги и барабанная дробь.

Покружившись и порычав друг на друга, они расходятся и уносят на спи-

нах за ворота красные глаза фонарей под номерами и самого маленького пионерика.

— Эй, кто там? Выглянь! Нет ли кого?

Самый маленький пионерик оглядывается на меня и, улыбнувшись в галстук точно в бороду, вперевалку догоняет отряд.

Маа-моууу... бег-бег, воу!

Шан-хан-цан!

Скряу, скряу!

Манмáн, манмàн, кан-рон-ман-кан!

Воу, воу, маю-оу, стамилахрóм!

Ом... ммм... Ом... ммм...

Ии-хо! Стамилахрóм! Дидо-строй! Сталитастá! Оон-ммм... А-а...

Конь дергает удила, прижимает назад уши и, жутко подобрав зад, быстро шарахается вперед.

Стамилахрóм! Маа-моо... Зороа-кру! О-охо! Ороахрóм-сталитаста! Ороазру! Ззз... Муу...

В круглых глазах коня проносятся автомобили.

Ваймэ, вай!

Хорхолискря! Моу... ам, ам! Моо... Хо!

Эй, ваай!

Сталитастá! Ам, ам! Шан-хан-цан! Кру-цикру... Шан-хан-цан... Ццц-шшш... Хан... Ам...

Ооом...

— Эй, кто там? Выглянь! Нет кого?

Конь встает на дыбы. Светлокарие огромные глаза опрокидываются на меня, как небо в пруду.

Автобус садится верхом на вагоновожатого и вместе с трамваем проваливается в воронке конского глаза.

Мелькают повязки в фарфоровых зубах столбов.

Дым и пыль бельмом садятся коню на глаза.

Колеса проносят комету и подвязывают ее хвост к глазам прохожих.

Между ног и скул коня заносятся колеса авто и, окутав пылью газетчиков, пролезают друг за другом в карманы пальто, витрин и под'ездов.

Конь пятится, встает на дыбы, точно в бою, бьет копытами воздух, снова шарахается вперед, выхватывает у меня из рук поводья и на злобно раздутых ноздрях уносит вскачь тонкие ремни удил.

1 ноября.

У-у, сколько железа и стали в этом городе, Кэтеванна! Я хотел тебе написать про них. Хочется еще многое рассказать, в особенности про высокие дома и ломовых лошадей, но меня задерживает мысль о старушке, которую каждый раз застаю у почтового ящика на улице.

Она стоит, всегда прислонив голову к железному ящику и повиснув обеими руками на нем. (Она все время молчит: не то плачет, не то терпеливо ждет кого-то.)

В городе начинаются дожди и холода.

Я все еще слоняюсь по переулкам. Укрываюсь в дождь под деревьями, а по вечерам засыпаю прямо на коне.

Когда я утром снова проезжаю мимо железного ящика на большой улице, чтобы опустить тебе письмо, я там попрежнему застаю эту старушку, укутанную с головы до ног в черную шаль. Люди подходят, бесцеремонно расталкивают старушку и поспешно опускают письма в ящик. Она не обращает внимания ни на кого и — как только люди отходят от ящика — снова утыкается головой в угол, меж каменной стеной и железным ящиком, и застывает.

Я не могу опустить тебе письмо в этот железный скорбный ящик.

2 февраля.

Совсем недавно получил комнату. Комната моя маленькая. Дверь — в коридор. Коридор тоже в чьи-то двери. Затем по лестнице вверх — опять в коридор, и наконец выход меж высоких глухих стен бывшей кондитерской — прямо на улицу.

Сегодня ночью в занесенное снегом окно ко мне постучали чьи-то посиневшие пальцы. Я подскочил к окну. По улицам города шел снежный буран и точно на крыльях поднимал огромные дома. В утренней мгле качался блеклый свет фонарей и развевал белый шлейф снега.

Мне почему-то показалось, что этот белый шлейф был твой. (Чорт знает, что не почудится человеку в снежную ночь!..) Я не знаю, как здесь вообще спят люди, но они спят всегда так крепко, что не слышат, как я выхожу на улицу с конем.

В морозные ночи на улице пусто, и я преспокойно брожу один. Стук копыт разносится по всему городу — такой звонкий и хрустящий. (Все дети в городе думают, наверное, что это трещит дед-мороз, и сжатся в постельках, а мне от этой мысли всегда тепло и весело.)

Под утро мороз крепчает. Звон копыт разносится по всем улицам и переулкам. Я во весь дух мчусь к себе домой. (Скоро пропоют первые трамваи, и мне необходимо во-время убраться к себе.)

Я гулко пересекаю площадь. На перекрестке стоит человек в огромном тулупе и с шестом. Он, ежась, подходит к высокому фонарю и тушит свет. Земля под фонарем как будто проваливается, и в этот провал со всех сторон сыплются звезды.

Я не настолько глуп, чтобы в городе перед рассветом останавливаться под фонарем: я могу провалиться в воронку звезд. Но Мера усиленно тянется к тому месту. Я не могу его сдержать. Конь подходит к самому краю воронки и встает на дыбы, готовясь окунуться в звездный омут. Я вскакиваю на седло и пронзительно кричу. С перекрестка слышится ответный свисток человека в тулупе. Конь пятится назад, перескакивает с разбега звездную яму и мчится в переулок.

От одного прорвавшегося сквозь тишину свистка все улицы точно сливаются в одну: так и дороги можно растерять! Но конь Мера быстрее свистка, и мах его ног ровнее улиц, и мы еще до рассвета забираемся в нашу конуру.

29 февраля.

В этом городе так устроено: все шумит и кричит. Каждый словно кричит о себе, но вместе с тем похоже, что он этим предупреждает и других. Издали все страшнее, но когда подходишь ближе, то все предметы выглядят как воловьи рога, за которые можно свободно ухватиться или же намотать на них веревки и потянуть. (Ведь если бы у волов не было рогов на голове, то нельзя было бы управлять ими в поле.)

Я знаю, что рога нечувствительны к боли: их можно срубить, отпилить, вырвать. Правда, Бечо у нас был какой-то другой, и рога у него были светло-восковые и загнутые кверху, как ресницы. Я на них однажды разбивал камнем лесные орешки и вдруг заметил, что глаза у Бечо налились слезами.

Вот и в городе все можно потянуть за собой, как Бечо — за рога.

Возьмешь, например, и потянешь трамвайную рельсу. Рельса вздрогнет и потянет за собой шпалы. Шпалы — камни. В камни опрокидываются трамвайные столбы. Столбы тянут за собой провода, как струны. По проводам скользят вагоны. В вагонах — люди. Ничто и никого не оторвешь друг от друга: все тесно переплетено друг с другом. Все стоят так: друг за другом и плечом к плечу, а в конце всех — милиционер. Завидев своротенную рельсу, он больно свистит. Трель свистка проступает у всех слезами. И...

Я больше не трогаю рельс.

7 апреля.

Вчера меня вызвала милиция. Сделала строгое предупреждение. Я об'яснил, как мог, свое положение и добавил, что им придется переговорить непосредственно с конем. Комиссар рассмеялся от души. Я тоже. В отделении все начали хохотать и ржать от удовольствия. Добрые ребята! Это не то, что были у нас есаулы, которые ходу не давали никому с конем. У всех милицейских здесь тоже имеются свои лошади. Они приучены к городу и ходят, как по рельсам. (А вот Мера — беда!)

В отделении попробовали вызвать конных. Один из них попытался было сесть на моего коня, но, видимо, он был более разумным человеком, чем хорошим ездоком: посмотрев на Меру, сразу отказался.

Комиссар дал мне бумажку в новый домком (старый как раз и жаловался на меня), похлопал коня по крупу, и я благополучно вселился на новое место.

18 апреля.

В этом городе очень много ворон. Они на меня наводят уныние. Вороны эти большею частью садятся гуртом на железные крыши домов.

Здесь есть и голуби. Они очень доверчивы и садятся даже на мостовую. Голубей все же меньше, чем ворон.

23 апреля.

Бывает, что я еду по улице, и вдруг Мера спотыкается о какой-нибудь камень на мостовой. Я слезаю с коня, становлюсь около камня, внимательно вглядываясь в его потертое каблуками и колесами лицо. Камень мне становится близким и знакомым. Я беру его, кладу в хурджини и отношу к себе домой — дружить.

30 апреля.

Я пробую выходить в город один. Иначе — на коне — при реве и гудении автобусов, авто, мото, трамваев и дрог до меня не доходят отдельные звуки, и каждый автомотор наровит смять и задавить меня, как гром в лесу.

Но когда я выхожу в город без коня, то часами стою оболтусом на перекрестках и перехожу улицу, только когда заходит солнце.

Солнце в городе заходит в конце каждой улицы. Его все давят, топчут, гонят с домов, витрин и тротуаров. Но солнце настолько высоко, что с ним можно бороться только оружием теней. В городе это понимают все и вся: и толстый столб и тонкий провод. И поэтому все здесь прячется в тень, как в панцырь. При заходе солнца тени ощериваются со всех сторон. Лучи ложатся поперек улицы, как щиты, и я доверчиво перехожу дорогу по этим солнечным выступам. Кстати, солнце здесь бывает не так часто: в году приблизительно семьдесят семь дней, а в остальные дни оно доится по земле, как теплое коровье молоко. (Небо тоже — как коровья шерсть, и солнце передвигается в нем, как вымя меж белых ляжек.)

Если бы в городе не было садов, то не только солнечным лучам, но и воробьям негде было бы отдохнуть. А здесь очень много садов, в особенности против моего дома, в который я переселился недавно. В саду этом больше всего берез. Они очень красивы, и когда их не колышет ветер, то кажется, что у них есть человеческие плечи и глаза.

Я часто привязываю к ним коня.

5 мая.

Я украл. Я совершил в городе кражу: украл на улице почтовый ящик.

Рано утром, проезжая по большой улице, я вдруг заметил, что против почтового ящика остановился крошечный мотоцикл. Оттуда выскочил человек с четырехугольным брезентовым мешком. Он быстро направился к старушке. Ввернул ключ в бок ящика, подставил мешок, и я услышал глухой шелест писем, падавших в мешок. Женщина в черной шали отпрянула от стены и с криком погналась за человеком из мотоциклета. Человек преспокойно уселся в подрагивающую машину и, пихнув ногой мешок в мягкое корыто рядом с собой, не оглядываясь двинулся вперед.

Старушка вцепилась руками в кузов, но мотоцикл ускорил ход и поволок ее по улице, как мокрую шаль.

Я подскочил к ящику, сорвал его со стены, вскочил на коня и умчался к себе домой.

Теперь эта железная скорбница висит у меня, и я свободно опускаю туда письма к тебе.

12 мая.

Сегодня в городе выпустили новые трамвайные вагоны. Все говорили, что это первомайский подарок сормовских рабочих городу. Вагоны были свежевыкрашенные и бегали по городу точно дети. Мне даже досадно стало, что в них садились какие-то хмурые люди в очках (они были похожи на портреты врагов, расклеенных на стенах, с огромной головой и хищным клювом).

В городе было тепло и пахло свежей краской, бензином и почками кислослив.

Я стоял у остановки вагонов и подглядывал у каждого подлетавшего трамвая

колесики (они точно на бабках и с подвижными чашечками колен).

Вдруг из открытого окна одного трамвая высунулась чья-то рука, и прямо передо мной упали фиалки. Я взглянул вверх и подскочил: у окна сидела ты. Нет, нет! Это была, разумеется, не ты, но могло быть, что это была и ты.

Может быть, ты поехала искать меня? (Я же все время думал об этом и звал тебя.) Кто же мог иной появиться с фиалками здесь? Ты сидела, уткнувшись головой в букет фиалок, и ветерок колыхал на сгибе локтя знакомую ситцевую рубашку. Нет, это была ты!

Я вцепился в раму подоконника и крикнул: «Кэтеванна!»

Ты быстро сжала в руках фиалки и вскинула голову к окну.

Вот и знакомые локоны длинных каштановых волос!

Я вперился глазами в дуги твоих бровей. Они будто стали шире и волнистее, чем прежде. У тебя всколыхнулись ресницы. Ты подняла глаза на меня... но вдруг трамвай качнулся вперед, и твой ищущий взор упал мимо, на руки какого-то хмурого человека. (Он сидел напротив тебя и улыбался.).

Колеса, дребезжа, пронесли трамвай.

Кэтонна, тебя уносили враги.

Кэтонна! Кэтеванна!

Где конь? Где Мера?

Я перескочил ограду сада, отвязал Меру от берез и полетел за твоим трамваем.

Это было в Садовом кольце.

Я тебя нагнал на четвертой остановке, когда трамвай уже трогался дальше, и мы поехали вместе бок-о-бок!

К окнам вагона хлынули насмешливо улыбающиеся лица злостных похитителей и оттеснили тебя куда-то вглубь. Я вставал на стременах и заглядывал к тебе через их головы. Может быть, мой голос настолько изменился за это время, что ты не узнала его? Но ты же ведь слышала знакомое цоканье копыт Меры? (Даже трамвай вызванивал твое имя! Даже трамвай!..)

Мы под'ехали к остановке. Все поспешили к выходу. Я встал у передней подножки вагона и ждал.

Вагон опустел. В трамвае не осталось никого, кроме кондуктора и вагоновожатого. Последний придвинул круглый стул, сел на него верхом и, хлестнув вагон коротким рычагом, тронулся к следующей остановке.

Меня окружили со всех сторон.

Но разве найдешь здесь, среди любопытных, друга?

P. S. Разумеется, второй раз я не сделаю этого. Ясно, это была не ты.

Эту женщину с фиалками я очень часто вижу в трамвае. Она служит переписчицей в доме против пятой остановки на Садовом кольце.

25 мая.

Эту неизвестную нам с тобой страну, Кэтеванна, впервые открыл для меня Гоголь. Несколько дней тому назад я пришел к его памятнику в городе. Обогнул этот мучительно согбенный камень и через расфлаженные фанерные ворота и картонный бюст Горького в'ехал прямо в сад: в книжный сад.

Сад этот настолько зачаровал меня, что я с раннего утра до поздней ночи торчал в тени разноцветных ларьков. (Мой конь там пасется вплоть до последнего времени: между Гоголем и Горьким: Гоголя нет в живых, а Горький жив и иногда даже бывает в этом саду.)

Над книжным ларьком звенели вывески. В тени раскинувшейся фанерной листвы топтались вопросы и вытягивались восклицания. Я пробирался к полкам, осторожно щупал и перелистывал каждый листок. Дотягивался до книжных веток, срывал листики и собирал в охапку.

Так носился я по этому удивительному саду: от куста к кусту, от дерева к дереву, из улья в улей, а вечером, приехав к себе, зарывался с головой в гроздья книг и, пьяный, засыпал до утра.

Когда в весеннем майском саду начинали только распускаться тополь и клен, зеленеющие книжные кусты уже успевали отцвесть.

Сад пустел.

Между памятниками Горького и Гоголя по бульвару бродили рослые цыгане с бубном, дубиной и медведем.

Медведь ходил на задних лапах, скалил беспомощно белые клыки на бубен и так наивно кувыркался в пыли, что собирал вокруг детский визг и восклицания.

Я, как цыган, обходил детей и собирал их визги и восклицания по всему саду: от Горького до Гоголя. Собрав, я бережно нагружал ими коня Меру и увозил к себе. Дома я клал их вместе с булыжниками и так и спал: положив голову на булыжники, набитые мягким пухом снов.

26 мая.

Утром обычно ко мне являются люди из домоуправления, и у нас завязывается горячая беседа. Я не нахожу для них понятных слов и выражений, и приходится в них кидать прямо камнями. (Люди уходят совещаться в коридор и затем поодиночке удирают вовсе из дома.)

У меня самого не каменное сердце,— ты знаешь ,Кэтевенна! — дружить умею даже с камнем мостовой, но камней этих очень много собралось у меня, и, боюсь, завистливые соседи в чем-либо опять заподозрят меня и снова донесут в домком. Придется отдать камни на стройку.

1 июня.

Сегодня днем со мной случилось невероятное событие.

За последнее время я очень осмелел в городе. Я даже решил покорить город.

Недавно я прочел поэму одного великого писателя Гомера, «Илиаду». Вот там, в этой поэме, описан умнейший из героев Троянского похода, который, соорудив деревянного коня, ввел его в виде игрушки в город, занятый врагами. Ночью из коня вылезли вдохновленные смехом воины, и город Троя был покорен.

Я решил...

Я решил, во-первых, направить коня на рельсы. Смешно, нелепо, но ведь более смешны эти бездушные железные вагоны, которые могут ходить только по начертанным на земле рельсам!.. (А их тысячи здесь, и даже еще больше.)

. . . .

Я мчусь по ровно утоптанной земле между узкими колеями рельс, и никому из встречных не приходит в голову остановить меня у железных столбов с указаниями только для вагонов.

За мной, как ворон, летит вагон. Летит и настигает.

Я слышу карканье звонков.

Конь удлиняет шаг.

Звонки наматывают время на ушах...

Бездушный вагон! Он может только догнать, но перегнать — никогда: впереди у меня нет остановок, а вагон должен остановиться у белых фонарей.

Лети, мой конь! Лети! Цель покажется в конце рельс.

Вдруг передо мной улица расходится в стороны, и рельсы, раздвоившись, уходят: двое направо, и двое — налево.

А мне куда?

Конь присел на задние ноги и встал. Он горячится. Из ноздрей клубится стремительный пар. Конь рвется вперед. Но впереди нет рельс. Впереди отвесные дома и тропинка к ним — темная железная лестница.

Где мой путь? Куда ведет дорога вправо? (Но ведь и левая сторона так разительно похожа на правую.)

— Эй, вы, счастливые пешеходы, которым знакома и правая и левая сторона, укажите мне, куда итти, или расступитесь! Я взлечу на эту вашу гору — дом...

Но пешеходы столпились перед конем и, указывая пальцем на меня, сокрушенно мотают головой и кричат.

За мной в двадцати шагах, зловеще взмахнув крыльями, сел ворон-вагон и нетерпеливо выкрикивает звонками: стор-рро-нись!

— Куда же сторониться мне? — кричу я, гневно поворачивая к нему коня.

И вдруг — звонок резко обрывается. С переднего вагона слезает человек с железным рычагом и быстро направляется в мою сторону.

— Сойдешь ты с рельс или нет? — кричит он на ходу и, потрясая в воздухе железным кнутом, свирепо идет на меня — Я тебя пожалел, сукина сына, а то пришлось бы собирать кости!.. Чего стоишь на дороге? Откуда ты?

Он хочет взять Меру под уздцы, но тот круто мотает головой и не дается в руки. Вагоновожатый старше меня, и

мне приходится из вежливости скользнуть с седла.

Вагоновожатый пристально всматривается в меня и медленно опускает руку с рычагом.

— Ты откуда? — повторяет он с каким-то сомнением в голосе.

Мне хочется ему ответить, но у меня подгибаются ноги, и глаза упрямо смотрят в его глаза.

— Постой, я тебя, кажется, знаю, браток... — медленно добавляет он и, точно повернув меня к свету, говорит: — Да это же...

Он не доканчивает. Оглядывает быстрым взглядом коня, и вдруг я узнаю... Я сам узнаю его: передо мной стоит Швилда.

Швилда...

Я вцепляюсь в гриву и, пока он ощупывает под челкой Меры белую знакомую метку — серп, вскакиваю в седло и кричу коню.

— Ты куда? Постой! — оглядывается на меня с удивлением и знакомой улыбкой Швилда и тянется к уздечке.

Я знаю, чего он хочет! Но этому не быть! Конь принадлежит только мне. Твоя Ламча — на войне. И ты был на войне. Ты давно утерял право на коня...

Я с гиканьем натягиваю поводья, и конь взбешенно вздымается на дыбы.

Швилда остается внизу с протянутыми руками, а конь, повернувшись на дыбах, мчится без оглядки в переулок.

Набухшая от любопытства толпа раздается в стороны, и Швилда только успевает крикнуть вслед:

— Куда, деревня?! Приходи в парк...

Скорей, скорей, Мера! Дальше от рельс!

31 июля.

Я узнал, что Швилда ищет меня. Не думаю, что дамся ему в руки. Я переселился на стройку. Там и ночую, как в лесу.

7 августа.

В городе почти на каждой улице стоят удивительные леса. Внутри лесов кишмя-кишат строители. Это первые люди, с которыми я познакомился здесь за все время, и я считаю, что они самые лучшие люди этого города.

Их сразу отличишь от всех других.

Они идут по улице со строго сосредоточенными лицами. Головы у них склонены набок, и глаза их под выцветшими бровями уходят вглубь, в поросли ресниц. Но стоит только прислушаться к ним повнимательнее, и ты увидишь (по тому, как они ставят ноги на землю), как на их лицах отдается звон каблуков. Если тротуар отдает дутым или рыхлым звуком, значит на этом месте не все благополучно, и придется производить работу: заново асфальтировать, цементировать, строить, проводить.

Иногда глаза у них точно выходят совсем наружу. Брови приподнимаются на цыпочки и с изумлением повисают на стенах домов. (Стены домов и вообще дома в городе большей частью старинные: стиля Грозного царя, Петра-преобразователя, византийского, готического, вообще смешанного вида, но с русскими вывесками.)

Вот стóит тогда прислушаться, о чем они говорят! Плечи у них приподнимаются кверху. Глаза шарят по заржавелым желобам и голым крылатым амурчикам домов. Они проводят крючковатым указательным пальцем в пространстве черту. Значит здесь вместо этих старeньких строений должны быть новые — без львов и амуров.

Они будут шире: отсюда — досюда. Они будут выше — шесть этажей. Окна будут — вво! Двери — сюда: один вход, два выхода и фасад. Отсюда посыплется свет. Туда утечет из ванной вода. А воздухуууу!..

Голова склоняется набок. По пальцам со звоном пробегают шпалы. Меж пальцев быстро вырастают леса.

Стучит постройка. Возвышается лес. Стук строек стекает по стволам на стол. Стол—земля. Земля вся устлана сталью, пылью и электрическим светом. Указательный палец все выше и выше тычет в небо...

Место стройки и леса всегда ограждены высокой деревянной перегородкой, точно частоколом из крапивы. Ра-

но утром вместе с другими я протискиваюсь в узкие ворота перегородки и приступаю со всеми к работе. Работа моя ограничивается доставкой плотникам цемента и кирпича. (Пока мне иной работы не доверяют.)

Здесь очень весело. В особенности на самой верхушке лесных сооружений. Ребята тоже все очень веселые, в особенности те, которые работают наверху. Все они сезонники — из окрестных сел и деревень, крестьяне.

15 августа.

Сегодня я окончательно установил, что птицам неохота садиться на стройку. Редко какая-нибудь из них снизится к нам, и то на миг: спрячет головку в крылья и быстро перелетает на низкие старые дома по соседству.

Я сижу на стройке, как на башне, и с тоской слежу за птицами. Может быть, их пугает шум стройки? (На самом деле, ведь это не лес, и здесь не шелестят листья в уютной чаще зеленых теней...)

21 августа.

Третьего дня я прибегнул к хитрости: забрался в самую гущу теней между рейками и передразниваниями стал зазывать к себе птиц. По правде говоря, они ни на что нужны мне не были. Да и стройке — тоже. Но мне давно хотелось поговорить с ними: узнать кое-что или спросить кое о ком. (Первое, разумеется, спросил бы о тебе. Затем мог поручить им передать тебе привет и вести обо мне.) Но ни одна птица не откликнулась на мой голос и горячие зазывания.

Может быть, я утерял свой голос? А может быть, здесь птицы так же не понимают меня, как и люди? (У них иной язык и иное доверие к людям.)

Я в раздумьи смолк.

Через несколько минут гущу теней между рейками оттеснили в сторону ребята-сезонники и один за другим стали уговаривать меня продолжать петь по-птичьи.

Уже время было приступить к работе, а они все еще сидели вокруг меня на корточках и восхищенно били меня по плечу.

В тот день этот участок здания так и остался недостроенным. (Десятники сидели тоже с нами, а один из них, — светло-русый парень, которого звали «бессонной поркой»,—вовсе не отходил от меня и с закрытыми глазами слушал мой свист до самого вечера.)

25 августа.

Вчера утром меня освободили от всякой работы на стройке. Я сидел и весь день высвистывал всех своих знакомых птичек. К вечеру, за ужином, ребята исподтишка смотрели на мой жующий рот. Мне было трудно улыбаться — горели губы, и я раньше всех встал с досок.

27 августа.

Меня позвали в контору. Я очутился перед множеством собравшихся людей. Все сразу смолкли, и я почувствовал, как пронизали меня изо всех углов знакомые глаза. На висках взбугрился стыд, и я опустил голову.

Неужели меня заставят свистеть здесь?

— На стройке прорыв! — услышал я вдруг чей-то громкий голос впереди, и вся контора раскинулась, как огромное ухо.

Впереди за узким столом с красным покрывалом сидели семь человек бригадников и испытующе смотрели на меня. (На этом узком столе по ночам спал я. Здесь новыми для меня были только красное покрывало и лица этих семерых рабочих.)

— Мы выяснили и обнаружили, что виновником этого прорыва являешься ты. Отвечай! Мы — бригада, назначенная специально по этому делу. Только побыстрей. Некогда! — заключил один из сидящих за столом и посмотрел на крайнего.

Крайний сидел, низко опустив голову, и что-то спешно записывал.

Я молчал. Что я мог ответить им? Я знал только одно, что прорыв—это несчастье, которое часто происходит в горах: пойдет ливень, подмоет скалу и вместе с камнями устремится вниз мутным потоком на село. Снесет загражде-

ние, забор, сарай. Своротит деревья и амбар. Подкосит телят и барашков. Сомнет кур и кукурузное поле. Сгребет в охапку щебень с дорог и с зловещим хохотом укроется в подоле Губы-реки или свернется где-нибудь в теснине.

Что я мог ответить им?

— Ты понимаешь, какое зло ты приносишь стройке? — спрашивает все тот же голос.

(Я понимаю одно, что когда птицы вьют гнезда, им не следует делать никакого зла.)

— Ты знаешь, что это здание строится для великого Всесоюзного института ИРС?

— Он ничего не понимает! — крикнул вдруг из гущи собрания чей-то голос, и ухо конторы разодралось, как щель в дверях.

— Откуда он? Кто его принял на работу? Чей он сын? — загомонили голоса, и в конторе гневно ощерились плечи.

Вдруг кто-то со двора пинком ноги распахнул дверь, и вместе со светом в помещение ворвались двое ребят-сезонников. Они вели за собой коня.

Коня! Моего Мера!

Собрание встало и расступилось. Ребята провели коня сквозь хохот конторы и остановились перед столом.

Я рванулся к коню.

— Лошадь твоя? — спросил один из сидящих за столом, человек с седыми висками, и жестом остановил меня.

Крайний опустил быстро ладонь на бумагу и стремительно поднялся с места.

Я отпрянул назад.

Это был Швилда.

Я задержал крик в гортани и молча обвел глазами ребят, лозунги, плакаты и потолок.

Как я мог выронить сейчас слово из уст? Швилда был здесь и так настойчиво смотрел мне в глаза, и с таким нетерпением ждал моего признания... Нет!

Снова встал рабочий с седыми висками, разгладил ладонями красное покрывало и тихим голосом об'явил, что на основании вынесенной резолюции (вопрос, должно быть, обсуждался и до меня) рабочие-сезонники все, как один, встанут на стройку и в пятидневный срок ликвидируют прорыв: достроят восточный и северо-восточный углы и начнут ударно бетонировать здание.

Ребята с шумом встали с мест.

Швилда, стоя, перегнулся к председателю (рабочему с седыми висками) и, не отрывая глаз от меня, шепнул ему несколько слов. Председатель взял коня под уздцы, передал в руки Швилде и, покрывая шум собравшихся, крикнул:

— Вопрос об этом парне будет выяснен особо. В комиссию со стороны нашей бригады выделен товарищ Швилда. Результаты сообщим.

Пока ребята еще гомонили, Швилда придвинул на подпись бумагу председателю, сжал в руках поводья и, похрамывая, подошел ко мне.

— Что ты хочешь делать с конем? — быстро проговорил я на родном языке.

— Пойдем ко мне. Где же ты пропадал до сих пор?

— Я не искал тебя.

— А я вот тебя нашел... Ну, пошли! Там выясним...

Он бесцеремонно снял с моей головы папаху, заглянул в глаза, снова надел мне ее на голову и сказал:

— Ты вырос.

Он взял меня под-руку, и мы втроем вышли во двор.

На стройке уже бурлила работа.

У ворот Швилда остановился, взглянул наверх и постоял так, с поднятой головой, несколько минут.

Он тоже вырос. Борода и усы были тщательно выбриты. Брови немного сдвинулись с места: вернее, более густо надвинулись на глаза. В глазах все те же колючие искорки, как и в детстве. Только под глазами какие-то мягкие сиреневые мешки.

Зачем он остановился сейчас?

В воздухе реяло столько цементной и уличной пыли, что солнечные тени не успевали их поглощать. Над нашими головами простерся солнечный луч, сквозивший из широкого проreза недостроенной стены, и в солнечном луче происходил ожесточенный бой пыльной мошкары. Светлосерые воины торопливо и беспорядочно наступали и отступали, то подымая, то опуская вме-

сте с собой солнечный щит. Затем, смешавшись в кучу, они снова набрасывались друг на друга. Побежденные опрокидывались в пропасти теней — направо и налево, а победители спокойно ложились на гладко выбритый подбородок Швилды и на его правое плечо.

Швилда стоял посреди и в левой руке туго сжимал поводья. Он отыскал свободной рукой мое плечо и, не опуская глаз, стукнул меня слегка по плечу всеми четырьмя пальцами и, точно достучавшись, поднял руку вверх.

— Вишь, как здорово! — сказал он и вместе со словами мощно вытолкнул изо рта солнечных воинов.

Я взглянул.

Поверх ровных окопов стен, поверх щетины реек и железных крючковатых прутьев реяли птицы. Они кружились над стройкой и, покружившись, снова разлетались в стороны. Сверху попрежнему стекал шум стройки. Голоса птиц не доносились вниз.

А почему птички не садятся на постройку? — хочу спросить я Швилду, но уже и сам понимаю: когда у нас бывали ветры, качались деревья и шумел лес, тогда птицы тоже кружились в воздухе и писком оглашали всю окрестность.

— А ты сидел и занимался пустым ветроплетением, — громко продолжает Швилда словно мне в ответ, особо выделив свое старое, любимое слово «ветроплетение». — Да еще занимал и других, — добавил он, прервав себя.

Снова стукнул меня по плечу и быстро проговорил:

Посмотри, как он плавно подбирается к стройке.

Я оглянулся по сторонам. Конь стоял и выжидательно косил на меня глаза. Никто к нам больше не подбирался ниоткуда.

— Я его знаю, снова захлебнулся словами Швилда. — Мы вместе работали в слесарном цеху. Он вчера делал перелет Москва — Сталинград, а сейчас, наверное, возвращается на аэродром.

Вдруг сквозь шум стройки отчетливо прорвался необычайный гул, и в тот же момент я увидел аэроплан. (Вот что, оказывается, он высматривал в небе до сих пор!)

Аэроплан поровнялся со стройкой, спускаясь все ниже и ниже, как будто намереваясь спуститься на леса. Птицы мигом разлетелись в стороны. Аэроплан быстро выпрямился и, сверкнув на солнце когтем надписи, стремительно проплыл дальше. По небу ровной трелью пронесся клекот. Я быстро притенил глаза ладонью и стал следить за летуном. Он быстро скрывался за горизонтом соседних зданий. Клекот постепенно стихал: его заметал ветер.

В небе образовалась бездонная пустота. Город вдруг повис в тишине и стройка — точно с открытым ртом — вслушалась в пустоту неба.

— Прорыв! — заметался я на месте с отчаянным криком и рванулся вперед.

Меня обхватили чьи-то сильные руки.

— Коня мне скорей, коня! — крикнул я снова.

— Конь здесь. Куда же ты бежишь? — услыхал я знакомый голос Швилды.

Мера стоял на том же самом месте. Поводья беспомощно свисали, и конь медленно обмахивался хвостом. По спине его струилась нетерпеливая дрожь.

Я выпрямился.

— Ну, пошли! — сказал Швилда и, нагнувшись к поводьям, быстро шагнул к воротам.

Мера покорно переступил скомканную газету и, не переставая обмахиваться хвостом, вышел за Швилдой на улицу.

. .

— А кто такой ИРС? — спросил я Швилду, когда мы направились к его дому.

Швилда посмотрел на меня и замедлил шаг.

— Видишь, как я хромаю? Это, брат, все на фронтах и гражданской войне... Тебе тоже надо бы учиться...

Он рассказал про кавалерию царя и конную армию Буденного. Сказал, что белые ранили его в ту же ногу, какую проколол немецкий драгун в шестнадцатом году, и что ему временами очень трудно ходить (ноет, в особенности когда сыро, и часто мешает работе).

— А как же ты ударником? — сочувственно спрашиваю я.

— А я, брат, головой... головой. Сей-

час работаю за всех, а раньше топтался в ремонтном цеху. Ногам — отдых, зато голове нагрузка... Вот, видал, как летают люди? А ну-ка, попробуй ты так взлететь: не взлетишь! А это все голова...

— А как же Мера?

— Мера в наших руках... А вот ты уж вырос, и время тебе оставить коня.

— Кому оставить? — с тайным предчувствием спрашиваю я.

— Видишь, как я хромаю на одну ногу? А работать надо. Сколько мне надобно ездить по городу и за город! И все надобно к сроку. Вот ИРС... К осени его надо бы закончить, а там прорыв! С'едутся ребята со всего Союза, вроде тебя, и негде их будет приютить... Тебе вот тоже надобно учиться... А коня оставишь мне...

. . . .

Я вселился в новую квартиру — к Швилде.

Кэтеванна! Друг мой! Мне надобно учиться, но разве я виноват, что Швилда хромает? Почему я должен отдать за это своего коня? Скажи — почему?

30 августа.

Швилда каждый день ходит на стройку. Странно, но коня он не трогал еще ни разу. Вся забота о нем предоставлена мне. Ездить же, наверное, собирается он сам.

Как быть?

Мне с конем предоставлена в доме лучшая часть комнаты. Корму тоже достаточно.

По вечерам я ухожу на занятия. Дорогой я сворачиваю в переулок и, добежав до знакомой стройки, заглядываю в щель перегородки: нет ли где ИРСа? Мне кажется, что он должен быть очень суровым. Швилда мне никогда не говорит о нем. А может быть, он тоже боится его?!

P. S. Самый суровый человек — это в то же время самый добрый, и птицы и дети всегда с доверием садятся ему на плечо. (Помнишь, как дедушка, нагруженный детьми, скакал на коне? Дети, мы все кричали, и от нашего визга над головой слетались стаи разноцветных птиц. Помнишь?..)

7 ноября.

Сегодня был замечательный день. Большой, большой праздник!

С утра не было никакого движения трамваев и автобусов. Это был удивительный день. И единственный день, когда Швилда был дома. (Он сидел на постели и медленно растирал себе ногу.)

— Сегодня Октябрь, — сказал Швилда. — Возьми коня и отправляйся в город.

Я взлетел от радости.

— А где же будет происходить Октябрь?

— Да везде.

Он отвернулся к стене и осторожно потянул за собой ногу.

Я даже не оседлал Мера и быстро вылетел с ним на улицу. При выходе со двора, у ворот же меня остановил Октябрь.

Утро было солнечное, ноябрьское, светлое и ровными рядами инея висел на проводах. У ворот, на стенах, на столбах и перекрестках — всюду трепетали красные плакаты и большие белые слова.

Я под'ехал к ним поближе. На воротах во всю их ширь был пригвожден большой солнечный плакат. Я вздохнул всей грудью и быстро перегнулся к нему. На плакате мелькнул позабытый лозунг. Я схватил его за краешек и потянул. Лозунг сорвался и потянул за собой другие. Я стал их быстро наматывать на руки, но вдруг к воротам двинулся какой-то огромный человек и своей широкой тенью стер с рук все лозунги.

Я свирепо оглянулся.

Передо мной стоял Октябрь.

Он был в тулупе. На груди висела маленькая ленточка, а из правого рукава у него торчал красный коротенький флажок.

Я заглянул ему в лицо. В тулупе стоял дворник-старик. Он медленно оглядел меня, пригладил седые клочья бороды и потом, будто прислушавшись к чему-то на улице, торопливо и сосредоточенно стал расправлять и примерять флажок к воротам.

С переулка доносились звонкие голоса. Голоса шли врассыпную. Потом за-

звенели вместе как барабанная дробь и двинулись в нашу сторону.

С переулка шел грузовик с детьми. Дети качались, трясясь и крича. Коротенькие ручонки держали флажки: знамена величиной с локоток. Флажки трепетали, как голоса, и тянулись все выше — выше, чем голоса. Флажки были крохотные, треугольные, бумажные, но грузовик шел важно и размахивал ими, как знаменами.

(Таких знамен, с треугольными краями, у Швилды целых четырнадцать штук, а пятнадцатое, которое шире всех других, он хотел отдать мне в город, с собой. Я не взял. Флажки эти его собственность, а я не вырезал своих: у меня не выходят такие).

Я стою теперь посреди улицы и вижу, что даже железные столбы перетянуты плакатом, как кушаком. А у меня в руках нет ничего. Как же я выйду на праздник в город с пустыми руками? А грузовики все идут... И дети держат флажки важно, как первый букварь.

А мне? Дайте мне тоже знамя!

Посторонись, старик!

Но ему не до меня: он старательно приделывает свой флажок к стене и что-то невнятно бормочет под нос.

— Эх, какой же это Октябрь? — с гневом воскликнул я, поворотив коня к грузовику.

Вдруг за борт высунулась ручка с флажком. Грузовик качнулся, и самый маленький пионер выронил знамя из рук — знамя-флажок! (Это случилось утром 7 ноября.) Пионер поднял кверху пустые ручки и в оцепенении уставился вниз. Знамя завертелось в воздухе и легло на мостовую, как птичка с подбитым крылом. В отряде поднялось смятение.

Грузовик подпрыгнул, как ужаленный, на месте и точно поволок по земле раненое бедро.

Раздались отчаянные крики:

— Дедуся, подай!

— Дедуся, тама!

— Скорей, скорей!

— Дедуся, подай!..

У ворот стоял седобородый старик в тулупе цвета земли и засухи и старательно прикреплял свой коротенький флажок к стене.

Дети пальчонками указывали на далеко упавшее знамя и кричали:

— Дедуся, а дедуся!..

Дедуся оглянулся.

У него покатилась улыбка по лицу и застряла в бороде. Шофер повернул голову к нему, потом к поросли знамен за собой и, хмуро оглянув улицу и людей, заторопил машину вперед.

Дедушка-дворник тоже заторопился. Он распахнул тулуп и, сорвав флажок с ворот, широкой походкой двинулся к грузовику.

Отряд на минуту смолк. Десятки рук с тревожной радостью потянулись к огромному рукаву чудесного тулупа, и десятки детских глаз вперились в флажок.

А грузовик все шел, постепенно ускоряя ход.

Дед подобрал полы, уцепился одной рукой за железную перекладину кузова, а другой протянул детям флажок. Грузовик все шел, и рука не могла дотянуться. Бородатый старик готов был упасть, но в это время грузовик поперхнулся: улицу перебегали ряженые попами. Старик подобрался локтем к грузовику и подал тому, самому маленькому, флажок.

Взрыв радости слился с гудком шофера. Десятки радостных ног затопали на месте, и грузовик, разбрызгав флажки и зорю голосов, снова понесся вперед.

Я мигом повернул коня и стал около того места, где упало знамя (крохотный бумажный флажок). Мера нетерпеливо топнул ногой, нагнулся к флажку и, обдав его горячим дыханием липких ноздрей и пылью, топнул снова и повел ушами по сторонам.

Я соскользнул с коня. Взял в руки за тонкую проволоку флажок. Отряхнул его от липкой пыли и, подняв высоко над головой, крикнул дедушке.

Мера настороженно вскинул чолкой, вытянулся и заржал: уши, голова, грива, плечи, колена, бабки — все тело его заржало.

Улица поднялась на дыбы.

Из-под каменных зубов мостовой обнажились десна земли. Трамвайные рельсы натянулись, как удила. Тротуары

сорвались с под'ездов домов и приникли к ребрам мостовой, как стремена.

С крыши домов, с неба, проводов и переулков всадницей нагрянула на улицу музыка и двинулась вперед, окутанная гривой знамен.

С переулка, с улиц двигались колонны. Шагали плакаты и цифры, как люди. Болталась чья-то огромная картонная голова, а над головой терновым венком нависали острые буквы. Пьянчуга в обнимку танцевал с попом. С ними рядом дребезжал пионерский барабан.

Впереди блеснули медные трубы и быстро скрылись за стаей знамен. Знамена снизу подхватили песню. Развернули ее над головами колонн и, всплеснув широкими ладонями плакатов, пошли по направлению к нам.

Земля пошла из-под моих ног и стремительно понеслась навстречу колонне.

Я пошатнулся.

В гриве знамен поднялась знакомая всадница и сразу точно вобрала в себя всю улицу и меня.

Большая медная труба полоснула коня по глазам и, оглушив его, с рокотом покатилась по мостовой.

Мера неистово качнул головой, и его широкая грива взметнулась. Медный голос рявкнул еще раз, потянул за собой колонну, и нас сразу оттеснило в разные стороны.

Я очутился в рядах.

— Где твоя колонна? — толкнул меня кто-то и быстро вывел из рядов.

Около меня милицейский впихнул кого-то в колонну. Тот, смешавшись, остановился, толкнул меня плечом, и мы зашагали вдруг вровень.

Я потерял из виду коня...

За пазухой у меня был крепко зажат флажок. Голова моталась из стороны в сторону. В ушах стоял звон и трубный звук. Я шел, будто все время наступая на что-то живое, и часто поглядывал себе под ноги.

Впереди кто-то запел. Запели со всех сторон. Песня распустилась, как паруса, потянула меня за плечи и вдруг стало совсем легко.

Я поднял голову.

Над колоннами качались широкие ветви знамен. Знамена шли вровень с плечами, колыхаясь от тяжести белых букв.

— Сто-о-й! — раздался чей-то голос впереди колонны, и ряды затоптались на месте.

— Скоро площадь! — понеслись из гущи голоса. (Улица стала проясняться, как дно реки.)

— Сенька-а-а!

— Терема, терема!

— Мельница!..

— Правда, правда! Чемберлен — в жернова...

— Мы мировой пожар раздуем...

— По морям... по морям...

— Дай-ка покурить!..

— Наш паровоз, летит вперед,

— В коммуне остановка...

— Сенька-а-а!..

— В руках у нас винтовк

— Спичек нет?

Откуда-то стремглав летит огрызок яблока и шлепается о шею девушки с красной повязкой на рукаве. Та поет, оглядывается, кричит: «Чорт!» — и, не переставая петь, проводит в такт пальцем между воротником и шеей.

В переднем ряду один из знаменосцев снимает с плеча шест, ставит его на мостовую меж своей и соседней ногой рабочего в очках, обхватывает шест локтем и свободной рукой достает из-подмышки газету. Рука с газетой кажется неимоверно длинной. Газета разворачивается во всю ширь и одним своим краем приникает к знамени.

Сосед поворачивает голову к нему, смотрит поверх очков на загнутый край и, прижавшись к шесту, с нетерпением заглядывает в газету.

— Сенька-а-а!..

— Кто за мной?

— Куда? Чум-ча-ара... чумчара...

— Ишь ты! Идем...

— Что же не идут?

— Ну, что же?

— Имени Бабаева...

— Несут...

— И что же там не идут?

— Вишь, терема, терема...

— У нас ликвидировали...

— Был такой двойной прорыв...

— Не холодно тебе?

— Я упустила кредит...

— Давай же, ребята, сюда!.. Давайте, давайте песню! Гармошка, Сашка!

— У тебя есть двадцать?

— У меня есть шоколад.

— Качать его!

— Пошли-и-и-и!

— Постой, куда?

— Да ты становись...

— Сенька-а-а-а!..

— Мотя, есть еще шоколад?

Мотя хочет вынуть из кармана кожанки шоколад, но вытягивает оттуда только несколько мятых бумаг. Ощупывает их на ладони и снова лезет в карман, поглубже запуская руку. Широкое сосредоточенное лицо вдруг делается еще шире. Она встряхивает локтем и головой, делает шаг вперед, готовая вынуть из кармана руку, но в это время ее толкают в спину. У нее точно отрываются руки от тела, и она с поднятыми полными кулаками бросается на плечи стоящего впереди. Передний смеется, загибает ей руки еще выше и, повернув лицом обратно, толкает ее плечом. Мотя снова уносит зажатые кулаки в воздух и опрометью кидается ребятам на грудь. Около нее сразу образуется круг. Ее кидают то в одну, то в другую сторону. Она то с хохотом подставляет себе распахнутые плечи, то налетает прямо грудью. Правая сторона кожанки отстегнулась нараспашку, и грудь ходит под смятой кофтой.

— Сенька-а-а-а!..

У Моти кружится голова. Ребята ударяют в ладоши. Круг пятится назад, и Мотя вдруг остается посреди мостовой и рельсов одна.

Ладоши учащаются. У Моти расплескиваются улыбка и руки. Кожанка распахивается во-всю, и на левой стороне груди обнаруживается красный бантик. Она зовет кого-то — «Тася!», кидает ей в круг смятые бумажки и шоколад и торопливо закрепляет волосы синеньким гребешком. За кругом раздается музыка. Звуки быстро обегают круг и ладоши подхватывают такт.

Мотя пускается в пляс.

— Сенька-а-а-а!..

Круг напирает. Из-за плеч карабкаются любопытные глаза. Круг шатается из стороны в сторону. Передние вонзаются каблуками в мостовую и подставляют спину задним, точно боясь прорвать плотину круга. За плотиной напирают новые голоса:

— Лезгинку! Кавказскую! Лезгинку!

Кого-то тормошат и подталкивают.

Музыканты разом меняют русскую на лезгинку.

Плотина прорывается на миг, и из круга веткой чинары проплывает на середину мостовой парень в черкеске. Встряхнув на ходу широкими рукавами, он двумя легкими скачками нагоняет Мотю. Перебегает на цыпочках трамвайные рельсы и, перебрав ладонями, с гиканьем уносится по мостовой. Мотя секунду стоит, затем делает внезапный круг и, выставив бедра перед парнем в черкеске, плещет рукой в такт музыке.

Ладоши и девушки бушуют в кругу.

Ускоряется музыка. Ускоряется танец.

Черкеска взметается, и оба, парень и девушка в кожанке, идут по мостовой лезгинкой и русской.

В круг с разных сторон залетают пыль, песни и голоса:

Трам-ба-ра, ба-ра-ра!..

— Мы завтра пускаем ротационку...

Трам-бара, бара-рам!!

— Сенька-а-а!..

Музыка вдруг обрывается, и плотину прорывает со всех сторон.

— Качать! Качать! Качать!

— Ура!..

Над головами ребят с визгом взлетают фигуры Моти и парня в черкеске. Их подхватывают и снова бросают вверх. Второй раз еще выше. В воздухе они летят спинами друг к другу. Круг смыкается плотней. Руки напруживаются сильней и, подхватив парня девушку, снова подбрасывают их вверх, еще выше прежнего. Мотя старается зажать юбку между коленами, и с головы у нее падает синенький гребешок.

— Станови-и-и-ись! — проносится чей-то зычный голос по колонне.

Ребята бережно опускают Мотю и парня в черкеске на землю и с гиканьем разбегаются по рядам.

— Пошли! Пошли!

— Ну, пошли!

— Сенька-а-а!..

— Идем, что ли? Становись!

— Ты куда? Вперед, ребята!..

— Пошли... Ну, пошли, что ли, девчата?!

Пошли.

Музыка заиграла марш. Звуки снова покатились по мостовой и понесли демонстрацию вперед.

Мы вышли на асфальтовую улицу.

Я шел рядом с колонной, нащупывал плечом место в ряду и снова убегал вперед. Я потерял колонну Моти, Мотю, музыку, знакомые знамена и черкеску.

Солнце укрылось в серой шерсти неба. На асфальте стало тесно. Со всех сторон сходились колонны — музыка, голоса, песни и облачная муть. На лицо колонн набежали тени.

Где-то капнул дождь.

Капля. Другая. Третья...

Музыка зачастила. Голоса и песни смешались в одну кучу. Я крикнул во всю глотку кому-то:

— Сенька-а-а-а!..

Колонна продолжала итти. Милицейский протянул в мою сторону руку, но большая капля дождя упала ему в это время на шею. Он сжал плечами воротник, и рука не достала до меня.

На ровном асфальте улицы галопом заскакали капли дождя. Дома плаксиво сморщились. Стены, витрины, плакаты, окна, фонари, знамена и провода начали густо сморкаться в улицу. По краям тротуара быстро побежали мутные струйки воды.

Колонны с хохотом крепились в рядах, но сзади, как ветром, нагнало визг и крики. Кругом поднялись громкие всхлипы дождя и заглушили собой всю площадь. Колонна дрогнула. Вытянула ладони вперед и осколками разлетелась по краям улицы. (Меня прижали к углу витрины и подставили мокрое плечо под мою щеку.) Улица опустел вмиг. Зеркальный асфальт задвигался, как живой.

— Куда? Куда?

— Сворачивай знамена!

— Сюда, бегом!

— Музыка, марш!

— Ха-ха-ха! Пошел!

— Сенька-а! Се-ень...

Визжит разбитая демонстрация.

Демонстрация, которую атаковала дождевая конница, и она, разбитая, взметнулась в сторону — свивать себе уютные гнезда под навесами и воротами домов.

Какой позор, товарищи демонстранты!

Позор вышедшим на улицу приветствовать город и разбежавшимся, как дождевые струйки, по углам!

Товарищи, проявите свою пролетарскую гордость!

Выходите вон из-под этих навесов!

Не мните знамя в углу, давайте его вперед! (У нас, когда вынимают из ножен кинжал, его не кладут обратно без крови.) Если развернуто знамя нужно его нести вперед.

— Товарищи, вперед!

Но меня никто не слушает...

Человек, подпиравший мою щеку плечом, оказывается стариком. Он ниже меня ростом, но сейчас стоит у под'езда со мной одной ступенькой выше и плотно облегает меня, а за ним еще человек восемь. Все жмутся к стене и беззастенчиво хохочут улице в лицо.

«Ау! На площади прорыв» — огнем проносится у меня в голове, и я с отчаянием упираюсь локтями в спины.

— Пустите меня!

— Куда ты прешь?

— Я ищу Швилду...

— Ты что? От матери отстал, что ли?

— Не я, а вы отстали, вы!..

Мне никто не ответил.

Старик поднялся еще ступенькой выше. На него еще плотней налегли спины и плечи, и меня приплюснули обратно к стене. От гнева я закрыл глаза.

Вдруг в шуме ливня донесся отчетливый голос: огромный, как хор голосов. Голос продвигался к нам. Я никогда не слыхал такого мощного, плотного голоса.

Осколки колонн смолкли у стен.

Голос несся по улице, как знамя.

Шаги стали ближе и громче. Слова глухо отдавались по асфальту, и окна домов проваливались в стены.

Кто-то шел один.

С площади шел кто-то огромный. Шел во всю улицу и во весь рост домов.

Шел прямо в ливень и лужи и говорил.

Я не знаю, что он говорил. Я не расслышал его, старик загораживал мне глаза.

— Старик, дай посмотреть, кто идет. Нагни голову, иначе я влезу тебе на плечи!

Но старик тянется сам на цыпочках вверх и не дает мне взглянуть на улицу.

Голос поровнялся и прошел. Слова развернулись во всю улицу, как плакат.

— Левой!

— Левой!

— Левой!

Я прогнулся между облепившими меня людьми и, растолкав их, вырвался на тротуар.

На улице уже не было никого. Асфальт гулко выдавливал последние шаги отряда. Витрины и окна домов были притуманены инеем, точно их обдало чьим-то жарким дыханием. Лил дождь. Дома попрежнему сморкались в стены.

«Догнать! Догнать!» — блеснуло в голове.

Я выбежал на середину улицы.

У витрин, с под'ездов, в углах и под навесами домов поднялся насмешливый хохот. (Ливень хлестал мне прямо в грудь.)

Хохот усилился.

Со стороны площади показалась колонна. Колонна шла быстро, шагами длинными и косыми, как дождь.

Я побежал навстречу и вдруг вырос от радости: в переднем ряду ребята вели за поводья коня — Меру! Это были знакомые ребята, строители ИРС.

Я поднял руку и крикнул:

— Долой прорыв! Да здравствует ИРС!

В переднем ряду улыбнулись. С углов рта скользнули капли дождя и повисли на подбородках.

Ребята протянули поводья. Я отошел к переднему краю колонны и быстро вскочил на коня.

С витрин, с под'ездов, из-под навесов вытянулись головы. Головы опередили ноги, перескакивая через струйки и лужи, по асфальту быстро вырядились новые колонны.

Я ударил Мера по мокрым бедрам ступнями и полетел вдогонку отряду.

Сегодня был замечательный день! Большой, большой праздник — Октябрь!

Я схватился свободной рукой за грудь, чтобы вытянуть из-за пазухи флажок, но вдруг осекся вместе с конем: флажка не было. В руках осталась только одна железная проволока (бумажный флажок весь истлел в дожде).

Я взмахнул проволокой, как кнутом, и повернул коня к Швилде.

Товарищам, которые читают мои письма.

Письмо, написанное на имя Кэтеванны от 8 ноября с. г., утеряно. Я искал его долго, но нигде не мог обнаружить.

Все письма у меня лежат в хурджини, а хурджини — это домотканая вещь, которая не так скоро рвется. Может быть, письмо и валяется там, где-нибудь на дне.

(Окончание следует)

Иван Вольнов[1]

М. Горький

Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель— появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется в Кави ди Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Мало-Архангельском уезде Орловской губернии, — до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью орловском «централе», каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили соленой водой; раствор этот раз'ел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времен это не было исключительным случаем и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

— Мужики там были хорошие, грамотные, я довольно плотно вкрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге не думал. Но как-то ночью приходят двое и — обрадовали: «Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там еще что-то открылось за тобой и тебе, за грехи, додать надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты — беги! Урядника напоили, спит, проснется— еще напоим. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушел. Лошадь — запряжена, вот он отвезет тебя; доедешь до своих». Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало, значит — или каторгой угостит или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором боевой дружины, участвовал в эксах; получая на юге литературу из Греции, был выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлопал. Вообще — повесить меня было за что, ну и — кроме того — шея есть. Расцеловался с приятелями и—айда! Тихонько, черепахой прополз по России, потолкался кое-где за границей, вот — метнуло сюда.

Его спросили, как понравилась Европа? Он отвечал осторожно: «А не знаю еще! Пестро очень в глазах и толпеж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят — замечательно!»

В то время ему было, вероятно, лет 25—27: крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом плотная шапка темных, туго спутанных волос, на круглом, безбородом лице — ка-

[1] Предисловие М. Горького для книги Ивана Вольнова, выходящей в ближайшее время в ГИХЛе.

рие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие темные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы — признак повышенной чувственности.

Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невеселый блеск глаз, затененных густыми ресницами, и на краткий момент круглое, грубоватое лицо Вольного казалось необычным, даже — загадочным. Говорил он вдумчиво и скупо, немножко ворчливо, а по складу речи, по манере ее часто казался старше своего возраста, а вообще же от его речей веяло свежестью чувства прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нем как бы что-то надломлено, скрипело и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые недели его жизни на Капри сложность и неопределенность психики Вольного вызвала в русской колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов; Николай Олигер, Алексей Золотарев, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырехэтажной фамилией Любич - Ярмонович - Лозина-Лозинский, человек нервно раздерганный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя: он задорно подчеркивал свое дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой и любил говорить: — «Жизнь — дурная привычка». Говорил — и много — о Шопенгауэре, о Генрихе Ибсене, причем казалось, что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодежь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Черный, Илья Сургучев, и еще многие. Собралось человек десять живописцев. Всё это была молодежь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная «углублять психологию», разрешать «трагическую загадку бытия» и «проблему личности». Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда были дешевой и кисленькое каприйское вино тоже дешево.

Ивана «загадка бытия», должно быть, не интересовала, так же как и «проблема личности в ее отношении к обществу». Он внимательно слушал все, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он — человек весьма наблюдательный, способный включать пережитое в твердую и точную форму. Как уроженец области коренных «великороссов», он отлично владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н. С. Лескова: толпеж, галдеж, угнездился, блезир, скудность, мниться, и много других. Но — спрошенный любит ли он Лескова? — Вольнов ответил:

— Рассказа два-три читал. «Леди Макбет» — очень хорошо, а другие — не помню. Да и не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

— Может быть — себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил, и как-то, после пирушки в маленьком кабачке, идя домой, сказал вздохнув:

— Все какие-то мореные, без вина — не веселятся, хороших песен — не знают. Про революцию говорят как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и не верно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего литературы: все пробовали писать,

читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонек; иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о «смысле бытия». Бывало — спросишь его:

— Вы что всё молчите?

— Я мало читал, не всё понимаю, о чем говорят, что пишут, — отвечал он.— Стихоплет этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные «Иже во святых».

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

— Вот бы сюда согнать орловских, а то — сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Глядите, черти, здесь на голые камни земля корзинками потаскана, её лопатами пашут, а она круглый год апельсины родит, оливки, бобы! А у вас, там, земля — летом: чугунная сковорода, зимой — саван, под ним — одурь, болота, овраги, чорт ее знает что! — И неожиданно он заключал:

— А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но — бессмысленную и всегда, во всём враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломки на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

— Вишь ты, как прет, чорт ее дери! Куда ни ткнись, — везде растет что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а — зачем он? Как насмешка все это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

— Наши темные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с натуги. Круглый год работать не под силу им. Привыкли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Аллясио за Генуей; там жил Виктор Чернов, человек настолько известный, что вспоминать о нем неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то — ночью «на огонек», придет, сядет и, вздохнув, спросит:

— Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, покачиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжелая шапка, рассказывал о курных избах орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтеры, а возвращаются оттуда надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

— Пьяницы, драчуны, жен — калечат, ребятишек бьют — беда! Кричат бабам: ради вас, сволочей, раньше смерти под землей живем! Детей в школу не пускают: — парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем! Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной природы, изощряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, — он угрюмо и твердо сказал:

— Ну, это вы — бросьте! Сегодня у вас — разум, а завтра будет — бог. А в бога верят только человеконенавистники, дворяне. Вот — Бунин в бога верит. Это — злая вера. — Его спросили:

— А вы во что верите?

— Ни во что, — ответил он; затем, потише, добавил: — В будущее верю. В челевеческий разум. Другого — нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Куракина.

— Князь — хилый такой старичок, а злой пес был. Притащили его к речке и давай окунать в воду; орут: чистоту любишь? Мы тя выстираем, выполощем. В доме, во дворе, ломают всё, как

свиньи, в щепки дробят! Я кричу: да — сукины дети — зачем? Ведь это всё — ваше! Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят, бабы из-за пледа разодрались, — отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто всё людское горе. Такое было неистовство, что и страшно, и смешно. Старик один, — тихий такой старичок был, — нашел где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так — мочится в нее. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девицы сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да не просто: пришли, да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там — бросили.

Он засмеялся и, встряхнув головою, махнув рукой, продолжал:

— Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шкафик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он помешал мне. Опомнился, когда мне в ухо заорал кто-то: «круши, Иван Егоров!» Зараза!

И — снова помолчав:

— Пьяница один, шахтер, бесшабашный человек, взял кутенка, сунул за пазуху и пошел прочь. Догнали: — «Покажи, что украл? Подай сюда!». И — кутенком — по роже его! В кровь избили. В день погрома — никто не воровал, а потом, ночью, на телегах ездили, осколки и всякую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба. Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме били. Хотите — верьте, хотите — нет, а когда били меня, ногами топтали, разумеется, больно было, но, кажется мне, что я и в тот час думал: — ладно, учите, годится!

Он снова не громко и не надолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только — личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и — смеялся весь, встряхивая головою, закрыв глаза, притоптывая ногами, хлопая руками по бедрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесенное слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было об'единить этот молодой, даже почти детский смех с тяжелым грузом страшного, что нес в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

— Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

— Хочется, да не знаю, как взяться! — сказал он. — Даже — пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг. — Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

— За плохим охотятся умело, — говорил он и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды. Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знало деревню, как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали, это «дачевладелец», хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты, к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивался по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стерто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова как «Мужики», «В овраге», «Новая дача». Все, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это — ненадежная личность; в 1902 г. он начал бунтовать и тотчас же встал на колени пред харьковским губернатором Оболенским; в 1905—6 годах он разорял культурные «дворянские гнезда», жег библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а — по Бунину — содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадежная личность была в то же время страшной личностью. Иван Вольнов довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бутылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жесткие

свои волосы, сердито глядя в стакан, он сказал:

— Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его, не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нем, и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутонические.

— Платонические?

— Знакомый мой, студент филолог, Платона плутоном называл и всех философов — плутонами, а философию — плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

— Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет, на смех соседям: — иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бил, валяй ты меня! А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трехлетним дитей на церковной паперти и сидят, ждут когда поп церковь отопрет. Март месяц, сиверко дует, снег идет, на улице не то что собаки, — воробья нет. Денег у них — шесть гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всем селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются «умники», отец ребенка — «забастовщик», мать — с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или: описывают имущество за недоимки, баба просит: позвольте в останный раз самовар согреть? Разрешили: грей, и мы чаю попьем! Она вынесла самовар в сени, да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: дай ей трепку, курве! Муж дал. Он бьет, а его натравляют: так ее!

Иван был способен часами рассказывать о таких «картинках быта», и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни все ужасное и горестное для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнать их в изображении страшной жизни деревни, перегнать и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

— Вам надо писать, Иван Егорович!

— Да, надо бы! Только — тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю ее как будто стыдно писать, выходит сплошной вопль и жалоба, а — кому жаловаться? Ведь — некому! И — на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если — звери, стало быть — ничего, дави их, это — не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

— С правдой я — не в ладах, — говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжелой головой. И повторил: — Стыдно писать про нее и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я ее, как Клещ «На дне», а иной раз, любуясь ею, кажется, что в ужасе ее скрыта какая-то умная сила.

— Этого я у вас не понимаю.

— Да я и сам не понимаю, — угрюмо сказал он, и, помолчав, заговорил снова: — Вот — Бунин, ему — легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и — себе приятно и людям — удовольствие. И поучительно: читают люди, — думают: вот какие черти-звери в Орловской губернии живут! Стоит ли о таких чертях заботиться? — Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

— Золотое перо, — говорил он, вздыхая и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

— А видно, что лаптей — не носил, сена — не косил, земли — не пахал, шапкой пахарю махал.

И снова хвалил:

— Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! — вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи:

— «О какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю

ее, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах, на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливы как могила!»

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его «Деревня» Бунина.

— В печенки в'елась, — сознался он усмехаясь. — Написал «Суходол», пропел панихиду дворянству, опомнился — «Деревню» написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы — еще хуже. Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

— Просто как! А за сердце берет... — Особеено восхищался он рассказом «Захар Воробьев».

— Это — на сто лет! — говорил он. — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали до чего просто, при царях, хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупо, в двух, трех осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным сказал:

— Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него — Азия, на четвереньках живем. Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он, вместо того, о прошлом дворянства скучает.

И взяв с полки «Суходол», он прочитал:

— «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчеало с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то — бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем всё труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад».

— Слышите? А как раз полвека-то назад — крепостное право было. «Суходол» у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок «юбилейный вопль», «юбилейная панихида».

Я был уверен, что Вольнов начнет писать «под Бунина». Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил, глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:

— Как идет работа?

Он отмалчивался, но как-то раз сказал:

— Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать, и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принес первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряженная, крикливая манера читать, он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

— Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление, действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели.

Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необ'ясненно следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывертывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

— Вот как страшно! Вот как! А еще— вот как! И — вот как!

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул ее в карман и, отирая пот с лица, сказал:

— Ну, знаю что плохо! Сам слышал,— ни к чорту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

— Да, это ты набухал сгоряча! Всю твою губернию дегтем и кровью вымазал.

— Не стоит говорить, — согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребренных луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной тяжелой воды, Иван рассказывал:

— Я не писал, а спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы[1]. Вот в чем ошибка. Желаете правды? Вот вам — правда! У меня ее больше чем у вас и моя — тяжелее. Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить!

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

— Когда я читал их, так оглядывался: разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие италианские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлиповцах» Решетникова:

— Они — где-то у чорта на куличках, от моей совести — далеко! А, вот, от моей деревни до Москвы триста верст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галлерея, Художественный театр и чорт е знает что еще! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают... Понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровеннее, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Рене Базена, Эстонье, — французы успокоили его:

— Пишут деловитее наших, — сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:

— Это — тоже «Суходол».

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

— После прочитаю, — говорил он и всё более углублялся в работу писателя. Эс-эровская закваска его напоминала о себе не часто, но очень определенно. Как-то завязался разговор на тему о необходимости «выварить мужика в фабричном котле», он нахмурился и проворчал:

— Котлов-то нет. Да и строить их никому не охота, кроме иноземцев, а они — гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор, — Вольнов, послу-

[1] Родионов — земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор нашумевшей книги „Наше преступление". В этой книге он изобразил крестьян и рабочих керамистов очень мрачными красками.

шав насмешки минуту, две, сердито заявил:

— Глупо говорите! Азеф — мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предают революцию, т. е. значит весь народ, они —гораздо хуже Азефа. — И сквозь зубы произнес странные слова:

— Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете — не было этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от нее у него сын, Илья; теперь это очень серьезный юноша, отличных способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной, сторожевой башни, стена ее опускалась прямо в море и во время прибоя волны бухали по стене с такой силой, что всё дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто. Не знаю, кончил ли он эту повесть, судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать. Я встретился с ним в Москве в 1920 году, он приехал из Орла, где сидел в тюрьме. Безобидно и шутливо он рассказал, что местная власть не терпит его, сажала в тюрьму уже три раза и очень хотела бы расстрелять.

— Они меня арестуют, а мужики тихим манером — телеграмму Ильичу: — выручай! Ильич выручит, а начальство еще злее сердится на меня. Начальство по всему уезду — знакомое: кое-кто в пятом году эс-эрствовал, потом оказался мироедом, вышел на отруба, землишки зацапал десятин полсотни. Один начальник — сиделец винной лавки, другой был прасолом, в одной волости командует учитель, которого я знал псаломщиком, черносотенцем, наши ребята в шестом году хотели башку сломать ему. Вообще там все кто похитрее перекрасились, а мужик остался при своих тараканах. В Мало-Архангельске среди чекистов оказался ученичок мой, солдат, сын мельника, так он мне прямо заявил: — Иван Егоров, не шуми. Враг разбит, революция кончена, теперь надобно порядок восстановлять! Как же, говорю, враг разбит, если ты командуешь? Как же революция кончена, если везде торчит ваша черная братия?

Посмеиваясь и, как будто, не сожалея, он сказал:

— Все рукописи, записки мои арестовали и не отдают, должно быть сожгли, черти!

Настроен он был хорошо: очень бодро, активно; трезво разбирался в событиях.

— Теперь — главное дело мужика на ноги ставить! Я там, у себя, организовал артель по совместной обработке земли, общественные огороды и еще кое-что... Бедные мужики значение совместного труда отлично понимают.

Он похвалил мужиков еще за что-то и тотчас же, как бы выполняя некую обязанность, обругал их за пьянство, за жадность.

— Привыкли в своих избах гнить, как покойники в могилах.

Был он с делегацией мужиков своего края у М. И. Калинина, был у Ленина. О Калинине кратко сказал:

— Староста — хорош! Мужикам очень понравился.

А на вопрос: какое впечатление вызвал Ленин, он ответил:

— От всякого интеллигента барином пахнет, а от него — нет!

О времени между 1917 и 1920 годами мне он ничего не рассказал, а на расспросы хмуро ответил:

— Зря болтался в разных местах.

После я узнал, что в 1918 году он дважды ездил в Сибирь за хлебом для Москвы, во вторую поездку очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем — в Самаре, когда она была занята эс-эровской «народной армией». Должно быть именно в Самаре он близко наблюдал тех «вождей» партии эсеров, которые изображены им в повести «Встреча». Наша критика не обратила должного внимания на эту искреннюю и очень жуткую повесть, а она — один из наиболее ярких документов гражданской войны. Мне кажется, что здесь вполне уместно будет напомнить для характеристики Ивана Вольнова его предисловие к этой повести.

«Вам, мои единомышленники, далекие, неведомые братья мои, и вам, с кем об руку боролся я, посвящаю я эту повесть, которую официальные архиереи от эсерства назовут бесстыдной и гадкой. Вам, кто в течение девяти ярчайших в русской истории лет не находит себе пристанища в стране своей, кто всем сердцем и всеми помыслами предан революции, но влачит жизнь жалкого обывателя. Надо опомниться и осознать ошибки. Я не зову вас перекрашиваться,— это самое бесчестное и постыдное, что только можно сделать, ибо мы не сумеем искренно перекраситься: мы из другого теста,— я только призываю вас к мужеству осознания ошибок. Всех перекрасившихся я мыслю нечестными и слабыми: в дни гонений на партию они испугались ответственности за ошибки и преступления ее и, играючи, перелетели в чужой лагерь. Так же легко и безболезненно они продадут и новых хозяев своих, если к тому представится случай. Такова психология трусов, стяжателей и честолюбцев. Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хотелось ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были еще слабей и противнее. Я хочу, чтобы вы, читая эту повесть, хоть в малой мере были искренни с собой и почувствовали, что мы почти слепы, что наши маленькие ущемленные самолюбьица натерли бельма на наших глазах, что Россия не отталкивала нас от себя, а наши самолюбьица превратили нас во внутренних и внешних изгоев».

В этих строчках особенно глубокое значение имеют слова:—«Мы не сумеем искренно перекраситься, мы — из другого теста».

В 1928 году, зимою в Сорренто, я спросил Вольнова:

— Настроение героя «Встречи», бывшего учителя Ивана Недоуздкова, это ваше настроение тех дней?

Он ответил не задумываясь:

— Я считаю это настроение типичным для многих молодых эс-эров в то время. В Самаре, а особенно после отступления из нее, очень многие партийцы рабочие и крестьяне поняли, в какую трущобу крови и грязи завел их Центральный комитет партии. Были самоубийства, дезертирство, переходы к большевикам. В Недоуздкове есть кое-что мое,— презрение и ненависть к вождям. Мое же настроение более определенно выражено в словах Недоуздкова Португалову и, потом, в сознании Португалова, когда он говорит: «Мы проиграли». Эти слова говорил я, когда приехал в Самару, увидал вождей и познакомился с настроением «народной» армии. Развелось в ней много бандитов. Большинство, конечно, обманутые мужики, они уже чувствовали, что обмануты, что вожди партии снюхались с царским офицерьем, а офицерьё ведет крестьянство на расстрел, на гибель в своих хозяйских интересах. Страшные разыгрывались сцены...

Он рассказывал это сквозь зубы, глядя в пол, шаркая подошвой по кафлям пола.

— Слова Недоуздкова о непробудном пьянстве Наполеончика с партийными проститутками, это — о Викторе Чернове. Я сам ездил за город приглашать его на одно из важных партийных заседаний, он отказался, был пьян, окружен девками. Меня это так ошарашило, что я теперь не понимаю, как не догадался избить или застрелить его.

За все время моего знакомства с Иваном, это был единственный раз, когда его «прорвало». С глубоким отвращением и остро наточенной ненавистью он рассказывал о Чернове и других людях, котрым он верил, кого считал искренними революционерами, и было ясно, что поведение партийных вождей в гражданской войне было ударом, который разрушил все верования Вольного. «Герои» оказались морально ниже любого из «толпы»,— вот к чему сводилась его угрюмая и презрительная речь и вот что было, видимо, наиболее тяжелым моментом драмы, которую пережил Иван Вольнов, человек искренний и простодушный.

Сцена «Встречи», на которую он ссылался, в главном ее смысле такова: Недоуздков говорит:

«Всё у меня оборвалось в душе, Португалов! Всё.

Недоуздков болезненно рассмеялся, хватаясь за голову.

— Ах, вы, петрушки, социал-спасители!.. А эти самарские трюки Наполеончика, — какой ужас, какая гадость!.. Это непробудное пьянство, эти шатанья с партийными[1] по кафе и вертепам!.. А за Волгой лилась кровь... Охрипшими с перепоя голосами вы убеждали молодежь итти спасать Россию. И молодежь верила и умирала. Ах, проклятые, проклятые, подлые обманщики!..»

— Ах, бросьте свое дон-кихотство! — сквозь стиснутые зубы проговорил Португалов. — Есть другой выход... — Он был бледен, хрустел пальцами. — Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими. Мы должны предупредить Каппеля. Мы арестуем главнокомандующего и Сольского с его тупоголовыми министрами, открываем фронт и, вместе с большевиками, бьем по Каппелю. Других путей нет. Или — или. Или служба черному Дидерихсу, или переход к красным, с которыми народ...»

Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало ее, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: «Бывало, что отцы выдавали детей жандармам». Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув головою, хотел что-то сказать и — не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:

— Может быть, лучше выкинуть отца-то?

Я посоветовал ему не делать этого.

— На мелодраму похоже, — пробормотал он, но тотчас же добавил: — Впрочем, мелодрама — тоже правда. Если — плохо, так уж — всегда правда.

И не торопясь, взвешивая слова, рассказал: — В 1906 году было такое, — сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эс-эру, но поп — выдал его. И отца повесили в орловской тюрьме.

Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:

— Об елах хорошо бы забыть.

В другой раз он сердито пожаловался:

— Тяжело писать! Чорт ее дери, эту правду прошлого! Из-за нее ничего не видно...

Как раньше, он все еще поругивал деревню, мужиков, но было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть об'ективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твердая вера, что бедняцкое крестьянство встает на ноги. Он говорил:

Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.

В нем, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть, грустной природой русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и — не мог скрыть. Как раньше, на Капри, так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, ее неутомимым плодородием и негодовал:

[1] В тексте повести очень резкое и справедливое слово.

— Одним — апельсины, виноград, оливы, а другим — еловые шишки...

Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда, вдруг, не являлся двое, трое суток, это значило, что он — пьет. Это уже был «запой». Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.

Жалко. Он был еще молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой «правды прошлого», и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнета старой, убийственной правды.

Он все искал «кому жаловаться» на страшную жизнь мужика и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжкой «власти земли», из рабства природы.

Он долго не верил, что сила эта — разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несет крестьянству действительное — и навеки! — освобождение от каторжной жизни. Но жизнь, суровый наш учитель, все-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.

Как всякий честный человек он нажил себе не мало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен, как настоящий революционер, — с красными знаменами, с пением грозного гимна, в котором всё более мощно, всё более уверенно звучат слова:

«Мы — ой, мы новый мир построи

Иосиф Пилсудский

Федор Желябов

Среди военных и политических деятелей, которых буржуазно-капиталистическая Европа противопоставила Октябрьской революции, одно из первых мест принадлежит Иосифу Пилсудскому. Вождь польской шляхты и фактический диктатор современной Польши является убежденным и активнейшим врагом Советской страны. Недаром в стане поджигателей грядущей антисоветской войны большие надежды возлагаются на Пилсудского.

В атмосфере кричащего, грубого подхалимства, царящего в севременной Польше, Пилсудский давно уже превознесен гением. «Символ богатырства», «Великий человек Польши», «Национальный герой» — наперебой восхваляют Пилсудского не по разуму усердные пилсудчики. О нем при жизни слагают легенды и поют песни. Недавно в Варшаве был издан специальный сборник песен, посвященных Пилсудскому.

«Для того, чтобы найти в ней (в истории Польши) людей, которые в этом смысле могли бы быть поставлены вровень с ним, — характеризует Пилсудского эмигрантский писатель М. Алданов, — надо обратиться даже не к Понятовскому и Костюшко, а к Баторию, к Собесскому, к счастливейшему из Ягеллонов».

Это несомненно преувеличение. Пилсудский вовсе не представляет собою крупной исторической фигуры. Нет никакого сомнения, что Тадеуш Костюшко был несравненно крупнее Пилсудского. Но не будем заниматься историческими параллелями. Возьмем Пилсудского, как он есть, на фоне тех социально политических условий, которые обусловили собою формирование его характера и его политических убеждений.

По социальному положению Пилсудский принадлежит к родовитой и зажиточной шляхте. Род Пилсудских ведет свое происхождение от старинного княжеского рода Жинэ. Отец диктатора был богатый помещик Ковенский губернии. Женившись на Марии Билевич, единственной дочери помещика Виленской губернии, он приумножил свои земельные богатства. Наконец, родовое поместье Михайловских Жулев, заключавшее в себе 9000 гектаров и по наследству перешедшее к Марии Пилсудской, еще более округлило их владения. В этом Жулеве 5 декабря 1867 года и родился Иосиф Пилсудский.

Детство будущего маршала протекало на лоне сытого, привольного и спокойного быта помещика. Его отец, участник шляхетского восстания 1863 года, к этому времени, как Костюшко на старости лет, отстранился от общественного движения Польши и с головой ушел в личную жизнь, наподобие Цинцинната занявшись обработкой земли. Но польский Цинцинат отличался от вождя римских патрициев в такой же мере, в какой развитие производительных сил Польши второй половины XIX столетия шагнуло далеко вперед по сравнению с производительными силами древнего Рима. Одно возделывание земли не удовлетворяло помещика Пилсудского. Он построил кирпичный завод и кроме того с увлечением принялся выгонять из хвойных деревьев терпентин.

Помещики и попы плодятся, как кролики. Семья Пилсудских была чадолюбива. Шутка сказать, не считая родителей, она состояла из десяти человек детей: шести мальчиков и четырех девочек.

Так, вдыхая крепкий запах терпентина, резвясь и играя с многочисленными братьями и сестрами, рос и воспитывался будущий маршал Польши. Изнуренная частыми родами, мечтательная Мария Пилсудская воспитывала своего сына в духе героического польского романтиз-

ма. Националистические идеалы Мицкевича, Словацкого, Красинского и Сенкевича с детства вдохновляли и увлекали его. Отец Пилсудского был причастен к шляхетскому восстанию 1863 года, во время которого он состоял гражданским комиссаром тайного национального правительства в Самогитии. От него будущий маршал на всю жизнь проникся уважением к этой шляхетской революции, затмившей в его глазах революционные движения других стран. Классовая природа, обусловившая собою шляхетский национализм Пилсудского с детских лет заставила его видеть в восстании 1863 года идеал революции.

Незаметно подошли годы учения. Родители отдали его в Виленскую гимназию. Польша переживала тогда тяжелое время. Восстание 1863 года было затоплено в крови. Память о кровожадном царском вешателе Муравьеве еще жила в памяти польского населения. Национальный гнет, давивший каменной плитой все окраины, все национальные меньшинства, с особенной силой давал себя чувствовать после восстания в порабощенной Польше. Насильственная руссификация внедрялась повсюду: в суд, в школу, в семью. Разговор на польском языке в школе или на улице жестоко преследовался. «Не смейте говорить по-польски! Разговаривайте на общегосударственном языке!» — внушали учителя-шовинисты и непокорных наказывали. Изучение польской истории и литературы было запретным плодом: учеников, пойманных за этим преступным занятием, подвергали нещадной порке. Рецидивистов исключали из гимназии. Угнетенной национальности приходилось составлять представление о России по отбросам нации, по русским чиновникам, которые на всех окраинах являлись синонимом угнетателей.

В этих условиях было нетрудно потерять критерий, утратить различие между угнетающими и угнетенными классами внутри русской национальности, проникнуться ненавистью к русским вообще, не обращая внимания на их классовую принадлежность.

Иосиф Пилсудский пошел по линии наименьшего сопротивления.

«Поскреби русского — обнаружишь татарина»,—любил говорить Наполеон. Пилсудский изменил эту формулу. «Все русские, не исключая революционеров,— выразился он,— более или менее замаскированные империалисты».

В своих воспоминаниях он признается, что в школьные годы его ночные кошмары неизменно принимали образ русского учителя. С тех пор у него зародилось желание вредить России.

Виленская гимназия искривила мозги Пилсудского. Окончательно проникшись духом шляхетского национализма, он воспылал страстной ненавистью к России, царской и пролетарской в одинаковой мере. На всю жизнь он сделался непримиримым антирусским шовинистом. В гимназии существовали кружки, изучавшие Маркса, Энгельса, Луи Блана, но Пилсудский держался от них в стороне. Иногда он слушал дискуссии, но никогда не принимал в них участия. Не Маркс и Энгельс интересовали его, а «Жизнь великих людей» Плутарха и в еще большей степени все, что относилось к Наполеону. Старший брат диктатора, покойный Бронислав Пилсудский удостоверил, что излюбленной книгой молодого Иосифа, книгой, которую он без конца перечитывал, была биография Наполеона, принадлежащая перу польского писателя Рогальского. Лавры Бонапарта со школьной скамьи не давали спать честолюбивому «Юзику», как называли его родные.

Весной 1885 года, сдав последний экзамен, Пилсудский получил аттестат зрелости. Некоторые биографии утверждают, что он вышел из гимназии революционером. Это заявление ни на чем не основано. Ничего, кроме увлечения культом Наполеона и бесформенных мечтаний о свободной Польше в духе Адама Мицкевича, в идейном багаже Пилсудского в ту пору не значилось. Влечение к политической работе еще далеко не определилось. Его ближайшие стремления не простирались дальше скромной карьеры врача. Пилсудский уехал в Харьков и поступил на медицинский факультет. Но проучиться ему пришлось недолго. Через год он был исключен из университета, вернулся в Вильну и приступил к созданию нелегального политического кружка. Это был первый выход Пилсудского на политическую арену. Россия переживала мрачную реакцию 80-х годов, блестяще охарактеризованную Александром Блоком:

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

«Народная воля» была разбита, остатки ее организаций выкорчевывались дружными усилиями шпиков, провокаторов, жандармов и околоточных надзирателей. Борцы томились в эмиграции, гнили за решеткой Шлиссельбурга или

мерзли в далеких тундрах Сибири. В России безраздельно торжествовали мракобесы и столпы реакции: Победоносцевы, Деляновы и Толстые. В литературе и публицистике гегемония принадлежала теории «малых дел». Как события большой политической важности, газеты прославляли подвиг самоотверженной акушерки или открытие новой земской школы. Либералы, соглашатели, постепеновцы чувствовали себя триумфаторами, героями дня.

Рабочие массы еще пребывали в покое. Лишь изредка вспыхивали отдельные стачки, вроде крупной забастовки иваново-вознесенских ткачей. Словно подземные толчки, предвещающие близость землетрясения, эти стачки были первыми признаками нарастающего под'ема рабочего движения, широко развернувшегося в середине 90-х годов. Молодая марксистская организация «Группа освобождения труда» переживала за границей первые организационные годы и через снеговые сугробы России едва слышно перекликалась с кружком Благоева.

Пилсудский был как нельзя более далек от революционного марксизма. Он ставил перед собой весьма умеренные политические задачи. Дальше идей 1863 года он не шел. Однако это не мешало Пилсудскому называть себя социалистом. В своих воспоминаниях, претенциозно озаглавленных — «Как я стал социалистом», Пилсудский сообщает, что уже с 1884 года он считал себя «социалистом». Однако он тут же откровенно сознается, что на самом деле не имел ясных понятий о социалистической программе, но «тогда это была мода, и всякий молодой польский патриот провозглашал себя социалистом».

Хорош социалист, не знающий своей партийной программы! Пилсудский был социалистом лишь по названию, потому что «социалист» было тогда модным словечком.

Но мода бывает разная. Например, после февральской революции было модно «ходить в эсерах». В 1917 году создался даже специальный термин: «Мартовские эсеры». И вот в партию «социалистов-революционеров» широким потоком хлынули генералы, жандармские офицеры, сельские попы и сидельцы казенных винных лавок. Многие из них, так же как в свое время Пилсудский, не имели ни малейшего представления о политической программе своей партии, но с восторгом неофитов они выполняли свои несложные партийные обязанности. Ведь не мешало же Пилсудскому незнание программы и отсутствие социалистических убеждений в течение десятков лет быть вождем польской социалистической партии (ППС). Лукавая старуха история знает немало курьезов!

II

В 80-х годах в некоторых кругах польской шляхты и буржуазии стала расти тяга к соглашению с русским царизмом. Шляхта была разочарована неудачей восстания 1863 года. Многие шляхтичи стали называть его «преступлением», «авантюрой». С другой стороны, в Польше стремительно развивалась капиталистическая промышленность, искавшая и находившая себе рынок в России. Это обстоятельство составляло экономическую базу для идеологических стремлений польской буржуазии к сближению с царизмом. Как раз в это время в Польше был выброшен лозунг «лойяльности», и представители правящих классов Польши, порвав с традициями 1831 и 1863 годов, устремились к занятию постов на царской государственной службе. Эти капитулянтские настроения порождали естественное сопротивление. «Социализм Пилсудского, — говорит Жак де-Каранси, — был только реакцией против лойяльности и инерции шляхты и отчасти духовенства».

Французский биограф польского маршала справедливо добавляет, что почти все видные пилсудчики в молодости были «социалистами» или «сочувствующими».

Однако этот социализм нельзя принимать всерьез, не заключая его в иронические кавычки.

Характер социалистических воззрений Пилсудского ясно вырисовывается из следующего факта.

В ноябре 1918 года Пилсудский принял делегацию ППС. По старой памяти «пепеэсовцы» назвали его «товарищем». За эту неосторожность им пришлось поплатиться и выслушать суровую нотацию маршала:

«Господа, я вам не «товарищ», — грубо оборвал их Пилсудский. — Мы когда-то вместе сели в красный трамвай. Но я из него вышел на остановке «Независимости Польши». Вы же едете до конца к станции «Социализма». Желаю вам счастливого пути. Однако называйте меня, пожалуйста, паном».

Биографы Пилсудского спорят между собою по поводу того, читал ли он «Капитал». По словам Казимира Смогоржевского, Пилсудский гордится тем, что он никогда не читал сочинений Маркса. Напротив, цитируемый

нами Жак де-Каранси утверждает, что Пилсудский читал «Капитал», но он не произвел на него никакого впечатления.

Как бы то ни было, марксизм не оказал влияния на миросозерцание мало образованного польского диктатора.

В 1887 году в темное царство реакции проник луч революционного света. Под руководством брата т. Ленина — Александра Ильича Ульянова, как феникс из пепла, воскресла «Народная воля». Новая организация, подготовляя второе 1-е марта—покушение на Александра III, попыталась установить связь с кружком Пилсудского и предложила ему принять участие в террористическом акте. Братски протянутая рука русских революционеров повисла в воздухе. Пилсудский больше всех возражал против установления контакта. Он делал это не из принципиального отрицания тактики террора, а из узко понятых националистических побуждений. Он считал, что поляки не заинтересованы в перемене образа правления: у них другая задача — освобождение Польши. И здесь органическая ненависть Пилсудского ко всему, исходящему из России, заставила его замкнуться в скорлупу национальной ограниченности.

Узкий национализм Пилсудского не спас его от тюрьмы. Хотя он был вполне равнодушен к развитию революционного движения в России, уделяя внимание лишь польским делам, но Польша была тогда частью Российского государства, и правительство царя, наблюдая активность Пилсудского, не отвечало ему взаимным равнодушием.

В Варшаву приехал провокатор Канчер с явкой к Пилсудскому от его старшего брата Бронислава, студента Петербургского университета. Братья Пилсудского стали жертвой провокации. Бронислав был присужден к 18 годам каторги; Иосиф отделался легче: он был в административном порядке на 5 лет сослан в Восточную Сибирь, на Лену, в Керенск. В Сибири он проникся жгучей ненавистью к русским революционерам. Аристократ и националист чувствовал себя совершенно чужим в среде политических ссыльных, где уже начали появляться социал-демократы и в числе их будущие большевики, боровшиеся не только за освобождение Польши, а за освобождение всего рабочего класса, до которого не было никакого дела спесивому шляхтичу. Ни в Харьковском университете, ни в ссылке Пилсудский не нашел общего языка с русскими революционерами. Тот класс, интересы которого они защищали, не был его классом.

В 1892 году, после пятилетней ссылки, Пилсудский вернулся на родину. За короткий срок своего отсутствия он застал большие перемены. Международное рабочее движение поднималось в гору. В 1889 году на пепелище Первого марксовского Интернационала возникло Второе Международное товарищество рабочих.

На учредительном конгрессе в Париже участвовали делегаты России, провозгласившие, что революционное движение в России восторжествует как рабочее движение, или оно не восторжествует вовсе. Наряду с русскими здесь участвовали польские делегаты. На втором конгрессе в Брюсселе, в 1891 году, польские социалисты были уже представлены обширной делегацией во главе с Игнатием Дашинским, сыгравшим впоследствии жалкую роль в качестве председателя сейма. Польская делегация включала в себя представителей всех трех частей варварски разрезанной Польши. Наконец, в 1892 году в Париже образовалась мелкобуржуазная социалистическая партия Польши (ППС), которой суждено было сыграть такую реакционную роль в борьбе с организованным движением подлинно революционного пролетариата.

Вернувшись из ссылки, Пилсудский примкнул к этой партии, хотя, как мы видели, он ни в малейшей мере не был социалистом.

«После совещаний с варшавской группировкой «Глос», — пишет Жак де-Каранси, Иосиф Пилсудский решил присоединиться к социалистическому движению, несмотря на неприятное соседство интернационалистских элементов».

Присоединение Пилсудского к социализму было простым тактическим маневром. Пилсудский нуждался в поддержке масс, а для того, чтобы вести за собою массы, нужно было по крайней мере притвориться социалистом.

Если бы Пилсудский не был политиком, из него наверное вышел бы хороший актер. Ведь известно, что многие неверующие попы отлично умеют носить личину людей, одержимых религиозным экстазом. Не веря в социализм, Пилсудский в течение трех десятков лет разыгрывал роль социалиста. Только в ноябре 1918 года он, как расстрига, снял с себя рясу социализма и откровенно поведал

миру, что его конечная станция вовсе не социализм, а всего-навсего — независимость шляхетско-буржуазной Польши.

III

В 1893 году в окрестностях Вильны состоялся второй партийный с'езд ППС. Со свойственной ему силой воли Пилсудский обоими локтями пробивался к власти и без труда достиг ее. Наивные простачки типа Дашинского уверовали в искренность социализма Пилсудского и признали его своим вождем.

12 июня 1894 года вышел первый номер нелегального органа ППС «Работник». Пилсудский был в составе редакции. Весной 1896 года он вместе с газетой переселился на постоянное жительство в Лодзь. Но 21 февраля 1900 года, на тридцать шестом номере, подпольная типография «Работника» провалилась. Пилсудский был арестован.

В своих воспоминаниях об этом периоде Пилсудский рассказывает не лишенные интереса детали ареста. Производивший обыск полковник Гноинский диктовал протокол обыска: «Тридцать шестой номер «Работника», 25 февраля. Передовая статья: «Триумф свободы слова». Быть может, это название развеселило жандарма. Придя в хорошее настроение, он рассказал Пилсудскому, что в царствование Николая I шеф жандармов Орлов, провожая за границу своего друга, попросил его исполнить маленькое поручение. «Когда вы будете в Нюренберге, — сказал шеф жандармов, — то подойдите к памятнику Гутенберга, изобретателя книгопечатания, и от моего имени плюньте ему в лицо. Все зло на свете пошло от него». «Вот он, ваш Гутенберг! — с саркастической улыбкой обратился к Пилсудскому полковник и торжествующе указал на конфискованную типографию. — Теперь вы видите сами, что все зло на свете пошло от вашего Гутенберга».

Урок остроумного жандарма не пропал даром. Впоследствии, в независимой Польше, Пилсудский вспомнил, что «все зло на свете пошло от Гутенберга», и, выполняя завет жандармского полковника, разгромил всю оппозиционную печать.

После ареста Пилсудский был привезен в Варшаву и посажен в крепость, в знаменитый десятый павильон. ППС решила устроить ему побег. Актерские способности Пилсудского пришли ему на помощь. Он стал симулировать буйное помешательство. Притворяясь одержимым манией преследования, он приходил в бешеную ярость при виде казенного мундира, утверждал, что тюремщики собираются его убить, отказывался от пищи, заявлял, что она отравлена, и ел одни яйца, приносившиеся ему в скорлупе. В разговорах с тюремным начальником он нес всякую чепуху и неимоверно размахивал руками. Бесстрастные, привычные ко всему тюремщики отнеслись к его поведению недоверчиво. За ним учредили надзор, предполагая, что он притворяется. Пилсудским овладело безудержное отчаяние. Обескураженный неудачей, он прекратил комедию и снова с аппетитом принялся за еду. Тем временем для обследования Пилсудского к нему был приглашен известный психиатр, директор варшавского сумасшедшего дома, доктор Шабашников. Осмотрев мнимого больного, он, как опытный врач, тотчас распознал симуляцию. Пилсудский, прижатый к стене, откровенно сознался врачу в своем притворстве. Шабашников не захотел выдать симулянта; напротив, он выдал ему свидетельство о болезни. Тюремные власти пришли к убеждению, что Пилсудский в самом деле душевнобольной, и поспешили от него избавиться. Он был перевезен в Петербург и помещен в Николаевский военный госпиталь. С тем же самым поездом в Питер приехал Александр Зулькевич, член Центрального комитета ППС. Другой партийный товарищ Пилсудского, доктор Владислав Мазуркевич определился на службу в Николаевский госпиталь. Спустя несколько недель, 13 мая 1901 года, Пилсудский был вызван в кабинет Мазуркевича. Там для него уже было приготовлено платье. Он переоделся и, как ни в чем не бывало, вместе с Мазуркевичем вышел из госпиталя. Сторож им поклонился, а швейцар предупредительно открыл дверь на улицу.

Кружным путем, через Ревель и Ригу, Пилсудский бежал в Киев, где издавался «Работник», перенесенный туда после лодзинского провала. Затем он нелегально переправился через границу. Пробыв несколько месяцев в Кракове, он после этого недолго побыл в Лондоне и весной 1902 года снова поселился на жительство в Кракове.

Полицейские условия в Австро-Венгрии были благоприятнее, чем в царской России. Пилсудскому с его склонностью к преувеличениям она показалась прямо обетованной страной. Он стал постепенно проникаться симпатиями к правительству Франца-Иосифа. В этот

период жизни Пилсудского стали впервые слагаться его взгляды на освобождение Польши с помощью австро-венгерской монархии. Однако, принявшись за практическую работу, он вскоре убедился, что его идеи не встречают широкого сочувствия.

Уже с 1893 года, со времени международного Цюрихского конгресса, национализм ППС неоднократно подвергался суровой критике со стороны Розы Люксембург, Августа Бебеля и других вождей Интернационала. В 1902 году под руководством Розы Люксембург образовалась «Социал-демократическая партия Польши и Литвы», организованная на классовом базисе и на принципах марксизма. Дашинский в своих воспоминаниях повторяет утверждения антисемитов, что за Розой Люксембург пошли почти исключительно одни евреи; это — ложь. Польская социал-демократия совершала не мало ошибок, но в основном она занимала интернационалистскую позицию и об'единяла вокруг себя наиболее передовые слои польских рабочих. С созданием «Социал-демократии Польши и Литвы» в польском революционном движении завязалась борьба двух тенденций: интернационалистской и националь-но-шовинистической. Первую тенденцию олицетворяла Роза Люксембург, вторую — Иосиф Пилсудский. Успехи польской социал-демократии не давали покоя вождю ППС. «Куда девались поляки «Исторических песен» Немцевича, поляки Словацкого и Красинского?» — жалобно изливал он свою душу на груди Вацлава Серошевского.

В 1904 году подоспела русско-японская война. Импульсивный Пилсудский в компании с Титом Филипповичем отправляется в Токио и предлагает свои услуги микадо. Он обещает поднять восстание в Польше. С усердием, достойным лучшей участи, он обивает пороги японских учреждений, всюду выклянчивая оружие и деньги. На свою беду, он встречается в Токио со своим старым противником Романом Дмовским, лидером польской буржуазии, мечтавшей лишь об автономии Польши в рамках российского государства. Дмовский отговаривает правительство микадо от поддержки плана Пилсудского, который он признает неосуществимым и вредным для польского дела. Пилсудский терпит поражение. Японское правительство отказывает в помощи и с пустыми руками отпускает Пилсудского в Польшу.

Новый под'ем рабочего движения обусловил революцию 1905 года. Пилсудский приступил к формированию боевой организации ППС. Его не интересовало массовое движение рабочего класса. Авантюристическому духу Пилсудского больше всего отвечало создание узкой конспиративной организации, предназначенной для террора и экспроприаций. Члены «боевки» были организованы в «пятерки» и вооружены револьверами и ручными гранатами.

В 1906 году Центральный комитет ППС принял решение распустить боевую организацию. Но Пилсудский не подчинился решению своего партийного центра. Это было симптомом начинавшегося раскола партии. Этот раскол с полной ясностью обозначился на партийном с'езде в Вене в 1906 году. В лоне ППС возникли две фракции: «левица» под руководством Валецкого и «правица», имевшая своими вождями Пилсудского и Дашинского. Позже, в 1918 году, «левица» ППС влилась в коммунистическую партию Польши. Тем временем «правица» тоже не дремала. В течение 1905—1908 гг. боевая организация ППС, не подчинившаяся партийному решению о ее роспуске, под руководством Пилсудского совершила целый ряд экспроприаций в Безданах, Рогове, Мазовецке.

Французский публицист Жорж Удар в своей книге о Польше рассказывает, что он впервые увидел Пилсудского в Париже, на улице Риволи, когда он вместе с Мильераном садился в автомобиль. При этом какой-то русский, указывая на Пилсудского пальцем, громко крикнул: «Этот человек в прошлое время грабил поезда». Едва ли маршалу было приятно такое напоминание.

В 1908 году заканчивается экспроприаторский период жизни Пилсудского. Перенеся свою деятельность на территорию Галиции, он начинает готовиться к империалистической войне. Вместе с Казимиром Сосновским он создает нелегальное общество «Союз активной борьбы». Через два года, в 1910 году, «Союз» из подполья выходит на легальную арену, облекается в форму Стрелецкого союза и развивает лихорадочную работу под крылышком австро-венгерского правительства.

В этот период старинные симпатии Пилсудского к Австрии окончательно принимают характер сознательной австрофильской ориентации. Пилсудский приходит к выводу, что в борьбе с царской Россией поляки должны опираться на австро-венгерскую монархию, а в случае войны между этими государствами решительно выступить на стороне Австро-Венгрии. Сама по себе эта идея была далеко не новой. Польская шляхта давно питала симпатии к правящему классу «лоскутной монархии». Еще в 1865 году Павель Попель в своем «Письме к князю Юрию Любомирскому» выдвинул тезис, что поляки могут быть сильны только при поддержке Австро-Венгрии. После того, как в 1866 году австрийская Польша получила автономию, верноподданническое подхалимство к правительству Франца-Иосифа распустилось в Галиции махровым цветком. Пилсудский не вносил ничего нового. Он просто-напросто шел по тропинке, протоптанной галицийскими консерваторами.

В 1913 году под командой Пилсудского в Галиции находилось около 200 воинских единиц. Это была реальная военная сила.

VI

Началась империалистическая война. Владимир Ленин, скромно живший в качестве эмигранта в Поронине, был арестован и выслан из Австрии. Пилсудский, состоявший на иждивении австрийского императорского правительства, тем временем делал военную карьеру. За несколько часов до об'явления войны Австро-Венгрией Пилсудский перешел русскую границу и занял город Кельцы. Он знал, что в этом географическом пункте намечена смычка германских и австрийских войск. Кельцы в его глазах приобретали политическое значение. Там можно было сразу выслужиться в глазах обоих командований. Правительство Франца-Иосифа сперва относилось осторожно к военным антрепризам бывшего экспроприатора. После некоторых колебаний оно преодолело брезгливость и решило использовать Пилсудского. Однако оно поставило ему жесткие условия. В то время еще не было соглашения о взаимоотношениях польских войск и австрийской армии. И вот австрийцы потребовали, чтобы солдаты Пилсудского влились в австрийский ландштурм и приняли присягу, предусмотренную для резервистов.

«Если они вынудят меня это сделать,—рисовался Пилсудский перед Дашинским,— мне остается лишь одно: пустить себе пулю в лоб».

Но это были только слова. 4 сентября в Кракове и 5 сентября в Кельцах около 5 000 легионеров приняли присягу, а лоб Пилсудского остался невредим. Надо знать маршала Пилсудского. Такие люди не кончают самоубийством.

Одна оперативная работа не удовлетворяла Пилсудского. Его привлекал военный шпионаж. Начальник австрийской разведки генерал Макс Ронге недавно разоблачил, что Витольд Иодко и Иосиф Пилсудский от имени ППС предлагали свои услуги для шпионской работы австрийскому штабу в Перемышле. Хотя это предложение улыбалось Вене, она не решилась пойти на такой эксперимент и услуги Пилсудского отклонила. Последний не отчаялся и создал самостоятельную шпионскую организацию: «Польска организация народова». От ее имени Витольд Иодко и Михаил Сокольницкий вступили в переговоры с полковником Зауберцвейгом, квартирмейстером 9-й германской армии, которой командовал Гинденбург. Немцы оказались менее брезгливы, чем австрийцы.

2 октября 1914 года они заключили с организацией Пилсудского соглашение, дополненное вторым соглашением от 10 октября. В силу этих соглашений «Пон» (Польска организация народова») обязалась доставлять военные сведения штабу Гинденбурга и поддерживать операции германских армий партизанской войной в русском тылу. В благодарность за это германские генералы великодушно согласились, чтобы один пехотный батальон и эскадрон кавалерии из польских легионеров приняли участие в боях за Варшаву и вместе с германскими полками вступили в город. Пилсудский в то время не дорого расценивал свою шпионскую работу. Впрочем, в деньгах он не нуждался: деньги на содержание легионов ему в изобилии давало австрийское правительство.

В то время, как Пилсудский поочередно продавался империалистам, т. Ленин, поселившись в Швейцарии, выбросил гениальный лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую. Этот лозунг относился ко всем воюющим странам, без всякого исключения. Правительства Австро-Венгрии и Германии не меньше правительства Антанты возненавидели его.

Однако в 1917 году раскаявшийся шпион Ермоленко, ренегат Алексинский и выживший из ума в Шлиссельбурге бывший народоволец

Панкратов имели наглость обвинить т. Ленина, честнейшего из людей, когда-либо живших на земле, в немецком шпионаже. Пилсудского никто не обвинял. Он шпионил и благоденствовал.

VII

Польский вопрос пришелся не по зубам престарелого Франца-Иосифа. Правительство Австрии чувствовало, что необходимо сделать какой-то шаг, чтобы ублажить польское нацменьшинство лоскутной монархии. Покойный министр финансов Австро-Венгрии Лев Билинский, поляк по национальности, признается в своих мемуарах, что с началом войны он почувствовал себя фактическим посланником Польши, аккредитованным при венском дворе. На заседаниях 9 и 13 августа с участием Берхтольда и Билинского было признано необходимым обращение к польской нации в форме манифеста, подписанного Францем-Иосифом.

Вечером 13 августа из Вены вернулся в Краков председатель местного клуба доктор Лео.

«Польша может много выиграть, но ей придется рисковать», — говорил он, разводя руками, своим политическим друзьям, собравшимся в ратуше.

Проект манифеста был подписан Билинским и, как обычно, представлен для подписи императору. Но на этот раз старик неожиданно заупрямился. Он отказался подписать манифест без согласия венгерского правительства.

22 августа на высоком совещании, созванном для обсуждения проекта манифеста, председатель венгерского совета министров граф Тисса занял непримиримую позицию. Он заявил, что «после такого манифеста австрийский император не может восстановить дипломатических и личных отношений с русским царем». Наивный человек, он рассчитывал на скорое окончание войны! Тогда еще ничто не предвещало, что оба императора никогда не возобновят ни личных, ни дипломатических отношений, а один за другим сойдут в бесславную могилу и увлекут за собою династии австрийских Габсбургов и русских Гольштейн-Готторпов, со времени Петра III царствовавших в России.

Билинский негодующе протестовал.

— Нам важно, — говорил он, обращаясь к Тиссе, — чтобы император обещал национальное правительство и парламент.

— А вы верите в польский парламент? — цинически оборвал его Тисса и усмехнулся.

— А разве вы, венгры, не держитесь за свой парламент? — возбужденно воскликнул Билинский.

— Да, конечно, — не повышая тона, ответил Тисса и пренебрежительно добавил: — Но это нельзя сравнивать: поляки — не венгры.

Австрийский министр Чернин вспоминает, что Тисса вообще был настроен в пользу передачи всей Польши Германии в обмен на экономические блага. Как бы то ни было, проект манифеста был похоронен по первому разряду.

Венгерские помещики не захотели потесниться, чтобы дать место полякам. Германия хранила гробовое молчание. Правительство русского царя отделалось жалким и туманным, сулившим неопределенные обещания воззванием верховного главнокомандующего. Воззвание было удобнее манифеста. От него было легче отречься и надуть легковерных поляков.

Ни одно правительство мира не было в состоянии разрешить на справедливых началах национальный вопрос. Только Владимир Ленин еще накануне войны в тонких коричневых тетрадках «Просвещения» с неслыханной смелостью поставил вопрос о праве наций на самоопределение вплоть до их отделения.

VIII

5 августа 1915 года немцы взяли Варшаву. К этому времени Пилсудский уже разочаровался в австрийцах. Он начал понимать, что его постыдно использовали, что он сражался не за освобождение Польши, а за интересы австро-германского империализма.

Еще до взятия Варшавы он высказался за прекращение рекрутского набора в ряды легионов. Но Пилсудский не был полновластным хозяином. Его идея встретила жестокое сопротивление «Высшего национального комитета», существовавшего с начала войны. Он усмотрел в этом акте Пислудского вторжение в свою компетенцию. Тем более, что на одном банкете Пилсудский сам заявил, обращаясь к председателю комитета: «Я вам предоставляю политику, а себе оставляю меч».

Вопрос о рекрутском наборе был вопрос политический. Высший национальный совет не без основания рассудил, что отказ от рекрутирования подорвал бы его реальную силу. На этой почве между комитетом и Пилсудским,

опиравшимся на польскую организацию пилсудчиков «Польска организация войскова», возгорелась непримиримая борьба.

После взятия Варшавы Пилсудский тайно покинул фронт и с шестью приближенными, в том числе и писателем Каден-Бандровским, приехал в столицу Польши. Это было 15 августа. На другой день в квартире Артура Сливинского состоялось собрание, где Пилсудский произнес длинную речь, горячо возражая против отправки пополнений в польские легионы. Создавалось нелепое положение. Пилсудский был командиром первой бригады легионеров и в то же время противодействовал их пополнению. Помимо разочарований в австрийской политике, Пилсудский тяготился своим положением. Он претендовал на пост главнокомандующего всеми легионами, но австрийцы упорно его обходили. Дальше командира бригады он не пошел. Неудовлетворенное честолюбие «Коменданта», — как называли тогда Пилсудского, — сыграло не малую роль в его фронде.

18 декабря 1915 года пилсудчики организовали в Варшаве «Центральный комитет народовый» и обратились к Высшему национальному комитету со своего рода ультиматумом.

«Пилсудский, несмотря на его историческую роль, — говорилось в этом документе, — несмотря на его замечательные военные качества, столь часто доказанные и признанные, с начала войны был удален от командования и занимает в легионах второстепенный пост. Поскольку высшее командование не будет ему возвращено, легионы не смогут рассчитывать на серьезную поддержку Царства Польского... так как для того, чтобы иметь гарантию, что кровь легионеров не прольется бесполезно, следовало бы поставить во главе всего этого человека, роль которого в теперешней войне и все его прошлое достаточно доказывают, что он сделает в будущем. Иначе остается только единственное средство решения вопроса о легионах: их распустить».

Высший национальный комитет не потрудился ответить на это требование. Пропасть между пилсудчиками и Высшим национальным комитетом все расширялась.

Отчуждение Пилсудского от австрийского командования вынудило его 25 июля 1916 года подать в отставку. 20 сентября легионы были преобразованы в польский вспомогательный корпус. 27 сентября была принята отставка Пилсудского. Вместе с ним покинули армию все офицеры-пилсудчики.

Легионы разваливались. 6 октября они были сняты с фронта и 10-го в демобилизованном состоянии размещены в Барановичах.

Пилсудский предложил своим офицерам взять обратно прошения об отставке, вернуться в ряды легионов и поднять в них военную дисциплину. Эти инструкции были исполнены. «Мы снова стали солдатами, потому что Комендант этого хочет», — отмечает в записной книжке офицер-пилсудчик Лапинский.

Война затягивалась. Резервы пушечного мяса истощались. Германский империализм, как и все другие, нуждался в притоке свежих пополнений. Варшавский генерал-губернатор Безелер уверил Вильгельма, что в случае провозглашения независимой Польши в германскую армию хлынет 800 тысяч польских добровольцев. Генералы-скептики Гофман и Фалькенгайн отнеслись отрицательно к этой затее. «Не надо нам ни независимой Польши, ни польской армии», — мрачно отмахивался Фалькенгайн. Но Вильгельм, в отчаянии хватавшийся за соломинки, поверил в неисчерпаемые резервы Польши и 11 августа 1916 года послал Бетман-Гольвега в Вену договариваться с австрийским правительством о совместном жесте по адресу Польши. 12 августа был подписан секретный протокол, содержащий следующие пункты:

1. Польша будет независимым наследственным королевством.

2. Признаются необходимыми некоторые исправления границ в пользу Германии.

3. Сувалкская губерния не войдет в состав Польского королевства.

4. Это королевство не будет иметь права вести собственную внешнюю политику.

5. Его армия будет находиться под германским командованием.

6. Никакая территория, в настоящее время принадлежащая Германии и Австрии, не будет присоединена к Польскому королевству.

Последний пункт означал, что Галиция и Познань, доставшиеся по разделам Австрии и Германии, не войдут в состав Польши. Польское королевство формировалось только из русской Польши. Никакой независимости ему фактически не давалось. Сохранение командования войсками и руководства внешней политикой в руках Германии означало, что население Польши будет томиться под пятой германского империализма.

В результате тайного германско-австрийского соглашения 5 ноября 1916 года за подписью двух генерал-губернаторов: варшавского — фон-Безелера и люблинского — фон-Кука было торжественно прокламировано создание нового Польского королевства. Итоги этого акта разочаровали прусских юнкеров. Мобилизации сотен тысяч добровольцев за ним не последовало. К этому времени уже повсюду чувствовалась усталость от войны. Приток добровольцев вообще оскудел. Добровольчество, которое поставлялось господствующими классами, непосредственно заинтересованными в войне, уже выходило из моды. Заманить в добровольцы крестьян и рабочих не удавалось даже в начале войны. Через 2½ года войны — это была совершенно безнадежная затея. Польские крестьяне, как и крестьяне других стран, в это время уже пополняли не только действующие армии, но и ряды дезертиров. Польские рабочие, как и рабочие других стран, организовались для борьбы с войною. Из глухих швейцарских деревушек Циммервальда и Кинталя доносился призывный клич оставшихся верными Интернационалу голосов «Циммервальдской левой».

В России готовилась революция.

IX

Даже польская шляхта не была удовлетворена немецким решением польского вопроса. Напрасно «Немецкая варшавская газета», орган фон-Безелера, курила фимиам Пилсудскому и назвала акт 5 ноября увенчанием трудов «великого польского патриота».

Пилсудский продолжал пребывать в отставке.

14 апреля 1917 года в залах варшавского королевского дворца польская шляхта образовала временный Государственный совет. Это был зародыш негласного правительства Польши. В числе 25 членов туда вошел и Пилсудский. Он был избран председателем военной комиссии.

Создание Государственного совета означало победу шляхты. Высший национальный комитет, опиравшийся на польскую буржуазию, вынужден был распустить себя. Из продолжительной классовой борьбы шляхты с буржуазией победительницей вышла шляхта. Зато с каждым днем обострялись противоречия между польской шляхтой и германским юнкерством. К политическим разногласиям о будущей судьбе Польши присоединялась борьба за реальную силу, за влияние на польские легионы. Как председатель военной комиссии, Пилсудский воображал себя военным министром. Германское командование с этим не соглашалось. В противовес военной комиссии временного Государственного совета при варшавском генерал-губернаторе был создан специальный «Отдел польских вооруженных сил». Пилсудский увидел в этом посягательство на свои права. В процессе работы отношения польского Государственного совета с германским командованием все ухудшались.

2 июля 1917 года, после неудачной попытки организовать коллективный выход в отставку, Пилсудский сложил с себя полномочия члена Государственного совета. Он мотивировал свой акт специальным письмом. В этом документе он подписал смертный приговор своей собственной тактике.

«До настоящего времени, — писал он, — все попытки создать польскую армию были отмечены общей характерной чертой, а именно центральные империи постоянно пытались устранить вмешательство какой бы то ни было польской организации. С н а ч а л а л е г и о н ы б ы л и в к л ю ч е н ы в а в с т р и й с к у ю а р м и ю; т е п е р ь, с о г л а с н о п р и н я т о м у р е ш е н и ю, о н и п р и с о е д и н е н ы к г е р м а н с к о й а р м и и. Т а к и м о б р а з о м п р а в о п р и н и м а т ь р е ш е н и я п о э т о м у п о в о д у о с т а е т с я в р у к а х и н о с т р а н ц е в; п о д о б н о е п о л о ж е н и е в е щ е й н а м д а л о ф и к т и в н у ю а р м и ю, а в с т р и й с к у ю в ч е р а и г е р м а н с к у ю с е г о д н я». (Разрядка моя. — Ф. Ж.).

Пилсудский признает здесь, что на самом деле он и его легионы были цинично использованы в своекорыстных целях немецким и австрийским империализмом. Польская армия была фиктивной, мнимой, воображаемой. В действительности легионы были слепым орудием в руках австрийской и германской политики. Вот куда завел авантюризм Пилсудского доверившихся ему легионеров!

Выйдя в отставку, Пилсудский дал тайный приказ по своим легионам, чтобы они отказались от присяги. 9 июля из 6000 легионеров, расположенных в русской Польше, 5200 повиновались приказу Пилсудского. Они были тотчас разоружены немцами и посажены в концентрационный лагерь.

Наконец, 21 июля 1917 года был арестован главный виновник всей авантюры с польскими легионами — Иосиф Пилсудский. Поздней ночью

к его дому в Варшаве под'ехал автомобиль, и два немецких офицера, пред'явив ордер об аресте, посадили Пилсудского в машину и отвезли в тюрьму. Из Варшавы он был переведен в окрестности Данцига, а затем в Магдебург.

«Так кончился пир их бедою».

X

В России тем временем кипела бурная революция. Она была на вершине перевала от Февраля к Октябрю. Буржуазная революция с неслыханной быстротой перерастала в революцию пролетарскую.

Польская шляхта не зевала. Под эгидой гнилого правительства Керенского неутомимые пилсудчики занялись формированием своих легионов. 17 июня они созвали свой с'езд. Пилсудский единогласно был избран почетным председателем.

Впоследствии Пилсудский признался, что перед своим арестом он одно время собирался приехать в Россию и даже составил план поездки, но потом отказался от этой мысли.

9 ноября 1918 года началась революция в Германии. Одновременно с тысячами других заключенных в тот же день был освобожден Пилсудский. Но его освобождение, не в пример прочим, состоялось торжественно.

За ним приехали двое германских офицеров, об'явивших ему, что он свободен. Один из них был граф Гарри Кесслер, которого считали незаконным сыном кайзера Вильгельма II. До войны он был широко известен в художественных кругах Парижа и написал для Сергея Дягилева либретто балета «Иосиф». Оба офицера были в штатском платье. Пилсудский, удивленный этим маскарадом, с недоумением разглядывал их. Прерывающимся от волнения голосом Гарри Кесслер об'явил ему:

— Вы свободны... По приказанию Канцлера, я должен отвезти вас в Берлин... Торопитесь!.. Нельзя терять времени! В Германии революция. Вас ожидает автомобиль. Вы можете взять с собой только самое нужное. Еще раз: не теряйте ни одной минуты. Иначе я ни за что не отвечаю.

11 ноября освобожденный Пилсудский в'езжал в Варшаву. Белый конь не играл под ним только потому, что он приехал по железной дороге. Но это обстоятельство не помешало шляхте организовать своему кумиру триумфальную встречу.

В этот день Пилсудский, наверное, чувствовал себя в'езжающим в Варшаву на белом коне.

XI

В тот же день «Совет регентства», олицетворявший верховную власть новорожденного польского государства, передал Пилсудскому военное командование, оставив в своих руках гражданское управление. Как всякий дуализм, такая система не могла продолжаться долго.

В средние века была в большом ходу дуалистическая теория разделения властей, согласно которой королю принадлежал светский меч, а папе — духовный. Однако этот дуализм не мешал королю Генриху IV в покаянном рубище выстоять на коленях перед папой Григорием VII Гильдебрандтом. В данном случае победил духовный меч: верх одержало духовенство. Но обычно правящий класс светским мечом подчинял духовенство и превращал церковь в свою раболепную служанку.

Монтескьё, создавшему теорию разделения властей, вообще не повезло. Только в учебниках конституционного права строго проводилось разделение законодательной, исполнительной и судебной власти.

Не успел кадетский юрист Набоков в первой Государственной думе гордо провозгласить: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной», как исполнительная власть засадила в «Кресты» представителей власти законодательной. И во всех остальных странах мира, не исключая парламентарной Англии, правящий класс, когда ему это было выгодно, нарушал теорию разделения властей. Не привилась эта система и в псевдо-парламентарной Польше.

Реальной воинской силой в то время были легионеры; а в их рядах имя Пилсудского, только что освобожденного из германского плена, пользовалось большой популярностью. Опираясь на легионы, Пилсудский уже через три дня принудил «Совет регентства» распустить себя и передать ему одному всю полноту верховной власти. Легко и быстро установилась в Польше военная диктатура шляхты. Рабочий класс Польши был обескровлен войной и оккупацией. Сотни тысяч польских рабочих были призваны в войска, сотни тысяч эвакуированы вглубь России, наконец сотни тысяч вывезены на работу в Германию. Оставалось обеспечить международное признание новой власти. Но это оказалось труднее. Пер-

воначально Франция отнеслась к Пилсудскому недоверчиво. Она не могла забыть, что в течение трех лет он сражался в рядах австрогерманских армий. Заточение в Магдебургской крепости не искупало в глазах Франции его прегрешений перед союзниками. Ему предстояло завоевать доверие новых хозяев. Положение осложнялось тем, что с 1917 года в Париже под председательством Романа Дмовского создался Польский национальный комитет. Вождь польской буржуазии Дмовский с начала войны ориентировался на «союзников» и пользовался с их стороны симпатией и поддержкой. Во второй половине 1917 года этот комитет получил признание «союзников» как «официальная польская организация».

В ноябре 1918 года, узнав о воцарении Пилсудского, парижский комитет предполагал провозгласить себя польским правительством де-факто, но потом оставил этот проект. Классовая борьба за власть буржуазии со шляхтой принимала оригинальные формы. Создавалось забавное положение. В Варшаве сидел Пилсудский, а в Париже — Дмовский. Старые враги, олицетворявшие противоположные классовые интересы шляхты и буржуазии, оба претендовали на власть. У Пилсудского была территория, подвластный ему народ и, наконец, реальная власть, то есть все элементы государства. У Дмовского ничего этого не было, но зато он имел признание «союзников». А так как державы-победительницы были тогда хозяевами положения на территории всего мира за исключением Советской страны, то невесомая ценность поддержки «союзников» была не менее реальна, чем материальные блага, сосредоточенные в руках Пилсудского. Неизвестно чем кончилась бы эта борьба, но только 23 ноября 1918 года Польский национальный комитет командировал в Варшаву для дипломатических переговоров с Пилсудским одного из своих членов, Станислава Грабского. В области внешней политики они договорились довольно скоро: Дмовский тоже не был сторонником Советской России и не зарекался от войны с ней. Но в области внутренней политики Пилсудский не соглашался предоставить буржуазной партии национал-демократов господствующее положение в национальном правительстве. Взамен потерпевшего неудачу Грабского был послан из Парижа известный пианист Падеревский. Английский крейсер доставил его в Данциг, и 3 января 1919 года он прибыл в Варшаву. Но хороший пианист не всегда бывает хорошим политиком. 4 января Падеревский имел первую беседу с Пилсудским, но, подобно Грабскому, потерпел неудачу. Непривычный к политическим дракам, несчастный Падеревский в тот же вечер в отчаянии уехал в Краков, ища забвения в виртуозной игре «Лунной сонаты». Махнув рукой на слабонервного музыканта, Пилсудский в тот же день снарядил в Париж свою собственную делегацию во главе с Казимиром Длуским. В нарушение обычных дипломатических узусов переговоры двух польских правительств повелись одновременно в двух городах: Варшаве и Париже.

В середине января обе стороны пришли наконец к соглашению и заключили гражданский мир. В качестве главы правительства они сошлись на нейтральной и политически ничтожной фигуре Падеревского.

Роман Дмовский был человек негордый: он удовлетворился должностью польского делегата на мирной конференции в Версале.

26 января 1919 года в Польше произошли выборы в сейм. 11 февраля состоялось его открытие. 20 февраля сейм единогласно утвердил Пилсудского главой государства.

XII

Со времени прихода к власти Пилсудский лихорадочно взялся за организацию военных сил Польши и стал готовиться к войне с Советской Россией. 9 февраля поляки без объявления войны захватили Брест-Литовск, затем заняли Пинск, Гродно и Лиду. 20 апреля под личным командованием Пилсудского была взята Вильна. Советская Россия в то время была занята борьбой на других фронтах и не могла уделить Западу большого внимания. На этом и покоились расчеты Пилсудского. Наступление Колчака и Деникина вынудило Пилсудского приостановить операции и занять выжидательную позицию. Победа белой гвардии с ее лозунгом «единой и неделимой» России была не в интересах Польши. Но и Советская Россия тоже не радовала его. К вековечной антирусской вражде присоединялась ненависть к пролетарской революции. Пилсудский дал советской республике разгромить Колчака и Деникина, а затем сам во всеоружии напал на нее. Политические планы Пилсудского шли очень далеко. Помимо свержения советской власти, он стремился восстановить великую Польшу в границах 1772 года и, сверх того, фактически присоединить к своим владениям

Украину и Белоруссию. 23 апреля 1920 года Польша подписала договор с Петлюрой, защитником интересов украинской буржуазии. Формально Польша признала независимость Украины, чтобы отчленить ее от Советской России и впоследствии, подобно Галиции, включить в состав польского государства. Через два дня после договора с Петлюрой, 25 апреля, Польша начала поход против Советской Украины под личным предводительством самого маршала Пилсудского. 7 мая 1920 года бело-поляки заняли Киев. Но они продержались там только месяц. Красная армия, сперва застигнутая врасплох, теперь собралась с силами и с помощью славной конницы Буденного 13 июня изгнала из Киева банды Пилсудского. Этот неожиданный удар произвел в Польше ошеломляющее впечатление. 28 июня генерал Станислав Галлер в согласии с маршалом Пилсудским предписал генералу Шептицкому отступление на старую германскую линию. 2 июля Пилсудский созвал в Варшаве военное совещание. Среди других генералов там присутствовал командующий северным фронтом генерал Шептицкий. Он находился в подавленном состоянии, считал войну с Советской Россией безнадежно проигранной и предлагал заключить мир во что бы то ни стало.

4 июля Красная армия, подтянув резервы, начала генеральное наступление на польском фронте. 1 августа нами был взят Брест-Литовск. Пилсудский умолял Францию спасти Польшу от нашествия большевиков. Ллойд-Джорж передал советскому правительству ультиматум, пригрозив, что если Красная армия возьмет Варшаву, то флот его британского величества появится под бастионами кронштадтских портов. Бывший социалист Мильеран не ограничился угрозами. Он отправил на выручку Польши генерала Вейганда и тысячу французских офицеров. Под охраной французских военных судов в Данциг было доставлено большое количество оружия и снаряжения. Не на шутку встревоженный молниеносным движением рабоче-крестьянской армии, маршал Пилсудский 2 августа приехал в Варшаву. Он нашел столицу польского государства в состоянии величайшей паники. Бешено мчащиеся автомобили, давка на вокзале, перекошенные ужасом лица чиновников и состоятельных граждан — все это показывало, что началось повальное бегство. Со всех сторон раздавались требования, чтобы Пилсудский сложил с себя командование войсками. В этот момент он на время потерял свою популярность. Пилсудский предлагает генералу Вейганду разделить с ним ответственность за верховное главнокомандование, но умный генерал отказался под тем предлогом, что он не знает ни войска, ни командного состава. Он предпочел менее ответственный пост советника генерального штаба. В ночь с 5 на 6 августа в одном из многочисленных зал роскошного Бельведерского дворца собрались на военное совещание: Пилсудский, Вейганд, новый начальник генерального штаба Розвадовский и военный министр Сосновский. Здесь при активном участии Вейганда был принят план обороны Варшавы. В течение ближайших дней под непосредственным руководством Вейганда были произведены перегруппировки, необходимые для предпринятого маневра.

В течение 40 дней безостановочного марша Красная армия прошла 600 километров от Смоленска до подступов к Варшаве. На сотни верст она оторвалась от своих тылов, оставив далеко позади свои обозы. Усталые красноармейцы после бессонных ночных переходов двигались на приступ Варшавы, как сомнамбулы. Их поджидали свежие польские резервы, сконцентрированные в ударный кулак искусным французским полководцем. 14 августа красноармейцы начали наступление на Варшаву. 16 августа поляки перешли в контрнаступление. Красная армия, уже достигшая пригородных варшавских парков, откатила назад. Казимир Смогоржевский в своей брошюре: «Польско-советская война по книгам польских вождей» замечает, что Тухачевский, сильно зарвавшись вперед, лишь повторил ошибки Карла XII и Наполеона. Пилсудчики прозвали оборону Варшавы «чудом на Висле» и приписали ее честь маршалу. На самом деле Пилсудский, не получивший военного образования и приобревший опыт командования лишь на маленьких должностях, во время советско-польской войны обнаружил полную неспособность в деле военного командования. Лавры Наполеона с детства преследовали честолюбивого Иосифа. Однако, если Пилсудскому нельзя отказать в силе воли и энергии, то у него нет и никогда не было военных талантов полководца. Успехом варшавского маневра Польша обязана исключительно помощи Франции, а в первую очередь искусному руководству генерала Вейганда.

Не желая уязвлять национальное самолю-

бие буржуазно-шляхетской Польши, сам Вейганд, правда, заявил, что «победа под Варшавой — польская победа. Военные операции были проведены польскими генералами по польскому плану»... Но этим словам не следует придавать никакого значения. Даже сами поляки все же вынуждены признать, что буржуазную Польшу спасла империалистическая Франция, неизменный враг Советских республик.

Активный участник войны с Советской Россией генерал Сикорский в своих воспоминаниях, опубликованных на польском языке, в самых лестных словах отзывается о гигантской роли, сыгранной Францией: «Только Франция, — пишет он, — только Франция, хотя она еще и не была связана с Польшей формальным союзом, поспешила оказать нам материальную и техническую помощь. Военные материалы, сопровождаемые французским флотом до Данцига и выгруженные там под охраной военных судов, дали нам возможность сражаться и победоносно закончить борьбу. Что касается наших французских товарищей, которые в значительном числе прибыли в самый критический момент операций на польском фронте, они оказали польской армии не только техническую, но еще и моральную помощь. Генерал Вейганд больше, чем кто-либо другой, оказал нам драгоценные услуги. Приглашенный польским правительством, он без колебаний принял неопределенный, но важный пост советника начальника польского генерального штаба и, сотрудничая на этом посту с главнокомандующим, содействовал организации польской победы на Висле».

Генерал Сикорский напрасно упоминает о главнокомандующем. Успех войны решило вмешательство Франции, без содействия которой белогвардейской Польше никогда не удалось бы отстоять Варшаву.

XIII

Мечта Пилсудского осуществилась. В глазах шляхты, буржуазии, даже мелкой буржуазии он сделался «национальным героем» и еще более уверовал в свою провиденциальную миссию «спасителя Польши». Отныне эта вера превратилась у него в своеобразную «манию величия». Он стал пренебрежительно, сверху вниз смотреть на своих подданных, на политических противников и, наконец, на сейм. Даже с законопослушным сеймом, подобострастно заглядывавшим ему в рот, он не сумел ужиться в мире и согласии. У него начались трения с польским парламентом. Все заметнее стал проявляться его диктаторский нрав, и все рельефнее начали обозначаться его фашистские настроения.

Пилсудский оставался главой государства до 1922 года. 28 ноября этого года он открыл сейм нового созыва. В тот же день была принята конституция. Предстояло избрать президента республики, но Пилсудский закапризничал и отказался выставить свою кандидатуру. Он мотивировал этот поступок тем, что конституция не дает президенту достаточной власти. Он гордо и вызывающе заявил, что не желает быть под опекой парламента. Считая преждевременной открытую диктатуру, он в то же время не хотел брать на себя ответственность за парламентаризм. Он предпочел на время укрыться в тени и принял скромную должность начальника генерального штаба. Но когда 28 мая 1923 года к власти пришел кабинет Витоса, за спиной которого стояла кулацкая партия «Пяст», Пилсудский не выдержал. Он, хлопнув дверью, вышел в отставку и поселился в роскошном имении Сулеювке, подаренном ему легионерами. 19 марта, в день святого Иосифа, он ежегодно принимал у себя с именинными пирогами и поздравлениями многочисленные делегации офицеров, с которыми он не прерывал связи. Шляхетское офицерство приносило своему маршалу клятвы на верность. В ответной речи маршал, бряцая длинным палашом, грозно показывал кулак правительству кулачества и буржуазии. Вождь шляхты предостерегающе напоминал, что в своем вынужденном уединении он не отказался от борьбы за власть. Наконец, 12 мая 1926 года Пилсудский, опираясь на шляхту и на офицерство, совершил давно подготовлявшийся им фашистский coup d'état.

Внешняя сторона майского переворота со слов очевидцев обрисована М. Алдановым. Приведем целиком эту характерную сцену, словно заимствованную из какой-нибудь оперетки:

«Президент Войцеховский выехал на автомобиле навстречу маршалу Пилсудскому. Встреча произошла на мосту Понятовского, в совершенно оперной обстановке. С обеих сторон моста стояли вооруженные люди. Спешно подвозили пушки и пулеметы. Особенностью картины было присутствие журналистов. Войцеховский прошел по мосту и спросил первого уланского офицера:

— Знаете ли вы, что я президент Польской республики?

Офицер ответил, что знает.

— Как же вы решаетесь восстать против законно избранного главы государства, против верховного вождя всех вооруженных сил Польши?

На это офицер ничего не ответил. На мост уже всходил маршал Пилсудский. По словам очевидца (г. Смогоржевского), он весело улыбался. Не подавая ему руки, президент сказал громко:

— Господин маршал, над вами тяготеет страшная ответственность. Республиканское правительство, защищая конституцию, не уступит вашему мятежу. Предписываю вам немедленно увести войска.

Маршал ответил шутливым тоном:

— Дорогой президент, очень охотно. Уберите правительство Витоса, тогда мы посмотрим.

— Нет. Это законное правительство!

— В таком случае я сам его уберу.

— Подумайте! Вы восстаете против конституции.

— Я уже подумал. Я — первый маршал Польши. Я сделаю то, что хочу!

— Нет, мы вам помешаем! Это вам говорю я, президент республики!»

Эффектный диалог мог бы продолжаться долго. Но Пилсудский его оборвал не менее эффектно. Произошло повторение знаменитой сцены обращения «человека судьбы», вернувшегося с острова Эльбы, к высланным против него французским войскам: «Солдаты! Кто из вас хочет убить императора Наполеона?!» Маршал Пилсудский быстро подошел к одному из сопровождавших президента кадетов и спросил его в упор:

— Решишься ли ты стрелять в первого маршала Польши?

По словам Смогоржевского, «юноша побледнел и не ответил. Однако в глазах кадетов маршал мог прочесть, что они исполнят свой долг. Он круто повернулся и, никому не кланяясь, медленно пошел назад по мосту по направлению к Праге».

Как и подобает эмигрантскому писателю, Алданов умалчивает, что концентрации правительственных войск воспрепятствовало сильное стачечное движение во всей стране, особенно среди железнодорожников. Это обстоятельство имело гигантское влияние на исход борьбы.

Пилсудский одержал победу. 14 мая столица Польши была в его руках. Шляхта снова вернулась к власти.

Переворот Пилсудского застиг врасплох не только буржуазию, но и коммунистическую партию Польши. Вместо призыва к решительной борьбе с фашистской авантюрой Пилсудского, Центральный комитет коммунистической партии совершил грубую политическую ошибку, призвав рабочих Польши на помощь выступлению Пилсудского.

31 мая сейм избрал маршала президентом республики большинством 292 голосов против 193. Пилсудский поблагодарил сейм «за легализацию его исторических действий, но от предложенного поста отказался под предлогом несовершенства конституции, не дающей президенту всей полноты власти. Не беря на себя формальные бразды правления, Пилсудский предпочел руководить политикой польского государства из-за кулис. На пост президента он выдвинул своего старого друга, без лести преданного ему Игнатия Мосцицкого. Слабовольный профессор химии, специалист по добыванию азотной кислоты из воздуха, благообразный и покорный старик с любезной улыбкой, обнажающей оскал золотых зубов, служит удобной ширмой для маршала.

XIV

Фашистский переворот Пилсудского вначале встретил за границей холодный прием. Американский публицист Франк Саймондс в лондонском воскресном «Таймсе» писал об этом событии: «В течение своей долгой и трагической истории Польша не знала большего несчастья, чем это дело Пилсудского; сейчас еще невозможно определить размер катастрофы»...

Французский журналист Альбер Лондр в парижской газете «Пти Паризьен» 2 июня 1926 года патетически восклицал: «Те, которые видели начало других недавних революций, в сегодняшний день в Варшаве узнают их главные черты». В заключение Альбер Лондр сравнивал Пилсудского с Керенским. Это безграмотное сравнивание показывает, насколько вообще буржуазным журналистам трудно уловить политический смысл событий, происходящих в восточной Европе. Пилсудский быстро сгладил невыгодное первое впечатление и раболепным поведением вернул себе благоволение Франции.

Со времени майского переворота 1926 года Пилсудский занимал различные официальные

должности, от военного министра до премьера, но даже тогда, когда он не занимал никаких официальных должностей, его закулисная роль была неизменно диктаторской.

Известный польский карикатурист Чарманский в одной из своих карикатур изобразил польских министров в виде обнаженных «гёрлс», танцующих под дудку Пилсудского. И это глубоко справедливо.

Возглавляется ли польский совет министров подставной фигурой Славека или брата Пилсудского, он всегда находится в руках у маршала в такой же степени, как и в периоды открытого возглавления кабинета Пилсудским.

Всякая фашистская диктатура органически враждебна парламентаризму. И даже рабский сейм составляет бельмо на глазу фашистского диктатора Польши. Пилсудский не редко выражает свое открытое недовольство сеймом и конституцией.

По своей природе он глубоко некультурен. Его мышление всегда примитивно. В своем поведении он грубый солдафон до мозга костей. На человеческом языке нет таких крепких слов, от которых воздержался бы маршал Пилсудский. Особенно резкой бранью он осыпает сейм и депутатов. Например, в одном интервью он рассказывает, что с юности приучил себя к разным неприятным вещам, для того, чтобы закалить свой характер. С этой целью, например, он жег себе палец на огне свечи. Но когда однажды он захотел заставить себя съесть человеческие экскременты, то этого он сделать не мог. По его словам, такое же чувство гадливости и омерзения вызывают в нем депутаты сейма.

Как салтыковским помпадурам, ему в высшей степени свойственны самовлюбленность, самомнение и упоение властью, порой переходящее в самодурство. Он обожает курение фимиама и поощряет лесть, византийскую угодливость, пресмыкательство и подхалимство. Трудно удержаться от смеха при чтении напыщенного описания внешности маршала в статье писателя-пилсудчика Юлия Каден-Бандровского: «Его упругие щеки, стянутые носом в тончайшей архитектуре, производят впечатление полированных частей какого-нибудь благородного старинного оружия. Можно сказать: стилизация точного механизма, сделанного из чудесного старого металла».

В начале 1931 года Пилсудский, переутомившись на тяжелой работе по подтасовке ноябрьских выборов 1930 года, обеспечивших ему большинство, взял отпуск и отправился отдохнуть на солнечный остров Мадеру. Трудно сказать, что именно остановило неожиданный выбор маршала на этом маленьком острове Атлантического океана. Может быть, старинное пристрастие к хорошей, выдержанной мадере побудило его ознакомиться с любимым вином у его истоков, на его родине. Греясь на солнце и наслаждаясь идиллическим пейзажем, Пилсудский писал работу о конституции, под названием «Ошибки истории».

Тем временем его ретивые поклонники и поклонницы не дремали, готовясь отпраздновать день его рождения. Они не придумали ничего лучшего, как организацию массовой отправки поздравительных открыток Пилсудскому. И к 19 марта, ко дню святого Иосифа, на Мадеру стали стекаться сотни тысяч поздравительных «карт-посталь». Почтальонам Польши, маленького острова Мадеры и промежуточных стран была дана огромная дополнительная нагрузка. Для перевозки обширной, но бессодержательной корреспонденции во Франции и в Испании приходилось прицеплять добавочные почтовые вагоны. Вся эта глупая выдумка была затеяна, чтобы поднять популярность Пилсудского в Польше и польстить самолюбию самого маршала.

Пилсудчики превозносят своего кумира, как гения, сверхчеловека. Но рабочий класс Польши и всех других стран ненавидит Пилсудского, как символ угнетения и реакционной фашистской диктатуры, как опаснейшего вдохновителя подготовляемой в тиши дипломатических кабинетов новой антисоветской войны.

Воинственные намерения польской шляхты, ее горделивые замыслы восстановления Польши в границах 1772 года, помноженные на личный авантюризм Пилсудского и его фанатическую веру в свою провиденциальную миссию спасителя Польши, создают грозную опасность войны

В книге «1920 год» Пилсудский называет войну «божественным искусством». Ближайшая цель шовиниста и милитариста Пилсудского состоит в том, чтобы всемерно использовать это «божественное искусство» для сокрушения Советского союза. Пилсудский ненавидит СССР двойной ненавистью: как страну с большинством русского населения и как выдающийся очаг революции всемирного пролетариата Но рабочий класс найдет в себе силы: он защитит страну, воздвигающую социализм, и сотрет главу змию.

Венеция

Ибрагим

Вечер, серп луны то прячется, то опять выплывает из-за тонких рассеянных туч, как среди паутины.

Горы кончились. Поезд катится по равнине. Сзади за горами остался холод и сырость лесистых Альп.

На итальянских станциях не так много света, как на немецких, но зато здесь даже на самом маленьком полустанке весело и шумно. На платформе много провожающих и гуляющих. Не успеет поезд подойти, как уже торжественные крики навстречу ему, словно под'езжает победная колесница Цезаря.

Весело теснятся и втискиваются в вагоны черные, грязноватые пассажиры и пассажирки. Как только тронется поезд, так оставшиеся на платформе вдруг все враз, словно по команде, поднимают разноголосый, разнословесный крик. Одни желают счастья от'ехавшим, другие счастливого возвращения, третьи хорошего сна тем, кто не имеет спальных мест и будет всю ночь сидеть на жесткой скамейке. Замечательно то, что большая половина кричащих — это не провожающие, а случайно или для прогулки оказавшиеся на вокзалах, коих на руском языке называют праздношатающимися. Их можно встретить только на русских или итальянских вокзалах. Они-то, никого не провожающие, и поднимают самые горячие крики. Потому что итальянцы и русские любят пафос.

На первой — после австрийской границы - итальянской станции я услышал крики толпы. Они прозвучали так неожиданно, что я подумал — не попал ли кто под поезд или что-нибудь еще такое же не случилось. Высунувшись из окна, я увидел людей с глазами полными южного блеска, неподдельной радости, с движениями энергии и энтузиазма. Совсем не было грустных провожальщиков и провожальщиц, не было сожаления, печали, тоски расставания. Был сплошной пафос и радость, словно всех присутствующих разом пригласили на Лукуллов пир и всем им пир показался восхитительным.

Восторгов было много на вокзалах. Не мало и в вагонах. Восторги были повсюду. Я даже не сразу заметил, как тщательно обыскали нас на границе.

Сначала вошли два человека: один в полувоенной черной форме, другой в сером штатском. Первый походил на почтово-телеграфного чиновника из Калуги, второй — на приказчика игрушечного магазина. Они проверили паспорта.

Потом срывка вскочил в вагон полненький, пухленький, румяный и усатый, тоже в черной военной форме, человек, предупредивший, что сейчас идет осмотр чемоданов. Следом за этим веселым глашатаем невеселого дела вошел высокий тонкий молодец, шляпа с пером, весь в защитном. Войдя в первое купе и увидев раскрытые чемоданы, тонкий человек опросил:

— *Литература есть?*

Чемодан оказался принадлежащим старушке. Она ответила через соседа по купе, который говорил по-немецки и по-итальянски (старушка знала только язык Гете, а человек в шляпе с пером — только язык Д'Аннунцио):

— Я — еду к дочери в Милан. Табаку в чемодане нет. Носилное белье...

— Табак меня не интересует, белье тоже. Куда вы едете — и того меньше. Меня интересует, нет ли у вас в чемодане литературы.

— Муж мой содержит гастхаус для туристов[1]. Он никогда журналистом не был...

— Ах, синьора, — снисходительно улыбнулась шляпа с пером,— не везете ли вы с собой газет — немецких, английских, французских?...

— Газет — нет. Вот журнал модный из Вены.

Тонкий итальянец сухими длинными пальцами принял поданный ему журнал, повертел, ничего не понял. Вернул.

— Это можно.

Тут же заметил на столике у окна газету. Поспешно схватил ее.

— А вот этого нельзя.

И перешел в другое купе, и в третье, и по всему вагону, и по всему поезду, ища не-фашистской литературы и конфискуя ее. Отбирались все иностранные газеты, исключительно газеты.

Пассажиры начали было упаковывать и класть на место чемоданы, как вдруг еще вошли новые лица, на этот раз трое в высоких черных каскетках. Лица их были румяны, усы черны, глаза молоды и беспечны. Вошедшие опять потребовали открыть чемоданы. Старушка, обитательница первого купе, опять попыталась им сунуть свой модный журнал. Ей казалось, что опять преследуется печатное слово. Но на этот раз контролеры отвернулись от литературы и приступили прямо к перерыванию вещей в чемоданах. Они, как молитву, совершенно автоматически повторяли:

— Табак, табак, и не имеете табак? Табак, не имеете табак?

Обыскиваемые говорили, что табаку нет, обыскиватели ловким привычным жестом производили надлежащий беспорядок в чужих чемоданах и переходили из купе в купе.

Так прошел и второй обыск.

Многие скептики, чтоб не заставили еще раз стаскивать чемоданы с полок и открывать, на всякий случай, не придет ли третий контроль, оставили чемоданы внизу открытыми и в таком виде держали их станции три-четыре, опасаясь возможности контроля.

Кроме этих государственных мужей на каждом, даже самом маленьком вокзальчике есть непременно двое,— они всегда вместе и вышагивают в ногу, — жандармов в брюках с лампасами, такими широкими, что когда двое жандармов шагают, то кажется, что идут не двое, а четверо, не четыре ноги, а восемь. Жандармы в треуголках и оба одинакового роста. От этого кажется, что идет один человек о двух головах. Жандармы медленно, чинно прохаживаются из конца в конец по платформе, руки держат за спиной. Кроме тонкой шпаги у пояса никакого другого оружия на них не заметно. Да и костюм-то их не боевой: какие-то фраки, белые перчатки. Оно и понятно: эти жандармские близнецы, кажется, действительно существуют тут для декорации. Лица их нейтральны. Их никто ни о чем не спрашивает. Если раздаются какие-нибудь крики или начинается беспорядок на платформе, они и тут не выражают никакой чувствительности. Будто не итальянцы, а холодные кельты. В крайнем случае мановением руки в белой перчатке декоративный жандарм поманит одного из солдат, которые в изобилии толкутся на вокзале и мешают пассажирам и носильщикам, и услужливый юркий маленький солдат послушно бежит выполнять поручение. Жандармы похожи на Наполеонов, солдатики — на прытких Гермесов.

Прыткие Гермесы не совсем похожи на солдат. Они в шляпах с перьями и по молодости их лиц смахивают на девушек. Нам странно даже слышать: солдат в шляпе, ибо у нас шляпой называют того, кто вовсе не способен быть солдатом. Под южным небом наоборот: Шляпа с пером — это солдат.

Гермесы несут фактическую службу и делают черную работу, — Наполеоны прогуливаются по перронам, как сказал бы гоголевский городничий, только для «благоустройства».

К одному из таких кукольных Наполеонов я подошел и спросил, не скажет ли он, кому это стоит памятник на горе против вокзала. Услышав мой вопрос по-французски, жандарм приветливо, по-южному, улыбнулся и сказал, что по-французски не понимает. Я — по-немецки. И опять в ответ молодая улыбка потомка поклонников Аполлона. Я вспомнил, что фашистской Италии враждебны оба языка. Фашисты ни тем, ни другим не хотят отягощать своих уст. Фашисты думают, что недалеко то время, когда на всей земле будет один язык — итальянский.

Пара Наполеонов в вежливом поклоне, почти реверансе показала мне верхушки своих треуголок и один из них сказал:

— Мы говорим, синьор, только по-итальянски.

Вдруг начались неистовые крики. Мне опять мысль: кого-нибудь переехало поездом. Куда-то в сторону бросился. Но крики неслись со

---

[1] Постоялый двор.

всех сторон. Мне не трудно было понять, что началась посадка в поезд и остающиеся начали желать счастливого пути от'езжающим.

Это настолько было коллективно и массово, что мне подумалось, будто все остающиеся гуртом приветствуют всех от'езжающих. Стало быть и меня. Приятно было это одинокому.

На каждом полустанке, чуть ли не у всякой железнодорожной будки, у дома, расположенного при дороге, у каких-то заборов, за которыми открыты виноградники, нашему поезду кричали приветствия. Я чувствовал себя победителем, вернувшимся в страну благодарного мне народа, который с энтузиазмом встречает меня и громкими восторженными приветствиями устилает весь путь моего триумфального шествия в вагоне третьего класса железной дороги.

Мне делаются милы лица тех людей на станциях, которые ничем не заняты, которые никого не встречают, никого не провожают, ничего не ждут, которые просто смотрят. Смотрят и смотрят, дают в некотором роде массаж врачкам. Таких людей неимоверное количество и в моей родной стране. Это — сонмы русских созерцателей, людей, живущих из простого инстинктивного любопытства. Легко понять, почему и мои соотечественники и итальянцы — первоклассные в мире артисты и карманники.

Предаваясь таким размышлениям и сравнениям, я, чорт возьми, и не заметил, как рядом со мною в купе очутился один из тех солдат, которые проверяли паспорт. Сначала я подумал, что он едет до какой-нибудь из ближних станций. Но он все ехал и ехал. Я осмотрел вагон. Было много свободных мест. А он — рядом со мной. На станциях, когда я выходил, то и он выходил.

Конечно, Венеция — не город, а одна сплошная квартира.

Выйдя с вокзала, по привычке я спросил носильщика, где бы взять такси. Носильщик, старик, потомок степенных венецианских аристократов, спокойно ответил, с пренебрежением:

— Здесь не Америка.

И подвел меня к каналу, где к выложенному камнем берегу тихо ласкалась зеленоватая муть. Взглянув на нее, мне захотелось задать вопрос носильщику: много ли в той воде утопленных. Но не успел я, потому что, откуда ни возьмись, бесшумно, как тень, сзади меня подплыла гондола с высокой, как лебединая шея, зубцами вырезанной секирой на носу. Весло гондольера так тихо погружалось в воду, что получался звук поцелуя.

Темно. Вода в канале становилась черной. Гондольер на носу гондолы зажег лампаду. Замигал ее маленький грустный свет, отражаясь в уставшей воде. Пока я входил в гондолу, из глубины розоватых сумерек появился какой-то человек в рабочей блузе и широкополой шляпе с багром в руке. Он ловко зацепил борт лодки и, прежде чем оттолкнуть ее, протянул мне широкополую свою шляпу. Я бросил лиру. Багор оттолкнул гондолу. Западная сторона канала, где зашло солнце, меркла розовеющей темью. Восточная, откуда завтра подымется солнце, завуалилась густой синевой. А там, где был канал, гондольер, молчаливый высокий смуглый тонкий молодой венецианец и я, — там чудесный прозрачный розово-синий мрак. Борьба розовеющих, уходящих струй с надвигающимися синими, борьба молодого румянца с набухающими жилами. Все трепетало в переливчатом свете, словно кто-то закрыл Венецию прозрачной мантией с сине-розовыми отблесками. И от легкого дыхания Адриатического моря эта небесная мантия тихо колыхалась.

Мантия все ниже опускалась над городом, становилось темнее.

В темноте мигали то тут, то там красными огоньками лампадки, такие же, как на нашей гондоле. Это плыли нам навстречу бесшумно другие венецианские челны.

С большого широкого канала мой гондольер свернул в узенький, боковой. За высокими домами стало совсем темно. Но дома, образующие узкую и извилистую водяную улицу, были пусты и старинны. Кое-где между домами виднелся узкий прогал, как ущелье. В нем высилась крутая каменная лестница, ведущая неизвестно куда. Кое-где на таких лестницах можно было различить силуэты влюбленных пар. Он — гондольер или только причальщик гондол, она — бойкая торговка овощами или угольщица или подавальщица дешевого кянти рабочим где-нибудь в зажатом среди полуразвалившихся домов самом дешевом ресторане. На фоне разбитой веками лестницы, при свете тусклой лампочки где-то вверху у угла дома, ощетинившегося старинными камнями, которые стали крошиться, как стариковские зубы, можно было разобрать рваную бахрому ее грязной шали, его лохмотья порванной рубашки на плече и вздернутый козырек кепки или округлость берета с

большим помпоном на макушке. Обняв ее за плечи, укутанные шалью, ухаживатель подставлял тусклому свету лампы распахнутый ворот белой рубахи и пел своей возлюбленной о кабачках Аргентины, об испанских шпагах, о прекрасном Палермо. Среди ущелий дворцовых руин слышался лирический теноровый фальцет.

Волны тихо лизали ненужные теперь каменные ступени заброшенных крылец. В зияющих без стекол окнах опустошенных дворцов не мигало больше света, может быть, два века, или три, или четыре. Разве где-где в первом этаже, у самой воды заметишь трепещущий свет свечи. Покажется сначала, что это привидение убитого дожа в халате и туфлях шествует среди стен своего дома, где так много им было пережито и где, быть может, он кинул на стены, на пышную обстановку в последний раз свой взор перед смертью, зафотографировал все свое теплое и страшное жилище в потухающих зрачках и исчез из числа человеков. Но это только кажется. На самом же деле, попробуй привстать в гондоле, заглянуть в бесстекольное окно, как в глазную впадину черепа, — увидишь, что при свете свечи какие-то люди в беретах и кепках играют в кости. Люди эти — грузчики и гребельщики грузовых барок, а угловая комната дворца, где они сидят, — маленький дешевый кабачок, известный только гондольерам да грузчикам с «Гранде канале».

Водяная улица сделалась совсем узкой. Волны нежились, ластились к почерневшим камням домов. И странно: слепые эти дворцы с четырехугольчыми дырами вместо окон мне вдруг напомнили пустые, заброшенные склады нижегородской ярмарки, в особенности весной, когда разливом Волги и Оки они бывают затоплены и между ними образуются тоже водяные улицы и, говорят, ночью кое-где можно также увидеть мигающий свет в пустом, до половины затопленном складе. При свете свечи там также играют в карты известные нижегородские воры, никогда не снимающие кепок. Там их притоны недосягаемы, пока держится разлив.

Подумал так, и стало жутко.

В этот момент кто-то глухо крикнул на повороте. Мой гондольер ответил таким же глухим выкриком. Бояться нечего: на повороте водяной дороги ехал встречный гондольер и сигнализировал о себе. Мой дал ответный сигнал.

Потом на каждом повороте либо мой гондольер слабо вскрикивал и ему отвечали, либо кто-то за поворотом резал тишину своим голосом, а отвечал мой гондольер, либо, когда встречных не было, глухой голос моего гондольера, давший условный сигнал, оставался без ответа, поглощенный сыростью и темнотой.

Узким каналом выехали мы бесшумно, словно украдкой, на широкий простор морского залива.

Зыбкая водная поверхность распростерлась как чья-то развернутая гигантская ладонь. На ней вдалеке, у самого края, сиял огнями фонариков и разноцветными флажками большой пароход. Оттуда доносились веселые итальянские песни, тонкие звуки скрипок и чуть-чуть уловимый ухом бубен. Может быть, там красивые венецианки плясали тарантеллу.

Оттуда по развернутой ладони Адриатики, как мухи, наевшись сладкого, расползались черные гондолы с мигающими огоньками на носу.

Одна гондола проехала совсем близко около нас. Там сидели двое: грузный мужчина в широкополой шляпе и пышная женщина с высокой прической черных волос.

Он смотрел влево, она вправо. Она едва слышно напевала итальянскую песнь, и ей помогали тихие всплески воды, разрезаемой гондолой. Он ничего не пел, потому что был англичанин и на берегах синей Адриатики выражал свои лучшие чувства лишь вздохами, как в темных аллеях Гайд-парка.

Мой гондольер опять свернул в узенький канал, и тут мы чуть не столкнулись с выезжавшей оттуда гондолой, где веселилась целая компания. Звучала итальянская мандолина и гитара, женщины кидали в воду цветы из полновесных букетов. В темноте губы их краснели, как лучшее бургонское вино.

Гондольер на этой веселой гондоле был такой же спокойный, как и на той, что встретилась с англичанином, как и на моей, одинокой, как на всех, где наемные гондольеры, шоферы водных автомобилей, обслуживали приехавших в Венецию отдохнуть или погулять.

У гондольеров, впрочем, тоже есть песни, но свои, не громкие, мечтательные.

Я вышел из гондолы на ступеньки приютившего меня отеля, который сам приютился на задах дворцов, упирающихся в воду колоннами, как многоногий зверь — лапами.

Случайно удалось мне узнать гондольерскую песню...

Все туристы устремлялись каждый день на площадь Марка, чтоб кормить голубей, глупых и жадных пингвинов Адриатики. Мне не хотелось туда итти. Я отправился маленькими уличными коридорчиками, сплошь забитыми магазинами, магазинчиками, пивными, кафе, просто ларьками с прохладительными мутными напитками и страшно вызывающими жажду крохотными засоленными рыбешками.

Я пошел на Пьяцца ди Риальто.

На углу, у маленького магазина, где продавались бусы, брошки, открытки, серебряные гондолки и разные другие безделушки, стоял праздный человек. Я привык к таким в Италии, их много, они несут, впрочем, некоторую службу, а именно: дают прохожим всевозможные справки и притом с такою любезностью, что по тону его трудно отделаться от впечатления, что это случайный встречный, а не давнишний закадычный друг.

— Как пройти на Пьяцца ди Риальто? — спросил я по-французски.

Уличный бездельник живо встрепенулся, словно увидал родную мать.

— Эээ, синьор, семпер дритто [1].

Я поблагодарил, пошел. Не успел сделать и двух шагов, как чья-то ласковая рука остановила меня за плечо.

И тут же с минуту передо мной заискрились улыбающиеся глаза бездельника.

— Парлято франческо [2].

И не дождавшись ответа.

— Тедеско [3].

Он хотел что-то еще сказать, но я поспешил ответить.

— В таком случае, — сказал он мне по-итальянски, узнав из моих ответов, что я по-итальянски не говорю, — я могу вас проводить и даже рассказать вам о достопримечательностях самого достопримечательного города в мире.

Страшно коверкая итальянские слова, я ответил для оживления беседы, что Флоренция лучше.

— Флоренция — тоже единственный город в мире,—ответил он, — но Флоренция все же город, а это чистый бульон города.

[1] Все время прямо.

[2] Говорите по-французски?

[3] По-немецки.

Он шел рядом со мною, рассказывая про город. Когда мы были совсем недалеко от Пьяцца ли Риальто, он вдруг исчез, как показалось мне, в совсем узенький боковой уличный коридор. Меня заинтересовало его поведение. Я обернулся и тоже — в уличку.

Он был там. Прижимая к проржавленным железным дверям дворца или старого храма хрупкую, едва видимую из-за его спины черноволосую девушку, он ей шептал что-то жаркое на ухо. Почуяв меня, оглянулся и, не смущаясь, махнул мне рукой, сжимавшей его поношенную кепку:

— Простите, синьор, это маленькое интермеццо, сейчас я буду к вашим услугам.

Я пошел своей дорогой.

— Ушла, — бросил мне в ухо досадливо и печально нагнавший меня проводник.

Я промолчал, во-первых, потому, что не мое дело, а во-вторых, потому, что я не говорю по-итальянски.

Сосед мой запел грустную песню.

— Где же Пьяцца ди Риальто? — спросил я.

— Санта Мария! [1] — вскрикнул он: — Мы прошли Пьяцца. Идемте назад. Любовь делает людей рассеянными.

Дойдя до Пьяцца ди Риальто, я попрощался с моим спутником. Он просительно протянул мне руку. Он негромко сказал мне, что происходит из Неаполя. Профессия его — шапошник. Он безработный. Приехал в Венецию и стал гондольером. Работа его здесь обычно начинается с восьми, девяти вечера, продолжается далеко за полночь. А днем он так вот ходит, ищет случайного заработка. — Вторично протянул мне руку. — Он хотел бы уехать отсюда в Югославию, говорят, что там есть заработки для шапошников. Но где взять денег на дорогу? — В третий раз протянул он мне руку и в третий раз она не осталась пустой. Я стал торопливо прощаться с ним, а то этак, чего доброго, мой карман может оказаться пустым.

— Постойте-ка, — остановил меня шапочник. — Я забыл вам сказать про самое главное: можно ли убить человека, если это крайне необходимо?

— Едва ли.

— А вот в Аргентине мой брат играл в кости с солдатом и тот его ножом в грудь. Аве Мария, брат выздоровел. Да и у нас в прошлом году... Однажды вечером мою гондолу нанял американец, с ним очень маленькая смуглая да-

[1] Пресвятая Мария.

ма. Я еще издали заметил, что у маленькой смуглой женщины какая-то особенная греховная походка. Идет, а сама ногами соблазняет. И так, что не только себя, но и всю свою жизнь вместе с напрактикованной честностью швырнул бы ей под ноги. Американец с этой женщиной сели в гондолу. Тут-то у них и пошло. Я не понимал их языка, но видя, как американец раздувает ноздри и гладкие щеки, как сжимает кулаками и сучит ими вкарманах, я понял, что он переживает ревность. Я это отлично понял, я ее прекрасно знаю, лихую ревность. Смуглянка вдруг взвизгнула и ударила американца по лицу так, что у того слетела широкополая панама в воду. Это произошло в тот момент, когда по каналу навстречу нам проезжали длинные грузовые гондолы с овощами для ресторанов. Гондольеры и грузчики, мирно лежавшие на верху брезентом закрытых куч с капустой и морковью, захохотали и хором выкрикнули: «Сакраменто, это настоящая женщина». И едва мы разминовались, как американец, с быстротой лучшего жонглера, на моих глазах, но так быстро, что я даже опомниться не успел, отправил за шляпой в воду смуглянку. Та пискнула, как котенок, и исчезла в черной пучине, скрытая пенистыми кругами встревоженной венецианской воды — она только что начала отвыкать от человеческих жертвоприношений.

Американца поселили не надолго в черно-каменную тюрьму за дворцом дожей. Так что он сам был недалеко от моста, где когда-то люди посылали небу свой последний вздох. Но американец миновал этой участи и в скорости уехал к себе за океан.

А мне как быть?

Вопрос, заключивший страшный и простой рассказ, был так неожидан, что я не понял, к чему он относится.

Гондольер явно был недоволен моим непониманием и приписал это тому, что я кого-то жду на Пьяцца. Мой случайный проводник подвел меня к одному древнему венецианскому дому, но не дворцу, а простому дому какого-нибудь небогатого венецианского торговца, может быть, одного из первых, осмелившихся немного в сторонке, но все же рядом с дворцами, возвести свой дом. Стены дома были блеклы, и штукатурка на углах отвалилась. Но еще заметны были тоненькие витые колонки у окон и двери, выкрашенные в зеленовато-желтый цвет, очень напоминающие колонки Потешного дворца в Кремле. В нижнем этаже помещался самый дешевый, пыльный магазин готового платья. Из низенькой двери его виднелся толстый живот пыльного итальянца, лысого и низкорослого, оставшегося по случаю жары в одной только красной просаленной от времени жилетке.

— В этом доме, пройти через магазин, есть девушки для удовольствия, но только, умоляю вас, не заходите сюда, если придется...

Гондольер неожиданно откланялся и решительно пошел от меня, успев, впрочем, мне бросить, что он с гондолой стоит каждый вечер у отеля «Луна», за площадью св. Марка.

Я пошел без направления и пришел в самую бедную часть Венеции, где жили огородники и огородницы, а также нищие, безработные, старики, больные, инвалиды, калеки — жертвы войны — вообще все те, кто сделались ненужными для жизни, пьющей из чаши удовольствий, и оказавшиеся за городом, на свалке. Человеческий муравейник имеет свои людские отбросы, свой отработанный пар.

Одна молекула такого пара — старик, забывший свой возраст, сидел на ступеньках, где раньше был, вероятно, дом, от которого осталось только крыльцо, сделанное из мраморных плит.

Старик сидел и, щуря от солнца глаза, созерцал мир, мысленно, может быть, прощаясь с ним, как с отходящим кораблем, откуда еще доносится веселый шум уезжающих, стук поварских ножей на нижней палубе на корме, едва различимые звуки рояля в просторной первоклассной каюте и льются потоки света, которые об'емлет постепенно океанская мгла, куда отходит пароход.

Когда я проходил мимо него, он спросил, не художник ли я.

Получив отрицательный ответ, старик недовольно кинул мне по-французски:

— Тогда проходи!

Снисходя к моим удивленным глазам, пояснил:

— Я носильщиком был на вокзале. А потом меня стали рисовать. Надели берет с помпоном. Все называли меня «типом», и разные художники с утра до вечера рисовали, и все вот на этих камнях, и выставляли мои портреты везде. Можете еще и сейчас купить в каждом большом магазине мебели или античных ценностей. Но это дорого: я сам не могу свое изображение купить. Рисовали и деньги давали и кьянти поили, а я только знай посиживай на этих при-

ступках. А вот теперь, как состарился, вот уже который год, хоть бы один — как отрубило. Говорят вышел из моды. Американцы, говорят, не интересуются моим портретом. Теперь у них нашелся какой-то другой «тип», на лице которого так и сияет наша вонючая Венеция. Может, вы нарисуете меня, хоть за лиру, за одну лиру?

У старика задрожала нижняя губа. Пальцы, тонкие и желтые, как макароны, затрепетали и вытянулись за подаянием.

От моего убежища до вокзала мне случилось ехать с тем гондольером, который провожал меня на Пьяцца ди Риальто. Он был сумрачен и не словоохотлив. На прощание подал мне руку и сказал:

— Я все-таки решил по-своему. Мне больше ничего не остается. Вы ее видели?

— Кого?

— Ну, ту девушку, с которой я тогда, идучи с вами, остановился? Она — мои чары, мой изумительный сон, она начало и конец моей жизни. Здесь, как и вообще в мире, у меня никого нет близкого. Или близок всякий тот, с кем я расстаюсь, вот как с вами. Всякий всякому в момент расставания ближе. И сокровенное сказать легче, потому что я уж не вижу и не слышу, как вы будете оглядываться на мое сокровенное. Она, она могла бы быть мне ближе, чем близкий, горячее, чем родная земля, и светлее солнца. Но я живу впроголодь, а она живет голодом. И вчера так дошло, что ей нужно либо выйти на набережную, чтоб за пять лир попасть в руки какого-нибудь матроса, или украсть пачку макарон с лотка на базаре, или уйти из жизни, из мира, который не в состоянии прокормить. Сначала я согласился, чтоб она пошла искать матроса у Пьяцца Санте Марко, где иностранцы кормят ожиревшихся голубей бисквитом. Я думаю, между прочим, синьор, что откормленные голуби в скорости обнаглеют, как ангелы в раю божьем, и однажды расклюют головы гуляющим иностранцам.

Но в ту же минуту я сказал — нет. Нет, а дальше что и сам не знаю. Ей нужно со мной, мне — с ней. Где же найти такую пьяцца, чтобы нас кормили, как голубей. Она бы стирала, мыла полы, а я бы шил шапки. Где же бы это можно бы было? Где же? Сколько я видел путешественников и сколько сам пластал землю, но никто мне не мог указать, и сам я нигде не видал такого места, чтоб там не было, наряду с обыкновенной смертью, смерти от голода. Ах, Мария Титонни, моя Мария Титонни!

Как же мы будем дышать без хлеба?! Нам не хватает хлеба:

Синьор, ветер, который несет меня к ней, сильней моего дыхания!

Гондольер опять быстро отвернулся от меня, не торопясь, но и не задерживаясь прыгнул в гондолу, оттолкнулся тонким веслом и поехал к Гранде канале, развевая свое горе грустной песней.

В немецком городе Мюнхене, в городском саду, где играют дети, я прочитал в газетах, что венецианский суд оправдал одного гондольера, удавившего свою возлюбленную по ее собственной просьбе.

Отправленный в тот же вечер, в одном из узких без окон трактирчиков, сжатых стенами развалившихся дворцов, осколком бутылки вскрыл себе вены и будто бы все время пел:

Под лучом серебряной звезды,
Приди, благоприятный ветер,
Гони к тихой пристани мою ладью...

Наступление густой колонной

М. Чарный

О довоенном уровне говорить невозможно. Его не было. Или он равнялся почти нулю. Само слово «Украина» было под запретом и взято под крепкий жандармский замок.

Украинский язык, культура об'явлены холопским языком, культурой мужиков, искоренять которые являлось благородным делом чиновных цивилизаторов. Только бродили по городам и местечкам бытовые театрики, в которых самым замечательным были «гоп, мои гречаныки» да «малороссийские костюмы».

Украинская книжка редким и конспиративным гостем появлялась иногда из-за кордона. Туман великодержавного шовинизма был так ядовит, что даже такие умы, как Виссарион Белинский, были убеждены, что «литературным языком малороссиян должен быть язык их образованного общества — язык русский».

«Образованное общество» — помещики и чиновники—быстро усвоивали язык господина своего — польский или русский, но масса народная, трудовой люд села и города сотни лет жили изолированно, сохраняя, несмотря на гигантский пресс административного давления, родную речь, не имея с господствующими классами общего языка не только в переносном, и в буквальном смысле слова.

Восстание против помещиков и заводчиков было на Украине восстанием против рабства экономического и против гнета национального. Одновременно революция под лозунгом Интернационала принесла освобождение национальной культуре, зажатой в течение веков железными обручами российского империализма.

Светлая мощь ленинской диалектики не испугалась сложности исторических противоречий. Она проникла в них со всей остротой марксистского анализа, а проникнув, она их разрешает способом, исчерпывающим и единственным. Пролетариат, интернациональный класс, борясь за свое освобождение, несет раскрепощение всему угнетенному человечеству, раскрывает все тюрьмы, разбивает все оковы, в том числе и национальные. К Интернационалу — через свободное развите национальных культур. Через своеобразие национальной культуры все отряды трудящегося человечества — к единой цели. Мировая революция, социалистическая техника, мировое единство социализма приведут к одной культуре, к одному языку коммунистического человечества, но путь к этому — через национальную свободу, через ярчайшее развитие национальных культур, «национальных по форме — социалистических по существу» (Сталин).

Прошло всего 13 лет, — лет, переполненных войнами, борьбой кровавой и разрушительной, как нигде в Союзе, напряжением молодой республики, вырастающей на руинах 18 властей: бело-царских, желто-петлюровских, немецко-вильгельмовских, пилсудчиков, бандитов просто, без цвета и исторического имени.

13 лет принесли перемены, которые ошеломляют врагов и утверждают друзей в великих истинах ленинского слова. Победившая пролетарская революция не только открывает двери национальной культуре. Она не может ограничиться только благожелательностью нейтралитета. Она вмешивается активно, всю мощь своей массовости бросает на то, чтобы помочь, содействовать развитию раскрепощенных культур.

Украинский язык стал государственным языком в Украинской республике,— что может быть естественней? Когда полтавский батрак или днепропетровский рабочий приходит в сельсовет, школу, в суд, подымается на трам-

вайную площадку, заходит по делам в наркомат, он слышит свой язык, который ему близок и понятен, — разве может быть иначе?

Да, иначе быть не должно и не будет. Но осуществить это было не так просто. После сотен лет искусственной руссификации только большевистская воля и сила восставших масс могли привести к тому, что теперь уже почти весь государственный и общественный аппарат украинизирован.

Украинская культура, преданная отечественными господствующими классами и загнанная в подполье царскими колонизаторами, как только оказалась в условиях свободного развития, обнаружила всю многоцветность своих красок, всю богатую силу своих возможностей. Кочующий театр «Наталки-Полтавки» сменился целой сетью театров большого социального значения, подлинной художественности. В городах не менее 30 десятков постоянных украинских театров, 7 театров оперных, театры Юного зрителя. «Тарас Бульба», о котором Белинский писал, что лучшие места этого гоголевского творения «нельзя передать на малороссийское наречие, не опростонародив, так сказать, не омужичив их», использован для оперы, и «язык малороссийский, сделавшийся теперь провинциальным и простонародным наречием», звучит в великолепном киевском театре и звучит отлично. Но киевские и харьковские театры не живут изолированно. Они имеют свои «органы», свое продолжение, или вернее — свое основание в тысячах музыкально-драматических кружков. Таких кружков насчитывается на Украине около 18 тысяч, из них большинство (68%) украинских. Пять лет уже регулярно выходит специальный журнал «Сельский театр» (тираж 5000 экз.), который руководит низовыми кружками и снабжает их репертуаром.

Украинские издательства выпускают тысячи печатных изданий политической, научной, художественной литературы. Только по вопросам искусства выходит не менее двух десятков журналов.

Но ведь господствующие классы боялись не только украинской культуры, они достаточно враждебно относились. и к проникновению культуры в массы вообще. Известно, что наблюдательный царский сановник отметил, что неграмотные мужики значительно спокойнее и лучше относятся к власти, чем отравленные ядом грамоты.

За 4 года, с 1911 по 1915, количество учащихся в школах Украины выросло на 235 тысяч. За пять лет, с 1925 по 1931,—на 1300 тысяч. Теперь в школах Украины учится вдвое больше детей, чем до революции. В Киеве, в котором было не больше 10 тысяч студентов, сейчас 40 вузов с 45 тысячами учащихся в них. В том же Киеве уже юбилейные даты отмечает ВУАН — Всеукраинская академия наук — молодое создание революции, выросшее в огромный научный центр всесоюзного значения. Академия об'единяет 400 научных работников (из них в одном Киеве около 80 академиков), которые работают в областях: истории, литературы, этнографии, языковедения, экономики, техники, археологии, естественных наук. За последнее время особенно развился индустриально-технический сектор.

Это огромное развитие происходит не плавно и безмятежно, не тихо и спокойно, как мечтают мелкобуржуазные филистеры. Национально-культурное строительство проходит в условиях обостренной классовой борьбы. Этот фронт борьбы идет от деревенского куркуля (кулака), поджигающего избу-читальню, до профессора-шовиниста, местного или великодержавного. В последнее время можно отметить даже некоторое единение сил шовинистов туземных и великодержавных, недавних врагов, которые создают «единый фронт» против культуры пролетарской.

Есть немало буржуазных украинских интеллигентов, которые, получив из рук рабочего-освободителя возможность работать в области культуры, думали, что они являются монополистами культуры, и готовились к тому, чтобы потихоньку прибрать к своим рукам этого широкоплечего, сильного, но такого неуклюжего освободителя, усевшись на плечи которого, можно будет устанавливать свои законы, свою идеологию. Советский читатель помнит знаменитый процесс СВУ, процесс, который из судебного превратился в процесс разоблачения мерзости и контрреволюции, в которые скатываются отдельные интеллигентские группировки, когда они начинают противопоставлять себя пролетариату.

Но рабочий пришел хозяином революции, а не только ее исполнителем. Почтенные профессора, оказывается, не поняли элементарной разницы между революциями буржуазной и социалистической. Донбасский пролетарий явился и в Академию наук и поставил четкое требование, ясное задание: на службу социа-

листическому строительству! Контрреволюционные охвостья были отметены, лучшая часть интеллигенции идет с рабочим классом. И когда на торжествах приема шефства Киевом над Донбассом металлист из Сталинщины тов. Шопин сказал: «Дорогі товарищи! Мы прихалы з Донбасу, шоб заэнайомытысь з нашими науковыми силами; перед нами завдання: більше металю, більше вугилля! — академик Заболотный ответил: «мі певні що без вашой допомоги мі не могли б разогнути нашой праци».

Старое представление прежде всего заключалось в том, что украинским на Украине было прежде всего село; города, арбочий класс—преимущественно русские. В этом представлении была известная доля истины, обусловленная сотнями лет колонизаторской политики царизма.

Но старое представление теперь отметается вместе с решительным выкорчевыванием остатков старого наследия в области экономики. Новое заключается прежде всего в том, что за последние годы значительно выросли кадры украинского пролетариата. Тенденции роста рабочего класса на Украине те же, что и во всем Союзе, но здесь этот рост, увеличение общего количества рабочих несут с собой новое качество, рост и укрепление пролетарской базы национально-культурного строительства.

Наша статистика, которая редко, однако, когда заставляет говорить о себе без сожаления, не дает точных, обобщающих цифр, но общие тенденции несомненны: рабочий класс растет в значительной степени за счет украинского села. Отдельные данные могут служить убедительными иллюстрациями к этому положению. В б. Киевском округе, например, общее количество рабочих выросло за последние три года на 68%, количество рабочих-украинцев за то же время выросло на 93,4%.

В Сталинском районе (Донбасс) около 50% рабочих-украинцев; два года тому назад этот процент составлял не больше 40%.

Даже на железных дорогах, где руссификаторская политика проводилась наиболее жестоко, последние годы принесли решительные перемены. На Киевском паровозоремонтном заводе в 1924 году насчитывалось 30% украинцев, теперь — 80%. Правда эти 80% составились не целиком за счет новых рабочих (КПРЗ — один из старейших на Украине заводов, со значительными кадрами старых рабочих). Но это нисколько не меняет общего положения, которое говорит о значительном росте рабочих-украинцев.

Нужно кстати сказать, что рост этот идет вне всякого плана, почти исключительно самотеком (если не считать отдельных мобилизаций, как, например, мобилизация комсомольцев в Донбассе). Между тем, не нужно, казалось бы, слишком долгих разговоров о значении удельного веса национальных пролетарских кадров, чтобы не оставить процесс роста этих кадров на распоряжение свободной игры самотека.

Значительное увеличение украинского пролетариата, разумеется, тотчас же сказалось на всех формах национально-культурной работы. В том же Сталинском районе при общем увеличении за два года (1928-29—1930-31) количества школ на 12%, украинские школы выросли больше чем на 50%. Кроме того, значительно увеличилось количество смешанных русско-украинских школ. В библиотеках Сталинского металлургического завода, совсем недавно, украинских книг было не больше трех процентов. Это было года три назад. Теперь их около 40%. Во всем Сталинском районе сеть партпросвещения украинизирована уже на 35%. На упомянутом уже Киевском паровозоремонтном заводе процент посещений украинских театров за один год вырос с 5 до 30%.

Рост украинского пролетариата дает не только базу, но и сам является огромным толчком для еще более быстрого развития культуры — «национальной по форме и пролетарской по существу».

Культурное шефство Киева над Донбассом, организованное по инициативе донецких пролетариев, является скорее взаимным, обоюдным шефством. При непосредственном участии и влиянии Донбасса киевские научные и культурные учреждения (включая Академию наук) перестраивают свои программы и методы работы, приближаясь к производству и ставя себе практические задачи помощи социалистическому строительству. Пролетарское влияние непосредственно сказывается по всему фронту национальной культуры от ВМАН до «музычных» институтов. Пьеса украинского писателя Микитенко «Кадры» прошла в киевском театре им. Франка уже больше 100 раз, но не менее знаменательно то, что эта пьеса под влиянием критики многочисленных рабочих собраний в процессе постановки подверглась многочисленным изменениям.

Огромные достижения украинского национально-культурного строительства несомненны. Рост культуры и потребностей культуры таков, что во многих местах отдельные работники и целые организации отстают от возрастающих с каждым днем требований, не улавливают того нового, что несет изменение в составе рабочего класса Украины.

В центре пролетарского города Сталино высится и блестит массами стекла новый клуб строителей им. Шевченко. В библиотеке клуба очень нетрудно установить, каков спрос на украинскую литературу. Работники библиотеки отвечают единодушно и уверенно: 80%.

— Ну, а каков же процент украинских книг?

Оказывается, этот процент равняется 30. Явное несоответствие, кричащая диспропорция, которую не ослабить разговорами о том, что на рынке нехватает украинской литературы. В том же Сталино Дворец культуры, который тоже регистрирует огромный спрос среди рабочих на украинскую литературу, сумел обеспечить себя украинской книгой.

Но дело в том, что во всех рабочих библиотеках Сталинского района только 35% украинских книг.

Необходимо отметить почти полное отсутствие статистических данных в отделах народного образования (по крайней мере — именно так обстоит дело в Сталино). Такое отсутствие статистики неизбежно переходит в отсутствие руководства. В Сталино имеются чудовищные анкеты, разосланные культсектором украинского Госплана, которые разворачиваются в большой газетный лист, напоминающий времена анекдотического творчества советских анкето-бюрократов. В это же время на местах и в центре нет элементарных данных о библиотеках, количестве книг, их составе и пр.

Быстрыми темпами растут пролетарские кадры в некоторых нацменьшинств Украины. За три года количество рабочих-евреев выросло в Киеве с 10 до 17 тысяч. На Сталинском металлургическом заводе, где два-три года назад было не больше 100 евреев-пролетариев, сейчас их 900-1000. За этими изменениями также не всегда поспевают местные организации, которым вся политика партии и советской власти предлагает обеспечить каждому национальному меньшинству всестороннее развитие культуры.

При огромных успехах нацкультурного строительства все еще нередки случаи, «когда, — как говорит тов. Скрыпник, — язык школы определяется не столько по ученику, сколько по учителю».

Удельный вес украинских рабочих растет в Донбассе с каждым месяцем, но до сих пор огромные массы пролетариев Донбасса составляют рабочие, приезжающие из областей РСФСР. Эти массы обеспечиваются русской школой и книгой. Только великодержавные шовинисты могут говорить об ущемлении интересов русского меньшинства в Украинской советской республике. Но отдельные недочеты, как и в других областях, имеются и здесь.

Кино, например, в Донбассе украинизировано целиком. Поскольку на экране физиономия, — она понятна «на всех языках». Но надпись пропадает для значительного числа рабочих зрителей Донбасса. Надо к тому же вспомнить, что наши кинофильмы большею частью еще достаточно плохи и свою политическую тенденцию, идеологию, выявляют не столько в кинообразе, сколько в кинотексте. Таким образом, идеологическая сущность картины для, повторяем, значительного числа рабочих зрителей пропадает.

Почему бы не сделать простой вещи: для картин, идущих в Донбассе, давать текст одновременно на двух языках: на украинском и русском. Этот прием очень прост, не вызывает обычно лишних расходов пленки и с успехом применяется некоторыми советскими киноорганизациями в восточных республиках. Но это все детали, которые, разумеется, ни в какой степени не меняют общей линии культурного строительства.

Украинская академия в решительной перестройке. Археология — очень важно, история — еще важней, но ближе к жизни, ближе к нашей борьбе за строительство! Наука для науки ведь такая же реакционная нелепость, как искусство для искусства. Это уясняют себе лучшие представители старого поколения ученых, это входит в плоть и кровь средней генерации более молодых поколений, которые являются уже основной массой работающих научных кадров. Академия работает над проблемами Днепровского бассейна, изыскивает новые материалы для строительства в Донбассе, изучает научные способы электросварки, геологи отыскивают природные богатства, даже математики спустились с высот туманных абстракций и работают на предприятиях.

Академия — вершина, увенчание грандиозного здания культурного строительства, но разве можно измерить процесс культурного роста масс аршином академии?

Киевский паровозоремонтный завод. Старый завод, истрепанный, без единого нового станка, завод, на который центры смотрят слишком пренебрежительно. Завод, который никак не может претендовать на образцовость, примерность, показательность. Средний завод, может быть даже — хуже. На этом заводе работают кружки токарей (42 чел.), слесарные (38 чел.), электромонтеров (20 чел.), электросварщиков (18 чел.), курсы повышения квалификации, курсы выдвиженцев, курсы счетоводов. Кроме того, при заводе техникум (90 чел.), а в городских вузах учится 270 заводских рабочих. Всего обучается около 800 человек. Еще не учтено количество заочников, отдельно существует целая сеть партийного просвещения и не сказано, сколько же всего рабочих на заводе. Всего—3300. Если не каждый второй, то каждый третий рабочий, без различия возраста, учится.

Нужно вникнуть в смысл этих цифр, чтобы понять величие и размах эпохи.

Встает пессимист, неизбежный сомневающийся.

Необходимая поправка. Бесчисленные курсы и кружки часто плохи. Учителей не хватает, учебников тоже. Пособий нет, программы путаны. Начинают учиться 100, кончают 10, и т. д... вы сами знаете.

Верно, знаем. Действительно — часто плохи. Но ведь учатся, чорт возьми! Тратят еще лишние силы и время, строят и переделывают, учатся и переучиваются, но ведь учатся! Огромной массой, миллионами, всей страной!

То, что у нас — на языке резолюций — называется «проблемой кадров», превратилось в огромное движение, в массовый поход за знание, за науку, за технику. На Сталинском металлургическом заводе из 15 000 рабочих разными видами учебы охвачено 5000 человек. На шахте им. Быкова (Донбасс) весь средний комсостав состоит из рабочих, учившихся здесь же, на шахте, и сдававших потом экзамен в Харькове или Сталине.

Этот огромный культурный рост идет тоже в противоречиях, которые туманят глаза людям слабым и неустойчивым. Года полтора тому назад торжественно открывали на Ленинградском шоссе в Москве фабрику-кухню. Новое здание, радующее глаз блеском огромных стекол. Внутри — простор светлых зал, щедрый размах вестибюля, комната-читальня, убранная зеленью, длинные балконы, готовящие отдых и спокойствие в плетеном кресле. 12 000 обедов отпускала фабрика-кухня, и тысячи людей приезжали иногда из отдаленных уголков Москвы, чтобы посидеть час в стильном доме на Ленинградском шоссе.

Сейчас постороннему человеку ехать туда не стоит. Вход открыт только для прикрепленных. Потребность в общественном питании настолько возросла, что понадобились ограничительные меры. Фабрика-кухня отпускает 36 000 обедов, в три раза больше своей нормы. Дело организовано не плохо. Рабочие приходят в определенный час целыми заводскими сменами, обед продолжается 16-20 минут и начинается снова для другой смены. Рассчитана каждая минута. Нет ни очередей, ни толкотни. Но на вешалках просторного вестибюля сиротливо болтаются номерки, а комната отдыха временно не работает. Обедающие идут в залы в пальто и галошах, потому что раздеваться и одеваться — это отняло бы слишком много времени и неизбежно сократило бы пропускную способность столовых.

Гражданин пессимист, который мне нужен как тень, которая подчеркивает свет, снова подымает голос и роняет тяжелые, вялые слова:

— Ну вот видите... Где же пальмы? Где культурные удобства? Где движение вперед?

Гражданин пессимист не хочет запомнить, что не 12 тысяч человек бывают теперь на фабрике-кухне, а 36 тысяч. Мы создали прекрасное, удобное помещение для 12 тысяч. Но потребности обгоняют рост. Следующий шаг — 36 тысяч с сокращенными удобствами. Следующий шаг—36 тысяч с вестибюлем, с комнатами для отдыха. Разве это не ясно? Такова часто диалектика нашего развития. Наш прогресс в том, что в своем движении по спирали вперед и вверх мы с каждым кругом охватываем все более широкие массы. Мы ведем наступление на культуру широким фронтом, густой колонной. Этот способ современной военной техникой, кажется, осужден, но в области культуры он дает гигантские результаты. Меняется весь быт, весь культурный облик страны. В шахтерских поселках совсем недавно самым обычным явлением были пьяные драки, кровавая поножовщина. Уже в революционные годы после религиозных праздников милиция с под-

водами об'езжала поселки, собирая полутрупы зело упившихся людей.

А. Куприн, бывший российский писатель, а ныне белогвардейский эмигрант, недавно написал в парижской газете «Возрождение» статью, в которой, между прочим, обменялся со своими читателями несколькими ценными мыслями о России и... водке. «Когда в начале большой войны, — пишет Куприн, — была повсюду запрещена водка, то меня скорбь обуяла». «Нет! Погибнет Россия без водки. Одно дело — бессмысленное и вредное пьянство, но совсем другое — стакан водки, выпитый в нужное время и согревший тело и душу человека».

Советские шахтеры потому ли, что им не дорога Россия, или по какой другой причине, но явно предпочитают теперь другие способы согревания души и тела. О таком пьянстве, которое было когда-то, остается только воспоминание стариков.

Старики Сталинского района могут кстати собраться для воспоминаний в «комнате стариков» Дворца культуры им. Ленина, выстроенного года два тому назад. В комнате мягкие диваны и кресла, картины, свет, радионаушники. Шахтерской молодежи нет нужды согреваться по купринскому способу, потому что физкультурные залы достаточно согревают тело, а «душа» насыщена кружками и кино, лекциями и театрами, общественной работой, которая охватывает огромный процент молодежи.

Культурное преобразование страны особенно ярко заметно именно в республиках угнетенных ранее народов, — там гнет был двойной. Национально-культурное строительство интернационального пролетариата особенно убедительно там, где рядом нацменьшинства живут в условиях капиталистического господства. Рядом с Советской Украиной — Украина Западная, находящаяся под управлением польских цивилизаторов. Как раз недавно в нашей и мировой печати был опубликован запрос украинской (буржуазной) фракции польского сената по поводу знаменитой пацификации.

«15 октября в деревню Чижиков прибыл II эскадрон 14 уланского полка во главе с ротмистром Тадеушем Вальковским. Разрушены дом-читальня «Просвита» и кооператив».

«12 октября произошел полицейский обыск в д. Глуховичах... местная читальня разорена...»

«В деревне Городиславичи уланы разорили читальню «Просвиту», уничтожили все учреждения, книжки, картины и выбили все окна...»

«Читальни и кооперативы разгромлены...», читальни разорены...».

«Особенно был избит Романишин Иван, библиотекарь читальни «Просвита» (село Гайс, возле Львова), которого несколько раз обливали...».

Жуткое однообразие. Разгром библиотек и читален, издевательские пытки, избиения культурных украинских работников. Запрос приводит сотни фактов, десятки дат и адресов.

Политика удушения украинской культуры ведется цинично и последовательно. В 1922 году на Западной Украине было 2437 украинских народных школ, в 1927/28 году осталось только 744, а теперь и еще меньше. Впрочем, для справедливости необходимо отметить, что существует еще особая система школ смешанных, польско-украинских. Был даже специальный циркуляр министерства просвещения, который раз'яснял, что в смешанных школах разрешается преподавать на украинском языке... рисование и гимнастику.

Обе Украины — Советская и Западная — рядом. Их разделяют только условные пограничные столбы. С Запада глядят на Восток и... бегут через границу. Бегут не только рабочие и крестьяне, бегут лучшие представители украинской интеллигенции. В Советской Украине создались целые колонии эмигрантов с Запада. Приезжают молодые инженеры, химики, математики, актеры и профессора-академики. Они уходят здесь с головой в работу, вертят заводские колеса, составляют формулы, ищут и творят — в радостном сознании, что, неся на себе, как весь советский рабочий класс, нелегкий груз походной амуниции, они являются солдатами той великой социалистической армии, которая наступает густой колонной.

Две повести

Борис Анибал

Памяти А. С. П.

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ: О ПОДКОВНОМ ЗАВОДЕ

1

По улицам свистал жестокий ледяной ветер, сметая с тротуаров сухой снег. Колеса трамваев визжали на закругленьях, извозчичьи лошаденки были белы и мохнаты от инея. Извозчики, хлопая рукавицами и топая валенками, бегали кругом санок. Красные лица прохожих деревянели от ветра. Термометр показывал — 31° С.

В этот студеный декабрьский день 1922 года в правлении мне дали командировку на подковный завод. Председатель правления, подпирая головой потолок своего кабинета, стоя говорил:

— Работы там по горло хватит. Одним словом, — он стукнул кулаком по столу, и медные крышки на чернильницах подпрыгнули, чтобы через два месяца завод был пущен.

За покосившимися деревянными домиками переулка завода не было видно. Протоптанная в сугробах кривая тропка вела через двор к низкому одноэтажному, осевшему в снегах кирпичному корпусу завода с большими разбитыми окнами в частых переплетах.

Внутри было сумрачно и холодно, пахло нефтью и дымом, через раскрытую крышу ветер мел снег, холодной пылью ложившийся на черные, расставленные в беспорядке станки.

Все было — холод, запустение и смерть; только посередине завода, у большой ржавой железной печки с коленчатой трубой, выведенной в разбитое окно, копошился человек.

— А вам чего?—поднял он голову от печки.

Его щеки и нос были вымазаны сажей, в углу широкого, с тонкими губами рта висела потухшая козья ножка, светлые глаза хитро смотрели из-под сощуренных век, рыжие вихры торчали из-под шапки.

— Директора вам?.. Директора нет, его кошки склевали, — сказал он и засмеялся. — Мы тут одни регулируем, я вот заместо форсунки. [1] Так меня и прозвали Форсункой.

Тут он взял грязное ведерко с нефтью и ловко выплеснул нефть в печку. Печь загудела, огненный вихрь промчался по трубе, выкинув длинный язык пламени на улицу.

— Вот и жарко стало, — сказал он, — а через четверть часа опять от мороза дохнуть будем. Так и живем. Тут у нас все: и завод, и контора.

Неожиданно из-под крыши к печке спрыгнул маленький кривоногий человечек, но прежде, чем коснуться земли, он, как обезьяна, повис, раскачиваясь на одной руке, на трансмиссионном валу. Его худое лицо с длинным крючковатым носом и широкими, как нарисованными бровями было безобразно. Он был похож на балаганного петрушку.

— Ну, — сказал он, присаживаясь на корточки к печке, — шкив я поставил, но окончательно замерз, так за пальцы и хватает...—И он протянул к огню маленькие, с кривыми, цепкими пальцами, руки. — А ну-ка, Форсунка, поддай!

Печь снова задрожала и загудела от выплеснутой нефти, стремясь подпрыгнуть и улететь вместе с дымом и пламенем из этого холода.

— Вы что, к директору, что ли? — спросил меня маленький человечек. — Директор у нас все время в бегах — то за деньгами, то за материалами, то за оборудованием, а мы накачи-

---

[1] Форсунка — прибор для разбрызгивания сжигаемой нефти, мельчайшие брызги которой, выбрасываемые форсункой, как пульверизатором, мгновенно воспламеняются и сгорают, давая высокую температуру.

ваем печку нефтью и греемся. Приходите завтра, чего вам мерзнуть... Уж поздно, все одно никого больше не будет.

Шел вечер. На дворе попрежнему свистал ветер, заметая снежной пылью разбитые окна тонувшего в сугробах завода.

3

Назавтра с утра я был на месте. Стоял такой же мороз, но на заводе работали. На крыше грохали молотки кровельщиков, у станков возились две черные фигуры, маленький человечек разбирал мотор, а Форсунка, сидя у печки, ковырял шилом приводной ремень.

Директор в ватном пальто с поднятым воротником, потирая красные руки без перчаток, расхаживал между станками; за ним следом, наступая ему на пятки, ходил агент, круглый, как еж, с седыми усами и румяной круглой рожей.

Я сел за работу за стол, что стоял около печки. С одного бока меня обдавало жаром, с другого — изначальным холодом.

К обеду я знал всех: греясь у печки, со всеми осваиваешься быстро.

Похожий на ежа агент, Лука Лукич Белохвостиков, кряхтя присаживался к огню на корточки и говорил:

— Вы думаете, у них что выйдет, завод через два месяца пустят? Ничего у них не выйдет! Да разве можно? Нигде ничего нету, и достать нельзя: ни тебе железа, ни гвоздя, ни досок, один смех.

Старый кривой подковный мастер Шухов, поглядывая на него, как циклоп, одним красным глазом, возражал:

— А я тебе говорю — выйдет. Станки мы поставим, а Александр Семенов — моторы.

— Ну что ж, что поставите, а железа нету, сверлильных станков нету... Пальцем дырки-то сверлить придется... Плюнуть на все это дело да разойтись.

— Я хочу ни за, ни против, а в среднем скажу,—упрямо говорил Шухов: — должны мы пустить первую серию через два месяца? Должны! А если так, то и пустим, и будь здоров.

Достать что сейчас—действительно трудно. Ведь сколько лет мы без ничего сидели... ну, а все же можно. Драться будем, а все достанем. Ты лучше и не ной.

Казалось, что действительно через два месяца завода не пустить: было так много работы, а работников так мало, и так ничтожны казались их усилия, а сделанное за день — незаметным.

Директор, товарищ Пятинос, расхаживая по заводу, чертыхался. Он был молодой, беспартийный и в подковном деле ничего не смыслил. Им руководил заведующий одним из отделов правления, старый специалист по этому производству, но сам Пятинос был толковый малый, вникал в дело и действовал напористо.

Шухов молча слушал его быструю прерывистую речь, а когда тот, чертыхнувшись в последний раз, замолкал, он не торопясь, корявым языком начинал излагать свои проекты, являвшиеся всегда тем кругом, за который можно было ухватиться и выплыть на трудном месте.

Шухов был старый рабочий, партиец, невысокого роста, коренастый и сутуловатый, с большими ступнями и необычайно широкими ладонями, которыми он, казалось, мог сразу сгрести целого человека. Правый глаз он потерял на работе, опустившееся веко было неподвижно, левый глаз смотрел строго и внимательно.

Основная работа — ремонт и установка станков — находилась в его руках. Он и его помощник целый день возились с молотками, ключами, домкратом и блоком. Почти все станки, за исключением самых тяжелых, были сорваны с оснований и разбросаны в беспорядке по всему заводу, как будто они сами сошли со своих мест, двинулись и, расставив станины, как ноги, остановились в раздумьи в самом начале пути.

Работа подвигалась медленно, ремонт был сложен и труден, нужных материалов не хватало, установка затягивалась, а время шло. Мы двигались с гирями на ногах.

4

Начался январь, но морозы продолжались, и мы попрежнему не могли преодолеть холода. Попрежнему пылала печь, и, сидя за столом около нее, я изнывал от жары и стужи: С утра на печке разогревали чернила: за ночь они превращались в фиолетовую льдинку.

Сейчас я пишу об этом в деревне. Рыжее солнце играет в зеленой траве, шумят высокие липы, поют петухи, и завод и прожитое на нем, кажется, ушли в столетия. Но у меня болят руки, и перо двигается не так гладко, как бы хотелось. Кисти моих рук со вздутыми суставами похожи на руки старого боксера. И перед непогодой, когда ревматизм просыпает-

ся, я вспоминаю подковный завод, его изначальный холод, замораживающий один бок, и жар сгорающей нефти, разогревающий, почти до кипения, другой.

Маленький человечек — электромонтер, Александр Семеныч Собакин возился с установкой моторов и с проводкой электросети, по обезьяньи лазал под крышу и на станки, висел на трансмиссиях, усаживался верхом на черные, похожие на минометы моторы.

Он не унывал и на все сомнения, пустим ли мы к сроку или нет первую серию[1], неизменно отвечал:

— Ну их всех к чорту! Конечно, пустим.

— Да ведь холодно же, — возражал Лука Лукич от печки.

— Ничего, ты-то не замерзнешь, у тебя жиру больше всех.

Работая в одной кожаной тужурке на рыбьем меху, он простудился, кашлял и дергал своим длинным, кривым носом.

Директор, заглянув на завод рано утром, возвращался только к вечеру. За ним обязательно ехала подвода с понурым, обмотанным шарфом, возчиком и заиндевевшей лошадью, а на подводе — или станок, или железо, или литье.

Агент, Лука Лукич, как и директор, целый день рыскал по городу и к вечеру привозил доски, гвозди, кирпич, цемент и, пока разгружали подводы, с беспокойством осведомлялся:

— А что, Пятинос-то наш привез сегодня что, ай нет?

Между ними само собой, без всякого уговора, возникло своеобразное соревнование: кто больше и скорей достанет.

Ворча на то, что завода не пустить, что ничего из нужного оборудования и материалов достать нельзя, ругая большевиков, выдумывающих такие глупости, как пуск завода лютой зимой, он, с недовольным и раздосадованным видом, каждый вечер приезжал на тяжело нагруженной подводе и, отворяя визжащие двери завода, кричал нам:

— Это разве дело? Целый день досок искал. Один смех!

Как большинство старых людей, он ворчал на новые порядки, на тридцати- и сорокалетних мальчишек, сидящих в правлении, и ему казалось, что все делается не так, как нужно, и он тщетно пытался внести в нашу работу необходимую, на его взгляд, постепенность и последовательность. Он никак не мог согласиться с тем, что все делалось одновременно.

— Ну, хоть бы крышу сначала покрыли, а потом станки ставить, — говорил он, фыркая в усы, — ведь это один смех. Никакого порядка.

— Чудак человек, — возражал Шухов, — да ведь эдак мы недели бы три потеряли.

— Ну, и что ж, велико ли дело три недели? Зато порядок...

— Там три, да здесь три — полтора месяца. А ты слыхал, когда нам первую серию пустить надо?

— Семь раз слыхал! — отмахивался от него Лука Лукич.

Но он сам, незаметно для себя, втягивался в систему нашей работы и, подгоняемый ею, стремясь не уронить своего достоинства, как старого работника подковного дела, работал умело и хорошо. Это ему было тем более легко, что он любил дело и имел к нему задор. Вечером, перед закрытием завода, кончая свои постоянные споры, Лука Лукич обычно говорил:

— Ну, ладно. Погорячились, и будет! Пойду птиц кормить.

Лука Лукич жил бобылем и разводил чижей.

6

Когда происходящее видишь очень близко или сам участвуешь в нем, мелочи заслоняют главное, изменения, совершающиеся на глазах, не замечаются, к ним привыкаешь с самого начала и не ощущаешь их как изменения.

Так и нам, работавшим на заводе, казалось, что из-за нехватки гвоздей и проволоки работа стоит, между тем постепенно, несмотря на все трудности, она налаживалась и развертывалась все больше и больше. То, что вначале представлялось невозможным, осуществилось. Завод оживал.

Стук молотков, шарканье рубанков, хрипение пил, жесткий скрежет напильников и громовый грохот железа стояли в сумрачном корпусе завода.

Мороз сдал. Площадка у печки пустела, и только в обеденный перерыв снова пылала нефть, освещая красным мятущимся пламенем чумазые лица с белыми зубами, впившимися в большие краюхи черного хлеба.

Контору наконец перевели в дворовый флигель, отвоевав у домкома маленькую комнатку с холодным камином и косым полом, от старости вставшим дыбом.

[1] Серия — совокупность горна и станков (аггрегат), которые должен пройти брусок железа, чтобы превратиться в подкову.

Собакин кончил установку моторов, кончал проводку световой линии и до набора полного штата работал за табельщика и помогал Луке Лукичу в поисках инструментов и материалов.

Маленький шустрый и смышленый, он был мастер на все руки. Раскачивающейся и заплетающейся походкой он быстро ходил по городу, разыскивая сверла и метчики[1], взобравшись обезьяной на фрикционный пресс[2], тянул под крышей белый световой шнур, забегал в контору с табелем, кашлял и шутил, вытирая платком длинный кривой нос.

Забегая в контору время от времени, он подбрасывал мне записочки. На них было написано только два слова: «Я иду», а под ними нарисован крохотный растопыренный человечек с поднявшимися дыбом волосами, около которого стоял другой, с большущими ножницами. Это значило: «Я иду стричься»; а когда в руках у него вместо ножниц была бритва, это значило: «Я иду бриться».

6

Наступил февраль. Работали, дорожа каждой минутой. Директор торопил Шухова с установкой и, стоя около него, от нетерпения тряс ногой. Шухов, возясь около станков, как будто его не видел и был нем.

На дворе шумели вьюги. Выходя после работы, мы погружались в огромный холодный снежный душ.

До пуска оставалось дней десять, когда вечером, в заводе, Шухов нехотя подошел к директору и, мигая красным от усталости и напряжения глазом, недовольно сказал:

— Ну вот, товарищ Пятинос, вы все торопились, а мы пошабашили. Станки поставлены. Завтра можно пробовать.

Его недовольный тон относился к торопливости директора, как будто тот знал лучше его, когда можно кончить работу. Внутренне Шухов был рад. Отвернувшись от директора и оглянув выстроившиеся, как по линейке, станки, он улыбнулся.

Это был тот конец, которого не только директор, а все ждали с таким нетерпением. Форсунка уже тащил стремянку, с его плеча свисал, волочась по земляному полу, широкий новый приводной ремень.

[1] Метчик—сверло для нарезки винтового хода на внутренней поверхности круглых отверстий.

[2] См. ниже — бухтовка.

— Вот,— сказал он, влезая на лестницу и хитро подмигивая, — из такого ремешка, как обработается, замечательные подметки выйдут. Прямо сносу не будет. И резать-то не вдоль, а поперек можно. Ширина-то, смотри, какая! Это не ремень, а целый капитал.

— Ты, поди, уж себе вырезал, не ждал, пока обработается, — сказал Собакин.

Форсунка засмеялся и полез выше. Его рыжие вихры торчали из-под шапки, светлые глаза бегали по сторонам.

На дворе, громыхая, сгружали подковное железо — длинные дрожащие полосы с прямоугольным сечением. Лука Лукич, помогая возчикам, ворчал:

— Ай станки поставили? Вот невероятный факт! А я три дня железа искал, один смех, ну достал, а вот Пятинос, тот не мог, даром что директор.

В тот же вечер на биржу полетело требование на рабочих.

7

С их приходом на заводе сразу стало людно и шумно. Они беспорядочно стояли у станков, не зная за что приниматься, оглядываясь друг на друга и посмеиваясь. Между ними ходил сердитый Шухов.

— Чему смеетесь, — говорил он, — да рот разеваете? Смотреть надо, а не смеяться. Переломаете станки — сами тогда и чините. Вот, смотри, вальцовка... Вот как с ней действовать надо... Видал? А ну-ка, сам попробуй!

И он целый день водил рабочих от станка к станку, об'яснял, заставлял работать, сердился.

Смотри, смотри, — кричал Шухов, — аккуратней! Ты думаешь, он железный, так и ничего! Нет, врешь. Станок — он нежный, с ним надо умеючи.

Лука Лукич, посматривая на это обучение, замечал:

Молодежь-то какая теперь пошла, такая бестолковая...

— Ну, это ты врешь, — возражал Шухов. Не смотри, что я ругаюсь. Это для порядку надо. Ребята хорошие. Сам-то молодой, поди, куда бестолковей был. Забыл только.

Лука Лукич обиженно фыркал в усы и уходил.

В раскрытые настежь двери таскали гнущиеся и дрожащие полосы подковного железа, пляшущие на плечах, длинные тонкие доски, вкатывали бочки с цементом, носили кирпич.

На дворе, в замурованные в землю баки сливали из бочек привезенную нефть, и она, зеленовато-коричневая и блестящая, густой упругой струей стекала в жерла баков, пятная свежий снег. По крыше, громыхая, бегали кровельщики, накладывая последние листы; качаясь на блоке, ползла рама под крышу, в которой столяры заканчивали стеклянный фонарь; пилили пилы и стучали молотки, шумел мотор, гремело сброшенное на землю железо.

Директор, расстегнув пальто и сбив на затылок шапку, бегал по заводу, останавливаясь около каждого, смотря, что тот делает, и, еще подвинув шапку на затылок, бежал дальше. Собакин, как обезьяна, перебирался с трансмиссии на трансмиссию, проверяя работу моторов. Форсунка натягивал последние ремни, держа в зубах шило. Лука Лукич, сидя на подводе и болтая ногами, кричал со двора:

— Так мы за железом, еще, может, литье захватим! Слышите, ай нет?

Пятинос показывался на минуту в раскрытых дверях, махал рукой, говорил:

— Ладно, поехали! — и снова скрывался в заводе.

Суетня, стук и грохот с утра до вечера оживляли сумрачный, прокопченный корпус. Все готовились к пуску и ждали его, считая дни.

8

За неделю до пуска Пятинос с утра, не заходя на завод, со сметами и чертежами прошел в контору. Вслед за ним сейчас же явился сторож, старый усатый солдат.

— Так что, товарищ директор, — сказал он, снимая мохнатую шапку, — нынче в ночь у нас все ремни жулики посрезали.

— Как срезали? Какие ремни?

— Так что приводные, все до единого уперли.

— Врешь ты! — сказал директор и побледнел.

— Никак нет, фактически уперли.

— Ну, смотри, — закричал Пятинос, выбегая, — ты у меня под суд пойдешь!..

— Пломбы-то на замках целы,—сказал сторож, пропуская в дверях директора.

Ремни действительно все были срезаны, и станки без них стояли одиноко. Из крыши, середина которой была застеклена, воры вытащили одну раму. С края зиявшего в крыше отверстия свешивалась в завод веревка, в пустом квадрате серело низкое февральское небо. Следы с крыши пересекали снежный пустырь за заводом и пропадали у высокого забора, выходившего в глухой тупик. Замки и пломбы, на самом деле, все были в целости.

Кража ремней перед самым пуском завода была как удар гирей по голове. К работе никто не приступал, все толпились у свешивавшейся с крыши веревки, подробно обсуждая происшедшее.

— Езжайте-ка вы, Александр Семеныч, за агентом, да не трогайте тут ничего, — сказал директор и, сгорбившись, пошел в контору.

Часа через два, когда все уже потеряли терпенье, на извозчике под'ехал Александр Семеныч с агентом. В ногах у них сидел молодой темнокоричневый, с подпалинами и мокрым носом, пес.

Агент — белобрысый паренек в серой кепке и желтых крагах — с серьезным и печальным видом подошел к директору и долго говорил с ним о чем-то, запершись в конторе. К ним вызвали сторожа. Сторож вернулся потный и красный. Потом, прицепив к ошейнику плетеный ремень, агент повел собаку в завод. Собака, по очереди поджимая передние лапы, жалась к его ногам и шла неохотно. Из завода он вышел скоро, по лестнице ловко перелез через забор, по лестнице перевел собаку и долго водил ее по снежному пустырю. Собака нюхала следы, повизгивала и рвалась вперед.

После этого всех работавших на заводе выстроили в одну шеренгу, агент подвел к шеренге собаку и сказал:

— Ищи!

Собака, поджав обрубок хвоста, побежала вдоль выстроившихся. Все замерли. Она принюхивалась, припадая к земле. Вдруг она остановилась, подняла переднюю ногу и залаяла на нашего профделегата, слесаря Иванова.

Форсунка фыркнул, за ним засмеялись все. Агент нахмурился.

— Где вы, гражданин, были в прошлую ночь? — спросил он, подходя к Иванову.

— Как где? Где и всегда. Спал.

— Чем вы можете это доказать?

— А я вон у Сергеева квартирую, что на том конце стоит. Он скажет.

— Действительно спал, — сказал выходя Сергеев. — Вчера к нему баба из деревни приехала. Сходили это они в баню, погоняли чаишку и спать полегли. А не через меня ему ходу нет, я в проходной сплю.

— Ладно,—сказа агент, — проверим,—взял собаку за ошейник и снова пошел к директору.

Видно было, что он еще ничего не понимал в этом деле и только, по молодости, напускал на себя важность и серьезность.

После его от'езда все разбрелись по заводу. Работа не клеилась и замирала. В правление летели отчаянные телефонограммы:

К вечеру директор вызвал в контору Шухова, Луку Лукича и Александра Семеныча.

— Вот что, — сказал он, ерзая на стуле, — завод надо пускать в срок. Сворованные ремни к этому времени, конечно, не найдут, значит надо достать новые.

— Сумлеваюсь я,—возразил Лука Лукич,— чтобы в неделю и достать, ведь это один смех.

— Достать во что бы то ни стало, — сказал директор, вскакивая. Я сам буду искать, ищите и вы. Шухову нельзя. Завод не на кого оставить. А вы ищите. Хоть по одному ремню скупайте. Где хотите, старые или новые — все равно. Лишь бы годные были.

— Вот те и пустили заводик!—сказал Лука Лукич, выходя из конторы и надевая шапку,— Говорил я вам...

— Ты не охай, Лука Лукич, — усмехнулся Шухов, — а доставай, не то мы тебя заместо ремня натянем.

9

Поиски шли безуспешно. Вечером на завод с разных концов Москвы приезжали злые и озабоченные Лука Лукич и Собакин.

— Хитер ты больно, — говорил Лука Лукич Шухову,—попробуй сам... кривой чорт! — добавлял он потихоньку. — Вон директор-то о пяти носах, да и то ничего сделать не может, а я человек обыкновенный.

Собакин кашлял и чертыхался. Директор молча ходил между станками.

Попрежнему стучали молотки, грохотало железо и пели напильники в руках слесарей, но они звучали неуверенно, и рабочие ходили за Шуховым молча. Станки не действовали. Обучая их, он забывался, нажимал педаль, но, опомнившись, срывал с нее свою большую ступню.

— Мертвый он, станок-то, — говорил Шухов, — хоть веревки на шкивы натягивай.

От агента не было никаких известий, как будто он и не приезжал на завод.

— Вот ты, Форсунка,— говорил Собакин,— насчет подметок из приводных ремней соображал. Теперь, наверно, подметок из них нарезали — нет числа. Подвезло кому-то.

Форсунка смеялся и отводил светлоголубые, бесстыжие глаза.

Пуск завода, очевидно, задерживался. Так прошел день, другой, третий, так же проходил и последний день перед пуском. Возвещая окончание работы, сторож меланхолически дергал веревку колокола, когда во двор в'ехала подвода. На подводе, боком, сидел Лука Лукич, болтая ногами. Он выпячивал грудь и надувал усы.

— Играй камаринского, — закричал он сторожу, — довольно панихиды-то отзванивать!

На подводе под брезентом лежали ремни.

Форсунка уже бежал к подводе, щупая в кармане нож и шило. Рабочие высыпали на двор. Лука Лукич чувствовал себя героем.

— Ведь это один смех, — говорил он, расхаживая кругом подводы, — пять дней ремня искал! А раньше—выложи денежки и пожалуйте, хоть сразу на два завода.

— Да ты где достал-то? — спросил Шухов.

— Где достал, там нет. Не беспокойся, не у частника, счета-то вот они, — и он хлопнул себя по карману.

Когда все ремни сняли, на пустой подводе оказалась маленькая клетка с желто-зеленым чижиком. Он сидел тихо, нахохлив черный хохолок.

— Чиж-то, пожалуй, замерзнет, — забеспокоился Лука Лукич, — тащи его покуда в завод... Это я по дороге у мальца купил за целковый вместе с садком. Чиж замечательный!

Шухов своей огромной кистью сгреб клетку с подводы и осторожно понес ее в завод. Лука Лукич, оглядываясь на него, рассчитывался с возчиком.

Не расходились до ночи. Натягивали ремни, пробовали станки. Шумела печь, тяжело гремели моторы, лязгали станки. Теперь не хватало только одного ремня, на бухтовку [1], самого широкого. Это отравляло радость всех, а в особенности Луки Лукича. Без бухтовки процесс производства оставался незавершенным.

— Ничего,—сказал директор,—отвечаю я,— будем пускать без бухтовки. Завтра срок.

И в правление полетела телефонограмма о пуске завода завтра, в девять часов.

---

[1] Бухтовака—последний в серии пресс, прессующий с силою нескольких тонн готовую вчерне подкову.

10

На следующий день с самого раннего утра, задолго до обычного начала работы, на заводе началась суетня. Шухов бегал из завода в контору, директор — из конторы в завод и, обежав все станки, постояв у пылающего горна, окинув пол, стены и крышу внимательным взглядом, возвращался обратно.

Лука Лукич явился в полном параде: в новых сапогах, на которых сияли новые резиновые галоши. Он был побрит и подстрижен, а седые усы удивительно завиты и приглажены. Лука Лукич расхаживал, на все посматривая и многозначительно покашливая. Обойдя завод и двор, он кликнул сторожа и сказал:

— Что ж ты, раззява! Начальство приедет, а у тебя что? Возьми метлу да подмети!

Шухов, пробегая в контору и увидев великолепие Луки Лукича, остановился:

— Куда это ты вырядился-то? — спросил он подозрительно, буравя его одним глазом.

Лука Лукич несколько смутился.

— Как куда? — сказал он. — Завод сегодня пускаем, поди, угощенье какое потом будет...

— Держи карман шире! — засмеялся Шухов. — После работы собранье будет, а об угощении забудь и думать.

Лука Лукич грустно смотрел на свои новые сапоги.

Собакин не приходил. За ним послали, но дома не нашли. Шухов ругался и сам пустил моторы. Время шло, и суетня усиливалась.

— Вона он! — неожиданно закричал сторож, бросая метлу.

В маленькую калитку, боком, пролезал Собакин, сгибаясь под тяжестью свернутого в блестящий круг коричневого ремня.

— Вот вам, черти! — сказал он, сбрасывая круг на землю, и закашлялся. — Пер, пер, чуть не сдох.

По его кривому носу бежали крупные капли пота. Он дышал тяжело и часто.

— Ай, Семеныч, вот это я понимаю! Бухтовка-то у нас заработает, первую серию целиком пустим! — кричал Шухов, хлопая его по плечу.

Лука Лукич был обескуражен.

— Где ж ты это? — спрашивал он. — А я обыскался, а не нашел. Ведь это один смех.

Моторы остановили, и Форсунка уже сшивал ремень, стоя на лестнице и заложив сшивки за ухо.

Не успели его натянуть, как сторож распахнул ворота перед длинным черным автомобилем, из-под колес которого летели брызги мокрого снега. Из автомобиля вышли трое: высокий и широко шагающий предправления, за ним суетливо выскочили два человека в очках и с портфелями. Директор, с'ежившись, пошел к ним навстречу. Лука Лукич снял шапку.

— Ну, смотри, ребята! Все по местам. Держи ухо востро. Начинай дружно! — закричал Шухов, когда они вошли в завод, и махнул своей громадной рукой.

Собакин щелкнул рубильником. Работа пошла.

В шумящем белым пламенем горне краснели ровные железные бруски, накусанные механическими ножницами из длинных дрожащих полос еще холодного железа.

Розовый мерцающий и жаркий брусок Форсунка, блестя белками и сияя рыжими космами, хватал длинными железными щипцами и бросал на маленький железный столик у вальцовки.

Рабочие стояли у станков с такими же щипцами. Со столика на станок, со станка на столик раскаленный брусок шел по всей серии, мгновенно меняя свою форму и из бруска превращаясь в подкову.

Шум горна и моторов, грохот раскаленных брусков о железные столики, лязг и скрежет станков, давящих и сгибающих мягкий металл, глухие удары бухтовки, тонкий визг сверл и метчиков, звон падающих подков и выплюнутых ножницами брусков вырастали в ужасный джаз-банд, которым дирижировал Шухов, перебегая от одного станка к другому. А у станков, взмахивая черными щипцами с зажатым в них пылающим железом, прочерчивающим в воздухе огненные, сыплющие искрами зигзаги, сгибались и выпрямлялись рабочие. Над ними сияли белые тысячесвечные лампы, и хлестали по бегущим шкивам ремни трансмиссий.

Мрак, холод и запустение были преодолены. Завод ожил.

11

— Ну, — сказал предправления, когда прозвонили перерыв, — молодцы ребята, в срок пустили, хоть и проворонили ремни. Теперь пускайте вторую, третью и четвертую серии. Срок даю три месяца. Вот. Сейчас разговаривать некогда. Вечером приеду на собрание.

И он, широко и прямо шагая через груды подков и железа, пошел к автомобилю. Размахивая портфелями, за ним побежали оба

спутника и Пятинос без шапки. На дворе загудел протяжный рожок.

— Что, Лука Лукич, — спросил Шухов, подходя вместе с Собакиным к нему и ворочая глазом, — слыхал? Как по-твоему, пустим через три-то месяца все серии, или нет? Ведь трудненько, пожалуй, будет, а?

— Если велели, так значит пустим, — сказал Лука Лукич, надувая усы.

Шухов и Собакин засмеялись.

ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ: ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНЫЧЕ СОБАКИНЕ.

Шли дни. Первая пущенная серия работала с полной нагрузкой. Шухов, теперь уже не с одним, а с несколькими помощниками, которых он сумел подобрать из наличного штата и подучить, ставил станки второй. Попрежнему то сияющий, то раздосадованный, к вечеру приезжал или приходил, надувая усы, Лука Лукич. Со двора с'езжали подводы, позванивая готовыми подковами. В запыленные и забрызганные уличной грязью стекла конторы светило теплое, даже сквозь двойные рамы, весеннее солнце.

Жизнь завода устаивалась. Складывался быт, мы узнавали друг друга ближе.

С переходом к постоянной и определенной работе у горна первой серии Форсунка стал лениться и выпивать.

— Убег бы я, — жаловался он, заходя в контору, — надоело! Тут такая жарнища — и не дыхнуть, да и платят маловато. Шухов говорит: «Зачем пьешь?» — а сам чище моего пьеть.

— Врешь ты, рыжий!

— Факт пьеть. На работе пьяным не бывает, а домой приходит, запирается и пьеть. Один пьеть, без компании. Вот штука!

— Да ты видел, что ли?

— Где же видать, если он запирается, а говорят...

— Кто говорит-то?

— А никто... Вообще.

Лука Лукич сверял счета и, посмотрев на Форсунку поверх старинных очков в тонкой серебряной оправе, сказал:

— Ну, ладно. Иди на свое место. Ты, значит, брехун.

Собакин ставил моторы и до прихода затребованного с биржи табельщика вел табель. Он попрежнему подбрасывал мне маленькие смешные записочки или в получку, уходя по делам в город, оставлял на моем столе четвертушку бумаги с обведенным на ней карандашом контуром своей маленькой правой руки и писал под ним: «Распишитесь в получке. Рука — вот».

Его простуда приобретала устойчивый характер. Он попрежнему кашлял и дергал кривым носом.

Совсем неожиданно, перед самым расчетом он не явился на работу. На руках у него оставался табель, и из-за этого мог задержаться расчет. Пятинос беспокоился.

2

Утром, на следующий день после его неявки, в маленькую комнату конторы, где помещалось все — и делопроизводство, и бухгалтерия, и касса, и кабинет директора, вошла, озираясь, худенькая белолицая гражданка в черном пальто и вязаной косынке на голове. Ее капризное личико было печально, носик морщился, прямые черные брови хмурились над переносьем, а верхняя губа была сердито надута.

Женщина на заводе, да еще хорошенькая — явленье необыкновенное, и все, кто был в конторе, уставились на нее, как на диковину. Смущаясь под бесцеремонным разглядыванием, она подала мне письмо в синем конверте.

Официально В. срочно.

Борис Алексеевич.

Препровождая вам при сем жену, табель и больничный лист, прошу: первое вернуть обратно, второе и третье передать по принадлежности, а также сообщить начальству о моей скоропостижной болезни с 15 по сие время.

Собакин.

Так же срочно, но неофициально.
Борис Алексеевич.

Лежу в постели второй день, временами насвистываю «Чижика», временами — похоронный марш.

Табеля, в очень короткие промежутки между приступами, удалось подсчитать, так что расчет из-за моей дурацкой болезни не задержится.

Все дела, относящиеся к табелю, лежат у меня в столе, в правом ящике, но надеюсь, что завтра или послезавтра (сегодня будет доктор) я выйду.

Настоящее посланье писал в несколько присестов, а потому, где непонятно, пропустите.

16 апреля. Собакин.

— Что ж с ним? — спросил я у жены, рассматривая ее и думая: «Так вот какая жена у Александра Семеныча!»

— Да говорят — грипп... Температура и страшный кашель. Потом — слабость.

В таких случаях с незнакомыми людьми, которых видишь первый раз, не знаешь, как разговаривать. Я в очень туманных и книжных фразах выражал свое сочувствие, и все, кто был в конторе, узнав в чем дело, также поддерживали меня, но все мы обрадовались, когда она ушла, и все заговорили разом.

— Доскакался Семеныч в кожаной-то тужурочке. Говорил я ему, а он говорит — пустяки, в ней, говорит, ловчей работать.

— Ишь какую жену отхватил!

— Жидка больно.

— А молодец: хворый, а дело помнит!

— Ну, ничего, это пройдеть, — сказал Форсунка, пришедший за три дня до получки просить аванс и рассчитывая этим замечанием положить конец разговорам, для того чтобы скорей перейти к своему собственному делу.

Так посудачили и принялись за работу.

Прошло завтра и послезавтра, а Собакина все не было.

3

Я был в правлении и не знаю, кто принес эту весть, но на третий день после его письма, когда к вечеру я вернулся, все на заводе знали, что у него горлом идет кровь.

Жил Собакин у заставы, в маленьком сером деревянном домишке на курьих ножках, около еще сохранившейся с начала прошлого века кордегардии.

По скрипучей деревянной лестнице с косыми ступеньками я поднимался после работы к его комнате.

На широкой кровати, с карандашом в одной руке и листком бумаги в другой, согнув под белым пикейным одеялом худые колени, сидел Александр Семеныч. Он похудел и осунулся. Еще больше торчал длинный кривой нос. Маленькие руки, цепко державшие карандаш и бумагу, были удивительно белы, и сквозь их тонкую, белую кожу ясно проступали синеватые, вздутые вены. Говорил он тихо и кашлял осторожно.

— Ну, как ваши дела?

— Да ничего. Думал — сдохну, но больше не текет... А тут такую возню подняли, докторов нагнали... Вот рассчитываю, скольких сил мотор на вторую серию лучше поставить, — и он показал мне листок, который держал в руке, покрытый мелкими цифрами вычислений.— Что у нас там, на заводе-то?

Его отсутствие было так непродолжительно, что почти никаких новостей я ему сообщить не мог, и мы помолчали, оба оглядывая комнату — он рассеянно, а я внимательно.

В углу, у этажерки с книгами, на толстых корешках которых можно было прочесть «История техники», стояли две самодельные электрические печи, на шкафу блестели колбы многосвечных электроламп, на столе стоял радиоприемник, хитроумно устроенный в спичечной коробке, рядом лежали открытая готовальня, плоскогубцы, молоток, отвертка и финский ножик с зазубренным лезвием. По светлым зеленым обоям тянулись к двери и окну провода.

Собакин был мастер на все руки. На его домике висел номерной фонарь, соединенный проводами со стенными часами. Вечером, когда стрелка подходила к восьми, ток сам собой включался и так же выключался утром.

Потихоньку покашливая, отрывками он рассказывал.

Было так. Послав жену с письмом на завод, Александр Семеныч начал одеваться. Сапоги не лезли. Натужившись и прыгая по комнате на одной ноге, он ощутил во рту металлический вкус. Кровь пошла изо рта и из носа. Собакин испугался и в натянутом до половины сапоге лег на пол. В квартире никого не было. Полежав минут пятнадцать и заплевав кровью весь пол, он встал, напился холодной воды из-под крана, вымылся и переменил белье, убрав подальше снятое, замыл на полу темные пятна и опять лег в кровать. Жене Александр Семеныч ничего не сказал, отлежался и вечером, как ни в чем не бывало, пошел в амбулаторию.

Но до амбулатории он не дошел, ослаб и еле добрался до дому. Жена его раздела и уложила в кровать. Тут кровотечение возобновилось с еще большей силой, и ему пришлось во всем сознаться, за что, как он говорил, была здоровая взбучка от жены.

— А теперь вот валяйся тут, чорт бы взял этих докторов! Они еще даже не знают, что у меня, с анализами возятся, — закончил он свой рассказ.

Собакин беспокоился о заводе, об оставленных моторах, о своем отсутствии, о том, как бы его не уволили, хотя к этому не было совершенно никаких оснований. Казалось, что завод был для него начатым и на середине брошенным делом.

4

Наутро Пятинос, выслушав рассказ о моем посещении, пожалел:

— Да, вот был работник! Где теперь такого найдешь? На бирже? Ха! — и он засмеялся с досадой.

Мы стали жить без Собакина. Брешь, пробитая в окружающем его отсутствием, зияла только нам, работавшим с ним вместе, — вновь приходящие не знали никакого Собакина. Он для них даже не существовал. А работников все прибавлялось, завод расширялся.

В конце мая Собакин прислал мне письмо:

Мая 27 дня.

Многоуважаемый Борис Алексеевич.

Во первых строках моего письма, чтобы не позабыть, прошу сообщить Шухову, что у мотора для третьей серии, если будут ставить тот, который есть, надо обязательно перемотать якорь, а то он не пойдет.

Пишу вам сие послание из Туберкулезного института, корпус 2, изолятор 21, который вместо санатория оказался форменной больницей.

Лежу вот уже две недели, и неизвестно вообще, сколько пролежу и когда выпустят или вынесут, так как лечат здесь надвое — либо на тот свет, либо домой. Народ мрет, как мухи, а я еще креплюсь, хотя положение мое тоже неважное. Ходить, сидеть и прочее мне не разрешают, а заставляют лежать. На-днях начали вдувание (чорт бы их задрал!). Вдувание это заключается в следующем: пропарывают бок и напускают туда газов, каких — я не знаю, но как они ни вдувают, я от этого не толстею. Что получится — неизвестно.

Напишите, что на заводе, как поживают Шухов и Лука Лукич, когда пустите остальные серии, да не позабудьте передать о перемотке якоря.

Ну, а за сим всего хорошего, писать лежа затруднительно, да и отвык.

Собакин.

От письма веяло грустью. Живо вспоминался маленький проворный Собакин, бегающий в кожаной тужурке по стынувшему в ледяном холоде заводу.

Я читал письмо вслух нашему казначею и счетоводу Сергею Сергеичу. Он выслушал, пощелкал костяшками счетов и сказал:

— Надо переть. Это как дважды два. Если в Туберкулезный институт попал, значит дело не ахти...

Вечером, прямо с завода, мы отправились.

Сергей Сергеич, бывший офицер военного времени, мобилизованный в гражданскую войну в Красную армию и дравшийся с белыми на Южном фронте, после демобилизации вернулся к прежней своей довоенной профессии и мирно щелкал на счетах.

Жена его, худая и хорошенькая, постоянно делала аборты. Денег у него никогда не было, но он всегда был весел и покладист.

Чай Сергей Сергеич пил на заводе из большого, с узким горлом молочника, после того как разбил свою кружку.

— Сразу три таких штуки околпачишь — и сыт, — говорил он, поднимая молочник, — а кружки — для воробьев, да у меня и денег нету, жена не дает... Понимаешь, опять аборт, — прибавлял он шопотом.

Жены он побаивался и, как видно, не выходил из-под ее маленькой туфли.

Когда Форсунка перед получкой приходил за авансом, Сергей Сергеич кричал:

— Ну, меня, героя Сиваша и Перекопа, не проведешь! Через день получка, а ему аванс.

Его так и звали «героем Сиваша и Перекопа».

Спускались уже сумерки, когда мы подходили к институту.

5

За чугунной литой решеткой, над голубыми елками вставал великолепный фронтон с колоннами бывшего института благородных девиц, превращенного ныне в туберкулезный. Под ногами хрустел песок широкой под'ездной аллеи.

Тяжелые своды вестибюля и пол, выложенный плитками, гулко повторяли шаги. За стеклянной дверью и парадной лестницей с большим светлым зеркалом, как улица, открылся длинный коридор. В желтом паркете дрожали отсветы окон.

Около стен, шлепая туфлями, надетыми на босые ноги, туго перетянутые у щиколоток тесемками кальсон и кутаясь в шершавые, коричневые халаты, жались больные. Пахло аптекой.

У изолятора, в котором лежал Собакин, была высокая белая дверь с матовыми стеклами.

Сергей Сергеич нажал начищенную до блеска медную ручку и заглянул.

Собакин, откинувшись на высоко поднятой подушке, читал «Новости науки и техники». Услышав скрип двери, он снял журнал, скинул ноги с кровати, сразу попал босыми ногами в широченные туфли и, дернув носом, в одном белье, шлепая туфлями, выскочил в коридор.

— Вона, даже герой Сиваша и Перекопа пришел... Ну, как там у вас дела? Все серии пустили?

— Да ничего, кувыркаемся.

В белье Собакин казался совсем маленьким и щуплым, как цыпленок. Он стал белым и таким чистым, как будто подряд несколько дней его парили в бане. Он был выбрит и подстрижен. Мы сели на деревянную крашеную лавку со спинкой около изолятора.

За это время, которое мы с ним не виделись, мы уже далеко ушли от него, а в его жизни возник целый ряд обстоятельств, связаных с болезнью, чуждых и непонятных нам. И, сидя рядом с ним на жесткой, неудобной скамейке, мы разговаривали с ним как будто с двух берегов, между которыми легла река.

Мы подробно выложили все заводские новости, он нам рассказал историю своей болезни, полную тяжелых раздумий и суеверных предчувствий, неожиданно сменявшихся самыми радужными надеждами.

Было очевидно, что он истаивал, но в его глазах все еще был блеск жизни, и он еще не хотел сдаваться, цепляясь, как проваливающийся в пропасть, за каждую травинку.

Окно было открыто, за ним шел отцветающий май. Собакин, глухо покашливая, рассказывал свою унылую повесть.

Мы выслушали все, рассказали про завод и утешили как могли. Сергей Сергеич, вставая, сказал:

— Ты, смотри, не сдавайся. Держись. А как сдашься, так эта проклятая чахотка верх возьмет. Главное — посылай ее к чертям. Ну, будь здоров!

— Смотрите, заходите. Кланяйтесь там Шухову, Луке Лукичу. Если что — напишу. Как насчет перемотки якоря-то, сказали? Ну, ладно...

Он проводил нас до поворота коридора и зашлепал туфлями к изолятору.

В молчаньи мы прошли мимо палат, в которых уж зажгли огонь, спустились с лестницы и вышли на свежий вечерний воздух.

— Дело дрянь, — сказал герой Сиваша и Перекопа, — на все сто процентов. Парень готов. Смотри, он какой светлый стал. Чахотка-то у него скоротечная.

6

С пуском последних трех серий завод опоздал на неделю: неожиданно стал уже установленный и работавший мотор. Шухов ходил злой и угрюмый. Единственный его глаз был красен и свиреп, он ни с кем не разговаривал. Все же как-то поймал меня в заводе и, прижав к станку, спросил:

— Ну, как там Семеныч-то? Плохо? Жаль. Хороший был парень. Работник. Смотри, вон какого облома вместо него прислали. Ему только жалованье получать, а не работать. Из-за него и стоим: ведь не перемотал, чорт, якоря на моторе. Говорил я ему, что Семеныч писал, так ничего, говорит, сойдет. Вот и сошло!

Завод всеми четырьмя сериями пустили с утра. Из его открытых дверей неслось гулкое грохотанье железа, скрежет и лязг станков и тяжкое уханье бухтовки. В мареве густо струившегося горячего воздуха, как в расплавленном стекле, дрожали огненные жерла горнов и вспыхивали раскаленные бруски железа. На черных тяжелых станках, на потных лицах и спинах полуголых рабочих полыхали красные отсветы.

С четырех бухтовальных станков дождем сыпались подковы.

Предправления приехал рано и один прошел в завод и ходил от станка к станку. Директор и Шухов кричали ему в уши: Пятинос — в правое, Шухов — в левое. Он долго простоял у браковки, около Луки Лукича, который, сняв свою чесучевую рубаху, голый до пояса, с вылезающим из новых брюк круглым белым животом, старательно просматривал еще горячие подковы, ловко хватая их щипцами.

Потом предправления вместе с директором и Шуховым вышли из завода, и до самого обеда их не было видно, но машина предправления не уезжала, и, значит, они были где-то тут.

На летучем митинге, состоявшемся в обеденный перерыв, заломив шапку и на целую голову возвышаясь над толпой рабочих, предправления сказал:

— Хотя и с опозданием против плана на целые шесть дней, последние три серии вы сегодня пустили. Этим самым завод подошел к довоенному уровню производства. Но этого мало. Еще до конца года нам надо перегнать

довоенный уровень по меньшей мере на пятьдесят процентов. Необходимо пустить еще две серии. Их на заводе никогда не существовало, но их надо установить и пустить не позже начала октября. Такой срок, по-моему, вполне достаточен. Впрочем, вы подумайте сами. Вам тут виднее. Может быть, его можно будет сократить. Обе серии есть возможность установить в каменном складе. Он вплотную примыкает к заводу. Стену придется сломать, таким образом оба помещения, и завода и склада, соединятся. О станках мы позаботимся. Они будут. А вы подумайте. Ответ завтра, в двенадцать.

Надевая рубахи на высохшие на солнце тела, рабочие в молчаливом раздумьи расходились обедать.

7

Работа развертывалась широко и быстро.

К грохоту и лязгу станков скоро присоединились глухие удары в стену. Наконец выпал первый кирпич, подняв при падении красную тонкую пыль, и в отверстие с той стороны, из склада в завод, просунулся красный от кирпича лом.

Лука Лукич приезжал на подводах с цементом, железом и лесом. По крыше склада стучали топоры и молотки. На дворе строгали и пилили. Кладовщик нехотя, с недовольным лицом перетаскивался из склада в деревянный сарай.

Форсунка несколько дней пропьянствовал, и когда, рыжий и лохматый, с бегающими глазами, вышел на работу, ему об'явили выговор. Он ругал Шухова и Пятиноса, грозился подать на них в трудсессию и слонялся без дела по заводу, а после этого совсем перестал являться, и его исключили из списков.

8

Больше месяца я не видел завода, Москвы и пыльного заводского переулка. После отпуска по-новому оглушал шум города и сбивали с толку сутолока на улицах, трамвайные караваны и кидающиеся на прохожих автомобили.

Первое, что меня поразило, как только я свернул в заводской переулок, это вывеска. Она сияла над ветхими деревянными воротами завода и казалась в сером, провинциальном переулке заморской диковиной. На яркокрасном фоне неведомым живописцем была нарисована поразительная голубая подкова, годная разве для лошади Ильи Муромца, а под ней ядовитыми желтыми буквами было художественно выведено:

Подковный завод
«Красный кузнец».

Шухов меня встретил первый и сразу же спросил:

— А что, хорошо я вывеску удумал? То-то, брат, вывеска замечательная! Такой поискать. Скоро новые серии пойдут. Станки ставим. Приходи смотреть.

Завод сверкал на солнце новыми стеклами, свежевыкрашенная красной краской крыша жирно блестела, труба, высоко вставшая над кирпичным корпусом, извергала черные, тяжелые клубы дыма.

Герой Сиваша и Перекопа в одиночестве меланхолично считал на счетах, когда я вошел в контору. У него не сходилась наличность на три копейки.

— Ага! — закричал он, щелкнув счетами. — А мы вас ждали... Ну, как подышалось? А мы совсем запарились, землю роем: скоро пятую и шестую запустим... Да, вам тут письмишко вчера принесли. От Собакина.

На синем конверте, присланном не по почте, а с оказией, в правом верхнем углу карандашом была нарисована марка. Собакин писал:

Уважаемый Борис Алексеевич!

Так давно вам ничего не писал, но из-за сильной температуры (39—40°) ужасно ослаб и с трудом приподнимаюсь на кровати.

Надеяться на выздоровление, а тем более на скорое, не приходится.

Доктор сказал — пролежите до января, а затем отправим в Крым. Срок большой, но лишь бы дожить, на что я не рассчитываю.

Как живут все наши? Всем низкий поклон. Жалко, что больше не увижу завода.

Никогда не думал, что может быть так трудно писать, но писать больше не могу.

Помирать в 29 лет не хочется, а приходится. Прощайте.

Собакин.

25 августа.

Веселый Александр Семеныч умирал, и как последняя прощальная улыбка была эта марка, нарисованная его ловкой, уже ослабевшей рукой в правом углу конверта.

Все было так обыкновенно, ужасно и непоправимо. Попрежнему светило солнце в пыльное окно конторы, и Сергей Сергеич считал на счетах.

Не досидев до конца работы, я поехал к Собакину. Трамвай бежал, позванивая и спотыкаясь. Улицы неслись на нас, и каруселью крутились дома, взрытые мостовые, деревья бульваров и парков и люди на тротуарах.

9

Собакин, согнув под простыней острые колени, сгорбившись и подавшись худым корпусом вперед, сидел на кровати, упираясь руками в матрац. На синеватом, осунувшемся лице торчал огромный кривой нос, глаза потухли. Он тяжело и с хрипом дышал, горбя лопатки, как будто ему сзади, на спину навалили страшную тяжесть.

В изоляторе пахло скипидаром, было душно и жарко, но на нем была шерстяная егеревская фуфайка без ворота. На голой шее надувались узловатые, синие жилы.

Собакин поднял на меня усталые глаза и подал худую, холодную, покрытую потом руку.

— Приехали? — сказал он шопотом и захрипел. — А я вот умирать собираюсь...

Говорить, даже шопотом, Собакину было трудно, и, не давая ему делать этого, я рассказал все, что мог, о себе и о заводе; но он, очевидно, не слушал, кашлял и сплевывал в баночку, думая о своем.

— Все равно, — прошептал он, когда я кончил, — мне не встать. Я десять с половиной кило потерял. Ноги — как спички. Больше уж они ходить не будут.

Он замолчал, отдышался и продолжал:

— Вот только бы до Крыма дожить, тогда, может быть... да не дожить только. Каждый день новую болезнь припаивают. Потерял голос, ничего не могу есть, все обратно... Зачем вы винограду принесли? Я не могу... Шухов тут у меня был с Лукой Лукичем...

Он задохнулся от приступа кашля и откинулся на подушку, беспокойно ерзая и натягивая одеяло. Его, очевидно, все раздражало. Он досадливо морщился на кашель своего соседа, с головой завернувшегося в одеяло, на скрип кровати, на шлепанье туфель в коридоре. Как будто все это мешало ему сосредоточиться на чем-то своем, о чем он думал свою думу, глядя сквозь меня.

Туберкулез разрушил его легкие, разрушал горло и желудок. Он был уже вне жизни, с жизнью его соединяло только неровное биение пульса.

Я поднялся.

— Ну, прощайте, — сказал он, — не поминайте лихом. Всем поклон. Вот меня не станет, а завод попрежнему будет работать, и жизнь пойдет дальше, а я больше ничего не увижу...

Вдруг он с усилием приподнялся на кровати и поднял руку, как бы останавливая меня.

— А знаете, что я, тут лежа, надумал? — сказал Собакин. — Ведь ремни-то Форсунка украл. Не иначе. Доказательств вот только нет, да и не добудешь. Времени много прошло. Может, и ошибаюсь. Я еще подумаю... Впрочем, уж сейчас неважно, — и он закрыл глаза.

В тишине бурлило его хриплое, свистящее дыхание. Свет падал сверху на баночки и пузырьки с цветными наклейками, загромоздившие столик у кровати и теперь ненужные, на его побелевшие, с крепкими ногтями, маленькие руки, вцепившиеся в одеяло, на большой нос и заострившиеся скулы с темной синевой глазных впадин.

10

Предположения Собакина о Форсунке, о которых я рассказал директору, скоро возымели свое действие: через несколько дней к Форсунке на квартиру отправились вновь обретенный нами агент и Шухов, а за ними, без спроса и без приглашения, пошел я.

Мы долго ехали в трамвае, потом проходными дворами, мимо кривых флигелей и развороченных помоек, вышли к каменному двухэтажному дому с отставшей пластами штукатуркой. Все окна и двери в нем были открыты. Он казался необитаемым.

Агент неожиданно куда-то исчез. Мы с Шуховым остались одни. Ветер порывами трепал барахло, развешанное на веревке у забора, и катал у помойки мятую жестянку из-под консервов.

Агент вернулся с дворником — седеньким сгорбленным старичком, похожим на угодника.

— Что-то нас больно много... Ну, ладно. Веди! — сказал он.

Старичок, приседая, повел нас в дом.

— Тута он, — сказал старичок, в нерешительности останавливаясь против семнадцатого номера.

Агент толкнул дверь. Она легко растворилась.

В низкой ободранной комнате с одним окном, уткнув нос в подушку, храпел Форсунка. На нем был новый синий костюм и желтые ботинки с галошами.

На покрытом разорванной газетой столе, у окна, стояла пустая бутылка из-под водки,

два захватанных стакана и треснувшая тарелка с селедочным хвостом.

Агент тряхнул Форсунку за плечо:

— Вставай, гражданин!

Форсунка замычал и сел на кровати. Он был пьян, рыжие вихры торчали во все стороны, мутные глаза слипались.

— Вы чего? — хриплым, пропитым голосом, мигая от света, спросил он, но глаза его неожиданно оживились, когда он узнал агента.

— Зачем пришли? Спать не даете! Какого вам лешего надо? — закричал он и встал с койки, шагнув за изголовье.

— Ладно, разговаривай! — сказал агент. — С обыском пришли.

Но и без обыска можно было сказать, что он будет безрезультатен: кроме койки, стола, табуретки да висевших в углу грязных штанов и рубашек, в комнате ничего не было.

Форсунка, стоя за койкой, складно и длинно ругался, посматривая на нас.

Ни под матрацем, ни в сундучке, кроме рубашек, подштанников, разбитого зеркала, катушки черных ниток с иголкой и вырезанных из журналов картинок, агент ничего не нашел. Быстро двигаясь по комнате, он обошел все углы, потрогал висевшую в углу одежду и заглянул под стол; потом, посмотрев на Форсунку, сказал:

— Не стой, как пень. Уйди в угол!

Форсунка, помедлив, перешел в угол. Агент ступил на широкую, проходившую под койку половицу, с которой только что сошел Форсунка. Половица шаталась. Он отодвинул от стены койку, нажал ногой на половицу, и, когда она поднялась, вместе с дворником вытащил ее из гнезда. Открылись покрытые пылью и паутиной поперечные балки и ребра соседних половиц, из темного отверстия пахнуло затхлостью.

— Смотрите за ним, — сказал агент, пролезая под пол и зажигая электрический фонарь.

Форсунка стоял неподвижно в углу... Хмель его прошел, лицо побледнело. Бесстыжие глаза бегали по комнате. Мы слышали, как под полом возился агент. Свет снизу золотил паутину на балках. Скоро он, весь в серой пыли, показался в отверстии и бросил к ногам Форсунки круг неширокого приводного ремня и несколько пар нарезанных из приводного ремня подметок.

— Ваш? — спросил агент Шухова.

— Наш, — посмотрел Шухов. — Этот с дорожечного, а подметки, должно, с бухтовки.

— Нашли, дурошлепы! — засмеялся Форсунка. — Семь лет искали, собачку водили. Сволочи паршивые, мать вашу в переносицу!

— А куда остальные дел? — спросил агент.

— Ты у Пушкина спроси, может, он скажет! — Пока агент составлял протокол, он спокойно свертывал цыгарку и говорил:

— Ну и спер... Подумаешь, грех какой! Задрыги! Денег мало платите, водки не пей, погулять нельзя. Прежний хозяин сам подносил. Вон Шухов пьеть, а ему ничего...

— А ты видал? — стукнул Шухов кулаком по столу, так что бутылка подпрыгнула и свалилась. — Ты пей, да пьяным не ходи, а воровать брось!

— Повели голубчика, — сказал старичок дворник, когда, запечатав комнату, агент повел Форсунку.

За нами по двору с криками и свистом бежали, неизвестно откуда взявшиеся, оборванные мальчишки.

— Как же собака-то? — спросил Шухов агента, когда тот вместе с Форсункой садился на извозчика. — Почему она на другого показала? — спрашивал он, укладывая у них в ногах ремни.

— Собака-то? — переспросил агент. — Молодая она, вот что.

— Ну и ты, видно, еще молодой, — сказал Шухов.

Агент оскалил белые, крепкие зубы и тронул извозчика.

II

Станки для пятой и шестой серии шли из Ленинграда, и Лука Лукич целый день пропадал на железной дороге, а вечером привозил на подводах тяжелые деревянные ящики с надписью густой черной краской «Москва. «Красный кузнец».

Ящики вскрывал сам Шухов, осматривал станки и ругался: у одного не хватало винта, у другого — шестерни, у третьего — гайки.

Он приходил в контору и просил:

— Пошлите им, ребята, в Ленинград матерную телеграмму, а копию в райком, там им хвосты-то прижмут.

Телеграмму дали, а пока недостающие части подбирали или вытачивали, но это замедляло установку, тем не менее она подвигалась быстро: широко расставив чугунные станины, станок выстраивался за станком.

Шухов не выходил с завода, поторапливая:

— Пошевеливайся, ребята! Пыхтеть не годится. Заместо октября мы в сентябре пустить должны.

Но говорил он это больше для порядка. Его ребята и так пошевеливались во-всю: дневная смена заходила за вечернюю, а вечерняя работала до глубокой ночи.

Арест Форсунки оживленно обсуждался на заводе в обеденные перерывы.

Тем, которые пришли на работу после ухода Форсунки и его не знали, но слышали о необыкновенном исчезновении всех ремней в одну ночь, рабочие первой серии рассказывали:

— Рыжий он, рожа, хитрая, глаза завидущие... — и, подумав о том, с кем они работали, сами того не зная, для большего впечатления слушателей прибавляли: — Он такой — чуть что — чик шилом, и готово...

Так постепенно Форсунка обрастал легендами, превращаясь в сказочного разбойника.

А герой этих легенд сидел и помалкивал. Только расследованием было установлено, что ремни он украл вместе с кустарем-сапожником, державшим мастерскую неподалеку от завода. С этим кустарем, арестованным вскоре после него, он и пьянствовал. Свою добычу они частью продали, частью порезали на подметки. До ареста Форсунка успел уже переменить два места и собирался в провинцию. Но его приключения кончились грустно.

12

Но вот в эту тишину вошли быстрые мелкие шаги, и половинка двери медленно растворилась. В дверях, привалившись плечом к косяку и поникнув всем телом, стояла жена Собакина. По ее сморщенному красному лицу текли крупные слезы и скатывались ей на пальто.

— Шура сегодня умер... — сказала она всхлипывающим голосом, и слезы побежали сильнее.

Мы усадили ее в коридоре на табуретку, Сергей Сергеич, глаза которого неожиданно выцвели и стали испуганными, принес в стакане воды.

Все было просто и коротко. Сегодня утром Собакин проснулся, попросил у няньки умыться, но сам не мог. Нянька его умыла и вышла, а когда через полчаса вернулась в изолятор, Александр Семеныч уже начал холодеть.

— Шура, Шура!.. — повторяла она рыдая, стуча зубами о край стакана и расплескивая на себя воду.

Это, никогда не слышанное прежде, уменьшительное имя звучало по-новому — ласково и нежно, приоткрывая интимные отношения между ними, и Шура Собакин казался совсем маленьким любимым ребенком. Мы стояли в молчании.

Вдруг входная дверь с треском распахнулась, чуть не сорвавшись с петель, и в коридор, с ключом в руке, громыхая громадными сапогами, вбежал грязный, измазанный Шухов. Единственный глаз его сиял, он задыхался, и безжизненное веко, опущенное над вытекшим глазом, дрожало.

— Где директор? — закричал Шухов. — Слушай, ребята, пятая и шестая пошли! На десять дней раньше срока!

И он засмеялся.

В распахнутую на улицу дверь доносился ровный грохот завода. Завод жил полной жизнью. Работали все шесть серий.

Школа на Чукотке

Т. Семушкин

В 1928 году Комитет Севера содействия малым народностям при Президиуме ВЦИК открыл чукотскую культурную базу на стыке Старого и Нового света (около берегов американской Аляски).

Культбаза в настоящее время имеет стационар-больницу со специалистами врачами и двадцатью постоянными койками для туземцев — чукчей и эскимосов, ветеринарный пункт с лабораторией, краеведческую базу, факторию и школу-интернат на сорок детей-туземцев. При школе существует мастерская по вырезке из моржовой кости различных изделок.

Сотрудники культбазы выехали из Москвы и, прорезав Уральский, Западносибирский, Восточносибирский и Дальневосточный край, прибыли во Владивосток. Отсюда пароходом, в течение сорока пяти дней, они плыли по океану и морям к берегам Ледовитого океана. В виду позднего времени пароход столкнулся со льдами и вынужден был возвратиться обратно. Сотрудников культбазы высадили в 180 километрах от базы, на пустынном чукотском берегу. Дальнейший путь к месту своей работы они совершили, пробираясь где пешком, где на чукотских байдарках, а где и на нартах (санях) по тундре, еще не покрытой снегом.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Большой залив Лаврентия глубоко врезается в материк. На левом берегу залива, в 10 километрах от входа в бухту, возле склона горы приютились одиннадцать домов европейского типа — чукотской культбазы. Кругом не видно было ни одного чукотского селения. С горы бежал ручей, по улицам ходили люди в европейских костюмах, дамы щеголяли ботинками на французских каблуках, чукчи-рабочие встречались в спецодежде. На крыше печник выводил последнюю трубу, пекарь-китаец перетаскивал на железном листе кондитерские изделия, а прачка-китаец катил вагонетку, нагруженную бельем. Вагонетка скрипела по рельсам узкоколейной железной дороги, протянутой по улице до самого берега моря.

Не верилось, что это — та самая Чукотка, о которой рассказывали нам моряки. Только серая голая тундра, да отсутствие признаков древесной растительности напоминали нам о ней.

Чукотка показалась чем-то средним между так называемым культурным миром и тем, что мы видели на культбазе. Здесь не бегали автомобили, не звенели трамваи, но признаки благоустроенной жизни имелись налицо: прачечная, пекарня, общественная столовая, баня и т. д. Основные же учреждения культбазы были: больница-амбулатория с врачами-специалистами, акушеркой, медицинской сестрой и техническим персоналом; школа-интернат; ветеринарный пункт; фактория.

Что касается жилищных условий, то они были прекрасны. Квартиры сотрудников состояли из трех меблированных комнат, небольшой кухни и ванной комнаты. Внутренняя отделка квартиры не позволяла желать лучшего: стены, обитые толстым американским картоном, были загрунтованы и отделаны масляными красками. Пол блестел желтизной. Единственный «недостаток» заключался в отсутствии полотера и воска.

Когда наступило обеденное время, нам, пока еще гостям, предложили пойти в столовую. Доставшееся случайно врангелевское снабжение позволяло не только иметь приличное питание, но и деликатесы.

— В столовой можно получать не только «пожжи фри», но и тюленьи ласты, — говорил со смехом один из «старичков».

После обеда мы направились в школу. Просторное светлое здание, отделанное так же, как и жилые дома, имело пять классов, учительскую, комнату для сторожа, кухню, раздевальню и рейреационный зал, площадь которого равнялась сорока квадратным метрам.

Некоторые жилые здания в основном были готовы, но не отделаны, и поэтому школу занимали жильцы. Интернат (громадный дом, в полтора раза больший, чем школа) также не был отделан. В нем предполагалось разместить общежитие со спальнями, столовую и кухню для туземцев-школьников. Неотделанное громадное здание было мрачное, сырое и длинным коридором напоминало Алексеевский равелин. Разместить в нем сейчас детей было чрезвычайно рискованно. В связи с этим мы заняли позицию развертывания школы в половинном, для первого, организационного года, размере, т. е. все в одном школьном здании. И классы, и интернат со столовой, и кухня могли при таком положении вместить всего лишь двадцать человек. Мы считали, что для первого учебного года нужно создать исключительно благоприятные условия, чтобы в будущем обеспечить нормальную работу интерната. Ведь наш интернат был первым за все время существования Чукотской земли, и о нем туземцы не имели никакого представления.

Весь первый день прошел у нас в знакомстве с культбазой. Нужно было посмотреть здания, зайти поговорить к каждому работнику, поделиться новостями (полуторамесячной давности) из культурного мира. Обитатели же культбазы явились сюда на два месяца раньше нас и полагали, что за это время много изменений произошло на «материке».

Каждый рассказывал о житье-бытье. Некоторые высказывали недовольство по поводу беспокойного соседа, другим не нравилась администрация культбазы. Внутренний мир, интересы обитателей этого полярного городка нам, сколоченным дорогой в тесную здоровую семью, показались странными. Люди только что приехали, а уже чувствовались некоторые «неполадки». Одного, наиболее «беспокойного», после месячного пребывания на культбазе уже успели отправить обратно.

Вечером в помещении школы было устроено собрание нашего «ВЦСПС». Действительно, это было ВЦСПС, так как коллектива одного какого-либо союза здесь не было. Тут были: строители, совработники, медикосантруд, всеработземлес, рабпрос и т. д. На собрании заведующий базой говорил:

— Теперь наша семья увеличилась, прибыла группа учителей, и работа должна двинуться с места.

В заключение присутствующий председатель рика, старый северянин, бывший уральский рабочий, сказал:

— Товарищи, все мы здесь в продолжение нескольких месяцев будем жить, словно забитые в тесную коробку, все мы за это время успеем надоесть друг другу, успеем рассказать все, что только у нас имеется. Обычно в такой обстановке создаются условия, способствующие разным сплетням, склокам. Встает вопрос: как нам, людям, оторванным от культурного мира, сохранить здоровую, спаянную общими интересами семью? Этого, товарищи, можно достигнуть только при том условии, если вы все, здесь присутствующие, нагрузитесь работой общественного порядка. Безделье — благодатная почва для склоки и буэотерства. Итак, товарищи, за дружную общую работу, в культурный поход!

ВЦСПС дружно аплодировал старому северянину.

На культбазе был также и «Ленинский проспект». Единственная улица, по которой мы шли после ужина. То ли, что в жизнь культбазы влилась новая группа, или еще что, — но мы все, работники культбазы, так и ходили толпой. А море с каким-то особенным свистом гудело и шумело. Порывы ветра достигали большой силы. С трудом мы пробирались к морскому берегу посмотреть, что там делается. Льдины немилосердно дрались, и блестящие брызги летели ввысь. Все здесь было своеобразно: и дома, которые стояли и словно думали: «А мы ведь здесь, должно быть, навсегда, нам не дождаться смены»; и Чукотские горы, которые опускали на морской берег отвесные скалы и, казалось, ни о чем не думали. Они здесь «родились» и привыкли к своему месту. Пернатое царство уже оставило чукотские владения, и не было слышно разноголосного гама.

Врач рассказывал:

— А ведь совсем иное было здесь два месяца тому назад. Кругом пестрели цветы, порхали птицы, а утки делали свои гнезда прямо на территории культбазы. Производитель работ нанимал чукчу собирать яйца, платил ему три

рубля в день, и он приносил ему около сотни утиных яиц!

С моря мы пошли слушать оперу «Борис Годунов». Граммофонная пластинка перенесла нас в иной мир, в Москву, в Большой театр, и ясно представилась московская жизнь со всем ее неугомонным шумом.

С нашим приездом ускорилась работа по освобождению школьного здания от жильцов. Началось некоторое переуплотнение, но в общем каждому сотруднику была предоставлена отдельная комната. Из пяти классов три были оборудованы под спальни, часть рекреационного зала пошла под ученическую столовую. Не дошедший до нас пароход «Астрахань» поставил культбазу в исключительно трудные условия. Все то, что шло на культбазу, и в частности для школы, — осталось у золотоискателей. Им достались железные кровати школьников и школьное обмундирование, а нам пришлось сооружать деревянные кровати. Хуже дело обстояло с обмундированием школьников-интернатцев. Правда, запасы мануфактуры с острова Врангеля нас вполне могли обеспечить, но беда заключалась в том, что во всем «городе» имелась только одна швейная машина. На этой единственной машине за короткий срок нужно было изготовить на весь интернат белье и верхнее платье. За это дело взялись в порядке самомобилизации все женщины, и работа закипела.

Совсем другое дело получилось со школьными пособиями. Что это за школа, в которой нет даже карандашей и ученических тетрадей? В 120 километрах от нас находилась другая школа. Чукотские собаки, сделав 250 километров туда и обратно, доставили необходимое на первое время.

— Когда замерзнут реки, то можно будет достать наш легкий груз от золотоискателей,— думали мы.— Ведь не собираются же они там открыть школу?

Но впоследствии оказалось, что, желая оставить после себя культурный след, они разбили наши ящики и по-своему обучали всех желающих и приезжавших к ним туземцев.

С большим трудом распределили лампы, которые имелись в распоряжении культбазы в недостаточном количестве. Их тоже не довезли, а потребность была большая. Каждый хотел получить лампу «поприличнее», ибо хорошая лампа на севере в долгие зимние ночи «делает настроение».

— Я не могу производить операции при фонаре. Не имея к тому желания, я могу зарезать своего пациента, — убеждал врач.

— Согласитесь с тем, что изо дня в день нельзя заниматься в школе в полумраке, — доказывал учитель.

Все были правы по-своему. В результате продолжительных обсуждений лампы и фонари были все-таки поделены.

ЛЯТУГЕ

Очень хорошо обстояло дело только с топливом. Экспедиция к острову Врангеля, снабженческие экспедиции Колымского края сделали наш «город» своей угольной базой. На берегу моря были навалены громадные кучи угля. Обязанности истопников несли туземцы-чукчи. В школе был один молодой чукча, глухонемой, человек очень трудолюбивый и трудоспособный. Но он в жизни не видел голландской печи с железной дверью (титель). Производитель работ в течение недели подробно его инструктировал, показывая ему мимикой, улыбкой и всякими телодвижениями, как обращаться с печкой. Наконец после недельного испытания Лятуге (так звали его) устроил невообразимый угар. Еще ряд об'яснений, и Лятуге — прекрасный истопник. Потом последовало обучение поломытью. Лятуге не только не знал этого искусства, но и не подозревал о существовании его. И когда ему показывали, как надо мыть пол, он хохотал от души. Но, поскольку это дело вменялось ему в обязанность, он очень усердно принялся за работу. Рано утром можно было видеть, как Лятуге, раздевшись догола, ползал по полу и наводил блеск и чистоту. Полы были крашеные, и это значительно облегчало его труд. Но через неделю, вечером, когда все уже отошли ко сну, Лятуге внес рационализацию в свое ремесло. Очевидно, он вспомнил, что на пароходах палубы моют швабрами. Лятуге устроил из веревок такую же швабру, и когда я вошел в зал, то был поражен: он босиком, без рубашки, стоял в самом центре зала и со всей силой размахивал шваброй. Все наши масляные стены покрылись грязными пятнами. Увидев меня, он остановился, широко улыбнулся и посмотрел на свое изобретение. Казалось, он в это время думал: «Смотрите-ка, какую удобную штучку я придумал!»

Мне было и смешно и жалко наших хороших стен. Я принес чистую тряпку, подвел Лятуге к стене и, показывая на грязные пятна,

стал пожимать плечами, вздыхать, качать головой, потом начал стирать грязь. Лятуге засуетился, замычал, а после, взяв у меня тряпку, торопливо принялся стирать пятна. Этот человек не требовал многих об'яснений. Когда он понимал, в чем дело, он был незаменим. После ему разрешали применять швабру, но с осторожностью, и он действительно работал ею чрезвычайно аккуратно. По окончании работы он тщательно стирал со стен случайно попавшие на них брызги специально хранившейся у него тряпочкой.

Прошло месяца три. Я сидел у себя в комнате. Послышался легкий стук в дверь.

— Можно, — сказал я.

Никто, однако, не входил. Я продолжал свою работу. Стук повторился. Встаю с места, открываю дверь и вижу: стоит Лятуге, а в руке у него какая-то бумажка, и на лице широкая улыбка. Он наблюдал, как белые, прежде чем войти в комнату к другому, предварительно стучали. То же самое сделал и он, но так как Лятуге был глухой, моего «можно» он не слышал. Жестом я пригласил его к себе и усадил. Лятуге протянул руку и дал мне бумажку.

«Товарищ Семушкин, давай один бачка бабирос, нет курить», написано было в этой бумажке. Я подумал сначала, что это написал кто-нибудь из учеников, но сейчас же мелькнула мысль, что это он сам. Ученики не умели еще так хорошо писать. Беру лист бумаги и на чукотском языке пишу: «Гыт келиткулькен?» (ты написал?). Лятуге с сияющими глазами изобразил губами слово: «гым» (я), а затем на листе бумажки написал его русскими буквами. Я встал, достал три пачки папирос и дал ему. Никто другой из его сородичей не мог так оценить великую силу грамотности, как он. Оказывается, когда в свободные минуты Лятуге заглядывал в класс, он там учился. Учителям же и в голову не приходило ликвидировать неграмотность своего сторожа, — ведь он был глухонемой. Потом уже всякие распоряжения служебного порядка Лятуге получал в письменном виде и великолепно выполнял их. Когда Лятуге один раз заболел, он написал записку: «Пол мыть нет, голова болит». Сейчас же мы направили его в больницу, и там его положили на лечение. Четыре дня болел Лятуге и вышел оттуда с бюллетенем. Когда он получал заработную плату, то очень удивлялся, что ему деньги дали и за те четыре дня, которые он не работал. Несколько раз к Лятуге приезжал отец, и они вдвоем, без слов, беседовали об очень многом. Жаль, что нельзя было уловить мысли этой, надо полагать, интереснейшей беседы, так как с глухонемыми я еще никогда не имел дела, тем более с глухонемым «на чукотском языке». Затем отец, еще не старик, заходил ко мне выпить чаю.

— Лятуге коле немельхкен леут (Лятуге очень хорошая голова), — говорил отец.

ПОД ВОЙ ПУРГИ

После полудня подул ветер с такой силой, что, казалось, снежный пласт с земли поднялся в воздух и закружил. Пурга. Вой ветра со стоном врывался в трубу, и заслонка печи неприятно дребезжала. В такое время уже не встретишь на Ленинском проспекте гуляющей публики. Все жители культбазы забились в свои комнаты и, подсыпая в печки уголь, смотрят на разгорающееся пламя и слушают вой пурги. В такую непогоду человеку, прибывшему сюда в первый раз, трудно даже сосредоточиться на каком-нибудь деле. Хочется сидеть и, ничего не делая, прислушиваться к завываниям дикого полярного ветра. А в учительской комнате в это время сидели на совещании три педагога, обсуждая перспективы работ. Остальные педагоги не пришли. Вероятно, и не придут вовсе. Разве можно показать нос из дому, когда ветер сваливает с ног и чорт знает куда может унести! От ближайшего дома не так далеко, но в этом аду, когда все переворачивает вверх дном, трудно даже разглядеть дом соседа.

Лятуге сидит тоже здесь и оглядывается с любопытством. У него обычная улыбка. О пурге Лятуге, вероятно, не думает, она для него обычная вещь. Вдобавок к этому он и глух. Его, очевидно, занимает наша обстановка. На улице крутит снег, а здесь так светло (больше от масляных стен, чем от лампы), тепло и уютно. Может быть, ему хочется слезть со стула и, поджав ноги под себя, сесть по-своему, по-домашнему. Нам нужно переговорить с Лятуге, об'ясниться. Но всех наших мимических телодвижений, очертаний губ при произношении того или иного звука он не может понять. Наконец, после всевозможных попыток об'яснить ему, он улавливает мысль, что недостает еще некоторых наших работников. Он делает попытку схватиться с места и итти за ними, но мы его останавливаем.

— Может быть, отложим совещание?

— А интересно все-таки в такую метель пробраться по нашей улице, — говорит один.

Это заинтересовывает всех, и мы решаем двинуться в квартиры наших коллег. Лятуге идет тоже с нами. Натягиваем меховые кухлянки, поверх — полотняные камлейки, затягиваем капюшоны, оставляя одни глаза, и идем к Лятуге в комнату (здесь же в здании). Нам можно было бы с успехом завязать и глаза, так как шесть наших глаз вполне заменят два глаза Лятуге. Он на скорую руку оделся, никакого капюшона у него нет, лишь на голове слабое подобие шапки: спереди вырез, сзади тоже, вообще вся голова не прикрыта. В таком виде, неизменно улыбающийся, он предстал перед нами. Открыли дверь. Метель уже занесла выход. Дорогу нам перегораживала гладкая, словно выструганная снежная стена. Для Лятуге это не было неожиданностью. В руке он держал лопату и в несколько приемов просверлил дыру, в которую мог пролезть человек. Затем подставил ящик, встал на него и моментально скрылся из глаз. Он уже был вне стен дома. Тем же порядком последовали за ним и мы — один, другой и третий. Ветер свистел, гудел и завывал. Не видно ни зги. Мы забыли, где север и где юг и как вообще расположены дома. Один из нас сзади обнял Лятуге и спрятал за его спиной свою физиономию, другой спрятался за первого, третий за второго. Гуськом мы двинулись куда-то в беспросветную тьму. А в голове бродили мысли:

«А вдруг Лятуге собьется с пути, минует жилые дома и пойдет нас водить по беспредельной снежной пустыне?»

Но туземцу в тундре без всякой опаски можно доверить свою жизнь. Мы шли, утопая в снегу, падали, и тогда Лятуге останавливался, дожидаясь, когда наша шеренга выпрямится. Казалось, что мы слишком долго странствуем. Но наконец уперлись в дом и, ощупывая стену, дошли до двери. Она также была завалена снегом. Лятуге начал усиленно работать ногами и скоро откопал вверху отверстие, но увы... дверь была заперта на засов. Лятуге не посмел стучать ногой, и тогда нам пришлось в две пары ног дать знать обитателям этого дома о своем приходе. Дверь отворили, и мы с шумом ввалились, словно в нору какого-нибудь зверя.

— Какомэ, эттик! (какомэ — междометие, эттик — ты пришел) — встретил нас больничный сторож-туземец. Мы прошли в коридор, где стоял врач.

— Сумасшедшие, да разве можно в такую пургу ходить! — вознегодовал он. — Как хотите, а обратно я вас не выпущу. Ну вас к лешему: еще придется потом обрезать вам отмороженные ляжки.

Оказалось, что сюда Лятуге привел нас по ошибке. Вместо дома учительницы мы попали в больницу. Как ни интересно было побродить в такую погоду, но приглашение врача переночевать мы приняли с удовольствием. Больничному сторожу сказали, чтобы он пригласил остаться ночевать и Лятуге. Но пока мы пили чай, Лятуге смылся домой.

Лишь на другой день к вечеру, когда стихла разыгравшаяся пурга, мы вновь собрались в учительской комнате и продолжили вчерашнее заседание. Нам нужно было открыть школу в условиях, необычайных для материкового педагога. Мы говорили, что в первый, организационный год необходимо закрепить интернат, привить минимум санитарно-гигиенических навыков детям. Пусть поначалу это пойдет даже за счет формальных навыков, — не беда. В будущем можно наверстать и исправить, а сейчас важно подойти к родителям-туземцам, расположить их в свою пользу. Важно, чтобы дикие чукотские дети не испугались нас, белых людей, и не разбежались. Все то, что мы намеревались делать, изымать детей из их семей и привозить сюда, в дома белых людей, — противоречило всему туземному укладу и быту. Это делалось здесь впервые. Трудность работы усугублялась и тем, что дети не знали русского языка, учителя — чукотского. Кроме того ребенок туземца иной, чем ребенок белого. Интересы их различны. Вот вопросы, которые мы обсуждали под вой затихавшей пурги.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ

Учителям представлялось, что самая главная и основная работа по укомплектованию школы-интерната — это работа с родителями. С детьми, как только попадут они в педагогические руки, казалось, легче справиться. Родителей нужно было уговорить, убедить, рассеять всевозможными способами те суеверия, которые веками накоплялись у них. Отношение туземца к школе не интернатного типа в общем благоприятное. Что же касается школы-интерната, то в этом случае вопрос сильно осложнялся. Ведь детей нужно было оторвать от родной семьи, от привычных им яранг и отдать в руки «белых людей», в совершенно чуждую и невиданную обстановку. Кроме того

туземец очень любит своего ребенка и начинает тосковать по нему, если не видит его хотя бы несколько дней. Я не знаю случаев, когда бы туземец бил своих детей. Ребенок в семье чукчи окружен исключительным вниманием. На него смотрят как на взрослого, с ним разговаривают как с равным, в нем видят не только сына и дочь, но и друга, товарища в самом лучшем смысле этого слова.

Учтя все это, я вместе с учителями поехал по чукотским селениям для набора учеников, одновременно знакомя педагогов с чукотским бытом и языком (кстати сказать, что этой работой мы занимались и в пути). Я до некоторой степени знал чукотский язык, и это значительно способствовало нашей работе.

Селение, куда мы приехали, было большое. Яранги расположились на склоне горы, и в самом центре селения находилась яранга председателя туземного совета. К ней мы и под'ехали. Из яранги вышел плотный чукча лет пятидесяти. Одет он был в одну нижнюю дубленую меховую кухлянку, короткие камусовые торбаза (сапоги) и меховые штаны. На голове его вместо шапки был какой-то ремешок, и сзади на этом ремешке болталась голубая бусинка, а на поясе висел нож. Он направился к нам.

— Какомэ, школякен эрем покирхен (какомэ — междометие, выражающее удивление; школякен эрем покирхен — школьный начальник приехал), — сказал он добродушно, протягивая руку.

Поздороваться за руку с белым человеком было исключительным его правом. Еще до сих пор не изжито у туземцев представление о белом человеке как о начальнике. Ведь совсем недавно здешние белые люди перестали смотреть на чукчу как на дикаря и существо низшего порядка. Дух равенства туземцами еще не осознан.

С Ульхвургын (так звали председателя тузсовета) мы встречались в прежние годы, и он очень развязно, обращаясь ко мне, сказал:

— Аттав гымнин яранг чай паукен (идем в мою ярангу чай пить).

Признаться, мне не хотелось так скоро лезть под полог. Из каждой юрты выглядывали ребята, одни перебегали из юрты в юрту, а некоторые, наиболее смелые, подбегали к нашей нарте. Хотелось переброситься несколькими фразами с детворой.. Но Ульхвургын увлек нас под полог. Вслед за нами влезло человек пять стариков и женщин. Мы не предупреждали чукчей о своем приезде, тем не менее они знали о цели его и ожидали нас. Ульхвургын вспомнил нашу с ним встречу на канонерской лодке «Красный Октябрь», которая ходила снимать с острова Врангеля американских хищников. (За этот поход он имел знаки отличия.) Ульхвургын вспоминал, как громадный ледокол, пожирающий очень много угля, израсходовал его почти весь, и по этой причине приготовился было к зимовке. С особенным удовольствием он вспоминал, как мы с ним закупали сто двадцать оленей на питание.

— Коле нумкакен тэкишкен! (Очень много мяса!) — восклицал он.

Но когда ледокол после месяца стоянки все же решил выйти из Ледовитого и в пути вынужден был бросить в топки не только книги, деревянную мебель, деревянную обшивку парохода, но и мешки с сахаром,—Ульхвургыну было очень жалко сахар.

— Како яйвачкыргын чакар (как жалко сахар)! — до сих пор жалел он об этих сахарных мешках.

Скоро закипел чай. Поджав под себя ноги, мы сидели на полу и вели беседу. «За столиком» прислуживала хозяйка. Она была совершенно голая, не считая набедренной повязки. Здесь была несколько иная обстановка, чем в других юртах: значительно опрятнее, посуда не вылизывалась, а вытиралась сравнительно чистой тряпкой. Ведь Ульхвургын знает привычки белых людей, он видел, как они живут, он сталкивался с бытом белых, и частично этот быт теперь чувствовался в его яранге. К оленьей шкуре (стене) тюленьими косточками был приколот портрет Ленина и какая-то до невозможности замысловатая, сложнейшая диаграмма. В углу тикал будильник. В обычное время этим будильником никто не пользовался. Только перед приходом белых людей Ульхвургын брал его за ухо и накручивал до тех пор, пока «не затикает». Время, показываемое будильником, ничего общего с настоящим не имело.

Ни диаграммой, ни будильником, повидимому, этот представитель власти, созданной Лениным, пользоваться не мог. Он только видел все это у белых в квартирах и на пароходе, а у себя в доме подражал, как умел. Сознательное же представление Ульхвургын получит потом на своем родном языке от своих родных детей, которые ему растолкуют все по-настоящему.

Когда разговор принял деловую форму, то старик, сидевший здесь, сказал мне:

— Мы не можем вместе с ребятами ехать в школу, — нам надо охотиться, ходить за нерпой (тюлень), капканы ставить.

Старик не мог представить, как это одни маленькие дети без родителей будут жить где-то вдали от родной юрты. Он понял, что вместе с детьми придется ехать в школу и взрослым родителям. Я об'яснил ему, что у нас будут жить в школе только дети, а смотреть за детьми и учить их будем мы, учителя. Родители же смогут нас изредка навещать и смотреть, как мы живем и что делаем.

Разговаривать на бумажке, как разговаривают белые, записками — забавная вещь, но чтобы к этому стремиться — туземец не усматривал никакой пользы. Это не приносящая вреда забава, и только. Они не стали бы возражать, если у них в селении была бы школа, куда дети ходили бы позабавиться и снова приходили в свою ярангу. Они настолько любят детей, что ради этой забавы могут просить открыть школу. Но лишаться на некоторое время питомцев, отрываться от них опять-таки ради этой забавы — казалось им неприемлемым и неразумным.

— Вот тот самый Ленин, который смотрит со стены, он все время говорил, что все народы будут жить хорошо только тогда, когда они сами будут делать свою жизнь, — говорю я им.

И так как туземная экономика в значительной части зиждется на торговле, то я и добавляю в виде раз'яснения ленинской мысли:

— Он говорил, что когда у вас тут торговать будут не танги-танги (белые), а вы сами, то вам будет лучше жить. А для того чтобы торговать, надо учиться «разговаривать на бумажке». Человеку трудно все запомнить. Много чукчей привезут песцов, лисиц, оленьих шкурок, а многие захотят получить и в долг. Когда ему дашь, то потом можно забыть все это, а бумажка помогает все запоминать, — растолковывал я им пользу грамотности.

Чукчи любят торговать, и им нравится, когда они видят в районном центре «хозяина» кооператива — своего чукчу. Тогда, очевидно, мелькает мысль в голове: «А вдруг мой сын будет потом торговать в большом магазине!»

— А что же они там будут есть? Где они будут спать? — спрашивает вполголоса присутствующая здесь женщина-мать не меня, а сидящего с ней рядом старика.

Этот вопрос был передан мне уже стариком.

— Они будут есть у нас моржовое мясо, нерпу, оленину. Будут пить чай с сахаром и хлебом. Будут есть суп. Спать же будут они в одних «ярангах», а заниматься (учиться) в других.

— Где же ты возьмешь столько мяса для них? Нужно много мяса. А ведь ты не умеешь ходить по льду и стрелять нерпу?

— Мясо мы будем покупать у охотников. Будем доставать его с вашей помощью, — ведь ваши же дети будут есть его.

— А бить их там не будут? (Туземцам известно, что в американской туземной школе этот метод воздействия применяется.)

— Нет, бить мы их не будем. Мы будем к ним относиться так же хорошо, как и вы сами относитесь к ним. Если «эрем» (начальник) узнает, что ваших детей учитель обижает, то такого учителя отсюда увезут.

— Немельхкен (хорошо), — послышались голоса.

Два дня мы беседовали на эту тему. Нам важно было, чтобы дело набора не провалилось в первом селении, откуда мы начали поездку. При работе в остальных селениях мы ссылались на первое селение. В результате наших бесед и поездок по чукотским селениям было завербовано тридцать пять детей обоего пола.

К концу декабря, когда было подготовлено помещение и необходимое на первых порах вещевое довольствие, начали появляться ученики. Культбаза сразу ожила. В воздухе стоял гул от чукотских голосов, и то-и-дело раздавалось: «поть-поть», «кгрр-кгрр» (направо, налево) — чукотская команда передовой собаке.

Около здания школы толпился народ, стояли собачьи упряжки; с них сходили, направляясь в школу, ребята в сопровождении отцов, матерей, а нередко — и стариков. Все шли с какой-то тревогой на лицах. Эти «звереныши», с ног до головы одетые в шкуры, напоминали пугливых евражек (сусликов). Они подходили к стенам, проводили по ним пальцами; если в этот момент ребенок встречался с взглядом учителя, рука его мгновенно падала. Они осторожно наваливались на стены спинами, и казалось, что пробовали их упругость. Садились на скамейки, вставали с них, пробовали подвинуть и снова садились. Все дети имели на лицах знаки своих шаманок — и на

щеках, и на лбу, а некоторые из них эти знаки имели на животе и спине. Знаки были сделаны специальной каменной краской для ограждения детей от злых духов «келе». Беспрерывно кипятился чай, и приезжие дети вместе со своими родителями и родственниками угощались. И родители и дети пили чай очень сосредоточенно Впрочем, их мысли были заняты уже не чаем, а настроениями совершенно иного порядка.

Для приема была организована особая комиссия вместе с медицинским персоналом. Здесь присутствовали и принимали участие в осмотре детей врач, заведующий больницей, и врач-окулист. Они были одеты в белые халаты и напоминали «белых шаманов», вооруженных какими-то странными штучками. Не говоря уже о детях, взрослые не в состоянии были понять, для чего это «белый шаман» стучит пальцем в грудь, наставляет какую-то трубку на сердце, которое считается у чукчей разумом. Мало этого, — «шаман» в некоторых случаях обращался и к «женщине в белом». Повидимому, она тоже была шаманкой, так как «белый шаман» все время советовался с ней. «Белая шаманка» заглядывала в глаза детям и до такой степени выворачивала им веки, что по телу родителей пробегали мурашки. Но протестовать было поздно. Один момент — и ребенок в полной исправности возвращается к отцу или матери, стоящим здесь же, а врач записывает:

«Таенпехля (имя девочки) из семьи Таюги (имя отца) селения Яндагай.

Видимая слизистая ниже Н.

Шейные железы слегка прощупываются.

Питание среднее.

Сердце учащенно бьется.

На теле следы чесотки.

Кон'юнктивы Н эпикант.

Живот сильно увеличен. Возраст 9 лет.

(Чесотка и вообще накожные болезни не являлись мотивом для отказа.)

Оставляя детей, чукчи-родители заходили ко мне и передавали разнохарактерные наказы:

— Когда гымнин (мой) Меветхыргын (имя мальчика) будет ложиться спать, надо ему сказать, чтобы памьяты (чулки) он положил к печке, а то они будут сырые, и ноги мерзнуть, — говорил один.

— Тает-Хема (имя девочки) боится усыкомчуку (темного), и если она захочет ночью очульхен (ночной горшок), то как тогда? — спрашивал другой.

— А мы на ночь в коридоре поставим очульхен, и всю ночь в коридоре будет гореть орак (фонарь), — сказал я.

— О, како немельхкен (вот это очень хорошо)!

С большой тревогой в душе чукчи оставляли своих детей. Некоторые уже садились на нарты, но, как бы вспомнив что-то, переворачивали их и снова возвращались к детям. Они что-то передавали шопотом остающимся, и те серьезно выслушивали родителей. Никто из родителей не хотел выехать первым, оставив своего ребенка. Все дожидались, пока закончит свои наказы последний из уезжающих. Наконец все покончили и приготовились к от'езду. Ребята высыпали проводить своих отцов, матерей и посмотреть, как они будут от'езжать. Некоторые школьники подбегали к собакам, гладили их, а псы, предчувствуя разлуку, лизали своих маленьких друзей прямо в лица и крутили хвостами. Казалось, эти добрые животные тоже разговаривали с ребятами и что-то передавали им. Родители, сидя на нартах, махали руками и кричали: «Тагам, тагам!» (слово имеет несколько значений, в данном случае: до свидания). Дети остались с нами.

ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДНЯ

Осиротевшие дети робко цеплялись за руки учителей и тоскливо посматривали на них. Трудно было представить себе их переживания в этот момент. Возможно, они думали о своих ярангах, о собаках, о родственниках, которые теперь уже приехали домой и, наверное, поджав ноги, сидят и пьют чай, и тоже силятся представить, что делают, о чем думают их дети в «белых ярангах».

Тоскливо ребятам. Все здесь им чуждо, начиная от учителей и кончая окружающей обстановкой. Но все же присущая им исключительная любознательность заносила их во все уголки нашего большого дома. Ходили по классам, по спальням, смотрели то со смехом, то со страхом на кровати, подушки, одеяла. После того как они удовлетворили свое любопытство и предварительно ознакомились со всем, мы собрали их и провели беседу на тему, как будем жить и что будем делать.

Целой ватагой ходили за мной ребята, внимательно слушая назначение комнат, вещей, мебели и т. д. Нужно было продемонстрировать им, как люди садятся на скамейки — не для того, чтобы писать, а, скажем, просто по-

сидеть вообще. Как надо ложиться спать и пользоваться кроватью, подушкой, одеялом. Обо всем этом они, в буквальном смысле слова, не имели никакого понятия. Полные изумления, дети старались вместить в своей голове все эти диковинные вещи. Казалось, что не все они усваивают это хорошо. Но никто из них не задал ни одного вопроса. Все они смотрели, слушали и этим ограничивались. Больше всего их удивляла менит (материя), которая лежала под одеялом на матрацах (простыня). Зачем она здесь лежала, когда матрац и без нее хорош? Он даже был животнисней. На нем были полоски разного цвета, в том числе и красного, так уважаемого туземцами. Простыня же скрадывала всю прелесть этого матраца и была белого цвета, похожая на материю, из которой охотники в зимнее время сшивают камлейки.

Нам предстояла длительная, чрезвычайно своеобразная воспитательная работа. Школьников нужно было обучить не только держать в руке карандаш и ручку, а и тому, как, например, держать ложку в руке, как есть и т. д., и т. п.

К вечеру дети были одеты в новые костюмы и белье. Им было удивительно, что белые очень нерационально расходуют мануфактуру. Зачем нужно сразу надевать и белые и черные конахты (штаны), когда можно ограничиться чем-либо одним? Но перед сном они уже узнали, для чего это делается. Ум туземца — практический ум.

Многие из туземных детей уже не раз бывали на охоте. У всех у них были прекрасные знания и навыки в пределах жизни и работы взрослого туземца-охотника. Они были, если можно так выразиться, маленькие взрослые охотники. Они привыкли в жизни что-нибудь делать. Девочки великолепно владели иглой и по целым вечерам помогали своим матерям в шитье, а мальчики не раз сами убивали тюленя и волоком тащили его к себе в ярангу. Их энергию нужно было сразу же переключить на какое-нибудь дело. Иначе бы дети почувствовали себя плохо. После ужина они начали спрашивать:

— А что мы будем делать и когда?

До сна у нас было времени около двух часов; поэтому мы решили организовать вечером занятия свободного характера. Детвора уселась за столики в классе и очень спокойно ожидала с вопрошающими лицами: что же будет сейчас? Учитель принес несколько листов бумаги и стал нарезать их по числу учеников. Бумагу они встречали и раньше, но очень редко. В фактории завертывали в нее гвозди. На мануфактуре тоже бывала иногда этикетка, которая попадала к ним на стенку полога. Но настоящее назначение бумаги было неизвестно. Она даже не имела названия на чукотском языке.

Учитель раздавал каждому по листу и говорил:

— Вот мы, белые, по этой бумажке можем разговаривать. Если мой приятель сидит сейчас в Уэлене (120 километров), а я здесь, то если я пошлю эту бумажку туда, он будет знать, что я прошу, — бумажка ему все скажет. Эта бумажка — все равно как разговаривает.

— Карэм (нет, не может быть)! — послышался возглас мальчугана, и дети начали беседу между собой по этому вопросу.

— Каглина (правда)! — говорит другой.

И в доказательство он начал рассказывать. Один белый приехал к ним и забыл в соседнем селении, где находятся тоже белые, торбаза (сапоги). Этот белый «сделал бумажку» и послал ее с чукчей. Потом ему привезли торбаза. Должно быть, эта бумажка ему действительно сказала, так как белый ничего не говорил посыльному при отправлении.

Бумажку они называли «келикель», и отсюда все производные: писать — келиткулькен, карандаш — келиткуня, учитель — кулиткуркен кляуль (пишущий человек, бумажный).

Затем учитель достал карандаш. Эта палочка, которая после себя оставляла след, большого эффекта не произвела, так как у туземцев есть камешки, которые тоже оставляют след. Но эта палочка была изящной и тем самым привлекала внимание детей. Она была деревянная и лишь в середине имела камешек.

— Вот с помощью этой бумажки и этой палочки, которая называется «карандаш», белые разговаривают между собой. Вы тоже можете разговаривать так же, — сказал учитель.

— Тита (когда)? — послышался вопрос.

— Но только не сейчас, а потом. Надо учиться для этого. А сейчас пока вы можете на этой бумажке «делать» что хотите. Можете «сделать» ярангу, собак, моржей, тюленей.

Дети взялись за карандаши. Но ведь им не приходилось видеть, как пишут, и неудивительно, что некоторые из них держали карандаш в руке так, как держат молоток. Однако ребята очень скоро, с поразительной восприимчивостью овладели техникой новой работы.

Зрительное восприятие и зрительная память детей тундры изумительны. Ребенку стоит только посмотреть вещь, даже ему незнакомую, и он очень хорошо запоминает все ее мельчайшие детали. С большим интересом дети принялись изображать на бумажке разные предметы туземного быта. Ребенок, никогда не державший до школы в руках карандаша, владел им превосходно. Рука его не дрожала. Он очень уверенно проводил необходимую ему линию. Результаты «работы с карандашом» были очень хороши. Рисунки детей приводили нас в восхищение. Причем мальчики в рисунке отражали «мужское дело», а девочки — «женское». И очень нетрудно было даже не специалисту детского рисунка определить, что рисовали мальчики, и что — девочки.

Дети настолько увлеклись новой для них работой, что не хотели расставаться с ней. Но время было уже позднее, и нужно было ложиться спать. Каждому показали место в спальне, и через некоторое время детей уложили. Так закончился первый день в первом чукотском интернате. Ночью, проходя по спальням, можно было наблюдать следующие картинки: лежит какой-нибудь карапуз, положив ноги на подушку и спустив голову за кровать; другой стоит на коленях около кровати, опустив голову на нее, и спит; подушка его «отдельно спит», одеяло — тоже.

Три дня — исторических для Чукотки — прошли в школе-интернате в беседах, в знакомстве детей с учителями. И все эти дни ежедневно приезжали на собаках к каждому школьнику родители, забросив свои хозяйственные и охотничьи дела. И в это же самое время во всех ярангах неустанно били в шаманский бубен, отгоняя злых духов от детей, находящихся у нас.

Первые дни присутствия детей на культбазе промелькнули более чем гладко. Мы уже успокоились и думали, что нашли правильный подход к туземным детям и их родителям. И лишь к концу третьего дня почувствовалось, что дети затосковали. Они уже не были к нам так внимательны, как первое время. Когда к культбазе под'езжала чукотская нарта, ребята толпой окружали ее. Они гладили собак, разговаривали с ними и, казалось, жаловались добрым псам и на свою «горькую долю».

КАНИКУЛЫ И ЧУКЧАНКА ПАНАЙ

Как-то подходя к школе, я заметил вдали от культбазы двух девочек-школьниц.

Спрашиваю:

— Что это они гулять так далеко ушли?

— Нет, они домой побежали, — сказали мне школьники.

Был конец декабря, короткий день клонился к вечеру. Мороз 26 градусов. Сейчас же я взял нарту и, захватив теплую одежду для девочек, помчался вдогонку, рассчитывая догнать их, одеть потеплей и довезти до дома. Однако я доехал до самого селения (12 километров), а восьмилетних девочек не догнал. В селении их также не было. «Беглянки» сообразили, что за ними может быть погоня, и, чтобы сбить с толку преследователей, ударились в горы, а затем по ущельям направились в другое селение, из которого была одна из девочек. Так как в селении, куда я прибыл, их не было, я ожидал некоторого переполоха. На самом же деле ничего страшного в этом чукчи не усмотрели. Что же тут особенного, если восьмилетняя девочка пройдет по гористой тундре километров пятнадцать? Таково было суждение чукчей. Наоборот, им очень понравилось мое беспокойство и забота об их детях, когда они увидели на нарте у меня теплую одежду, предназначавшуюся для беглянок. Но все же очень быстро было снаряжено несколько нарт на поиски. В тундре их, конечно, не нашли. Они давно уже прибыли в дальнее селение. Девочки пили чай и говорили, что очень соскучились по дому.

— Зачем же ты убежала и не сказала мне? Если тебе захотелось домой, ты могла бы сообщить об этом. Я вызвал бы отца, и ты поехала бы домой на нарте, — говорил я.

— Коо (не знаю), — ответила девочка.

Возвращаясь обратно в культбазу, я захватил с собой председателя тузсовета Ульхвургына. Все это время — с момента моего выезда в погоню и до самого моего возвращения — остававшиеся в школе ребята находились в чрезвычайно возбужденном состоянии. Что дети ушли и что с ними могло что-либо произойти в дороге — их мало беспокоило, так как они хорошо знали, что беглянки дойдут до дома. Их интересовало, что из этого получится, какой конец будет иметь вся эта история. И не успели мы под'ехать к школе, как к нам сбежались все школьники. Они засыпали нас всевозможными вопросами. Ульхвургын же стоял, как в рот воды набравши. Я его в дороге просил с каждым в отдельности школьником по этому вопросу не разговаривать, а поговорить на общем собрании учеников. Молчание его их

еще больше интриговало. Наконец мы собрали детвору в класс, и я принялся внушать, что уходить с культбазы, не предупредив меня, нельзя. Можно замерзнуть в нашей одежде (их одежда находилась на хранении в виде «залога»), могут и волки напасть. Если кто сильно захочет домой, надо об этом сказать учителям. После меня соблаговолил высказаться и сам Ульхвургын. Он держал себя солидно. Школьников очень обрадовало, что Ульхвургын заговорил. Они думали, что Ульхвургын «чинтуи акарели» (рассердился) на всех детей из-за этих бегунов. Как только Ульхвургын кончил, послышались детские голоса: «Карэм, карэм» (нет, нет, не пойдем), «Кайго, леут уйни» (правда, нет головы). Таким образом весь школьный коллектив осудил беглянок.

Оторванные от всего родного и привычного им, дети подчинялись своей судьбе, но они все же тосковали. Они уже в течение трех дней не видели даже очертаний своих яранг, в которых они выросли, привыкли к ним и любили их. На территории культбазы были только громадные «белые» яранги, устроенные совершенно иначе. Чувствуя их настроение, я решил устроить каникулы с выездом учителей по разным селениям. В тот же день я собрал детей и сказал им:

— Нункагты ама неккагты (мальчики и девочки)! Завтра мы поедем к вашим отцам, матерям, сестренкам и братишкам в гости вместе с учителями.

Лица загорелись неописуемой радостью. Послышались голоса:

— Како, како немельхкен (очень хорошо)!

Дети повскакали с мест. Весело подпрыгивая, они носились по классам.

Чтобы оставить о школе хорошее впечатление, был организован киносеанс. Дети, не имевшие представления об этой волшебной машинке, с большим интересом наблюдали за всеми приготовлениями. В зале стало темно, лишь об'ектив отбрасывал на экран сноп лучей. Потом снова темно, и на экране появилось стадо оленей. Картинки дети уже видели, и их поразил лишь размер экрана. Затем поворот ручки аппарата и — оленье стадо пришло в движение. Вместе с этим пришла в движение и вся аудитория. Им трудно было воздержаться от возгласов, в которых слышались испуг, изумление, неописуемый восторг — все вместе. Картина была из их жизни. Они видели на ней юрты кочевников, видели оленей, тюленей, моржей. Картина переносила их в мир действительных, понятных им ощущений. Когда же на тюленьем промысле показался пароход и ледокол, ломающий лед,— ощущение прямо было осязаемым. Казалось, что школьники слышат треск громоздившихся льдин. Но когда пароход двинулся по направлению к ним, то школьники предположили, что он пойдет и по залу. Сидящие «на пути парохода» моментально повскакали с мест. Но пароход так и остался на экране. Люди на экране ходили, работали. Ученики вспоминали суждения своих родителей по поводу кино (взрослым приходилось видеть картины несколько раньше). «Живые и белые чортики» — так говорили взрослые чукчи.

До глубокой полночи шопотом, лежа на кроватях, дети вели оживленную беседу по поводу кинокартины, обсуждали план своей поездки, предвкушая все удовольствия завтрашнего дня.

Рано утром из всех чукотских селений к нам прискакали на собаках чукчи-родители. Еще вчера, после нашей беседы с учениками, весть о поездке распространилась с молниеносной быстротой по всем селениям. Судя по лицам родителей, по их разговорам, они больше детей были рады этим каникулам. Учителя еще не успели одеться, как все школьники уже сидели на нартах. Тагратыргын (так звали одного из родителей ученика) имел лучшую нарту с упряжкой в двенадцать прекрасных псов.

— Аттав гымнин ургур (пойдем на мою нарту), — сказал он мне.

С визгом, гиканьем два десятка нарт рассыпались в разные стороны. Собак гнали словно на бегах, как будто предстояло получить большой приз. Не успели мы под'ехать к яранге, как из сенок послышался крик:

— Покирген (приехал)!

Вслед за этим кубарем выкатилась из полога полуголая Рультына. Обычно неуклюжая, неповоротливая, медлительная, она в этот момент напоминала лису, нашедшую своего детеныша. Сияющая мать схватила Рультенкеу и начала безо всяких слов обнюхивать его. На Рультенкеу уже не было следов тех шаманских знаков, которые ему сделали перед отправлением в школу. В пологе Рультенкеу разделся. На нем был наш костюм. Рультына снова схватила его и стала обнюхивать. Все это она делала не потому, что мальчик изменился, а просто выражала свою радость и любовь к сыну. Тагратыргын (отец) возился с упряжкой и

вскоре влез под полог. Он окинул взглядом жену и сказал:

— Эми чай (где чай)?

— Каккоме антияльхен! — засуетилась Рультына. (Забыть поставить чай во время приезда даже «неважных» гостей — вещь невероятная.)

Рультынкеу сидел в центре полога, сестренки и братишки щупали рубашку и штаны, выданные ему школой. Вероятно, они думали, что учеников содержу я лично, и считали меня богатым филантропом. Понятие о государственном содержании школы у них еще не укладывалось в голове. Продемонстрировав свой верхний костюм, Рультенкеу отстегнул ворот верхней рубашки и показал нижнюю сорочку. Сидел он неподвижно, немного надув щеки, и наслаждался, повидимому, чувством собственного достоинства. Вскоре он снял все верхнее платье, оставшись в одном нижнем белье, а через полчаса, показав всего себя, снял белье и принял свой обычный домашний вид, оставшись голым. Чай уже закипел, и Рультынкеу, вспомнив, вероятно, что он еще не все продемонстрировал, потянулся к своим штанам, вытянул из кармана носовой платок и стал безо всякой надобности тереть себе нос. Такого оборота, признаться, я не ожидал. Рультынкеу положил платок обратно в карман.

Присели к чаю, и Рультынкеу получил в виде закуски своеобразное, долго хранившееся лакомство — тюлений глаз в сыром виде. Глаз моментально проскользнул в рот, потом снова показался и снова спрятался во рту. Рультынкеу долго смаковал глаз, прежде чем с'есть его, желая продлить тем самым удовольствие. Вся встреча происходила при полном молчании, и я не находил нужным нарушать его. Лишь во время чаепития Рультына, обратившись к Рультенкеу и указывая на меня, сказала:

— Гынин папа (твой папа)?

— Да, — коротко ответил он.

В то же самое время во всех других ярангах происходило примерно то же, что и в яранге Рультынкеу.

Когда я вышел на улицу, то увидел группу школьников. Они подбежали ко мне и, уже менее робко, чем раньше, стали хватать меня за руки, приглашая к себе в юрты. По-очереди я наносил визиты, беседовал в каждой юрте, пил чай, хотя мне и не хотелось пить. Было как-то «неприлично» с туземной точки зрения отказаться от чая и обидеть родителей своих учеников. За этот вечер пришлось выпить невероятное количество чаю. Злые языки некоторых базовских работников, не знавших внутреннего мира туземцев, даже говорили, что я «зарабатывал себе чаем авторитет».

Три дня учителя жили в чукотских селениях, ходили с учениками ловить в прорубях рыбу, на охоту за нерпой и т. п. Один ученик даже убил нерпу и по ледяным торосам тащил ее на моржевом ремне, сияющий от восторга, в свою ярангу.

Живя среди чукчей, я обдумывал пути дальнейшей нашей работы, и у меня зародилась мысль о приглашении какой-нибудь старухи-чукчанки в качестве своеобразной воспитательницы на постоянную работу. Это укрепило бы наши взаимоотношения с туземцами.

Панай, так звали старуху, была лет пятидесяти, крепкая рассудительная женщина. Лет двадцать тому назад американцы возили ее в Сиатль на выставку. Но там ей, в смысле духовного развития, конечно, ничего не дали. Ее возили для того, чтобы дать возможность посмотреть на дикарку сытым американским буржуа. Все предрассудки своего народа Панай, конечно, сохранила в полной мере. Но другой, лучшей, было не найти, да в конце концов это и не столь важно: будет сама в школе, перед своей смертью, освобождаться от предрассудков и в то же время помогать нам в общей работе.

НАЗАД ДОМОЙ

Настал день возвращения в школу. Ребята, словно их подменил кто, собирались охотно. Они даже соскучились по нашей обстановке. Хотя шаманы были убеждены в том, что только потому «злые духи в белых ярангах» не трогали детей туземцев, что приняты были ими, шаманами, «соответствующие» меры, перед отправкой детишек уже не мазали каменной краской, а лишь ограничивались битьем в шаманский бубен. Наутро после чаепития школьники приоделись в наши костюмы и стали готовиться к от'езду. В селении раздавался гам людских голосов, смешанный с визгом собак. Около каждой яранги возились с упряжкой, а Рультынкеу, уцепившись за алык (хомут), тащил из яранги заупрямившуюся собаку. Она всеми силами пятилась назад и не хотела запрягаться. Подошел Таграттыргын, дал ей в бок пинка, и собака, закрутив хвостом и завизжав, выбежала к упряжке. Одиннадцать псов были уже запряжены и в ожидании сидели по-собачьи. Все жители селения, от мала

до велика, высыпали из юрт, и мы под весь этот шум и гам выехали на культбазу.

— Тагратыргын, а почему же детей не помазали?

— Какомэ вечем антьяльхен (должно быть, забыли), — говорит он с некоторым испугом на лице.

— Ну, и ничего, Тагратыргын. В прошлый раз тоже можно было не мазать, и детям было бы все равно хорошо. Детям хорошо не от этого, а от тех людей, которые с ними занимаются. Если бы эти люди были плохие, то все равно, как бы детей ни мазали, им не помогло бы. Я думаю, что шаманы вас обманывают. Им нужно это для того, чтобы их считали эрои (сильными, властными людьми). У нас тоже шаманы раньше обманывали народ, но потом люди узнали это, и их перестали слушать, а некоторые даже прогнали от себя шаманов, как етки кляуль (плохих людей). Шаманы у нас раньше совсем ничего не делали, а кометва коле нумкакен (пищи очень много) имели.

Тагратыргын не без робости выслушивал эти дерзновенные мысли против шамана, который может знать, о чем Тагратыргын сейчас со мной разговаривает, но все же он сказал:

— У нас шаманы тоже имеют много пищи, а сами мало работают.

— А вот Ленин, о котором я вам вчера рассказывал, говорил, что не нужно давать пищи тем, кто не хочет работать. У нас очень много было шаманов и богатых людей, на которых работало много-много народа. Они жили в хороших ярангах и ели очень много пищи, а когда Ленин рассказал всем мигчерет кляуль (работающим людям) и сказал: раттаняу (довольно) работать на них! — все его послушались и прогнали богатых шаманов. Они очень рассердились и говорили, что без них все работающие люди пропадут, а шаманы говорили работающим, что, когда они умрут, там им будет очень плохо. Ленин же сказал, что все это они врут, и их работающие люди прогнали совсем с русской земли.

— Какомэ! — удивился Тагратыргын. — Наверное, Ленин был коле неменкен эреи (очень сильный, большой человек).

Он мысленно, должно быть, представлял, как получилось бы, если бы Ленин боролся с Каменваттом (тоже сильный человек, чукотский силач). Я ему рассказал, в чем заключалась сила Ленина и почему его все слушали.

— Вся сила его была в правде, — закончил я.

Тагратыргын задумался. Впервые ему пришлось слышать о таких своеобразных человеческих взаимоотношениях.

Мы под'ехали к культбазе. Вместе с нами прибыла и Панай, дополнительная штатная единица.

— Наконец-то прибыли! А то без школы здесь какая-то пустота, словно все замерзло,— говорит заведующий базой.

Панай получила комнату, кухлянку, платье и даже... белье. Ей было смешно так одеваться, но что поделаешь с белыми «проказниками»! Панай очень быстро вошла в роль и потом так кричала на детей, что мне приходилось ее уговаривать поменьше волноваться. А учительница с возмущением докладывала мне:

— Это безобразие! Старуха бегает за детьми с палкой по спальням.

Действительно, Панай в первый раз в своей жизни оказалась в такой шумной яранге и старалась как-нибудь укротить детей. Чукотские же дети в обычной обстановке со стариками разговаривают не иначе, как шопотом, а здесь (должно быть, школьная среда создает это) они ей показывали язык, устраивали сзади всевозможных чортиков, копировали ее походку до такой степени комично, что, вместо того чтобы остановить эти детские шалости, я сам иногда покатывался со смеху.

— Ты, Панай, все же не кричи на детей!

А она оправдывалась и добродушно говорила:

— Это ничего, а то они, как молодые безумные олени, начнут скакать.

— Ничего, Панай. Пускай поскачут. Вырастут большие, тогда перестанут.

Об одной кулацкой хронике

А. Фадеев

Огромные успехи социалистической коллективизации сельского хозяйства, на основе которой происходит ликвидация целого капиталистического класса, того класса, который, по определению Ленина, является самым злобным, самым упорным врагом пролетарской диктатуры, — кулачества, — вызывают, по вполне понятным причинам, наибольшую ярость этого врага. Именно дело социалистической коллективизации ему нужно опорочить, извратить, постараться высмеять, дискредитировать и оклеветать. Этот «социальный заказ» и дает кулачество своим идеологическим агентам и, в частности, своей художественной литературе. Однако дело социалистической коллективизации сельского хозяйства, представляющее собою практическое освобождение миллионов трудящихся от рабства, стало настолько популярным, настолько любимым и близким делом миллионов, что кулацкие агенты все реже решаются выступать с открытым, ничем не замаскированным нападением на колхозное строительство. Они все чаще принуждены надевать маску сочувствующих «в общем и целом», но только сомневающихся, колеблющихся. Они норовят прикинуться безобидными чудачками, юродивыми, которые режут «правду-матку», мучаясь и тревожась величайшей «заботой за всеобщую действительность». Они даже могут подать тот или иной совет, сказать ласковое слово, — ведь они же за коммунизм, за «генеральную линию». Они всячески просят не путать их критику данного недостатка, данного руководителя, данного факта с их общей «сочувствующей» позицией. Они даже могут сослаться на авторитет «центральных вождей»,— они же простые и прямые люди, они «способны ошибаться, но не могут солгать».

Всякий, знающий классовую борьбу в нашей деревне и участвовавший в ней, знает этот тип хитрого, пронырливого классового врага, знает, как часто пытается кулак надеть маску «душевного» бедняка, заботящегося за народ, «за всеобщую действительность». Подобного типа кулацкие агенты стремятся использовать и художественную литературу. Одним из кулацких агентов указанного типа является писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов в маске «душевного бедняка», простоватого, беззлобного, юродивого, безобидного, «усомнившегося Макара».

Он сыплет шуточками, прибаутками, занимается нарочитым и назойливым косноязычием, вздыхает о душе, о том, что «трактора горячие, а жизнь прохладная» (см. его «бедняцкую хронику» — «Впрок», напечатанную в 3-й книжке «Красной нови»). Но, как и у всех его собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого, «усомнившегося Макара» дышит звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна.

Повесть Платонова «Впрок» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации — периода ликвидации кулачества как класса и является контр-революционной по содержанию.

Платонов постарался прикрыть классово враждебный характер своей «хроники» тем, что облек ее в стилистическую одежонку простячества и юродивости («Я, дескать, душевный бедняк, — что с меня взять»), рассчитанную на коммунистов, способных — о, разумеется! — «понимать» и — о, конечно! — «отдавать должное» «оригинальности художественной манеры». Платонов постарался прикрыть классово враждебный характер своей «хроники» и некоторыми подачками (так сказать, «на идеологическую близость»), рассчитанными на коммунистов, которые «подоверчивее» и «могут войти в положение». Ну, конечно, «он способен ошибаться, но не может солгать». Ну, конечно, он тоже «со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью» (?), выступал на защиту партии в глухих деревнях республики». Платонов понимает, что нельзя совсем не упоминать

и о кулаках, проникающих в колхозы. Он «отдает должное» тому, что колхозники засевают больше, чем засевали, когда были единоличниками. Он даже подает советы о том, где строить колхозные селения, — об овцеводстве, о водоснабжении.

Но Ленин как раз и учил разбираться в различных уловках, ходячих фразах, всевозможных софизмах, которыми прикрывают эксплоататорские классы свои эгоистические поползновения и свое настоящее «нутро».

Стоит только поворошить одежонки, которыми прикрылся «душевный бедняк», как из-под оригинальности» его художественной манеры выглянет совсем не оригинальный, а уже примелькавшийся и уже разоблачаемый массою крестьянства, хитроватый «юродивый» — себе на уме, ведущий свою кулацкую линию. Бессильно и злобно пытается он издеваться над огромным и трудным делом освобождения трудящихся крестьян от кулацкой кабалы, над делом, на которое с сочувствием и надеждой обращены взоры эксплоатируемых миллионов всего мира. Бессилие и пошлость его издевки — следствие действительных успехов социалистического наступления рабочего класса.

Платонов обнаглел настолько, что позволяет себе заниматься своими юродивыми пошлостями и тогда, когда он говорит о Ленине. Один из его героев сидит в доме заключения за самоуправство и узнает о смерти Ленина. «Упоев сказал самому себе: «Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, буду жить!» и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но не спавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав об'яснения Упоева, неско возразил:

— Ты, действительно, сволочь. Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых... Как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то умнее всех, и если он умер, то нас без призору не покинул».

Убежденный словами босяка, Упоев стал «обсыхать лицом».

Нужно обладать неисчерпаемым запасом тупой и самодовольной пошлости для того, чтобы вкладывать эти слова о Ленине в уста бродяги, сидящего под арестом в советском доме заключения.

С этим неисчерпаемым запасом пошлости Платонов и подходит к выполнению заказа, данного ему его классом.

Основной смысл его «очерков» состоит в попытке оклеветать коммунистическое руководство колхозным движением и кадры строителей колхозов вообще. Разумеется, Платонов делает все, от него зависящее, для того, чтобы извратить действительную картину колхозной стройки и борьбы.

С этой целью всех строителей колхозов Платонов превращает в дураков и юродивых. Юродивые и дурачки, по указке Платонова, делают все для того, чтобы осрамиться перед крестьянством в угоду кулаку, а Платонов, тоже прикидываясь дурачком и юродивым, издевательски умиляется над их действиями. Святая, дескать, простота!

Руководитель коллектива «Доброе начало», красноармеец Кондров занят, главным образом, изобретением «колхозного электрического солнца», которое светило бы «ц е л и к о м в с т о р о н у к о л х о з а». Он пишет устав для действия электросолнца. Устав написан в том юродском стиле, в каком, по мнению людей, заразившихся барством, говорят и пишут руководители из народа и в каком на самом деле они никогда не говорят и не пишут. «Солнце организуется для прикрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия...» «Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство перестать держаться за религию при наличии местного солнца...» «И в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране...» Так идут пункт за пунктом, основная цель которых показать: до чего же, дескать, «потешно» получается, когда наши «мужички» («охломоны») берутся за технику. «Остроумие» Платонова, как видим, куцое и убогое, выдумка его — плоская и дешевая. Но она обнаруживает высокую классовую кулацкую сознательность. Враг знает, куда он метит: он высмеивает то массовое движение за овладение техникой, которое является одним из вернейших орудий в классовой борьбе пролетариата и руководимых им масс крестьянства.

Вот вам «руководитель» другого колхоза, бедняк Упоев «с активно мыслящим лицом», говорящий «евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал». Упоев «прочел в газете лозунг: «даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами». «Упоев радостно ду-

мал», — юродствует и сюсюкает Платонов, — «что вопрос стоит о крапивочной порке капиталистов руками заграничных мало вооруженных товарищей». Такие анекдоты рассказывают, должно быть, друг другу тупеющие от безнадежности белые эмигранты.

Но Упоев занимается не только этим. Упоев «нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки, действительно, из страха или сознания... перестали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения».

Вот вам третий руководитель колхоза — Пашка. «В старину, до революции... он был глуп, как грунт или малолетний». Будучи неимущим, он «за полведра водки скупил все болота и песчаное угодие» и проводил там свою жизнь. После революции его выселили оттуда, как «врага народа». Пашка бродит, юродствуя, по селам, пока его не арестовывают, «как бродягу и непроизводительного труженика». Его отдают под суд. Добрый «рабочий судья» считает, что Пашку «надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество». Для этого его отдают в мужья одной «сознательной бабочке». Под влиянием «сознательной бабочки» Пашка «лезет в гору» и становится председателем колхоза «Путь человечества».

Таковы по Платонову непосредственные руководители колхозного движения, кадры колхозов. На место лучших сынов рабочего класса и передовых крестьян, несущих вперед знамя коллективизации, Платоновым представлены выдуманные им идиотики. Чего стоит, например, «борец с неглавной опасностью», через которого Платонов пытается высмеять ту борьбу, которую вела партия с уклонами от ее генеральной линии? Или «воинствующий безбожник» Счекотулов, нарочито издевающийся над верующими («вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни, вас еще Маркс Карл предвидел»), и т. д.?

тонов высмеивать и процессы, происходящие внутри колхозов. И именно здесь особенно отчетливо выступает кулацкая природа его произведения.

В платоновских колхозах — царство сплошной нелепости и бессмыслицы. Колхозный день протекает в такого рода занятиях:

«— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть.

— А чего их глядеть? Я глядел, стоят, овес жрут который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать...»

И Васька бежит «глядеть на настроение общественных лошадей».

Или же Платонов выдумывает следующие идиотские штуки, кажущиеся ему, повидимому, сногсшибательно остроумными:

«Петька... пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно, пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки».

Этот, в сущности, бессмысленный, тупой, животный «юмор» Платонова нужен ему для вполне определенной цели. Бестолочь, праздная суетня и вместе с тем эксплоатация труда — вот какими красками рисует он колхозную жизнь. Наш «душевный» кулацкий агент очень гуманен, он, видите ли, «жалеет» несчастных колхозников.

«— Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак, у кулака было грабленое, а у нас свое».

«...один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить».

Озлобленная морда классового врага вылезает из-под «душевной» маски. Платонов распоясывается. Изобразив колхозную жизнь как царство бестолочи, он переходит затем к описанию лжеартели, кулацкого колхоза, состоящего из переродившихся бывших героев гражданской войны. Для виду он, разумеется, выдавливает из себя несколько лицемерно осуждающих слов по адресу этих «героев», — но зато как любовно описывает он их хозяйство!

«Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в планово-разумном порядке

были расположены на усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий... Артель в прошлом, средне-благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей... Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми, старинными способами; хорошие же результаты об'яснялись трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевицкой».

Добавление насчет «большевицкой артели»— не в счет. Суть в том, что идиллия, описываемая Платоновым, выглядит прямо каким-то кулацким оазисом в пустыне бестолочи и сумятицы. «Все работы совершались вековыми, старинными способами», — лукаво подмигивает Платонов. Наш «юродивый» Андрей Платонов просто воспроизводит чаяновскую кулацкую утопию.

И каким отвратительным лицемерием звучит «жалостливая» сентенция Платонова об одном из колхозных руководителей:

«Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно. А с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику».

Омерзительно фальшивы! кулацки) Иудушка Головлев, воспевающий кулацкие «коммуны» и «жалеющий» колхозных руководителей, может особенно не беспокоиться. Колхозные кадры растут, любой колхозный бригадир сумеет разобраться в платоновском юродстве и определить подлинную цену его «душевности».

В том же елейно-фальшивом, сладком, лицемерном тоне описывает Платонов и, выдуманную им историю о том, как голодающего батрака Филата, неизвестно почему, долго не принимают в колхоз, а потом устраивают ему издевательский прием на первый день пасхи, «дабы вместо воскресения Христа устроить воскресение бедняка в колхозе». Филат умирает от «счастья» (умирает в буквальном смысле), а председатель напутствует: «Прощай, Филат... Велик твой труд, безвестный знаменитый человек». Это — образчик самой подлой и омерзительной клеветы. Потому что на нашей советской земле, которую рабочие и крестьяне кровью отстояли от соединенных сил мирового капитала, миллионы трудящихся Филатов впервые освободились от гнета и издевательства помещиков и капиталистов. Под руководством рабочего класса они освобождаются и от кулацкой кабалы, создают новые формы социалистического труда, становятся в разумные отношения друг с другом, рождают могучие таланты во всех областях человеческой деятельности.

Социалистическому наступлению оказывает бешеное сопротивление классовый враг. Он находит своих агентов и в литературе. Коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой сущности таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарского революционера.

И потому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку агента классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла впрок.

От редакции:

Редакция присоединяется к оценке «очерков» Платонова, данной в статье т. Фадеева, и считает грубой ошибкой напечатание их в «Красной нови».

Максим Горький и Достоевский

(Эпизод с постановкой «Бесов» в 1913 году)

Е. Красновская

«Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров», — так заканчивалось письмо Горького в редакцию «Русского слова» от 22 сентября 1913 года. Письмо было озаглавлено «О карамазовщине» и было направлено против Московского художественного театра, который должен был открыть сезон 1913 года инсценировкой «Бесов» Достоевского.

Для Горького 1913 год — год его нового сближения с партийной жизнью и работой. Отклонение от большевизма, богостроительские мысли, каприйская школа — все это этап, уже пройденный Горьким к 1913 году. Пересматривая идеологию современной интеллигенции, Горький именно в этом году заявляет, что ее мысль «прослоена разнообразными течениями». Он пишет, что эти течения тем более враждебны, что крайне неопределенны. Итак, критически относясь к идеологическим шатаниям интеллегенции, Горький сам стремится занять твердую и определенную социальную позицию. Он принимает участие в партийных делах, активно работает в большевистском журнале «Просвещение». В 1913 году учащается переписка Горького с Лениным, чье влияние на политические и социальные воззрения Горького несомненно.

Все тверже и тверже становясь на революционные позиции, Горький не мог не отозваться на такое большое событие общественной и культурной жизни, как инсценировка «Бесов» Художественным театром.

Художественный театр, возникший как театр «общедоступный», выражал идеологию и настроения крупной буржуазной интеллигенции. В первое десятилетие существования театра чуть не каждый спектакль его был событием не только общественной, но и революционной значимости. Таковы: «Мещане», «На дне», «Потонувший колокол», «Три сестры», «Доктор Штокман», «Юлий Цезарь». Зритель 900-х годов даже бесформенный индивидуализм и анархизм воспринимал как призыв к борьбе против царизма.

В 1913 году праздновалось пятнадцатилетие Художественного театра. Большой этап жизни театра завершался «Бесами».

К этому спектаклю театр пришел не случайно. «Братья Карамазовы» (1909 г.), «Живой труп» (1911 г.), «Гамлет» (1911 г.), «Екатерина Ивановна» (1912 г.), тургеневский спектакль (1913 г.) — вот вехи, ведущие к «Бесам». Достоевский сыграл решающую роль в исканиях театра в эпоху реакции. По признанию руководителя театра Немировича-Данченко, над Достоевским театр работал «с таким под'емом всех своих лучших духовных сил, какой выпадает на долю только великих драматургов». Театр много раз подчеркивал, что политическая сторона романа обойдена в инсценировке. Пьеса, сделанная из материала романа Немировичем-Данченко, носила название «Николай Ставрогин». Тем самым подчеркивалось, что в центре внимания стоит личная драма Ставрогина; весь остальной материал вовлекался в пьесу лишь постольку, поскольку он был необходим для выявления этого образа. Защищая постановку «Бесов», руководитель театра подчеркнул, что задача театра — «создание самостоятельных и самодовлеющих ценностей, а не проповедь определенных идей».

В этой декларации самодовлеющего эстетизма вскрывается социальное лицо театра, так как тяга к эстетизму, к чистому искусству характерна для идеологии либерально-буржуазной интеллигенции эпохи упадка.

В поисках материала для актера, для максимально захватывающего художественного зрелища один из передовых театров России решился поставить «Бесы» — спектакль, уже пять лет назад нашумевший в Петербурге.

«Бесы», в переделке В. Буренина и Л. Суворина, шли 29 сентября 1907 года в театре Суворина. Спектакль носил явно контрреволюционный характер. Авторы инсценировки позаботились о том, чтобы карикатура на вольнодумствующую молодежь, на подпольных революционеров была поднесена с максимальной четкостью. Критика единодушно указывала на политический смысл спектакля, — признавали несомненную связь настоящего с прошлым. «Может быть, их зовут «петрашевцы», может быть, они носят более современную кличку, — писал рецензент, характеризуя действующих лиц, — теперь бесов много, и принадлежат они к разным партиям». И, продолжая параллели между прошлым и современностью, нововременский публицист замечает: «Будущий митинг уже предчувствуется в бестолковых криках толпы, вполне отражена вся кружковая бестолковщина былых времен, да, пожалуй, и нынешних. Новейшие бесы более организованы, умеют не только подымать руки при голосовании, не путая правой с левой, но даже другим кричат: «руки вверх». Страшно думать, что мы переживаем время более ужасное, чем тогда». Либеральная печать в 1907 году протестовала против постановки «Бесов». Тем показательнее, что Художественный театр, зная опыт первой инсценировки романа, все же решает в 1913 году поставить «Николая Ставрогина».

В письме «О карамазовщине» Горький указывал, что «еще недавно «Бесы» считались пасквилем и что произведение это ставилось многими из лучших людей России в один ряд с такими тенденциозными книгами, каковы «Марево» Клюшникова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского и прочие темные пятна злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы»[1].

Но не только в этом тенденциозном контрреволюционном содержании романа видел Горький зло постановки. Писатель-гражданин, писатель-моралист и публицист, Горький возражал и в таком плане: «Думает ли русское общество, что изображение на сцене событий и лиц, описанных в романе «Бесы», нужно и полезно в интересах социальной педагогики?» Отвечая на этот вопрос, Горький писал о Достоевском: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский — гений, но это — злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и — противоположность ее — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им перед всеми и перед самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается».

Еще в 1898 году, ставя вопрос о целях и задачах литературы, Горький формулировал их так: «Цель литературы — помочь человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя, развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них»[2].

С этой меркой подошел Горький к Достоевскому. Ему — писателю-общественнику — была чужда сомневающаяся, изломанная, больная психика Достоевского. Глубоко было и социальное различие между Горьким и Достоевским. Идеологу революционно-демократической интеллигенции, буревестнику первой русской революции был враждебен Достоевский с его «реакционным демократизмом».

Горький не сомневался в реакционных тенденциях Достоевского. Этот вопрос был решен. Говоря о роли и значении Достоевского, Горький ставит дальнейшую проблему — социальной пользы его произведений.

Что из Достоевского, какие мысли его кажутся Горькому наиболее вредными, наиболее ложными и отрицательными?

«Достоевский, сам великий мучитель и человек больной совести, любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу. Но все мы хорошо чувствуем, что Федор Карамазов, «человек из подполья», Фома Опискин, Петр Верховенский, Свидригайлов — еще не все, что нажито нами, ведь в нас горит не одно звериное и жульническое, — Достоевский же видел только эти черты, а, желая изобра-

---

[1] «Русское слово», 1913 г. № 212, от 22 сентября. Дальнейшие цитаты статьи делаются по этому же тексту.

[2] Горький, Сочинения, Берлин. 1923, т. III, стр. 8.

зить нечто иное, показывал нам «Идиота» или Алешу Карамазова, превращая садизм в мазохизм, карамазовщину — в каратаевщину. Платон Каратаев, как и Федор Карамазов, — живые, по сей день живущие вокруг нас люди. Но возможно ли существование народа, который делится на анархистов-сладострастников и на полумертвых фаталистов?»

Итак, особая постановка Достоевским проблемы человека — вот против чего строились возражения Горького.

Вся творческая деятельность Горького — гимн человеку, существу гордому, сильному, смелому. Романтика раннего Горького — романтика анархического бунтаря, воспевавшего «трагически прекрасного» человека. Романтический лозунг раннего Горького: «все в человеке, все для человека» — утверждал силу и значительность человека, обладателя мощной мысли, бесстрашно и свободно ломающего старые предрассудки, «мятежного» и «величавого». Поэтический инвентарь патетики сопровождает образы творчества раннего Горького.

У Горького была вера в человека, освобождающегося от пут мещанства и обывательщины, бунтующего во имя нового будущего. Апология смирения и терпения — вот тезисы Достоевского, наиболее враждебные Горькому.

Еще в 1905 году в «Заметках о мещанстве», напечатанных в социал-демократической газете «Новая жизнь», Горький утверждал, что Толстой и Достоевский однажды оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране. В эпоху реакции 80-х годов, в пору крушения революционных надежд Толстой и Достоевский, вместо того чтобы призывать к новой борьбе за свободу и справедливость, говорят о терпении и непротивлении злу. «Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно. Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален». Итак, «мещанин» — вот какое определение давал Горький Достоевскому. Словечко «мещанство» употреблялось им в моралистическом смысле. Для Горького оно являлось синонимом обывательщины, застойности, пассивности, примиренчества, мелкого домашнего индивидуализма.

Между 80-ми годами прошлого столетия и 1912—1913 годами было некоторое сходство: господство реакции, торжество победителей, поправение интеллигенции, тянущейся за буржуазией. На этом фоне увлечение Достоевским было характерно, имело свой большой социальный смысл. Если актеры, работая над Достоевским, переживали радостный творческий под'ем, если зрители принимали «Братьев Карамазовых» как «светлый праздник — пасхальный звон» (А. Бенуа), то это происходило потому, что в Достоевском находили мысли и чувства, созвучные своим собственным, потому, что русская буржуазная интеллигенция в образе Достоевского видела оправдание и об'яснение своих упадочных настроений. Рассматривая инсценировки романов Достоевского с точки зрения интересов духовного оздоровления, с точки зрения их социально-воспитательного значения, Горький называл их «увечными», безусловно вредными представлениями. «Ведь они заражают, внушая отвращение к жизни, к человеку, и кто знает, не влияла ли инсценировка «Карамазовых» на рост самоубийств в Москве».

Впечатление, произведенное письмом Горького, было огромно. Уже 23 сентября, т. е. на следующий день, оно перепечатывалось, излагалось и комментировалось почти всеми столичными и многими провинциальными газетами. О письме Горького высказались виднейшие журналисты и литераторы того времени. Арцыбашев, отвечая на выступление Горького, четко сформулировал, в чем же значение Достоевского для современности: «Может быть, и был пасквиль, может быть, и была карикатура, но это давно должно быть забыто как именно неважное и ненужное, и «Бесы» тогда предстанут в своем настоящем мрачном величии гениальнейшей, потрясающей картины разложения человеческой личности и мысли»[1]. «Провалы и бездна жизни» — вот наиболее ценное, что есть в Достоевском для интеллигенции 900-х годов. Арцыбашев не одинок в своем признании. С ним перекликается Ремизов: «Россия страдная и огненная, да так и история подвижников ее говорит нам во весь голос, словом ли Вассиана (16-й век), словом ли Аввакума (17-й век), словом ли, наконец, Достоевского. И эта боль, эта страда, этот костер—это-то и есть наше, и одна путь-дорога в борьбе с древностной неправдой».

Арцыбашев и Ремизов ценили в Достоевском именно то, против чего восставал Горький. Подчеркивание бездн и падений, нездоровая чуткость к боли, показ ущербной и уродливой

---

[1] «Вечерние известия», Москва, 1913, № 286 24 сентября.

психики — ведь эти свойства Достоевского Горький и считал «сомнительными эстетически и безусловно вредными социально».

В письме Горького многие литераторы не могли не усмотреть упрека, относящегося к ним. Через «Бесов» Достоевского выстрел Горького попадал в Андреевых, Арцыбашевых, Сологубов, авторов «Мысли», «Черных масок», «Санина», «Ревности». Многие были задеты за живое и начали торопливо опровергать Горького.

Была в его выступлении и еще одна сторона, вызвавшая споры, изумление, казавшаяся неожиданной. Горький выступил против Художественного театра, лучшего передового театра России, театра, с которым он сам был связан годами близкой совместной работы, театра, для сцены которого были созданы «На дне» и «Мещане». Правда, к 1913 году Горький успел отойти от Художественного театра. Этому способствовали и внешние причины (жизнь за границей) и причины, коренившиеся глубже. От бунтарства «На дне», от бесформенных протестов в «Мещанах» Горький ушел вперед. Горький создает «Врагов» и «Мать». Художественный театр работает над Андреевым и Достоевским. Горький принимает участие в партийной жизни, активно работает в большевистской печати, — Художественный театр углубляется в чистое искусство, прячется от зовов общественности. Поэтому протест Горького внутренно был подготовлен, да и для Художественного театра он не был неожиданностью. Быстро стало известно, что Горький еще летом 1913 года писал одному из руководителей Художественного театра письмо, в котором высказывал отрицательное отношение к задуманной инсценировке романов Достоевского и даже предупреждал о намерении организовать движение против этих постановок. Движение протеста организовано не было, но и само письмо Горького прозвучало резким диссонансом над хором сочувственных заметок, извещений и статей о готовящейся постановке «Николая Ставрогина».

С 23-го по 25 сентября столбцы газет пестрели крикливыми заголовками: «Горький против Достоевского», «Скандал вокруг «Бесов», «Долой Достоевского», «Горький обвиняет Художественный театр», «Прав ли Горький», «Послание М. Горького», «Бесы и Горький» и т. д. Открытое письмо Горькому Художественного театра было напечатано 26 сентября в том же «Русском слове».

«В разгар нашей трудной и радостной работы над постановкой второго романа Достоевского Ваше выступление в печати нам особенно чувствительно. Нас не то смущает, что Ваше письмо может возбудить в обществе отношение к нашему театру как к учреждению, усыпляющему общественную совесть, — репертуар театра в целом за 15 лет вполне ответит на такое обвинение. Но нам тяжело было узнать, что М. Горький в образах Достоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес «Братьев Карамазовых» в Ваших глазах исчерпывается Федором Карамазовым, а «Бесы» для Вас не что иное как пасквиль временно-политического характера, и что великому богоискателю и глубочайшему художнику Достоевскому вы пред'являете обвинение в растлении общества. Наша обязанность как корпорации художников напомнить, что те самые высшие запросы духа, в которых вы видите лишь праздное «красноречие», отвлекающее от живого дела, мы считаем основным назначением театра. Если бы Вам удалось убедить нас в правоте Вашего взгляда, то мы должны были бы отречься от искусства, как утратившего свою цель. В то же время мы должны были бы отречься и от всего лучшего в русской литературе, отданного служению именно тем самым «запросам духа».

Письмо прозвучало неубедительно, бледно. Театр отмахнулся от центрального вопроса, поставленного Горьким. Бесформенные либеральные «высшие запросы духа» и служение им — вот кредо театра, кредо буржуазной интеллигенции. «По духу времени и вкусу» Немирович-Данченко называл Достоевского не только «глубочайшим художником», но и «великим богоискателем», хотя богоискательство в его устах было неожиданно. И, разумеется, вопросы социальной педагогики, столь важные для Горького, не могли занимать художественников и их руководителей. В этом ответе, молчаливо обошедшем основные мысли письма Горького, была невольная пренебрежительность, — он четко вскрывал непримиримое различие, классовую противоположность идеологических позиций театра и писателя, еще недавно так близкого этому театру.

Показательна газетная и журнальная полемика, поднятая в связи с письмом Горького о «карамазовщине». О письме высказывались писатели различных направлений и позиций. Реакционная, либеральная и демократическая

печать отозвались на выступление Горького статьями, фельетонами, заметками.

Сотрудник черносотенного «Нового времени» Н. Ежов, бессильный как бы то ни было возразить Горькому, называл его протест кощунственной хулиганской выходкой босяцкого романиста.

Но выпады реакционной печати мало интересны.

Важнее знать другие отклики на статью Горького. Газеты разослали анкеты и запросы литераторам, публицистам, работникам науки и театра. Большинство опрашиваемых дало ответы, критикующие Горького, большинство защищало Достоевского и Художественный театр, — большинство осуждало протест Горького.

Мнения виднейших писателей о выступлении Горького были собраны в газете «Биржевые ведомости» от 8 октября. В этом номере высказались А. И. Куприн, А. Н. Будищев, И. И. Ясинский, И. Н. Потапенко, Д. С. Мережковский, Ф. Сологуб, А. И. Ремизов, С. А. Венгеров, Ф. Д. Батюшков, Иванов-Разумник. Еще раньше, в других изданиях высказались Ю. Айхенвальд, М. Н. Розанов, Н. Д. Телешов, М. Арцыбашев, Л. Андреев, граф де-ла-Барт, Д. Философов, А. Горнфельд, А. И. Сумбатов и др. Имена выразительные, каждый из названных лиц типичен, каждый из них является представителем общественных взглядов различных групп русской либеральной интеллигенции дореволюционной поры.

Как же реагировали вожди и идеологи русской интеллигенции на выступление Горького? В основном отрицательно, враждебно. Но в этой отрицательности были свои тона и полутона, свои подчас характерные и выразительные варианты.

Писателей, провозглашавших свободу творчества, поддерживали историки литературы. Ф. де-ла-Барт подчеркивал, что к Достоевскому нельзя подходить с партийной меркой. Вслед за ним М. Н. Розанов утверждал, что к Достоевскому не могут быть приложены ни политическая, ни общественная точка зрения. У искусства есть свои самодовлеющие задачи. К Достоевскому надо подходить только с художественным критерием. Ю. Айхенвальд присоединился к ответу, данному Горькому Художественным театром. В этих почти одинаковых формулировках глубокая солидарность. Она продиктована однородной социальной принадлежностью этих писателей, профессоров, журналистов к группе либеральной буржуазной интеллигенции.

Разумеется, нашлись и голоса, связавшие выступление Горького с его партийной работой. Иванов-Разумник вспомнил первую статью Горького против Достоевского в 1905 году и писал: «Это печальное выступление забылось, к тому же его можно было слегка извинить, — Максим Горький ходил тогда в марксистских шорах. Но вот почти 10 лет с тех пор уже прошло, а он все еще стоит на прежнем месте, все попрежнему идет на Достоевского». Словечко «шоры общественности» пошло с легкой руки М. Арцыбашева, который первым высказался против Горького в интервью с сотрудником бульварных «Вечерних известий»: «Вы хотите знать, что я думаю о письме Горького? Я думаю, что есть люди, которым природа вместо головы дала молот, а вместо сердца барабан. Раз уверовав во что-нибудь, они всю жизнь кстати и не кстати упрямо и тупо долбят в одно место, барабанят неистово и зычно, стараясь заглушить всех и всё, что не идет с ними в ногу. Кто из самых банальных, средних людей не подпишется под письмом Горького? Надев шоры известных политических убеждений, он уже не видит ничего вне той убогой прямой линии, какую начертал себе».

Раздраженное и злобное замечание, но в откровенности Арцыбашеву отказать нельзя. Он не прикрывался туманными фразами о свободе искусства и творчества. Видя в Горьком идеолога враждебной ему революционной демократии, Арцыбашев утверждал: «выше вопросов гигиены и хозяйства можно даже и в ущерб своему благополучию поставить вопросы иного порядка». Он говорит, что писатель обязан вскрывать иные тайны, а не реальное горе «тюрем, фабрик, деревни и подвалов сегодняшнего дня». За многозначительными вопросами «иного порядка» и «иными тайнами» крылся в сущности достаточно простой круг идей, выраженных в «Санине» и «Ревности». Некоторые писатели расценивали выступление Горького как выполнение партийной директивы, партийного обязательства: «Судьба послала ему талант, даже чересчур переоцененный современниками, но забыла оградить его свободу, и вот он стал рабом злободневных течений, в которых не всегда даже разбирается, пишет под страхом исключения из партии и усердно зарывает в этом мусоре свое яркое самородное дарование». Так писал И. И. Ясин-

ский. В этих заявлениях, в иронических упоминаниях о шорах общественности, о левой цензуре, о тенденциозности прозрачно сквозит отрицательное отношение не только к частному эпизоду — выступлению Горького против инсценировки «Бесов». Несомненна враждебная настроенность интеллигентов-либералов против революционного демократизма, против партийности, против марксизма.

Газеты, еще две-три недели назад печатавшие сочувственные заметки о тяжкой болезни Горького, теперь обливали его грязью и упреками.

Накануне постановки «Николая Ставрогина» «Новости сезона» подводили итоги литературному скандалу: «Протест Горького не встретил сочувствия в интеллегентном русском обществе; даже слои русского общества, которые по своим политическим воззрениям относятся отрицательно к некоторой тенденциозности «Бесов», не пошли за Горьким, он остался одиноким»[1].

Но эпизод далеко не был закончен.

«Николай Ставрогин» шел в Художественном театре 23 октября. 27 октября в «Русском слове» была напечатана вторая статья Горького: «Еще о карамазовщине», в которой Горький давал ответ своим критикам. В нем Горький прежде всего уточнял свое отношение к Достоевскому. Отвечая на обвинение в желании уничтожить, сжечь Достоевского, он писал: «Горький не против Достоевского, а против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене. Находя, что вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера, я уверен, что образы его на сцене театра, подчеркнутые игрою артистов, приобретают убедительность и завершенность большую, чем на страницах книг»[2]. Оставляя в стороне вопрос о реакционности Достоевского, Горький утверждал, что в образах Достоевского есть противоречия и натяжки: «Когда четырнадцатилетняя девочка говорит: «я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал», «хочу зажечь дом», «хочу себя разрушить», «убью кого-нибудь», — читатель видит, что это правдоподобно, хотя и болезненно. Но когда девочка эта рассказывает, как «жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене гвоздями», и добавляет: «Это хорошо. Я иногда думаю, что сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть», — здесь читатель видит, что девочку оклеветали: она не говорила, не могла сказать такой отвратительной гнусности. И когда на вопрос этой оклеветанной девочки: «Правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?» — благочестивый Алеша Карамазов отвечает: «Не знаю», — читатель понимает, что Алеша не мог так ответить. Алеша не может «не знать». Он таков, каким написан, просто не верит в эту позорную легенду, органически не может верить в нее, хотя и Карамазов. Если же читателю будет доказано, что Алеша в юности действительно «не знал», пьют ли евреи кровь христиан, — тогда читатель скажет, что Алеша — вовсе не «скромный герой», как его рекомендовал автор, а весьма заметная величина, жив до сего дня и подвизается на поприще цинизма под псевдонимом «В. Розанов».

Характерно, что именно этот абзац статьи Горького вызвал ожесточенные ответы и нападки черносотенцев. Газеты были тогда полны стенограммами и статьями по делу Бейлиса. Поэтому возражение Горького прозвучало с остротой сегодняшней злободневности. По-своему комментируя второе выступление Горького, «Новое время» писало: «Как просто ларчик-то открывается! Алеша Достоевского, чего доброго, еще своими разговорами на сцене выскажется против евреев, и инсценирован-то будет не Достоевский, а В. Розанов и прочие писатели, обвиняющие евреев в ритуале. И г. Горький резонно со своей свободолюбивой (на эсдековский манер) точки зрения прямо решает вопрос: запретить! Бедный, однакоже, Достоевский! Будь его Алеша живым лицом во время процесса Бейлиса, ему бы не сдобровать. Того и гляди — попал бы в социал-демократическую кутузку!» («Новое время», 1931 г., № 13 518, от 29 октября.)

Во второй статье своей Горький разрешал и более общий вопрос, именно вопрос о том, может ли гениальное произведение быть вредным социально, вопрос о том, как общество должно относиться к заблуждениям гения. «Киплинг очень талантлив, но индусы не могут не признать вредной его проповедь империализма», — писал он и заключал: «и Достоев-

[1] «Новости сезона», 1913 г., № 2727, от 22 октября.

[2] «Русское слово», 1913 № 248, от 27 октября.

ский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ ее — значительней, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас». Итак, возражая на ответы литераторов, Горький во второй статье углубил и уточнил тезисы первой статьи. Не отказываясь ни от одного из своих положений, он еще решительней подошел к Достоевскому с точки зрения социальной педагогики.

Постановка «Николая Ставрогина» вызвала ряд больших рецензий и статей. Здесь снова сказалось социальное расслоение журналистики.

Прежде всего бегло проследим, что давал театр в своей инсценировке «Бесов». Он давал личную драму Николая Ставрогина. От политических тенденций театр хотел отрешиться.

Механически выбросив из инсценировки наиболее выпуклые политические моменты, театр отмахнулся от социальных вопросов и углубился в работу над передачей психологической значительности и сложности персонажей романа. Но театр не мог заставить зрителя видеть в спектакле только эту сложность. Зритель, смотревший Ставрогина, был различен и воспринимал спектакль различно. Реакционная печать поспешила приветствовать инсценировку «Бесов». В политическом и литературном еженедельнике кн. Мещерского «Гражданине» между высочайшей грамотой, данной императорскому воспитательному обществу благородных девиц, и сообщением о пребывании их императорских высочеств в Крыму, рядом с патриотическими статьями, подписанными такими выразительными псевдонимами, как «Русский» или «Благонамеренный», печатается статья Независимого: «Современная действительность и Достоевский». Независимый выражал благодарность Художественному театру за постановку «Бесов». Он писал: «Впечатление от спектакля тем сильнее, что все действующие лица романа «Бесы» вот вчера, сегодня проходили и проходят перед нами, и сам сюжет буквально выхвачен из нашей текущей жизни. Все сцены сплошное развенчивание деятелей революции: каждый монолог говорит о тех низменных чувствах, которыми руководствуются эти деятели. Как все это современно! И как все это поучительно! Недаром Максим Горький так энергично кричал против этой постановки Художественного театра, и, вероятно, руководителям театра немало пришлось перенести затруднений, прежде чем поставить этот спектакль. Пусть наша молодежь, которая жаждет подвигов, которая, будучи очень отзывчивой на горе и несчастье ближних, бросается в революционные кружки... пусть эта молодежь, которая видит в своих руководителях богов и на них молится, пусть она пойдет на представление Московского художественного театра посмотреть «Бесы»[1].

Художественный театр не хотел и не ожидал подобной похвалы. Черносотеннейшая газета приветствовала передовой русский театр и в своей клевете на революционеров опиралась на его работу, — вот исторический парадокс, еще раз подтвердивший правоту Горького.

В возражениях против инсценировки «Бесов» Горький был не одинок. Оценка выступления Горького, журнальная и газетная полемика вокруг него явилась реактивом социально-политических воззрений различных групп буржуазной интеллигенции. В общем хоре отрицательного отношения к статьям Горького одиноко выделяются редкие голоса, защищающие его тезисы. Из среды академической Горького поддержал лишь психолог Корнилов, признававший, что произведения Достоевского в передаче актеров могут заразительно и болезненно действовать на зрителя.

Обширную статью о Горьком написала М. Шагинян в газете «Приазовский край». Подробно изложив эпизод с письмом Горького и ответ Художественного театра, она заканчивала статью безусловным признанием правоты Горького: «Задача русской культуры искать почву для воплощенного символа добра и победы, а отнюдь не расковыривать, повторять и сызнова запечатлевать в памяти нас всех образы зла и небытия. И потому, отдавая должное личной трагедии Достоевского и кланяясь его мученическому праху, — мы всецело присоединяемся к горячему, вызванному верным инстинктом самосохранения письму Максима Горького».

Но этими единичными голосами, прозвучавшими в легальной печати, не исчерпываются выступления в защиту тезиса Горького. Полемика вокруг «Бесов» нашла отражение и на страницах партийной прессы.

Если вся буржуазная, и реакционная и

[1] «Гражданин», 1914 г., № 18.

либеральная, печать ополчилась против Горького, то рабочие газеты видели в его выступлении революционный политический акт. Большевистский орган «За правду», подводя итоги этому эпизоду, писал: «На вопросе о Достоевском столкнулись два мира: пролетарский мир, в лице Максима Горького, выступил против соглашения с реакцией, против антисемитизма, против неблагородства человеческой души; и против него — другой мир, готовый обниматься и с реакцией, и с антисемитизмом, готовый передать свое «благородство души» первому, кто пожелает выступить покупателем. На этом примере рабочие должны учиться понимать те далеко не благородные вожделения, которые обычно кроются под пышными фразами о святости искусства и о чистом искусстве»[1]. Итак, столкновение пролетарского и буржуазного мира — вот как расценивала рабочая газета спор Горького с Художественным театром. Буржуазные журналисты писали о Горьком ядовитые фельетоны, спешно набрасывали карикатуры, искажали и преувеличивали его слова. Большевистские газеты помещали письма рабочих-читателей, поддерживающих Горького. В той же газете «За правду», в № 23, печаталось обращение группы рабочих-учащихся к Горькому: «Уважаемый товарищ! Мы, рабочие-учащиеся ЛКВ, обсудив Ваше выступление против постановки «Бесов» на сцене Художественного театра, искренне присоединяемся к Вашему протесту. Под видом служения искусству позорно проповедывать мракобесие, позорно служить реакции. Пусть на Вас льют помоями все, кто утратил настоящую идейную почву, все испуганные приближением пробуждающейся демократии. Грязь, брызжущая от писаний литераторов из «Биржевки», не запятнает пролетарского певца — поэта низов — перед лицом пробуждающегося рабочего класса. Искренний привет шлем мы Вам за Ваше правдивое слово пошатнувшимся. Вместе со всеми искренними демократами мы протестуем против ничем не прикрытого цинизма всех этих лицемерных крикунов, которые осмелились перед лицом всего русского общества из-за угла напасть на Вас. Грязь, брошенная на Вас, осталась не только на руках бросивших ее, но и в их продажных душах и именах. Еще раз искренно приветствуем Вас. Группа учащихся-рабочих»[2].

Выступление Горького против «Бесов» обсуждалось на занятиях рабочих курсов, в кружках самообразования, даже в профсоюзных организациях. Сохранились резолюции части этих собраний. Они настойчиво утверждают большое политическое значение выступления Горького. Так, например, собрание членов Общества образования за Московской заставой, обсудив письма Горького против Достоевского, приняло следующую резолюцию: «Горячий привет шлем любимому писателю рабочей демократии за его мужественное, честное слово. Пусть никого из рабочих не смутит всеобщее негодование писателей буржуазии. Под личиной служения чистому искусству писатели буржуазии скрывают усердное служение культуре капитала. Ненависть к пробуждающейся демократии об'единяет писателей всех буржуазных течений. Рабочая демократия несет смертный приговор буржуазному искусству, — вот почему против певца Горького злобно ополчились гг. Ясинские из продажной «Биржевки» с богоискателями вроде г. Мережковского. Наш голос слаб, но мы вместе с М. Горьким протестует против проповеди в театре мракобесия, хотя бы и талантливого. Все честные демократы должны выступить против фигляров буржуазии вроде Сологуба и встать на защиту честного, мужественного порыва М. Горького. Мы приглашаем все другие культпросвет и профсоюзные рабочие организации также обсудить протест М. Горького и вынести соответствующие резолюции. Принято единогласно 44 голосами (в том числе шесть работниц)»[3].

Изо дня в день в октябре и ноябре 1913 г. партийные газеты «За правду», «Новая рабочая газета» и др. печатают сочувственные отклики читателей письма Горького. Иногда они носят общий характер: «Присоединяемся к Горькому в его протесте и выражаем надежду, что русский театр будет служить целям русского общества, а не вносить в него духовный распад»[4]. Были и письма, четко указывающие на то, что Художественный театр сошел со своих прежних прогрессивных позиций и идет вместе с реакционной частью общества: «Знайте, что Художественный театр фактически уже давно далек от той России, которая любит и уважает М. Горького как своего родного писателя. Мы верим, что с

[1] «За правду», 1913 г., № 3, от 4 октября.
[2] «За правду», 1913 г., № 23.
[3] «За правду», 1913 г., № 23.
[4] «За правду», 1913 г., № 31, от 9 ноября.

вами все, за кем будущее, а в настоящем — знание истинной дороги к нему»[1]. Большую статью, подробно разбиравшую постановку «Ставрогина» и выступление Горького, написал Д. Тальников. («Современный мир», 1914, III). Он отрицательно расценивал спектакль, он указывал, что выступление Горького — «крик честного писателя-гражданина против бесчестия нашей жизни, против того пира во время чумы, который справляют промотавшиеся сынки буржуазии на обломках 1905 года».

Центральная большевистская газета «За правду» шла с Горьким, она поддерживала его, называла его выступление выступлением пролетарского писателя против засилия буржуазной реакции. Иначе отнеслась к Горькому меньшевистская ликвидаторская «Новая рабочая газета». Ее статья была посвящена критике выступлений литераторов против Горького. Разумеется, эти выступления были осуждены, разумеется, они были названы лицемерными, фальшивыми и т. д. Но, критикуя реакционных буржуазных журналистов, меньшевистская газета сама заняла половинчатую, двусмысленную позицию. «Менее всего мы можем согласиться с высказанным Горьким желанием не видеть на сцене произведений этого жестокого и, если хотите, реакционного, но все же таланта. Но в самом желании Горького не заключалось никаких посягательств на общественное самоопределение, и не от Горького угрожает опасность этому самоопределению. Господа же, которые из самой ненависти к социал-демократии столь неосторожно накинулись на Горького, показали только, сколько фальши и лицемерия кроется часто в прогрессивных на вид речах»[2]. Ликвидаторская газета протестовала против буржуазных нападок на Горького, но, по существу, она шла в ногу с ними, так как их же аргументами защищала «жестокий, если хотите (!) реакционный, но все же талант» автора «Бесов».

После постановки «Николая Ставрогина» споры вокруг статей Горького со страниц газетных и журнальных были перенесены в аудитории, публичные диспуты, лекции. Ноябрь 1913 года полон этими литературными вечерами. В Московском политехническом музее состоялся диспут на тему: «Диспут о «Бесах» Достоевского. Письмо Горького и ответ ему Художественного театра. В прениях примут участие Н. Я. Абрамович, М. М. Бонч-Томашевский, А. Н. Вознесенский, С. Глаголь, Н. Е. Ермилов, Ф. Ф. Комиссаржевский, А. А. Койранский, В. Г. Сахновский, граф А. Толстой, А. Н. Таиров». Он потом неоднократно повторяется. Параллельно выступают с лекциями «О Достоевском и Художественном театре» А. Н. Проппер, С. А. Адрианов и др. Существенная подробность: печатные отзывы о письме Горького, за единичными исключениями, отнеслись к нему отрицательно, широкая же публика, собиравшаяся на диспуты и лекции, явно была на стороне Горького.

Диспуты эти порой превращались в демонстрацию солидарности с Горьким. Таким, например, был вечер, организованный редакцией театрального журнала «Маски» — «О «Бесах» Достоевского». Выступления ораторов, говоривших о Достоевском и Художественном театре, слушались довольно равнодушно. Настроение аудитории сразу поднялось при чтении письма Горького. Во время чтения письма значительная часть присутствовавших приветствовала тезисы Горького шумными аплодисментами. Когда же Н. Я. Абрамович стал доказывать, что «Горький ничего не оставляет от Достоевского», он был прерван свистками и криками: «Неправда! Нехорошо говорить о том, чего нет!», «Вы клевещете на Горького!», «Не смейте этого говорить!», «Ложь!» Среди шума поднялся какой-то высокий старик и крикнул: «Горького здесь нет, Горький не может возразить вам, так не извращайте же его слов!» Оратор был награжден бурными аплодисментами, по адресу Абрамовича послышались нелестные отзывы.

Эти случаи не были единственными. Верхушка либеральной буржуазии, литераторы и публицисты осудили выступление Горького, но широкая демократическая аудитория — радикальная интеллигенция, студенчество, учительство и, главное рабочие — была с Горьким, поддерживала его. На этом эпизоде вскрылась отчужденность литераторов и публицистов от читателей, от потребителя их произведений. В те поры читатель был уже иным — в нем рос протест против упадочной литературы и искусства эпохи реакции. Утомленный панихидными стихами Сологубов, проповедями самоубийства Арцыбашевых, больными образами Л. Андреевых, читатель приветствовал Горького, призывающего к бодрости,

---

[1] «За правду», 1913 г., № 31.

[2] «Новая рабочая газета», 1913 г., № 60, от 8 октября.

духовному оздоровлению, к борьбе. Но друзья Горького и, еще больше, враги преувеличивали то, что он сказал. По существу в выступлении Горького не было политической четкости. Формулировки его были расплывчаты и широки. — Для либералов он оказался слишком левым. Но на статьи Горького откликнулся Ленин письмом к Алексею Максимовичу:

«Дорогой А. М.! Что же вы такое делаете! — просто ужас право! Вчера прочитал в «Речи»[1] ваш ответ на «вой» за Достоевского и готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская газета[2] и там напечатан абзац вашей статьи, которого в «Речи» не было. Этот абзац таков: «А «богоискательство» надобно на время» (только на время?) «отложить, это занятие бесполезное, нечего искать, где не положено. Не посеешь, не сожнешь. Бога у вас нет, вы «еще» (еще!) не создали его. Богов не ищут, их создают. Жизнь не выдумывают, а творят». Выходит, что вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что вы против богоискательства только ради замены его богостроительством!! Ну разве же это не ужасно, что у вас выходит такая штука? Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый чорт отличается от чорта синего»[3].

Письмо посвящено разоблачению богоискательства. Ленин вскрывает классовые корни этого течения, указывает на связь его с буржуазным философским идеализмом. Горький в ответном письме Ленину пытался оправдаться и, досадуя на проскользнувшее словечко «на время», продолжал защищать идею богостроительства[4]. В этом эпизоде сказались отголоски «Исповеди». Не будем на них останавливаться. О впечатлении, произведенном на Горького критикой Ленина, можно судить по тому, что перепечатывая письмо «О карамзовщине» в собрании статей 1916 года, М. Горький выкинул абзац о богостроительстве, вызвавший жестокую критику Ленина.

Но были в статьях Горького и другие формулировки нечеткие и пухлые, включавшие в себя понятия неопределенные: «Я знаю хрупкость русского характера, знаю жалостную шаткость русской души и склонность ее, замученной, усталой и отчаявшейся, ко всякого рода заразам», писал Горький. И Ленин возражал ему: «Почему русской, а итальянская лучше??... вы изволили очень верно сказать про душу — только не «русскую» надо бы говорить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская — все один чорт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демократическое мещанство», занятие идейным труположством сугубо гнусно».

Не удовлетворял Ленина и конечный призыв Горького: «Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии, к демократии, к народу, к общественности и науке». Ленин упрекал Горького в попытке согнуться до точки зрения общедемократической вместо точки зрения пролетарской: «В демократических странах совсем неуместен был бы со стороны пролетарского писателя призыв «к демократии», к народу, к общественности и науке. Ну, а у нас в России?? Такой призыв не совсем уместен, ибо он тоже как-то льстит обывательским предрассудкам. Призыв какой-то общий до туманности. Зачем для читателя набрасывать демократический флер вместо ясного различения мещан (хрупких, жалостно шатких, усталых, отчаявшихся, самосозерцающих, богосозерцающих, богопотакающих, богостроительских, самооплевывающихся, анархистичных (чудесное слово!) и прочая и прочая — и пролетариев (умеющих быть бодрыми не на словах, умеющих различать «науку и общественность» буржуазии от своей, демократию буржуазную от пролетарской)? Зачем вы это делаете? Обидно дьявольски».

Действительность была такова, что недосказанное, неточное у Горького было договорено его противниками. Фельетоны реакционной печати, обвиняющие Горького в установлении левой цензуры, выступления литераторов, упрекавших Горького в партийной узости, в слишком долгой принадлежности к социал-демократам — все это, суб'ективно напра-

---

[1] Письмо Горького с большими выдержками было напечатано в «Речи» от 28 октября. (Е. К.).

[2] Полностью письмо Горького перепечатала «Новая рабочая газета» в № 69 от 29 октября 1913 г.

[3] Ленин. Сб. I, стр. 145, письмо от 14 ноября 1913 г.

[4] Письмо Горького не напечатано; его содержание известно нам из ответного письма В. И. Ленина.

вленное против Горького, об'ективно было в его пользу. Настойчивое упоминание о марксизме, партийности, социал-демократизме, звучавшее в отповедях литераторов Горькому, было порукой, что протест его бил в цель, что он был принят не как случайное мнение писателя-одиночки, а как выражение мыслей и настроений группы революционного демократизма. Сам Горький в эпоху реакции занимал промежуточную позицию. Для либерализма он был слишком лев, — в активе его были годы работы с партией, близость с Лениным, Но целиком слиться с марксизмом он еще не мог. Ленин подходил к Горькому, как к писателю пролетарскому, настойчиво ждал от него четкого определения политических воззрений, боролся с уклонами, с чуждыми пролетарской идеологии общедемократическими тенденциями. Для Горького определенной поры они были неизбежны и характерны.

Условия, лежавшие вне самого Горького, сделали его выступление против «Бесов» актом не только социально-педагогической, но и революционной значимости.

В январе 1914 года, т. е. через два месяца после протеста Горького, театр Свободной народной сцены в Вене готовил инсценировку «Бесов». Авторами инсценировки были Фиртель и Крауз; из романа была сделана 4-актная трагедия «Одержимые». Театр Народной сцены был тесно связан с венским союзом социал-демократов. И вот накануне спектакля от вождей социал-демократической партии последовало распоряжение о том, что пьеса не может быть поставлена для членов Народного дома, т. к. она является памфлетом на русское освободительное движение. Факт примечательный. Протест Горького был поддержан не только широкой аудиторией Политехнического музея, но и иностранными социал-демократами. Эпизод, встреченный сначала в журналистике, как очередная сенсация, как литературный скандал, разрастался, перекидываясь за пределы России, находя отзвук в иностранной общественно-политической жизни.

Были ли какие-либо резкие изменения в дальнейших высказываниях Горького о Достоевском?

В начале романа «Жизнь Клима Самгина» Горький характеризует эпоху 70-х—80-х годов. Он не называет имени Достоевского, но говорит о нем: «Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот в стране, где большинство господ были такими же рабами, как их слуги, истерично кричал: «Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!»

В художественном произведении Горький почти дословно повторяет свои прежние публицистические тезисы.

В Достоевском Горький видел проповедника терпения и смирения и — сам всегда бунтующий, всегда активный и революционный — боролся с заразительным влиянием Достоевского. Протест его против увлечения больными, мучительными образами Достоевского был особенно своевременен в 1913 году. В эту пору в России на обломках 1905 года росла контрреволюционная либеральная буржуазия. Вместе с ней правела и либеральная интеллигенция. Это находило свое отражение и в науке, и в литературе, и в искусстве. Недавние марксисты, Струве и Туган-Барановский, занялись критикой и уничтожением Маркса. Писатели от вопросов социальных перешли к темам иного порядка, к зарисовыванию личных драм ущербной психики интеллигента эпохи реакции. Театр прикрывался лозунгами самодовлеющего эстетизма, а по существу отражал то же упадочное настроение, ставя «Идиота», «Ставрогина», «Мысль», «Власть тьмы», «Ревность», «Осенние скрипки» и т. д.

Среди этой всеобщей «социальной истерики» голос Горького, призывавшего к духовному оздоровлению, к бодрости, к борьбе с упадочными настроениями, был своевременен.

В наши дни Горький снова, совсем недавно, упомянул о Достоевском: «Умники могут сказать, что старая литература «об'единяет весь культурный мир», и сошлются на влияние Достоевского, все более растущее в Европе. Я предпочел бы, чтобы «культурный мир» об'единялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоровляющий. Но не возражаю и против влияния ядовитого таланта Достоевского, будучи уверен, что он действует разрушительно на «душевное равновесие» европейского мещанина» [1].

В этом высказывании Горький вырастает как писатель-публицист, писатель-проповедник, писатель-педагог. Твердо веря, что писатель призван учить читателей, что литература,

[1] «Наши достижения», 1930 г., № 12, стр. 3.

выполняя задачу художественного заражения образами, должна выполнять задания социально-воспитательные, — Горький признает общественную полезность ядовитого таланта Достоевского для разложения современного буржуазного Запада.

От 1905 до 1930 года, т. е. двадцать пять лет, в разное время продолжаются настойчивые высказывания Горького о Достоевском. Для Горького Достоевский — всегда сила разрушающая, сила, с которой надо бороться.

В 1913 году протест Горького был своевременен, в нем была большая социально-политическая значимость. Слишком общие формулировки, расплывчатые определения, неуверенные общедемократические требования — эти черты, встретившие возражения Ленина, имелись в письмах Горького о Достоевском. Но его протест против «Бесов» прозвучал революционным призывом. Он ударил не столько по Достоевскому, сколько по упадочнической буржуазной культуре эпохи реакции. Поэтому он встретил такой единодушный отпор в среде буржуазной, поэтому на него так сочувственно отозвались группы рабочих и демократической интеллигенции.

Когда реакционные журналисты упрекали Горького за то, что он надел узкие шоры марксизма; когда, наоборот, большевистские газеты видели в выступлении Горького выпад пролетарского писателя против гнилой застойности буржуазной культуры, — и те, и другие говорили больше того, что сказано было самим Горьким. Идеолог революционно-демократической интеллигенции, Горький шел к пролетариату и в этом пути постепенно сбрасывал с себя груз прошлого. В его борьбе с Достоевским была борьба с самим собой. Сам он хорошо знал ущербную психику мещанина-интеллигента. С больными образами творчества деклассированного дворянина Достоевского перекликаются многие образы Горького. Не случайно некоторые критики тогда же, в 1913 году, в ответ на упрек Горького жестокому таланту Достоевского приводили ряд сцен жестоко-звериного окуровского быта, отраженного Горьким. Но в том-то и дело, что у Горького была задача эти черты психики преодолеть, преодолеть их в своем сознании, преодолеть их и для всех людей в интересах «социальной педагогики».

В 1913 году, когда политическая реакция перекинулась в общественно-идеологическую жизнь страны, когда газеты печатали анкеты о самоубийстве, когда литература и театр увлекались воссозданием патологических образов, — письма Горького о Достоевском были вызовом буржуазному миру. Это не был спор с Достоевским. Это был протест против существующей действительности, протест против политической и идейной реакции. Пусть большинство литераторов, журналистов, пусть все «культурное общество» вплоть до самых радикальных интеллигентов было против Горького, — он не был одинок. Большевистская газета «За правду» пророчески утверждала: «Мы верим, что с вами все, за кем будущее, а в настоящем — знание истинной дороги к нему».

Максим Горький и театральная цензура

Ф. Раскольников

(По неопубликованным архивным материалам)

Истории царской цензуры посвящено сравнительно мало работ. Основным недостатком опубликованных исследований является отсутствие марксистского метода. Историки-идеалисты, историки-эклектики не могли трезво взглянуть на вещи и понять социально-классовую обусловленность как самого института царской цензуры, так и цензурных мероприятий.

Либеральные историки, вроде покойного М. К. Лемке, вместо уяснения классовой политической линии цензуры, как аппарата классового господства и угнетения, занимались коллекционированием курьезов, нанизыванием нелепостей, составлением своеобразных сборников анекдотов.

С другой стороны, апологетические историки цензуры типа монархиста Н. В. Дризена идеализировали родное им ведомство, около которого они кормились, причесывали и приглаживали царских цензоров, смягчали, замазывали или скрывали от публики нелепые решения цензуры.

Социологически обобщить, понять политический смысл и классовую природу цензурной политики царизма историки-идеалисты, — монархисты и либералы в равной степени, — не могли по той простой причине, что они одинаково не владели марксистским методом. Конечно, это обстоятельство также имело свои причины и коренилось в социальной принадлежности авторов: М. К. Лемке к либерально-буржуазной интеллигенции, а Н. В. Дризена, обладателя баронского титула, — к правящему дворянству.

Характерным признаком всех существующих работ по истории царской цензуры служит тот факт, что все они охватывают лишь отдаленную эпоху царизма, роковым образом завершая свои исследования царствованием Николая I. Среди немногих привилегированных историков, допущенных в тайники царских архивов, только наиболее близкие царизму «избранники» получали право ознакомления с архивными документами времен Александра II.

Архивные тайны последующих десятилетий береглись, как зеница ока, и хранились от нескромного любопытства исследователя под семью замками и за семью печатями.

Лишь Октябрьская революция сделала эти несметные архивные богатства достоянием трудящихся. Естественно, что нас больше всего заинтересовала ближайшая к нам эпоха, первые семнадцать лет XX столетия, непосредственно предшествующие героической эпопее захвата власти, ее удержания и самоотверженного строительства социализма рабочим классом нашей страны.

Немаловажную роль в ту эпоху играл предшественник пролетарской литературы, буревестник революции Максим Горький. Его имя внушало страх и ужас полицейским приставам, цензорам и всяким иным опричникам самодержавного строя. Если писателю Горькому с огромным трудом приходилось пробиваться сквозь колючие проволочные заграждения цензуры, то еще тяжелее было Горькому-драматургу. Царское правительство отлично сознавало, что театральное зрелище несоизмеримо сильнее воздействует на аудиторию, чем книга. Читатели распылены по квартирам, тогда как зрители собраны под куполом огромного театрального зала, где актерское мастерство резко и выразительно запечатлевает в сознании слушателей каждую реплику, каждую мысль драматурга.

Революционные настроения Горького были отлично известны правительству Николая Кровавого. Стоя на страже своего класса, цензура поместного дворянства предубежденно и в высшей степени подозрительно относилась к первым драматическим опытам автора «Буревестника».

Как драматург Горький дебютировал пьесой «Мещане», которую он отдал для постановки Московскому художественному театру.

3 декабря 1901 года директор-распорядитель Московского художественного театра В. И. Немирович-Данченко представил в цензуру два экземпляра этой пьесы. Цензура держала пьесу пять недель.

11 января 1902 года А. Косаговский, подписавшийся за «правителя дел», уведомил Немировича о разрешении «Мещан». Однако это разрешение было весьма относительным. Во-

первых, оно досталось ценою значительных купюр. Во-вторых, пьеса была разрешена исключительно Московскому художественному театру. Она не была включена в список разрешенных цензурою пьес, ежемесячно публиковавшийся в «Правительственном вестнике». Поэтому столичные и провинциальные театры, желавшие поставить «Мещан», были обязаны в каждом отдельном случае испрашивать специальное разрешение цензуры. Мало того, пьеса могла быть разрешена лишь «по особому ходатайству». На своеобразном языке цензуры эти сакраментальные слова означали, что просьба театра должна быть поддержана губернатором или, по меньшей степени, театральным обществом. Иначе цензура даже не рассматривала ходатайства. Как мы увидим ниже, все эти условия фактически были равнозначны замаскированному запрещению пьесы. Но даже единичное разрешение «Мещан» только Художественному театру не на шутку волновало правительство царя. Через голову шпиков и мелких сошек Главного управления по делам печати, первым драматическим опытом предвестника пролетарской литературы живо заинтересовались обер-жандармы, верховные вожди полицейщины, генерал-губернаторы, великие князья.

Дело дошло до всевластного помпадура, министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина, о котором генерал Драгомиров пренебрежительно отзывался: «Какая там у него политика? Он просто егермейстер и дурак». Сипягин придавал постановке «Мещан» громадное значение. Он специально командировал в Москву на генеральную репетицию главу цензурного ведомства князя Шаховского.

28 января 1902 года Сипягин отправил московскому генерал-губернатору — дяде царя, великому князю Сергею Романову, следующее письмо:

«Ваше императорское высочество,

Драматическою цензурою в январе сего года разрешены к представлению с исключениями драматические сцены в четырех действиях Максима Горького под заглавием «Мещане». Пьеса эта в будущем феврале месяце предположена к постановке в Москве на сцене Художественного театра (К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). Хотя из пьесы «Мещане» устранены все неудобные в цензурном отношении места и выражения, но принимая во внимание широкую популярность Горького в известных кружках публики и особенно молодежи, а также направление названного писателя, я признаю необходимым командировать на генеральную репетицию означенной пьесы, которая состоится в начале февраля, начальника Главного управления по делам печати князя Н. В. Шаховского. Ввиду тех же соображений не благоугодно ли будет вашему императорскому высочеству назначить для присутствования на генеральной репетиции пьесы «Мещане» особое лицо, которое могло бы доложить вам о сценическом впечатлении, производимом первым драматическим опытом М. Горького.

Таким образом представляется возможность не допустить до публичного воспроизведения тех отдельных мест или выражений, которые в чтении не производят отрицательного впечатления, но каковые в исполнении на сцене могут вызвать нежелательное действие. Об изложенном долгом поставляю довести до сведения вашего императорского высочества.

С глубочайшим уважением имею честь быть вашего императорского высочества

(подписал)

всеподданнейший Дмитрий Сипягин»[1].

Из этого документа видно, что власти были встревожены не столько содержанием пьесы, достаточно изуродованной цензурными ножницами, сколько одиозностью имени Горького, ввиду его широкой популярности и большевистских симпатий.

В дополнение к этому письму 1 февраля 1902 года цензор С. Трубачев по поручению Шаховского отношением за № 1048 просил чиновника Московского Управления по делам печати П. М. Пчельникова заблаговременно за четыре-пять дней известить Шаховского о дне генеральной репетиции «Мещан».

Если с такими трудами и предосторожностями проходила пьеса в Москве в Художественном театре, где она была разрешена, то легко представить себе, какой произвол творился в провинции. Осенью 1902 года Елецкий городской театр выпустил и расклеил по всему городу большую и широковещательную афишу, по обычаю русской провинции торжественно извещавшую жителей Ельца о предстоящей в четверг 10 октября премьере новой пьесы Максима Горького «Мещане». Эта афиша попала в Главное управление по делам печати и произвела в этом затхлом учреждении сильнейший переполох. Засуетились чиновники, забегали цензоры, заскрипели перья — и «пошла писать губерния». Во все концы России посыпались циркуляры, полетели срочные депеши.

Между тем в некоторых городах уже стали появляться анонсы о предстоящей постановке второй пьесы Горького «На дне». Это уже окончательно перепугало бюрократов. Экземпляр пьесы «На дне» еще не был представлен в цензуру, и вдруг какие-то анонсы.

Все цензурное ведомство тотчас было поставлено на ноги; весь полицейский аппарат пришел в движение. 12 октября 1902 года Главное управление по делам печати разослало всем губернаторам следующий циркуляр:

«Копия

Циркулярно

Господину губернатору

По дошедшим до Главного управления по делам печати сведениям в некоторых про-

---

[1] Ленинградский центральный архив. Дело канцелярии Главного управления по делам печати 141, № 51, 1901 года, письмо № 800.

винциальных городах в текущем 1902 году ставилась на местных театрах пьеса Максима Горького под названием «Мещане», и появились анонсы о постановке новой пьесы того же автора под заглавием «На дне».

Принимая во внимание, что означенные пьесы не внесены в ежемесячно публикуемые в «Правительственном вестнике» списки пьес, разрешенных драматическою цензурою к представлению, что пьеса «Мещане» была сначала дозволена к постановке с исключениями только Московскому художественному театру и ныне разрешается лишь каждый раз по особому ходатайству, Главное управление по делам печати имеет честь покорнейше просить вас, милостивый государь, наблюсти за тем, чтобы сцены Горького «Мещане» разрешались к постановке чинами вверенной вам полиции только по экземплярам, скрепленным драматическою цензурою согласно циркуляру от 21 марта 1884 года, № 1361, а также чтобы не допускались анонсы о новой пьесе М. Горького «На дне» до пред'явления цензурованных экземпляров.

Подписал: начальник Главного управления по делам печати, сенатор Н. Зверев.

Скрепил: правитель дел Главного управления по делам печати, член совета
В. Адикаевский.

Верно: за помощника правителя дел
А. Косоговский.

Не довольствуясь общим циркулярным распоряжением, руководитель цензурного учреждения Зверев 15 октября 1902 года послал орловскому губернатору запрос относительно елецкого инцидента, послужившего непосредственным поводом для издания приведенного циркуляра. Повторив мотивировку, содержащуюся в циркуляре, сенатор Зверев добавляет, что разрешение по особому ходатайству производится каждый раз с точным обозначением как города, так и театрального антрепренера, получающего разрешение цензуры. Зверев сурово запрашивал губернатора, на каком основании было выдано разрешение на постановку «Мещан» елецкому городскому театру. Орловский вице-губернатор поспешил свалить вину на елецкого полицеймейстера и театрального антрепренера. 31 октября 1902 года он уведомил главного цензурного помпадура, что разрешение было дано елецким полицеймейстером ввиду незнания им существующих условий постановки «Мещане». Вице-губернатор об'яснял, что полицеймейстер был введен в заблуждение антрепренером Катарским, который представил ему афиши о постановке «Мещан» в Выборге и Перми.

Виновный стрелочник был найден в лице антрепренера.

Этот документ обнаруживает, что вопреки цензурным рогаткам «Мещане» явочным порядком пробивались на провинциальную сцену. Конечно, это были только редкие случаи, обусловленные недосмотром местных властей. Как правило, всякая попытка постановки «Мещан» пресекалась в корне.

25 октября 1902 года К. И. Ванченко-Писанецкий прислал в цензуру бандеролью из Рязани пьесу «Мещане», как он писал, «уже разрешенную к представлению на сцене».

8 ноября А. Косоговский бумагой за № 9998 уведомил его, что ходатайство о постановке «Мещан» «признано не подлежащим удовлетворению». Но Ванченко-Писанецкий был настойчивый человек. Едва получив отказ, он 13 ноября возбуждает вторичное ходатайство. Коса нашла на камень. 29 ноября цензура ответила ему вторичным отказом, известив его, что при испрошении разрешений на постановку «Мещан» требуется особое ходатайство театрального общества или местного губернатора.

Добиться ходатайства царского губернатора за пьесу пролетарского писателя было почти невозможной вещью. Правящий класс царской России старательно ограждал свою сцену от классово чуждых идеологических веяний.

23 октября 1902 года тогда еще неизвестный В. Э. Мейерхольд и А. С. Кошеверов возбудили вопрос о разрешении «Мещан» в Херсонском городском театре[1]. В. Э. Мейерхольду удалось добиться успеха. Цензура неожиданно сделала исключение и 9 ноября 1902 года выдала разрешение[2]. Очевидно, просьбу В. Э. Мейерхольда поддерживало Русское театральное общество, потому что цензурованный экземпляр был отослан ему через это общество. Повидимому, херсонская постановка Мейерхольда была вообще первой постановкой «Мещан» в провинции. Однако это разрешение было редчайшим исключением. Другие просьбы такого рода попрежнему встречали суровое отношение.

Общая линия цензуры, неприязненная к Горькому как представителю враждебного класса, оставалась без изменения.

Например, почти одновременно с В. Э. Мейерхольдом, режиссер Самарского городского театра М. Т. Строев просил разрешения на постановку «Мещан» в Самарском театре под его личным руководством, но ему было в этом категорически отказано. Подобно Ванченко-Писанецкому М. Т. Строев был также упорный человек и решил не сдаваться на милость цензурного произвола. Он принялся бомбардировать Главное управление по делам печати телеграммами с оплаченным ответом.

На первую телеграмму Строева цензор Трубачев ответил ему лаконично, но невразумительно: «Мещане разрешаются по особому ходатайству».

Строев, естественно, не понял значения этих условных понятий цензурного лексикона и вторично возбудил по телеграфу ходатайство.

На это цензор ответил ему: «Особого ходатайства не поступало».

Легко представить себе положение несчастного Строева: он шлет второе ходатайство, а

[1] Там же, № 7580/2037.
[2] Там же, № 10051.

цензура ему все отвечает: «Особого ходатайства не поступало».

Тогда Строев отправляет паническую телеграмму: «Очутились критическом положении ходатайствуем разрешить Мещане пьесы прошение представлено драматическую цензуру своевременно».

Лишь на этот раз цензор, — наконец-то! — соблаговолил дать членораздельный ответ и раз'яснил самарскому режиссеру, что «Мещане» разрешаются только по особому ходатайству театрального общества или губернатора. От кого удалось Строеву добыть «особое ходатайство», из дела не видно.

Во всяком случае 6 января 1900 года цензура за подписью Н. Агапова уведомила злополучного режиссера Строева, что его ходатайство о постановке «Мещан» в Самаре признано не подлежащим удовлетворению. Ни особое ходатайство, ни звание артиста императорских театров — ничто не помогло горемычному Строеву.

Однако даже в случаях ходатайства губернатора цензурное ведомство далеко не сразу давало разрешение и зачастую разводило бюрократическую волокиту.

Но ходатайства губернаторов были единичными случаями. Например, некоему театральному деятелю Перовскому удалось каким-то образом убедить екатеринославского губернатора Келлера послать следующую телеграмму: «Прошу разрешения группе Перовского Екатеринославе поставить пьесу Горького Мещане Губернатор граф Келлер». Телеграмма была отправлена 23 декабря. Но вместо прямого разрешения ему было телеграфно сообщено: «Прошу выслать экземпляр Мещан для цензурования Зверев»[1].

Через пять дней 28 декабря цензура отправила Келлеру разрешение на постановку «Мещан».

Требование «особого ходатайства» порождало порою курьезные телеграммы, например, керчь-еникальский полицеймейстер Янов по просьбе антрепренерши Лавровской ходатайствует о скорейшем разрешении «Мещан» во вверенном ему граде.

Иногда для получения права на постановку «Мещан» театральные деятели были вынуждены представлять в цензуру самое настоящее свидетельство о политической благонадежности.

Так, например, антрепренер Двинского театра С. А. Трефилов 4 января 1903 года представил подлинное свидетельство, где двинский полицеймейстер с видом авторитетного знатока изящных искусств формально удостоверял художественные достижения Трефиловского театра.

Приведем полностью этот замечательный документ:

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 4

Дано сие из Двинского городского полицейского управления антрепренеру Двинского театра Сергею Александровичу Трефилову, жительствующему в г. Двинске, для представления в Главное управление по делам печати на предмет исходатайствования разрешения к постановке пьесы «Мещане» на сцене Двинского театра в том, что группа его, С. А. Трефилова, подвизающаяся на сцене Двинского театра с 25 декабря 1902 г., составлена умело, на каждое амплуа имеются соответствующие артисты, пользующиеся успехом у публики; спектакли обставляются в декоративном и аксессуарном отношении хорошо. В постановке спектаклей видна опытная рука режиссера, что дает основание поручиться за тщательность постановки пьесы «Мещане» и ее успех в Двинском театре в исполнении труппою С. А. Трефилова. Гербовым сбором оплачено. Января 3 дня 1903 года.

Полицеймейстер Макунин.

Тем не менее, несмотря на столь красноречивое ручательство полицеймейстера, Главное управление по делам печати 31 января 1903 года за № 1037 уведомило Трефилова, что его ходатайство о постановке «Мещан» признано не подлежащим удовлетворению.

Наконец даже в тех немногочисленных случаях, когда «Мещанам» удавалось увидеть свет провинциальной рампы, иногда бывали проявления самодурства со стороны местных сатрапов.

9 января 1903 года ярославский губернатор Рогович пришел в неистовую ярость от спектакля «Мещан». Причина бешенства ярославского помпадура уяснится сама собой, если мы предоставим слово ему самому:

— Присутствуя вчера на спектакле, я лично заметил, что исполнители дозволили себе отступление от экземпляра пьесы, скрепленного драматическою цензурою.

На этом основании раз'яренный губернатор немедленно снял пьесу и на весь сезон запретил ее. Об этом обстоятельстве он не преминул гневно донести в Главное управление по делам печати.

Ходатайства о постановке «Мещан» продолжали беспрерывно поступать от целого ряда провинциальных театров в огромном большинстве случаев с неизменным отказом.

Только могучий под'ем рабочего движения, породивший революцию 1905 года, вынудил правящий класс пойти на уступки и завоевал более благоприятные политические условия.

Неслучайно именно в 1905 году были сняты цензурные заставы, сломаны цензурные шлагбаумы и целый ряд литературных произведений приобрел себе право существования.

Лишь с наступлением революции 1905 года «Мещане» завоевали себе права гражданства и начали ставиться повсеместно.

Вскоре после 9 января, когда буржуазно-демократическая революция стала с лихорадочной быстротой развиваться по восходящей линии, даже в затхлых и непроветриваемых застенках царской цензуры повеяло новым духом. 7 апреля 1905 года цензор Верещагин представил следующий доклад, доложенный на-

[1] Там же, № 11849 от 23 декабря 1902 года.

чальником Главного управления по делам печати министру внутренних дел:

«Мещане». Драматический эскиз в четырех актах Максима Горького (по поводу поступившего в Главное управление по делам печати ходатайства о разрешении пьесы и желательности отмены установленных для нее условных разрешений).

Пьеса М. Горького «Мещане» дозволена к представлению в январе 1902 года специально Московскому художественному театру, причем ввиду широкой популярности М. Горького в известных кружках публики, а также направления названного писателя, бывшим министром внутренних дел Д. С. Сипягиным на генеральную репетицию в Москву был командирован бывший начальник Главного управления по делам печати князь Шаховской, после чего признано было возможным разрешать пьесу на столичных и провинциальных театрах, но только условно, то есть по «особым ходатайствам», с обозначением в разрешительной подписи театра и фамилии антрепренера. Со времени разрешения «Мещан» они уже сотни раз исполнялись на сцене.

Ввиду изложенного я полагал бы возможным разрешить рассматриваемую пьесу повсеместно на общем основании, тем более, что единственными причинами для установления условного разрешения были, повидимому, только популярность Максима Горького и его направление как писателя вообще; ни то, ни другое, однако, казалось бы, не должно иметь отношения к драматическому произведению, уже прошедшему через цензуру и отвечающему ее требованиям, как не имеет отношения личность того же Горького к его пьесе «Дачники», допущенной повсеместно, или личность графа Л. Н. Толстого к переделке его романа «Воскресение», разрешенной без всяких ограничений.

Цензор драматических сочинений Верещагин.

7 апреля 1905 года».

Любопытен этот «либерализм» царского цензора, являющийся знамением времени. Характерно признание, исходящее из самого цензурного аппарата, что единственной причиной фактического запрещения пьесы в течение трех лет было не содержание, а только популярность Горького и его политическое направление. «Либерализм» цензора проявляется в том, что он отделяет личность автора от произведения и выдвигает тезис, что ни популярность, ни направление Горького не должны иметь отношения «к произведению, уже прошедшему через цензуру и отвечающему ее требованиям».

Документ цензора Верещагина бросает яркий свет на классовый произвол царского цензурного управления.

Неменьшие мытарства выпали на долю второй пьесы М. Горького: «На дне». Осенью 1902 года Вл. И. Немирович-Данченко представил в цензуру установленное количество экземпляров пьесы «На дне» с просьбою разрешить ее постановку Московскому художественному театру. Пьеса попала на отзыв известному уже нам цензору С. Трубачеву, который написал о ней своего рода «критическую» статью. Выступление цензурного чиновника царизма в роли Белинского — зрелище, достойное внимания. Вот эти литературные упражнения вицмундирного критика:

«Сцены в четырех действиях под заглавием «На дне» сочинения Максима Горького представлены на рассмотрение драматической цензуры Вл. И. Немировичем-Данченко, директором-распорядителем Московского художественного театра, где они предположены к постановке в текущем сезоне.

Автор ярко изобразил целую галлерею «опустившихся на дно» общества «бывших людей», обитателей ночлежного дома, который содержит некий Костылев, человек почтенных лет, имеющий молодую жену и свояченицу. Три действия пьесы происходят в «ночлежке», помещающейся в подвале, похожем на пещеру с каменными закопченными сводами, с нарами по стенам; одно действие (третье) разыгрывается около «ночлежки» на пустыре, засоренном разным хламом и заросшем бурьяном.

Всех действующих лиц в пьесе семнадцать, если не считать нескольких босяков без имени и речей. Кроме вышеупомянутых содержателя ночлежки, его жены Василисы и ее сестры Наташи, в сценах Горького ту или другую роль играют: полицейский Медведев, профессиональный вор Васька Пепел, слесарь Клещ с чахоточной женой Анной, Барон и его сожительница, «девица» Настя, торговка пельменями Квашня, картузник Бубнов, некий Сатин, прошлое которого неизвестно, пропившийся актер, странник Лука, сапожник Алешка и крючники «Кривой Зоб» и татарин.

Любовная интрига пьесы Горького незамысловата. Васька Пепел, промышляющий воровством, находится в связи с молодою хозяйкой ночлежного дома. Связью этой Пепел тяготится и открыто говорит об этом своей возлюбленной. Василиса тоже непрочь порвать с ним отношения и даже готова женить его на своей сестре, если только Пепел согласится избавить ее от постылого старика-мужа. Не желая отправляться в каторгу, Пепел не соглашается на предложение Василисы. Сватая Пеплу свою сестру, Василиса, однако, не перестает его ревновать и в третьем действии на почве ревности между сестрами разгорается ссора, переходящая в драку, при участии почти всей ночлежки. Во время драки Васька Пепел наносит старику Костылеву, хозяину ночлежки, смертельный удар в висок. Кроме этого убийства, в пьесе Горького имеются еще две смерти: — жены слесаря Клеща, медленно умирающей от чахотки в течение первых двух актов пьесы, и пропойцы актера, который удавился в конце последнего акта. Эти эпизоды трех смертей, оживляющие монотонность новой пьесы Горького, происходят на фоне характерных диалогов, в которые немалое оживление вносит странник Лука, пробуждающий

в прогнившем болоте ночлежки новые мысли и желания. Он развивает свои мысли в форме сказок и прибауток и рассказывает ночлежникам о забытом ими мире, находящемся за стенами их мрачного подвала; он беседует с ними о боге, будущей жизни, правде, чести, совести, о прошлых ошибках их и вообще их житье-бытье и прочее. Странник исчезает из ночлежки во время драки так же таинственно, как и появляется среди опустившихся на дно. В четвертом акте ночлежка затихает после пережитых волнений. С исчезновением странника, поднявшего в ночлежке какое-то неопределенное брожение, какие-то неясные стремления к лучшей жизни, пьяная беспросветная жизнь снова тянет «на дно» обитателей ночлежки. Ближайшей жертвой безмерной тоски по утраченным надеждам на лучшее будущее, тоски по неисполнившимся мечтам — попасть в лечебницу для алкоголиков и вернуться на прежний путь трезвой жизни, делается актер, обращавшийся пред своей насильственною смертью к татарину, единственному нравственно чистому существу среди всех ночлежников, с просьбой помолиться о нем. Смерть актера не производит впечатления на отупевших ночлежников, вызывая только негромкое восклицание Сатина:

— Эх... испортил песню... дур-рак!

Новая пьеса Горького может быть разрешена к представлению только с весьма значительными исключениями и некоторыми изменениями. Безусловно необходимо городового Медведева превратить в простого отставного солдата, так как участие полицейского чина во многих проделках ночлежников недопустимо на сцене. В значительном сокращении нуждается конец второго акта, где следует опустить из уважения к смерти чахоточной жены Клеща грубые разговоры, происходящие после ее кончины. Значительных исключений требуют беседы странника, в которых имеются неудобные рассуждения о боге, будущей жизни, лжи и прочее. Наконец во всей пьесе должны быть исключены отдельные фразы и резкие, грубые выражения, на которые во всех своих произведениях не скупится Горький.

Цензор драматических сочинений
С. Трубачев[1].

25 сентября 1902 года».

Нельзя читать без улыбки требование цензора исключить из пьесы «резкие, грубые выражения, на которые во всех своих произведениях не скупится Горький».

Деликатный слух царского цензора был оскорблен взятым из жизни жаргоном люмпен-пролетариата. Цензор потребовал городового Медведева переделать в простого отставного солдата, подобно тому как позже в некоторых провинциальных городах полиция пред'являла требование в «Днях нашей жизни» офицера заменить евреем. Полицейские и офицеры были неприкосновенны. Другое дело — евреи. Над ними можно было потешаться сколько угодно. Это вполне соответствовало идеологической линии правительства антисемитов, организаторов еврейских погромов. Отставные солдаты — отработанный пар. Их тоже разрешалось выводить в неприглядном виде. Даже в мелочах видна классовая тенденция царской цензуры, тщательно оберегавшей слои, служившие опорой правящего дворянства. Церковь — служанка политики. Поэтому все, что могло поколебать авторитет господствующей православной церкви, бережно бралось цензурой под защиту. Известные рассуждения странника Луки о боге и загробной жизни были безжалостно купюрованы цензурой.

Пьесу «На дне» постигла горькая участь, вполне аналогичная судьбе «Мещан».

Начальник Главного управления по делам печати согласился с мнением цензора Трубачева. Пьеса «На дне» была разрешена только с купюрами, только Московскому театру и только по «особому ходатайству» остальным театрам.

На примере «Мещан» мы уже видели, что скрывали за собой ехидные слова: «особое ходатайство». Это значило, что пьеса, в порядке исключения разрешенная одному театру, для всех других оставалась под запретом.

Кроме Московского художественного театра, пьесе «На дне» в эти годы удалось просочиться лишь на весьма немногие сцены главным образом питерских театров: Малого, Неметти и Василеостровского.

Когда же возник вопрос о постановке пьесы на сцене так называемых императорских театров, то цензура категорически запретила. Любопытная мотивировка цензурного ведомства содержится в следующей справке:

«Сцены в четырех действиях под заглавием «На дне», сочинение Максима Горького, разрешены с значительными исключениями в Московском художественном театре, о чем своевременно было доложено господину министру внутренних дел. Ныне поступило ходатайство о разрешении названной пьесы в императорских театрах. Ввиду того что пьеса эта не принадлежит к числу произведений, кои по с е р ь е з н о с т и с ю ж е т а и п о т р е б о в а н и я м о б с т а н о в к и могут быть исполняемы в театрах, обладающих составом исполнителей, соответствующим важности сюжета, к специальному разрешению на императорских театрах — н е т д о с т а т о ч н о г о п о в о д а. Ввиду того, что постановка пьесы «На дне» в городе Москве не дала повода к каким-либо сомнениям, казалось бы возможным разрешить ее повсеместно. При этом следует иметь в виду, что печатный экземпляр товарищества «Знание» следует признать неудобным к исполнению на сцене и разрешительные надписи следует лишь делать на экземплярах, совершенно тождественных с экземпляром, разрешенным для Мо-

[1] Ленинградский центральный архив. Дело четвертого отделения (драматической цензуры) канцелярии Главного управления по делам печати. «На дне» — сочинение Максима Горького 152, № 33, 1902 года.

сковского художественного театра, о чем и следует своевременно поставить в известность гг. губернаторов для руководства на будущее время»[1] (Курсив наш. Ф. Р.).

29 января 1903 года начальник Главного управления по делам печати согласился с мнением своего подчиненного о недопустимости постановки «На дне» на образцовой сцене Александринского и московского Малого театра[2], но отклонил мысль о повсеместном разрешении пьесы. Был сохранен старый порядок, проверенный на опыте «Мещан»: «особые ходатайства» и разрешения по рукописным, а не печатным экземплярам.

На полях приведенной выше справки сделана пометка: «При исполнении иметь в виду словесные указания его превосходительства господина начальника». Какие бичи и скорпионы сулили многострадальной пьесе дополнительные «словесные указания его превосходительства» — остается только догадываться. Большую неприятность причинило драматической цензуре издательство «Знание», выпустившее в свет печатное издание «На дне».

Для предотвращения постановки спектаклей по печатному тексту снова полетели секретные циркуляры:

«Конфиденциально

Циркулярно.

Господину губернатору.

Товарищество «Знание» отпечатало и выпустило в свет книгу под названием: «М. Горький. На дне. Картины. Четыре акта».

Ввиду того, что означенная пьеса Горького дозволена к представлению на сценах некоторых театров в совершенно ином виде, в рукописных экземплярах, Главное управление по делам печати имеет честь покорнейше просить вас, милостивый государь, сделать зависящее распоряжение, чтобы пьеса «На дне» разрешалась к постановке на сцене чинами вверенной вам полиции только по р у к о п и с н ы м экземплярам, скрепленным драматическою цензурою согласно пункта 3 циркуляра от 17 октября 1902 года за № 9166.

Подписал: Начальник Главного управления по делам печати, сенатор Н. Зверев.

Скрепил: правитель дел Главного управления по делам печати, член совета В. Адикаевский.

Верно: за помощника правителя дел».

Не успели рыцари красного карандаша расправиться с досадным появлением в печати пьесы Максима Горького и с дерзкой попыткой святотатственного осквернения императорской сцены, как на цензурное ведомство обрушилась новая напасть. Никто иной, как глава столичной полиции, Петербургский градоначальник, 31 октября 1903 года обратился в цензуру с протестом по поводу разрешения «На дне». Отмечая, что в газетах появляются сообщения о росте преступности, вождь петербургской полиции патетически восклицал: «В то же время на театральной сцене идут и пользуются большим успехом такие пьесы, как «Падшие» и «На дне», в которых авторы, рисуя жизнь отбросов общества, самыми густыми красками стремятся обнаружить и показать обществу внутренний смысл — душу этого порочного элемента, выставляя негодяев и тунеядцев в ролях героев и удальцов».

Опасаясь за нравственность опекаемых им граждан, питерский помпадур поставил пьесу М. Горького на одну доску с полубульварной стряпней профессионального драмодела.

Петербургские градоначальники вообще не отличались высоким уровнем литературного образования.

Протест шефа столичной полиции не шутку взволновал цензурный муравейник.

Начальнику цензурного ведомства была представлена справка, где приводились следующие факты и рассуждения:

«Пьеса «На дне» действительно шла с громадным успехом в Москве в течение всего прошлого сезона 1902/1903 года и затем в С-Петербургском малом театре с неменьшим успехом выдержала около десяти представлений по утроенным ценам. После сего эта пьеса шла по отдельным разрешениям на летних сценах и в последнее время держится на репертуаре на Петербургской стороне в театре Неметти[1]. Все действующие лица этой пьесы — типы отрицательные, которые в лучшем случае могут вызвать сожаление, а вообще производят отталкивающее впечатление. Ни одного героя и удальца там нет, если не считать мелкого воришку Ваську Пепла, который, однако, стремится к честной жизни и обновлению путем привязанности к честной девушке и попадает на скамью подсудимых вследствие случайного убийства в драке с мужем своей любовницы. Остальные действующие лица бывшие люди, полуголодные нищие, которые влачат изо дня в день свое жалкое существование, ничем не проявляя какой-либо преступности. Еще менее можно найти стремление выставлять негодяев и тунеядцев в ролях героев и удальцов в пьесе «Падшие». Пьеса эта успеха не имела и боль-

[1] Ленинградский центральный архив. Дело четвертого отделения (драматической цензуры) канцелярии Главного правления по делам печати. О пьесе «На дне» сочинения Максима Горького. 152. № 33, 1902 года.

[2] Лишь после Октябрьской революции пьесы Максима Горького в первый раз появились на сцене Александринского театра: в 1918 году «Мещане» и в 1919 году «На дне».

[1] Пьеса «На дне» была играна в следующих театрах в С. Петербурге в осенний сезон: в Васильевском театре (в октябре — один раз), в театре Неметти по 1 ноября шла восемь раз. В первом общественном собрании и С.-Петербургском благородном собрании разрешена, но ни разу не шла. Кроме того была разрешена по возвышенным ценам в Обществе невских развлечений, где прошла один или два раза.

ше в репертуаре Малого театра не появляется ввиду незначительных сборов. Слабая сторона этой пьесы, как произведения драматического, именно в том и заключается, что автор, рисуя бессвязные картины петербургской жизни, заставляет целый ряд действующих лиц проповедывать прописную мораль и в конце концов доводит обманом вовлеченную в порок честную девушку до самоубийства.

Пьеса разделена на пять картин. Первая картина происходит в саду, где один из негодяев уговаривает честную швею бросить родителей и жить с ним. Вторая картина в квартире швейцара, отца соблазненной девушки, где публика узнает, что дочь швейцара переехала на жительство к портнихе, а в сущности ушла к любовнику. Третья картина в ночлежном приюте, где разные типы ведут праздные разговоры, друг над другом подтрунивают, туда попадает соблазнитель героини и она с подругой, но так как ни у той, ни у другой паспорта при себе не оказалось, то их арестовывают, что дает случай старику-страннику произнести длительную нравоучительную речь.

Четвертая картина в трактире, где наша героиня окончательно убеждается, что она не может мириться с обстановкой, в которую вовлек ее негодяй любовник, что и приводит ее в пятой картине к самоубийству.

Вопрос об изображении преступности и порока на сцене—вопрос общий, принципиальный. Вашему превосходительству известно, что многие десятки пьес запрещены именно ввиду попыток идеализировать порок, сделать его привлекательным, создавать из негодяев-тунеядцев героев и удальцов. Если такие герои допускаются в виде исключения, то это в таких произведениях, как «Разбойники» Шиллера, оперы: «Дубровский», «Фра-дьяволо» и т. п. Создали или нет подобные произведения подражателей, остается неизвестным; одно лишь достоверно, что студент Данилов совершил преступление, вполне аналогичное с преступлением Раскольникова, в то время когда роман Достоевского еще только готовился к печати. Что касается до «обыкновенных негодяев», причисляемых «к категории несуществующей у нас касты людей под названием хулиганов», то драматическая цензура до сего времени полагала, что кличка «хулиган» соответствует другим кличкам отбросов общества, как, например «мазурик», «жулик», «громило» и т. д. В разрешенных к представлению пьесах «хулиганы» нигде не изображаются в виде отдельной касты и «реальная жизнь пролетариата отнюдь не освещается и не демонстрируется в соблазнительном виде».

К сему считаю долгом присовокупить, что пьеса «На дне» разрешается для каждого театра особо, так что спектакли, исполнение коих вызвало бы какое-либо недоразумение, могут быть немедленно прекращены и если господин градоначальник находит дальнейшее представление этой пьесы в С.-Петербурге нежелательным, то она может быть снята с петербургского репертуара, по его усмотрению, в порядке 135 статьи Устава о пред. и прес. преступлений»[1].

Ввиду протеста столь важного лица, как сам столичный градоначальник, глава цензурного учреждения не взял ответственности на себя, а доложил дело министру. Сипягина уже не было на свете. Его сразила пуля студента Балмашева. В здании у Цепного моста, в кресле министра внутренних дел, в ожидании бомбы Сазонова, восседал знаменитый В. К. Плеве. Оба министра интересовались художественной литературой: Сипягин не пускал на сцену «Мещан»; лавры предшественника не давали спать Плеве: он запретил «На дне». Во время доклада начальника Главного управления по делам печати Плеве приказал ему, по возможности, не разрешать дальнейшего появления на сцене пьесы «На дне». Приказ всесильного министра был равносилен закону. Главный цензор поклонился и перестал выдавать разрешения на постановку пьесы неблагонадежного автора.

Понадобилась революция 1905 года, чтобы сцены «На дне» получили права гражданства.

«Весна», об'явленная Святополк-Мирским, породила в цензуре новые веяния. 7 апреля 1905 года в связи с поступившим ходатайством о повсеместном разрешении пьесы цензор Верещагин представил по начальству следующий доклад:

«Пьеса М. Горького «На дне» разрешена бывшим цензором Трубачевым согласно резолюции бывшего начальника Главного управления по делам печати сенатора Зверева от 26 сентября 1902 года специально Московскому художественному театру. Так как пьеса эта в Москве не дала повода к каким-либо сомнениям, она 29 января 1903 года, по распоряжению сенатора Зверева, была разрешена повсеместно, с тем, однако, чтобы разрешение давалось по особым ходатайствам и по рукописным экземплярам, а не по печатному изданию товарищества «Знание», по соответствующему, дозволенному цензурою тексту. Пьеса таким образом прошла бесчисленное количество раз и в столицах и в провинции, но в октябре 1903 года совершенно неожиданно последовал отзыв бывшего с.-петербургского градоначальника генерал-ад'ютанта Клейгельса, усмотревшего нежелательное явление в том, что пьеса «На дне» пользуется большим успехом, так как рисует жизнь отбросов общества, выставляя негодяев героями. Между тем в действительности все действующие лица этой пьесы — типы несомненно отрицательные, производящие вообще отталкивающее впечатление и в лучшем случае могущие вызвать только жалость; ни одного героя там нет, причем жизнь пролетариата отнюдь не освещается и не демонстрируется в соблазнительном виде. Тем не менее бывший министр внутренних дел В. К. Плеве ввиду заявления генерала Клейгельса приказал по возможности не разрешать дальнейшего по-

[1] Ленинградский центральный архив. Дело четвертого отделения (драматической цензуры) канцелярии Главного управления по делам печати. О пьесе «На дне» сочинение Максима Горького. 152. № 33. 1902 года.

явления на сцене пьесы «На дне», и в таком положении это было до сих пор.

Не находя серьезных оснований оставлять долее под неофициальным запрещением пьесу «На дне», которая разрешалась уже по России в сотнях разрешенных экземпляров и, по моему глубокому убеждению, ничего предосудительного в себе не заключает, изображая быт босяков, как многие другие пьесы современного репертуара, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, не признаете ли возможным возбудить ходатайство о разрешении пьесы М. Горького «На дне» повсеместно на общем основании по рукописным экземплярам, соответствующим экземпляру, рассмотренному цензурой. Подобное разрешение не может иметь нежелательных последствий, так как к нему в случае неудобства постановки пьесы по местным условиям всегда может быть применена статья 135 Устава о предупреждении и пресечении преступлений. Доклад бывшего цензора Трубачева и два доклада члена совета Литвинова при сем прилагаются.

Цензор драматических сочинений
Верещагин[1].»

Дело снова было доложено министру внутренних дел. Плеве в это время уже не было в живых: его разорвало бомбой Сазонова. На посту министра внутренних дел находился Булыгин. Но приказ Плеве о пьесе «На дне» еще оставался в силе.

2 апреля 1905 года вопрос был доложен Булыгину. Может быть его обнадеживала 135 статья, дававшая право любому урядику «по местным условиям» снять неугодную пьесу, но во всяком случае творец пресловутой «булыгинской думы» снял запрещение Плеве. Пьеса «На дне» наконец-то сумела прорваться на сцену.

Однако не следует переоценивать результат завоевания 1905 года. Под нажимом рабочего класса правительство было вынуждено пойти на уступки. Но революция 1905 года не была победоносной; она не произвела изменений в системе классового господства: у власти продолжал оставаться все тот же класс. Поэтому, несмотря на то, что «Мещанам» и «На дне» удалось проложить себе путь в зрительный зал, множество пьес продолжало оставаться под запретом; наконец с огромным трудом выдавалось разрешение на каждую новую пьесу, если она хоть в какой-нибудь мере была проникнута духом революции, боевым настроением пролетариата.

23 августа 1905 года кандидат университета К. П. Пятницкий представил в цензуру новую пьесу М. Горького «Дети солнца». Уже известный нам по своей склонности к либеральничанию цензор Верещагин на этот раз весьма категорично высказался в пользу запрещения пьесы.

Вот его мотивированный отзыв:

«Дети солнца»

Пьеса в четырех действия М. Горького.

Основной мыслью пьесы является рознь, существующая между народом, представляющим из себя «лес, полный сумрака и гниения», и богатыми классами, то есть интеллигенцией, против которой в народе давно уже растет ненависть; затронут и рабочий вопрос изображением на сцене в роли «угнетенного и оскорбленного» представителя рабочего класса. Свидетельствуя, что народная ненависть уже вырвалась на улицу, и люди, дикие, озлобленные, с наслаждением истребляли друг друга, автор предвещает, что «их злоба обрушится когда-нибудь на слепую, опьяненную не делом, а только красивыми словами и мыслями интеллигенцию за невнимание к тяжелой, нечеловеческой жизни низшего класса, за то, что она сыта и хорошо одета...» Вообще в пьесе то и дело подчеркивается угнетение бедного труженика, в котором не хотят даже признать «человека», этого «слепого крота», укрывающегося в «темных норах», которому свободомыслящие «дети солнца» должны помочь выбраться из настоящего отчаянного положения и «вырасти гордым орлом». Для более картинной характеристики ненормальности положения вещей упоминается даже о бывших у нас беспорядках с их последствиями: об озверевшей, черной толпе, окровавленных лицах, лужах теплой крови, окрасившей песок и тому подобное. Этот кровяной песок и является эмблемой народных страданий: пьеса заканчивается восклицанием одного из действующих лиц под впечатлением только что происшедшей свалки бунтующей толпы:

Один... Среди пустыни...
В знойном море красного песка...

Пророчество о народном мщении сбывается в последнем действии, где изображены беспорядки по случаю холеры и избиение чернью докторов, «придумавших эту болезнь якобы из корыстной цели». Раз'яренная толпа на сцене врывается в частный дом, причем во время разгрома в общей свалке происходят даже выстрелы.

Представляя все изложенное на благоусмотрение вашего превосходительства, считаю долгом присовокупить, что у меня не возникает ни малейших сомнений в совершенной недопустимости на сцене рассматриваемого произведения ввиду его крайней тенденциозности, могущей вызвать при исполнении пьесы только нежелательные последствия.

Цензор драматических сочинений
Верещагин.

31 августа 1905 года»[1].

Итак, вывод весьма решительный. У цензора Верещагина не было ни малейших сомне-

---

[1] Ленинградский центральный архив. Дело четвертого отделения (драматической цензуры) канцелярии Главного управления по делам печати. О пьесе «На дне», сочинение Максима Горького, 152, № 33, 1902 года.

[1] Ленинградский центральный архив. Дело четвертого отделения канцелярии Главного управления по делам печати о пьесе Максима Горького «Дети солнца», 178, № 44, 1905 года.

ний в совершенной недопустимости пьесы. Однако у его начальства возникли сомнения. 17 сентября 1905 года начальник Главного управления по делам печати распорядился пьесу разрешить.

Мы уже видели, что начальник цензурного ведомства нередко не соглашался с мнением подчиненных. Но прежде характерной чертой этого расхождения взглядов была большая суровость начальства: если рядовой цензор считал, что можно сделать «послабления», то высшее начальство безапелляционно высказывалось в пользу «зажима». Теперь цензор предложил запрещение пьесы, а начальство ее разрешило. Откуда взялся такой неожиданный либерализм?

Причины этого странного явления коренятся в социально-политической обстановке 1905 года, в обострении классовой борьбы, в усилении натиска со стороны пролетариата, вынуждавшего правящий класс итти на известное смягчение режима, чтобы спасти самый режим. Цензор Верещагин был плохой диалектик. Он не учел изменившихся условий, не почуял новых веяний политического ветра. Но его точка зрения также обнаруживает классовый подход. Главное возражение Верещагина вызывает изображение рабочего класса угнетенным и оскорбленным. Цензор возмущен отражением в пьесе революции, которую он упорно именует «бывшими у нас беспорядками».

Цензурное начальство нашло, что, несмотря на эти досадные моменты, оснований для запрещения нет. Постановка пьесы не повредит классовому господству дворянства и буржуазии. Только поэтому «Дети солнца» получили возможность появления на сцене.

В этом случае, как и во всех остальных, царская цензура на ряду с полицией, армией, церковью и судом была важнейшим аппаратом господства и угнетения правящим классом широчайших масс рабочих и крестьян. Лишь захват власти пролетариатом в октябре 1917 года вырвал у помещиков и капиталистов этот инструмент и разрушил его вместе со всей военно-бюрократической машиной дворянско-буржуазного государства.

Скользящий полет по литературе

А. Дивильковский

Littérature russe contemporaine, par Vladimir Pozner — Préface de Paul Hazard — édition KRA, Paris, 1929. Современная русская литература. Соч. Владимира Познера, с предисловием П. Азара. Издательство «КРА», Париж, 1929.

Решительно развязаться, наконец, с вредным предрассудком так называемой «литературой нейтральности» или «чисто литературной точкой зрения» — задача ясная уже сейчас для всякого мало-мальски сознательно относящегося к литературе советского гражданина. Нейтральность здесь обозначает на самом деле бегство литературы — зеркало жизни — от этой самой жизни, от насущных вопросов советского бытия. Она означает прежде всего бегство от «генеральной линии» с ее наискорейшим переходом к социалистическому типу всей народнохозяйственной жизни — к сплошной коллективизации и машинизации деревни и т. д.

Тем более интересно встретиться лицом к лицу с усердными защитниками данного предрассудка, находящими себе убежище «на том берегу», в Париже «дружественном», под покровом буржуазной Франции.

Ах, Франция, нет в мире лучше края...

Так решил, очевидно, бывший сочлен кружка «Серапионовых братьев» в Ленинграде — В. Познер, издавая свою «Панораму современной русской литературы»[1]. Интерес «Панорамы» в том, что по ней необычайно наглядно вскрывается до дна вся отсталость, вся вредность сказанного косного, близоруко-спецовского предрассудка для нашего момента «великих работ». Парижская марка книги отчасти даже помогает это понять. Автор ведь, очевидно, не связан страхом перед пролетарской, советской цензурой и выкладывает нам, разумеется, все свои лучшие, вполне «свободные» доводы в пользу излюбленной идеи. И — тем хуже для его идеи!

[1] Второй заголовок книжки на ее титульном листе.

В самом деле: только наивные люди могут обмануться мнимою «нейтральностью» взглядов В. Познера. Пусть, например, он во вступлении к главе 4-й «Сегодня (1917—1919 гг.)» отзывается об Октябрьской революции, что она-де — «не в нашей компетенции». Этот отзыв тут же получает продолжение, по сути своей отнюдь не такое уже нейтральное. «В плане литературном, — говорится далее, — революция не имела места, или же, если угодно (слушайте! — А. Д.), она проявилась в несколько приемов в разные эпохи: с приходом символистов, в первых рассказах М. Горького и даже ранее — в творчестве Гоголя». Не правда ли: эта странная мешанина уже начинает принимать здесь некоторую преобладающую политическую окраску?

Возьмем еще окончание той же тирады, где понимание «революции» в литературе конкретизируется «еще определеннее». Розанов, выпустивший в 1912 г. свое «Уединенное», А. Белый, написавший «Петербург» в 1913 г., — революционеры; Блок, Хлебников — вот «революция». Стиль отнюдь не революционной мистики и «демонизма» здесь закругляется (ибо и Блок-мистик, здесь имеется в виду весь Блок, а не только в его более или менее революционных «Двенадцати»). Но помещение имени Розанова во главе «революции» — отвратительнейшего лицемера-черносотенца Розанова — это уже политика, как бы ни старался автор замаскировать ее менее отвратительными именами.

Политика в особенности ярко выступает из-под более или менее искусного «нейтрального» прикрытия, когда возьмем не то или другое место книги, а книгу в целом, ее «творческий план», весьма выдержанное в общем выполнение этого плана. Тут уже дух Иудушки Роза-

нова пронизывает все насквозь. И как раз глава, специально посвященная Розанову, — едва ли не самая яркая в книге, даже в своем роде талантливая. Какая-то неудержимая симпатия влечет автора к этому реакционнейшему из столпов суворинского «Нового времени». Со своей дикой религией попа Розанов — двойник, можно сказать, Григория Распутина, но только первый пытался стать **теоретиком**, философом полового мракобесия тем, где Гришка был не более как «практиком», гнусным шутом и знахарем. Автор же восторгается каждым словечком в драгоценных писаниях Розанова, сего «революционера слова», хотя сам принужден признать невероятно гнусные факты из биографии своего любимца. Наглый цинизм, растление малолетних, «издание под чужим именем прокламаций в духе самой крайней реакции»... Словом, как говорится в «Горе от ума»:

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи!

И автор тут же с великим благоговением зовет его: «Розанов — пилигрим, пророк и апостол», Чей же, спрашивается, пророк? Ну, конечно, Владимира Познера и прочих любителей «нейтральности» в литературе!

И замечательно, как это податливо-нейтральная точка зрения располагает ее сторонников к своего рода хвостизму вслед за своим кумиром. Нейтралист сам начинает в каком-то восторженном самозабвении повторять «обскурантские» взгляды своего образца. Не угодно ли почитать вот этот перл: «Таким образом Розанов кажется уже не человеком, а сверхъестественным существом. Колеблешься установить его точную природу. Некоторое указание можно было бы найти в том факте, что одна **гадалка по руке**, приглашенная однажды прочитать по руке Розанова, не **нашла на ней** конца линии жизни». И в самом деле, прибавляет автор, «в произведениях его есть элементы вечности».

Эта «магическая» чепуха была бы сама по себе невероятна в книге автора, претендующей на особую, чрезвычайную научность своей «нейтральной» точки зрения, если бы нам не было известно, что вера в гадалок и прочий ненаучный вздор, как эпидемия, охватывают сейчас мозги французской, американской и прочей западной буржуазии. Тупик, предчувствие гибели... Но мы ясно видим — куда, в какой лагерь несет «нейтрального» автора насмешливый рок. В лагерь буржуазно-крепостнической, **политической** реакции.

В советской литературе, конечно, нет никаких перспектив для развития подобных точек зрения. Пролетарская революция — так революция! Розановская реакция — так реакция! А мешать розановский яд в советское здоровое питье — это значит отравлять последнее, быть вместе с отравителями, а не каким-то средне-нейтральным **только** литературных дел мастером.

Ничего не значит, что по внешности автор избегает вдаваться в анализ собственно политической стороны писаний Розанова (а также вообще разбираемых писателей). Помимо «ремесленных», формальных оценок, он ограничивается вообще лишь философскими, религиозными, словом, лишь «возвышенно-идейными» соображениями. Но разве бывает «в природе» философия сама по себе, религия сама по себе, искусство, литература, идеология вообще без вполне определенной **классовой**, следовательно, и партийно-политической принадлежности? Хочешь или не хочешь, сознаешь или нет, но всеми этими более или менее «тонкими» средствами и путями ты служишь всегда социальной борьбе, тому или другому ее лагерю». Так называемая нейтральная идеология указывает в данном случае лишь на принадлежность ее по исходной точке к промежуточному, колеблющемуся классу — к мелкой буржуазии, что не мешает, — наоборот, заставляет, — «неведомою силой» притягиваться к более сильному классу и его представителям, — например, к Розанову.

Поэтому «нейтральность» тут лишь прием уклонения от прямого ответа на вопрос: с кем же вы? «Я — ни с кем; я — только с искусством», — говорит ускользающий мелкобуржуазный идеолог. И запасшись подобной, повидимому, удобной идейкой, как своего рода безмоторным аэропланом, последний получает возможность этакого скользящего полета по областям современой литературы. Только поверхность литературных явлений затрагивается его легко порхающим, будто бабочка, критическим аппаратом. Только почти одни вопросы искусства-ремесла либо искусства-станка,— затрудняюсь более близко передать излюбленный автором французский термин «métier». Причем у него оказываются и два главные подразделения этого «станка»: 1) речь, слово, стиль, степень их оттачивания у того или иного писателя, 2) сюжет произведения, как нача-

ло формально организующее, архитектурное,— т. е. и там и тут форма прежде всего, содержание как будто безразлично или поглощается без остатка «сюжетом», который в свою очередь не более как один из элементов стиля и речи. В действительности, как мы видели, содержание более или менее молчаливо протаскивается, а именно — мистико-философски-реакционное; но об этом еще скажем.

Как же выглядит вся критико-литературная постройка книги с воображаемой надполитической высоты авторского сложения?

О, всего менее нейтрально! Начать с того, что, например, даже Чехов, признанная всем миром художественная величина, фактически выпадает из познеровского «научного» обзора русской литературы за 40 последних лет. Чехов лишь мельком упоминается, при случае, в той или другой главе об, очевидно, более блестящих «звездах»: отдельной главы о нем нет. Причина? Она видна из следующего краткого, но немилостивого отзыва: «Чехов слишком сосредоточивался на деталях сложной жизни чувства, психологии вообще; его продолжатели потонули в путанице мельчайших переживаний, в лилипутовском, надуманном анализе. Русская литература обратилась у них в статическую.

Словом, Чехов рисуется, как тип вырождения классического русского реализма через ступень крайнего психологизма, в ущерб художественному действию (опять — «сюжету»), во вред «динамике».

Доля правды тут, конечно, есть, но — только доля. И читатель уже, без сомнения, изумлен зачислением Чехова без дальних разговоров по линии чистого реализма, хотя лишь и психологического. Но кем же — какими положительными, «динамическими» величинами заполняется в книге место «зачеркнутого» Чехова? Подавляющее большинство отдельных глав посвящено здесь, помимо «вечного» Розанова, еще Иннокентию Анненскому, Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Ф. Сологубу, К. Бальмонту, А. Блоку, А. Белому, Вяч. Иванову, А. Ремизову, М. Кузьмину, В. Ходасееву, Н. Гумилеву, А. Ахматовой, О. Мандельштаму, еще Замятину, Есенину... Не стану говорить об удивительнейшем безвкусии автора, могущего в своем «полете» жертвовать Чеховым в пользу Гиппиус, Мандельштама и проч. Но главное, что бросается в глаза: как, у Анны Ахматовой или Ф. Сологуба — больше действия, меньше копания и психологии, своей и чужой, чем у Чехова? Да и прочие перечисленные сейчас «столпы» литературы за 40 лет не подобны ли сказанным двум — с этой точки зрения?

Нет, план, выбор автора ничуть не нейтрален, — суб'ективен до невозможности. А научность? Уж один этот акт изгнания Чехова говорит о чем угодно — о произволе, о куриной слепоте критика, но не о научности. Можно, конечно, не быть особым поклонником Чехова (хотя в деле стиля, «станка», казалось бы, есть чему поучиться). Но не признавать за ним огромной исторической роли, как высокохудожественного выразителя того же мелкобуржуазного класса на известной ступени его развития, — было бы просто безумием.

Ясно из всего этого одно: определяющей линией русской литературы В. Познер считает символически декадентскую. Других из числа «руководящих» писателей он рассматривает тоже, как продукты «диференциации» этой главной линии. И даже после «диференциации» (гл. 3 и 4) симпатии автора клонятся через головы писателей, служащих действительной революции, как Маяковский, Пастернак, Тихонов, Всев. Иванов и проч., — к тем, кто, по его мнению, ближе выражает сейчас ту главную линию — революционную, а на деле, безусловно, по существу реакционную, общую линию. Есенин, Пильняк, Эренбург — вот его симпатии из числа «новых».

Из предыдущего мы уже понимаем, что суть тут не столько в формальных качествах «станка» или «хорошего вкуса», сколько опять-таки в идеях, в содержании. Мистико-религиозная идеология символизма, а за нею, на заднем плане, вся тьма, весь мрак буржуазно-помещичьей реакции, — вот куда гнет автор в последнем счете, пусть и без полного сознания. Вот что его восхищает, например, даже у Велемира Хлебникова, который для него тоже означает лишь одну из ветвей отростков «диференцированного символизма: «Он начинает отменою логических уз (!), понятий времени, пространства и причинности». Словом — «потусторонность», «внемирность» и проч., тоска по «нездешности», в существе, в конечном счете — по религии, пусть и какой-то туманной. Впрочем, это видно уж и во вступительном очерке «Отправная точка». Здесь говорится о «двух течениях: реалистическом и антиреалистическом, разделяющихся лишь после Гоголя, в произведениях которого они еще существуют». Дорог, наконец, ему не Гоголь-реалист, а именно Го-

голь-«демон», Гоголь-«садист»[1]. Далее он твердит о «нереальности существования, о «хаосе вселенной» у Гоголя, у Достоевского, у Лескова, позже у Мережковского, А. Белого («Петербург»), Сологуба («Мелкий бес» и пр.), Ремизова («Крестовые сестры»), А. Блока, Ал. Толстого и «даже Пильняка».

Особенно явственно предпочтение автором именно э т о г о сорта идей и содержания выступает из проводимого им разграничения внутри самого лагеря излюбленных им «современных» писателей, а именно: на собственно-декадентов (более ранние: Бальмонт, Брюсов) и на собственно-символистов (на первом месте: А. Белый, Блок, Вяч. Иванов). Символисты, оказывается, более непосредственно проникнуты самою сущностью «потустороннего» искусства, у них символизм переходит в философию, в миросозерцание, в чувство, наконец, в «нереальность мира». У декадентов оно еще — дело лишь приема, литературной манеры. Автор благоговейно преклоняется перед первыми.

Но отсюда логически последовательно вытекает (вопреки отвращению автора к «логической связи») отрицательное, в лучшем случае — «прохладное» отношение к немистическим, нереакционным по основе писателям, а тем более пролетарским революционерам. Он и их принужден отметить в своем небрежно скользящем обзоре. Иногда он их даже подхваливает с покровительствующим видом за некоторые достоинства «станка». Так он поступает с Маяковским, совершенно почти не касаясь его содержания, яркой работы его на позициях пролетарской революции. Молниеносно пролетает он и мимо «неудобного» содержания революционных произведений М. Горького. Мимолетом старается он все же окрасить последнего в сомнительный защитный цвет «Революции духа» (т. е. не материи, не экономики, вообще на деле «не революции»). Старается еще присоседить его, по свойствам его «станка», «к первым декадентам». А тех из реалистов, которые, как Короленко, Ал. Толстой, не подкрашиваются целиком под мистику, он об'езжает кое-как своим самолетом, отделываясь парою-другою почти незначащих строчек. Ведь что действительность мира сего по сравнению с высшей реальностью символов? Сон? Или еще: «Ничто — высшее благо», как он цитирует из любимого Сологуба.

[1] Т. е. Гоголь — идеолог крепостничества, автор „Выбранных мест из „Переписки“ — беря вопрос „в политическом плане“.

Поучительнсй всего, впрочем, подглава последняя о пролетарских писателях. Путая тут в одну кучу Бабеля, Зощенко, Вс. Иванова, В. Шкловского с Безыменским, Кирилловым, Жаровым и т. д., он, в особенности, легко управляется с поэтами. «Безыменский и Жаров больше вращаются в области злобы дня (dans le fait — divers), поют о радости жизни, о счастии быть молодыми и здоровыми. Лучшие их вещи созданы под влиянием Маяковского — подлинник, — наличие которого делает копии бесполезными. Другие поэты — Кириллов, Александровский, Герасимов, Обрадович и проч. — черпают в разных источниках, не достигая «подлинной индивидуальности». Еще строчка об Уткине, Светлове, а о прочих лишь в общем: «ничуть не принадлежат к современной литературе, революционной на самом деле (!) — независимой от политики и часто творящей вопреки ей». Словом, уже известная нам «революция» по Розанову или еще по Вл. Соловьеву, который-де в 1905 году предсказал «апокалипсический лик» будущего и «пришествие Софии премудрости».

Где же пролетарию-поэту до такой премудрой революции!

Не лучше с пролетарской прозой. Ведь в ней тоже нет того «стремления к вечно-женственному, желанья жизни мистической, энтузиазма, наивности и мудрости подростков», какие имелись в юных вещах Блока, Белого... Ведь пролетписатели не организовали «Религиозно-философского общества» с благосклонным участием «официальных представителей церкви — епископа Сергия, епископа Антонина — для нахождения «общей доктрины», как это в те же годы приблизительно делали «юные» Мережковский, Минский, Сологуб и... вечный Розанов. Ясно, что отзывы о пролетписателях будут в книге кратки и жестки. Еще Бабель, Вс. Иванов, Л. Леонов удостаиваются странички-другой разбора формальных достоинств их «станка» (все они зачислены в «пролетарские»). Но другие, собственно пролетарские писатели, судятся больше огулом. Гладков, Неверов и другие — все это для В. Познера едва различимая серая масса, о которой можно с плеча рубнуть, — например, так: «Любовь и смерть у них, обнаженные от всякой идеологической привлекательности, изображаются — первая как изнасилование, вторая как удар ножа или убийство огнестрельным оружием».

Фурманов, которого мы читаем с таким захватывающим интересом, как уловившего секрет

непосредственно выражать текущую революционную историю в художественных образах, оказывается «интересен лишь с точки зрения документальной». Либединский не представляет и этого «интереса». И все!

Но на Демьяне Бедном терпит, наконец, полное крушение самохвальная «нейтральность» и «научность» В. Познера. Очевидно, последний до такой степени не переваривает «нутром» сильнейшего из наших пролетарских писателей, что просто побоялся открыть рот, сказать даже одно слово о нем. Наговоришь, ведь, нечаянно того, что и сам не рад будешь. Поэтому о Демьяне Бедном молчок. Только так и мог автор выдержать тут свою установку на скользящий полет, якобы равно справедливый ко всем лагерям. В действительности — мы видим, что наш мелкий буржуа, поклоняющийся потихоньку светилам буржуазной мистико-реакции, может испытывать глубочайшую, хотя и немую, классовую ненависть к писателям, как Демьян Бедный.

Мы видим, как, в конце концов, неискусно прячет свои концы этот литературный пособник политического похода бежавшей буржуазии и помещиков против нашей победоносной революции. Напрасно старается он придать своему лицу важно-ученую гримасу, «взобраться на высокого коня чистой литературы и искусства», которые-де имеют «первенство и полную независимость по отношению к политике». Напрасно твердит он, что для него суть вопроса лишь литературно-политическая: в деле создания русской прозы Гоголь затемняет Ленина, и 1821 г., год рождения Достоевского, важнее, чем 1921 год.

В действительности, повидимому, невинно в воздухе скользящий «ученый» аппарат его приспособляется к целям весьма политически-земным и весьма классово-практическим.

Он приспособляется к задачам выхолащивания из «современной русской литературы» классово-пролетарского ее содержания, стерилизации ее. Он подсовывает ей, под лицемерным видом нейтральности, содержание реакционное, направляет к целям буржуазной реставрации.

Как ни странно это на первый взгляд, но — факт несомненный, что даже в Париже, вне прямого воздействия советского государства, на полной, казалось бы, «свободе» буржуазной, литераторам враждебного нам лагеря кажется даже более выгодным прикрывать свои прямые вожделения легонькою маской умеренности и аккуратности. Скрепя сердце, приходится им прибегать к обходному движению, к идеологическому литературному маневру и зигзагу.

Беда их в том, что подобные ложные маневры и скользящие полеты в политике давно известны и разоблачаются еще, пожалуй, легче, чем исполняются.

В литературе их ожидает участь нисколько не лучшая. Такими наивными приемами задержать стремительный бег революции и социалистической пятилетки не удастся даже на короткий миг.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Тихонов. Кочевники. Издательство «Федерация». Москва. 1931 г. Стр. 210. Цена 1 р. 10 к. Переплет 20 к.

Республики Средней Азии привлекают в настоящее время все большее и большее внимание. Их посещают, описывают, художественно воспроизводят, технически фото- и кинофиксируют. Литература о Средней Азии, весьма скудно представленная, за последние годы определенно растет. Значительно меняется и тематика. Прежде признаком хорошего тона считалось говорить лишь о замечательных памятниках искусства и старины, о своеобразии и специфических чертах восточного быта. От всего этого отдавало экзотикой и экзотикой, вдобавок, третьего сорта. Правда, в художественной литературе появлялись некоторые подобия русского «колониального романа», в виде произведения плодовитого романиста и художника Н. Каразина, с нехорошим привкусом описывавшего «двуногих волков», или откровенно черносотенных и макулатурных писаний Стремоухова, Череванского и др. Октябрь и здесь провел красную борозду. Теперь уже интересует не старый Восток с его археологическими памятниками и руинами, а Восток новый, пробужденный и возрожденный великими революционными бурями.

Грандиозно разворачивающееся хозяйственное и культурное строительство Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана не может не увлекать своими темпами и блистательными результатами. Описать этот средне-азиатский опыт — заманчивая и интересная задача. Весь вопрос — как подойти к этим темам. К сожалению, появившаяся очерковая литература далеко не всегда стоит на должной высоте. Лихие борзописцы с налету описывают свои эмоции, сдабривая их большой дозой дешевой экзотики, случайно надерганных фактов и элементарно-этнографических описаний. Нередки случаи появления самых подлинных «развесистых клюкв» на страницах наших толстых журналов, как отмечает это статья в журнале «Туркменоведение» (№ 1—2 за 1931 г.).

Тем более следует отметить те произведения, где мы находим серьезный и добросовестный подход к важным и ответственным темам. Туркменистану за последний год повезло. Поездка ударной писательской бригады оказалась весьма эффективной, — ряд уже появившихся произведений наглядно об этом свидетельствует (стихи и проза Санникова, Луговского, Вс. Иванова, Павленко, Леонова, Тихонова). Один из участников поездки, Н. Тихонов, выпустил уже книжку своих туркменских впечатлений.

«Кочевники» Тихонова — ярко и интересно написанные очерки. Автор в образном и художественном изложении чрезвычайно удачно осветил ряд показательных моментов строительства сегодняшнего дня в Туркменской республике. Борьба старого и нового и победа этого нового, преодолевающего косную старину, — вот что проходит красной чертой через всю книжку. И в обоснование этого автор приводит обильный, красочный, убеждающий материал. Н. Тихонов не закрывает глаза и на отрицательные стороны, на некоторые «недостатки механизма», но все это преодолевается тем пафосом и героикой строительства, которыми пронизана молодая средне-азиатская республика. Прикоснувшись к Туркменской почве, чуткий писатель сам получил зарядку, новые живительные импульсы. В ряде очерков он дал картины большой стройки, зарисовал типы, встречи, зафиксировал свои непосредственные впечатления. Тихонов пишет о колхозах, о ликвидации байского хозяйничания, об ирригации, о естественных ресурсах страны и т. п. И эти описания органически включены в его мастерской по форме художественный рассказ. Обычно мы видим, как путешествующие литераторы, отдавая дань времени, вдруг прерывают свои лирические излияния и начинают приводить наспех собранные и не всегда переваренные статистические и цифровые данные, являющиеся в их произведениях чужеродным телом. Не то у Тихонова. Он сам все проверяет, наблюдает и размышляет, не приводя голых и немотивированных документаций. Весьма любопытны, например, страницы, посвященные каучуконосному растению — гвайюле, или описанию рудника витерита в Арпаклене. Автор пытается проследить и выявить все мельчайшие изменения условий и бытового уклада кочевников под влиянием социалистического строительства. Он удачно этого достигает в штриховых зарисовках отдельных эпизодов, встреч и разговоров. Интересно описано само путешествие автора с нелегкими перипетиями передвижений по замысловатым туркменским

дорогам (например, очерк «Точное описание путешествия из Кара-Калы в Кызыл-Арват в ночь с 25 на 26 мая с. г. на полутоннке системы «Форд». В общем удачно вкраплены и отдельные рассказы, остроумно скомпанованные («Кабанья история» и др.).

Пристально всматривающийся и понимающий Восток писатель, однако, не избежал определенных налетов экзотики. Дань своеобразной ориентальной романтике, во всяком случае, отдана. Так, например, в очень любопытном очерке о белуджах Н. Тихонов излишне увлекся описанием фигуры «вождя» белуджей Керим-хана. Еще более сказались экзотические эмоции в очерке о джемшидах. Здесь автор уделяет видное место описанию верблюжьего боя. Это отвратительное зрелище воспроизведено им чрезвычайно красочно, почти что стилем эпических повествований о боях быков в Спании. Едва ли уместно и резюмирующее заключение: «В этом бедном, но с и л ь н о м (разрядка наша) зрелище — вся душа маленького племени» (?). Романтическими красками расцвечены отчасти и басмачи, о которых, впрочем, автор говорит немного. В описании Самарканда (в отделе «На пути в Туркменню») автор, говоря о замечательном памятнике искусства — Бибиханум, не удержался от соблазна в сотый раз пересказать навязшую в зубах легенду об огненном поцелуе влюбчивого строителя, красавице-ханше, грозном Тимуре и т. п.

Мастер стиля, автор любит щеголять нарочитыми и парадоксальными образами и сравнениями, иногда при этом повторяясь. Так, на стр. 55 соя называется «растением оригинальным и почти философским», а на стр. 133—134 огромная ящерица-варан «размножается чрезвычайно медленно, как животное почти философское и ироническое». Нельзя не поставить автору на вид употребление местных терминов без их переводов («кемень», «чигир», «коржум» и др.). Наконец, из области фактических неточностей укажем, что Чингис-хан на Москву не ходил (стр. 123) и что не проф. Поливанов «дал узбекам латинский алфавит» (стр. 162), а последний был разработан для Узбекистана ЦК нового алфавита.

Отмеченные недостатки, конечно, не умаляют интереса и значения книжки Н. Тихонова. нашей очерковой литературе она является, безусловно, яркой и крупной новинкой.

И. Бороздин

П. Павленко. Стамбул и Турция. Изд. «Федерация». Москва. 1930 г. Стр. 260. Цена 1 р. 85 к.

Новая Турция со всем ее хозяйственным и культурным строительством весьма скудно и бледно отображена в нашей советской литературе. Правда, от времени до времени в журналах и газетах появляются отдельные очерки и заметки, наспех и бегло фиксирующие путевые впечатления тех или иных странствующих литераторов и публицистов. Но все это в большинстве случаев — однодневки. Отдельными изданиями вышли лишь книга Лидии Сейфуллиной «В стране уходящего ислама» да довольно любопытный дневник известного художника Е. Лансере «Лето в Ангоре», сопровожденный рядом острых и интересных зарисовок с натуры.

Поэтому естественно, что новая книга П. Павленко «Стамбул и Турция» не может не привлекать живейшего внимания. Автор не принадлежит к числу случайных посетителей, — он жил в Турции, внимательно знакомился с окружающими условиями и бытом, в своих «Азиатских рассказах» удачно разработал ряд турецких тем. Книга с обобщающим и обещающим названием должна, казалось бы, ответить на ряд основных вопросов строительства и культурной жизни анатолийской Турции. Однако автор не дал чего-нибудь цельного, он собрал под одной обложкой серию очерков, довольно разнокалиберных по своему составу.

Уже первые строки, выдержанные в приподнятом евангельском стиле, вызывают сомнения: «Вначале был Стамбул, и Турция была Стамбулом. Без Стамбула нет Турции. Надо писать о Стамбуле, чтобы рассказать о Турции» (стр. 5). Для современной Турции это определенно неверно (и сам автор небезуспешно приводит доказательства этого на последующих страницах своей книги), но неправильно это и для предшествующих эпох. Никогда по Константинополю — Стамбулу — резиденции султана, Высокой Порты, города придворной знати и левантийской буржуазии,—нельзя было судить о подлинном лице Турции, турецкого народа. Константинополь — город пестрый и эклектический, менее всего типично турецкий. Для тех, кто судил о нем, как наш автор во вступительных строках, и было неожиданным сюрпризом мощное возрождение анатолийской Турции. Итак, предпосылка взята неправильная.

Павленко в своих очерках Стамбула усиленно старается говорить о новом, но его невольно влечет к старине. С большим под'емом он старается разоблачать эту старину, нередко ломясь при этом в открытую дверь. Стамбул султанов играет у него немалую роль. Абдул-Гамиду, например, определенно повезло. Автор приводит ряд эпизодов и различных анекдотов из жизни «кровавого султана», не блещущих особенной новизной; тут напрасно он доверился рассказням красноречивого гида — «жертвы» «абдул-гамидовского режима». Кое-что, конечно, интересно (фигура престарелого Фуад-паши или повествование о чисто авантюрных похождениях шейха Джемаледдина эль-Афгани), но разве это так актуально! Любопытно, что Павленко усиленно сражается с Пьером Лоти, Клодом Фаррером и даже Теофилем Готье, предостерегая от их «экзотических» писаний. Часто, даже слишком часто на страницах книги мелькают их имена. Для советского читателя, который в лучшем случае может быть знаком с романом Клода Фаррера «Человек, который убил», но для которого «Азиадэ» Пьера Лоти и, уж конечно, Теофиль Готье вряд ли хорошо известны, — это не нужно. Пожалуй, здесь сам автор для себя ведет эти бои, пытаясь преодолеть свои впечатления и импульсы, но, увы, не всегда он выходит победителем. Утонченная экзотика прославленных фран-

цуаских романистов-туркофилов нет-нет да и дает себя знать в писаниях нашего автора. Не избежал Павленко и другой опасности. Он не отступил от канонизированного шаблона изображения «разложения буржуазии» в Стамбуле. Вряд ли так нужны описания ночных увеселительных заведений, улицы публичных домов, рассказ о венской танцовщице, торгующей своим телом за пять лир. Все это, как и в сотый раз повторенные описания вертящихся дервишей, — дань вековой традиции.

В противовес этим «прорывам» надо отметить очень интересные и насыщенные очерки о литературе, театре и кино. Здесь автор с знанием дела говорит о любопытнейших моментах турецкой культурной жизни, нам мало известной. Ярко зачерчен портрет передовой женщины-писательницы Суад-Дервиш. Неплох очерк о коврах и ковровом производстве. Если Стамбул, как-то весь расплывшийся, не удался автору, то хорошо и выпукло охарактеризованы Брусса — крупный центр шелкового производства — и Смирна, играющая столь видную роль в современной турецкой экономике. Конечно, больно даст себя знать отсутствие в книге турецкой деревни.

Архитектоника книги пестра и громоздка, ей недостает плановости. Автор часто повторяется, сообщая одни и те же данные (например описания Эйюба на стр. 21 и 165 или эпизод с поэтами Зати и Баки).

Заключительные аккорды гласят: «И так все в Турции. Все отмирает, и ничего еще не рождается». И далее: «У сегодняшней Турции выпадают зубы, но не от старости, а от юности. Вырастут новые» (стр. 257). Но вот о новом-то автор мало сказал. Крупнейшие социальные сдвиги Турецкой республики скудно у него изображены. Правда, дата в конце книги — декабрь 1927 года (кстати, об этом надо было бы сказать в начале в особом поясняющем предисловии).

В общем книги о Стамбуле и Турции не получилось. Собранные очерки, как мы уже сказали, довольно различны по качеству. Слов нет, написаны они талантливо и занимательно, читаются с интересом. Однако какого-либо отчетливого представления о Турции наших дней и даже о современном Стамбуле они не дают.

И. Бороздин

Г. Санников. Тропический рейс. ГИЗ. М.—Л. 1931 г. Стр. 82. Тир. 5000 экз. Цена 60 коп. (папка 40 коп.).

В этих поэтических путевых заметках можно видеть с большой наглядностью, какое огромное значение, даже в чисто художественном смысле, имеет идеологическое содержание.

Никто не оспаривает у автора способности передавать яркие, волнующие впечатления, но способности, нередко лишь чисто интуитивной. Самый язык поэта ярок, свеж. Пример: «А вверху надо мной т а т у и р о в к а тропиков — чужое звездное небо»... Удивительно новы, «внушающи» и отдельные картинки арабского базара ночью в Джедде или ночного же каравана верблюдов. Хороши и некоторые из «вставных» лирических стихотворений, — например, характерная для нашего поэта лирическая баркаролла из греческого моря — «По дороге Алиты» (т. е. луны). Еще сильнее стихи «социального» настроя — «Встань, мой любимый». Здесь под древним образом верблюда в пустыне угадан современнейший мотив восстания пастухов патриархально-племенной Аравии против империализма.

Но одной угадки, интуиции художника недостаточно. В этом кипучем, своеобразном углу колониального Востока не всегда зрячим оказывается и сильный художник, когда отстает от ясной, четкой революционной идеи. Тут именно с художественной стороны необходимым компасом оказывается учение Маркса-Ленина. Иначе — «непосредственное восприятие остается поверхностным.

Разве не поверхностно определять, например, арабов-ваххабитов, изгнавших в 1924 году английских империалистов из Геджаса (область Мекки) для построения там своего национального государства, только именем «дикарей», борющихся «за независимость» от чужеземцев? Много ли прибавляет тут ряд, хотя бы и ярких, но порядком истрепанных фактов религиозного фанатизма этих своеобразных революционеров?

Правда, тут же автор как бы сам себя спешит опровергнуть, рисуя неожиданное у «дикарей» и «фанатиков» стремление к срочному развитию производительных сил, к форсированию новейшей техники. Автомобили, уже оттесняющие верблюда, артезианские колодцы с новыми оазисами и оседанием на землю кочующих бедуинских масс, даже — «свои аэропланы»! Из-за этих, совершенно «нового стиля», можно сказать, действительно революционных явлений выглядывает, хотя далеко менее ясно у нашего автора, знакомое лицо нарождающейся местной буржуазии, пока что враждебной мировому империализму, а с нею уже вовсе чуть-чуть только намечается в книжке и суровый профиль наемного пролетариата, этого революционера до конца...

Все сказанное, однако, дается в виде лишь игры живописных контрастов, поразительной с м е с и красок, как на восточном ковре. «Эти тени... и этот свет...» твердит автор. Двигательные же силы наблюдаемой социальной борьбы, роль и перспективы борющихся фактов, общее, возможное н а п р а в л е н и е борьбы к завершению революции в сторону мирового коммунизма не получают достаточного освещения. «Борьба друг другу враждебных полярных сил — вот что успел только подсмотреть наш лирический путешественник в качестве высшего вывода из наблюдений.

В своей художественной работе автор иногда прибегает к незаконным суррогатам об'яснения видимых фактов, вроде ссылок на «психологию аравиян» (?) или на влияние жаркого климата и пустыни. Об'яснение — от марксизма и от действительности отстоящее на тысячи морских миль.

Благодаря этому книжка нередко остается ниже уровня собственного таланта автора и ниже уровня той действительности, которую

ему удалось так близко наблюдать. А это — жаль!

А. Дивильковский

Михаил Алексеев. Атаманщина. Изд. «Федерация». М. 1930 г. Стр. 360. Тир. 5000 экз. Ц. 2 р. 70 к.

«Атаманщина» — историческая повесть из времени завершения гражданской войны, борьбы с анненковскими бандитами в Семипалатинской области и Семиречьи.

Но как художественное произведение нельзя признать ее удовлетворительной. И прежде всего сам Анненков — вовсе не живое лицо, а скорее лишь схема, составленная из отвлеченно-публицистических черт и черточек. Ничего своего, отдельного, характерно-особенного именно для данной фигуры, — все совершенно общее с десятками других «атаманов» и «белых генералов» того времени.

Автор, вероятно, и сам чувствовал нехватку художественной жизни в повести и старался повысить ее другими средствами, только еще ослабляющими впечатление. То он придает «атаману» до-нельзя преувеличенное честолюбие: он мол, «хочет выскочить в Наполеоны своего масштаба или в новые Бисмарки»; то у него однажды Анненков, проснувшись утром, заявляет: «Почему Николай Николаевич! Могу быть царем и я». Или же автор для усиления эффекта старается окружить «атамана» каким-то сверхчеловеческим, неукротимо-демоническим сиянием: «Хотя мы выброшены за борт (в конце повести), но нас ведь во всем мире сотни тысяч; и скоро я об'единю их всех и я вернусь... тогда-то мы рассчитаемся».

Словом, местами автор довольно неуклюже создает Анненкову совершенно ненужную и исторически необоснованную рекламу в своем роде. Анненков был в действительности и куда мельче, и, в то же время, куда характернее: раздувшийся непомерно пузырь на почве временного засилия казачьего кулачества в Сибири, когда крестьянская масса там еще слепо колебалась, не осознав еще, как следует, своего спасения в Советах. Как такой пузырь, и следовало его изображать в точном согласии с исторической правдой. Тут бы нашлось не мало красок для портрета.

Не лучше, однако, и с противоположным лагерем в повести — с большевиками, конечно, революционными героями, либо мучениками в лапах Анненкова и т. д. Но все это опять-таки обрисовано чисто внешними, обще-отвлеченными чертами, впрочем, не без некоторой яркости во внешних подробностях. Яркость эта не выходит здесь за пределы так называемой «батальной» живописи, где много шуму, грохоту орудий, лошадиного галопа, крови и внешних ужасов, но подлинной жизни, осмысленной борьбы — почти нет. До того нет, что из повести не увидите, за что же борются именно эти воинственные большевики, что увлекает, в конце концов, за ними рабочие и крестьянские массы? Цели борьбы тут определяются самыми лишь общими «фразами»: «великое дело», «пролетарская революция» или: «то, о чем мечтали миллионы». Классовое распадение борющихся на-смерть масс кое-как освещается лишь однажды во всей повести, и то в случайном лишь разговоре воюющих казаков: о «старожилах», у которых 20 пар быков и «лошадей» и которые «за веру, за царя, против жидов»; им противополагаются «новоселы — беднота», которые «за Советы», да еще, кажется, одна мимолетная фраза Анненкова о себе, как потомственном дворянине, и о том, что «лучших людей нации, офицерство и торговые классы, пытаются уничтожить взбунтовавшиеся мужики и рабочие». И вот вся «социология» и «философия» повести. На таком слабом идейном стержне нельзя развернуть художественное произведение. Получилось собрание более или менее забористых и ярких эпизодов и анекдотов из революционно-военного быта.

Книгу, впрочем, можно признать небесполезной, поскольку в ней довольно легко для чтения и довольно картинно использованы некоторые, сами по себе поучительные, факты судебного материала об «атаманщине», которые даже и в таком недостаточно художественном изображении служат напоминанием и предостережением трудящимся.

А. Дивильковский

Н. Анов. «Днепрострой». Очерки. Государственное издательство художественной литературы. Москва—Ленинград. 1931 г. 110 стр. Тираж 5000 экз. Ц. 90 коп.

Из всего, что нам довелось читать о постройке Днепровского гиганта — а пишут о нем много — очерки Н. Анова являются пока наиболее значительным и добросовестно выполненным трудом.

В первом очерке Анов знакомит читателя с историей возникновения Днепростроя. Словами т. Пузняка, хлопочущего о создании музея на Днепрострое, он заявляет, что «великая стройка в первом социалистическом государстве должна быть записана на скрижали истории, как яркая страница победы восходящего класса».

В главах, посвященных строительству, автор развертывает величественную панораму работ могучего человеческого коллектива. Вы видите, как бурильщики перфораторами протачивают в скале скважину, как в эту скважину закладываются патроны с жидким воздухом и как великолепным фейерверком взлетают камни той самой скалы, на которой бравые екатерининские генералы когда-то пороли непокорных запорожцев. Самое замечательное на Днепрострое — это люди, тот чудесный человеческий коллектив, руками которого создается невиданное, небывалое еще на советской земле сооружение.

Автор дает живых людей — участников великой стройки: коммуниста Дудина, самоучку — художника Пузняка, рабочих слесарей, изобретателей Беззубенко, Захарова, Проскуратова. В их работе, в их творческом энтузиазме чувствуется созидающий и организующий гений партии...

Хорошо написаны картины покорения Днепра — постройка ряжей, окончание работ по устройству первой перемычки, закрытие право-

го протока реки — первая ощутительная победа на Днепрострое. Потом кладка бетона. Первая победа над Америкой, когда, в сентябре 1929 года, мы не только догнали, но и перегнали американцев, дав мировой рекорд укладки цемента —57 тысяч кубометров в месяц. Эта победа обусловливает возможность открытия Днепростроя 1 мая 1932 года, т. е. на шесть месяцев раньше намеченного срока.

Автор не ограничивается сухим сегодняшним перечнем достижений на постройке. Он рисует картину того, что несет завтрашний день Днепростроя. Устройство шлюзов на Днепре для прохода морских судов откроет прямую дешевую и удобную морскую дорогу в Европу. Чтобы представить себе все значение этой грандиозной работы, достаточно указать на то, что после устройства на Днепре этих шлюзов, глубоко континентальный в настоящее время Днепропетровск превратится в морскую гавань.

Много места уделено в очерках бытовым вопросам на строительстве. Работы на Днепре показаны в действительной обстановке, без всяких прикрас. Вы видите не только светлые, но и теневые стороны рабочего быта на Днепрострое. Наряду с колоссальными творческими возможностями и достижениями рабочего коллектива показаны и слабые стороны работы, как результат действующих, преодолеваемых, но непреодоленных еще окончательно последствий нашей малокультурности, долгого рабства и темноты в прошлом. Вместе с тем автор понимает и подчеркивает, что «сейчас в Запорожьи творится новая жизнь, более чудесная, чем легенды и былины старого Днепра; солнечная и радостная она идет на смену глухомани».

Последние главы книги Анова посвящены характеристике кадров и перспективам Днепростроя. Наметив картину тех перемен, которые внесет Днепрострой в экономику Украины, он указывает, что на строительстве Днепровского гиганта мы накапливаем колоссальный опыт для предстоящего у нас гидростроительства. Днепрострой является только началом великих работ в этом направлении, он имеет исключительно важное значение великого эксперимента. Впереди у нас колоссальные работы на Ангаре (по мощности Ангарстрой будет равен 10 Днепростроям), в Дагестане (Сулакстрой) и в Средней Азии, на реке Вахше. «Недаром на Днепрострое у нас работает 300 инженеров и техников. На Днепрострое организован втуз, студенты которого, работая сейчас простыми рабочими, вырастают на производстве в высококвалифицированных инженеров».

Книга заканчивается любопытным человеческим документом. Автор приводит письмо ударницы, в котором она описывает дальнейшие этапы строительства на Днепре. Здесь каждая строка дышет энтузиазмом, героическим стремлением к преодолению трудностей и непреклонной верой в конечную победу социализма. Письмо заканчивается следующими словами: «Вчера, 29 сентября, уложено 5280 кубометров бетона, что составляет 170% суточного встречного плана. Это наша новая победа накануне дня ударника. И кроме того, это новый мировой рекорд суточной кладки бетона. В прошлом году рекордная цифра была 1792 кубометра. Как видишь, мы ее превысили в три раза. Прораб говорит, что это неслыханные даже в Америке темпы... А я думаю, тем лучше для нас и хуже для Америки».

На последней странице маленькое послесловие автора:

«Когда верстка этой книги была уже закончена, я прочел в газетах следующую телеграмму рабочих Днепростроя:

«С р е д н и й п р о т о к з а б е т о н и р о в а н. М о с т ы н а С т а р о м и Н о в о м Д н е п р е з а к о н ч е н ы р а н ь ш е с р о к а. В с т р е ч н ы й п л а н в 500 т ы с я ч к у б о м е т р о в в ы п о л н е н в с р о к».

Днепростроевцы к XIII годовщине Октября выполнили свое обещание.

Вот они — советские темпы!

Пишешь книгу о гигантской стройке, о фантастических перспективах и планах, а к моменту сдачи книги в печать фантастика уже становится реальностью».

Книга Анова несвободна от недостатков. Можно указать, например, на сухой местами язык, на излишнюю схематичность изложения в некоторых очерках, кое-где автору не удалось избежать газетного шаблона.

В очерке «Рабочие на Днепре» (65 стр.) допущен даже определенный ляпсус: кулак, «пробравшийся подработать на великой стройке» и работающий рядом с партийцем и комсомольцем, по уверению Анова, «нередко состоит с ними в одном профсоюзе строителей». Мы допускаем, что кулаку удается иногда проникнуть на строительство, но чтобы **з а в е д о м ы й** кулак проводился в союз строителей — этому поверить трудно. Очевидно, автор был кем-то введен в заблуждение.

В другом очерке книги (77 стр.) читаем: «Через столик, в углу под пальмой, партийцы пережевывали (!) правый уклон». Скорее всего это стилистическая небрежность и это только доказывает, что в вопросах политического содержания должна быть исключительная точность определений. Есть в книге и другие недостатки, на которых мы не будем останавливаться, отметим только устаревшие фотографии, которыми обильно иллюстрированы очерки. Но здесь же необходимо сказать пару слов об обложке, сделана которая исключительно удачно. Это известный плакат художника Клуциса. Содержание книги нашло в этом рисунке свое концентрированное, идейное выражение.

За исключением отмеченных недостатков, книга Анова оставляет хорошее впечатление и дает достаточное представление о строительстве нашего первого гиганта.

Н. Кленовский

Т. Веледницкая. «Моя повесть». Повести и рассказы. Изд. «Федерация». 1930 г. Стр. 150. Ц. 95 к.

«Моя повесть» является основным материалом книги. Героиня повести — молодая девушка, приезжающая в большой город с твердым

намерением поступить учиться в консерваторию. Город сразу поворачивается к ней своей теневой стороной. Девушка без квартиры, без работы и почти без денег. На этой канве развертывается несложный, но неровный сюжетный узор.

Повесть обнаруживает искривление идеологической установки автора. Нас особенно тревожит одна «особенность» в творчестве Веледницкой, которую сам автор тщательно культивирует. Эта «особенность» — превалирование ощущения над организованным волевым началом. У Веледницкой нет твердо сложившегося мировоззрения. Явления внешней действительности в большом количестве и часто совершенно случайно поглощаются ее восприятием, но не подвергаются после этого синтетической обработке. Мир для автора — поток ощущений, воспринимаемый к тому же в плане узкого суб'ективизма, граничащего местами с каким-то языческим эгоцентризмом. — Вот это я — восхищенно и влюбленно ощущает автор.— Вот это мои глаза. Мое тело. Вот я вижу людей и т. д. Давая отдельные, яркие мазки, писательница бессильна в целом подчинить свой творческий материал одному замыслу, сообщить фактам единую целеустремленность. Это подтверждается «развитием» основной цели повести. Эта идея — учеба в консерватории, самостоятельная жизнь. Ради этой идеи-цели героиня голодает, ночует на вокзале и т. д. Как разрешается борьба за эту цель? Совершенно неизвестно. Идея-цель растворяется в массе мимолетных впечатлений, и кончается повесть совершенно неожиданным и непонятным поступком — героиня куда-то уезжает с любимым парнем.

На авансцену постоянно выдвигается каприз авторского индивидуалистического «я». Веледницкая признается:

— «Я не хочу никого учить... я ведь не литературу делаю, я записываю, потому что я хочу так, потому что жизнь, которую я видела, интересна, ну, мало ли почему я пишу эту повесть. Моя цель — исчерпать всю себя, сказать все, опустошиться». Эти высказывания являются, в сущности основной идеологической концепцией, на которой базируется все творчество Веледницкой. Несомненно, что такая позиция в корне неправильна. Каждый писатель **должен иметь цель**, должен знать, **для кого и для чего** он пишет. **Задача каждого — делать здоровую актуальную литературу.**

Все эти нездоровые настроения указывают на одно — на засоренность творчества Веледницкой импрессионистическими тенденциями, на присутствие в нем элементов той литературы, которая знакома нам под именем литературы декаданса. Наиболее неблагополучными в этом отношении являются рассказы, собранные в книге (исключая «Слет», «Соловей», «Манька»). Элементы импрессионистической символики, узкого суб'ективизма, отвлеченное эстетство, стремление к жонглированию словами, манерность — доминирующие в этих рассказах, явно указывают на их генеалогическую связь с литературой импрессионизма. Отравленность импрессионистическими настроениями выхолащивает творчество писателя, делает его несозвучным нашей эпохе.

Веледницкой необходимо в корне пресечь все нездоровые тенденции, которыми питается ее творчество. И надо прямо сказать, что молодой писательнице предстоит еще большая и упорная работа над преодолением ошибок своего первого литературного выступления.

Т. Николаева

Жорж Лефевр. «Я бродяга». Авторизованный перевод с французского Н. Жарковой. ГИХЛ. 1931 г. 180 стр. Цена 1 р. 40 к.

Буржуазный французский журналист Жорж Лефевр, автор «Эпопеи каучука», переодевается бродягой и опускается на общественное дно, чтобы изучить жизнь люмпенпролетариев — ночлежников, безработных, проституток, нищих, воров — в четырех больших европейских городах: Лондоне, Берлине, Гамбурге и Париже.

Лефевр говорит о себе, что «он об'ездил добрую половину земного шара». Какую же цель преследовал он этим новым путешествием по «четвертому измерению» своим рискованным бродяжническим экспериментом? Что им руководило — глубокий ли социальный интерес, обусловленный революционными настроениями неудовлетворенного современным строем писателя, или же, — что вероятней, — своего рода психогеографическое гурманство пресыщенного путешественника, стремление журналиста к сенсационной теме?

Какие факты рассказывает Лефевр читателю? «Бродяжническая среда интернациональна, — утверждает он, — но в каждой стране бродяги имеют свой особый облик». И он хочет показать не только общее, но и различное этой своеобразной среды, обрисовать «особые облики» четырех городов.

На первом месте стоит Лондон. Уайтчепль, куда стекается «нечистая и испорченная кровь» города; «народные бары» с голодными и бездомными посетителями; крайняя степень нищеты — и шелковые чулки на ногах, и крахмальные манишки — «неожиданный лик британской представительности»; «народные гостиницы» с одеялами, похожими на саван, и с традиционным «God bless you»; дети, разрывающие в поисках пищи мусорные ящики Слумса, «той местности, куда не ступает нога уважающего себя англичанина»; безнадежное отчаяние «Улицы надежды»; угрюмые и однообразные подвалы Окстона, где нищие сдают по часам свои кровати (сокровище семьи) еще более нищим и где стараются «сэкономить несколько пенсов, чтобы иметь возможность нанять шикарное погребальное авто»; обманчивый блеск коттеджей Биконтри, обитатели которых к концу первого же месяца выбрасываются на улицу за невзнос платы; призрачные процессии ночных бродяг, не попавших в ночлежки и осужденных на бесконечное и бессмысленное блуждание под бдительным оком полисменов, под аккомпанемент сурового и твердого «проходи!»; унизительные камеры рабочих домов с ваннами, где моются один за другим в той же воде двад-

цать человек, с голодными крысами и с пародией «медицинского осмотра»; безмолвные фигуры проституток, по ночам «заполняющих лондонские тротуары загадочными часовыми», «порочные, но умоляющие взгляды» этих «ядовитых цветов панелей», формальной благопристойностью английского закона лишенных права на слово и жест, «молчаливое красноречие которых приобретает благодаря этому почти религиозный оттенок», — вот лицемерный и откровенный, неправдоподобный и правдивый облик «мерзостных углов» Лондона, города, «который, впрочем, — добавляет Лефевр без всякой иронии, — представляет великолепнейший образец цивилизации, трудолюбия и коммерческого благоустройства».

«Я об'ездил, — заканчивает он, — добрую половину земного шара... но нигде я не встречал такого страдания, такой глубочайшей нищеты, которая делает человека похожим на больное животное, на мусор (я чуть не написал: на навоз), — такую нищету я видел только на «дне» Лондона.

Нищета Берлина загнана внутрь и скрыта так глубоко, что увидать ее не легко. Перед зрителями всегда фасад «невозмутимый, как маска», всегда декорация, раскрашенная, вымытая и бесстрастная — строгие и аккуратные кубы домов, ровная, «благопристойная» улица, «где нет ни очисток на тротуарах, ни нищих в углах». Вежливые и холодные «шупо». Лефевр проникает под арки этих домов, в квартиры с окнами на двор, «где околевают безработные» — к изнанке декорации, — и там он находит «ненависть, безразличие, безнадежность», отчаяние, «без иллюзий и без возмущения», «лишенное всякой выразительности», «землистого цвета лица», «одиночество», «заброшенность»...

«Нищета, так сказать, под сурдинку — характерная особенность Берлина», — определяет Лефевр. «В Берлине — военизированная нищета, запрятанная по казармам. Внешность соблюдена».

Другая отличительная черта германской столицы — это ее безукоризненная организация, идеальная система тюрем и ночлежек, мудрый полицейский конвейер, который регулирует движение нищеты.

Если для Лондона характерна иллюзия респектабельности, прикрывающая обращенных в мусор людей, если Берлин отличался «военизированной», «загнанной внутрь» нищетой и механизацией бродяжничества, а Гамбург своим надрывным и похмельным «штиммунг», то для Парижа (насколько это можно уловить из посвященной ему последней, довольно расплывчатой части книги), — для Парижа специфичны жестокое равнодушие и презрение ко всем, потерпевшим крушение, моральная угнетенность бездомных, называющих «настоящей удачей» смерть шести «счастливчиков» от утечки газа.

«Благотворительность» этого города фальшива, талоны филантропического общества на хлеб вызывают в булочных насмешки и издевательства; обещанием денежной награды, оказавшейся равной пяти су, нищих держат несколько часов в подземной церкви за чтением молитв и пением гимнов, чтобы их грязь и лохмотья не смущали «обыкновенных» прихожан; благотворительные гостиницы связаны с принудительными обедом и вином; они выматывают франк за франком — скудный дневной заработок посетителя, предоставляя ему зловонные, на хлев похожие «номера» и полные паразитами сонники, а своим владельцам — колоссальную прибыль. Поэтому «у всех одинаковая боязнь быть одураченными, одинаковое раздражение против благотворительности, которая предстает перед ними подмалеванной, пуританской, администрирующей, ненавистной».

Цивилизованное французское общество выбрасывает и топит тех, кто поскользнулся. И для них нет уже спасения: они неуклонно плывут вниз по течению, хотя в Париже еще возможно найти случайную работу. Но этот труд непосильно тяжел и часто унизителен (человек-сандвич), а при расплате обман и обсчитывание — обычное явление. Участь бродяги ужасна, но еще ужаснее судьба того, кто «что-нибудь» зарабатывает, потому, что это «что-нибудь», при существующем положении с едой и жилищем, практически означает «ничего», но лишает «трудящегося» права на ночлежки и филантропические щедроты.

«После 15 дней бродячей жизни, — подводит Лефевр итог своим парижским опытам, — почему мне кажется теперь, что я потерпел неудачу? Потому, что, погрузившись в нищету с намерением плыть против течения, вынырнуть на поверхность и выбраться из нищеты при помощи труда, я должен был констатировать, что остался в дрейфе и что, несмотря на все усилия, меня сносит вниз по течению... Потому, наконец, что в меня медленно проникало ощущение того, что я был обманут, одурачен, осмеян, отвергнут тем самым обществом, которое, тем не менее, использовало мои мускулы и мое мужество»...

Таково содержание книги Лефевра. Лефевр скользит по жизни ночлежек и притонов и по психологии их посетителей, не проникая в глубину. Его бродяги статичны, взяты как готовые и однообразные пятна; там, где он пытается коснуться чьей-нибудь биографии, вместо динамики получается скучная и неубедительная схема. Лефевр все время является посторонним наблюдателем, несмотря на действительно тяжелые часы все же лишь играющим с нуждой и голодом. Он рассуждает о падении, сам не пережив его. Проведя ночь в камере берлинского арестного дома, он спешит воспользоваться спрятанной в башмаке охранной грамотой полицейского префекта. Гиперболически воспринимая сравнительные пустяки, он уделяет много внимания своим личным переживаниям — мелким переживаниям буржуа, неожиданно, хотя и по доброй воле, лишенного комфорта. Его философские выводы довольно жалки и ветхи, — например, об относительности и ограниченности человеческих потребностей, о необходимости пережить страдание, чтобы его понять.

Поверхностно воспринятый мир и изображен довольно поверхностно. Книга дает много

правдивого материала, но написана в общем, за исключением отдельных удачных мест, бледно и сухо, несмотря на попытки автора кое-где философствовать и поэтизировать.

«Так я пришел к пониманию одной истины», резюмирует Лефевр: «...Общество... не позволяет никому стоять в стороне, не позволяет уклоняться от всяких принуждений, от всяких дисциплин. К таким дезертирам оно применяет военные законы. Эти расправы происходят втайне, но бродяги отвечают на них собственной стратегией». Какие же выводы делает Лефевр из открытой им истины? Никаких. Он ограничивается констатированием жестокого и порочного круга современного капиталистического общества, ничего не говоря о том, как разомкнуть этот «круг» дантовского ада, каким путем ликвидировать ужасы безработицы, нищеты и бродяжничества.

Но значит ли это, что книга Лефевра аполитична, нейтральна и об'ективна?

Только констатировать там, где необходимо утверждать, — это тоже своего рода утверждение. Уничтожение бродяжничества возможно лишь через уничтожение того общественного строя, на основе которого оно непрерывно воспроизводится. Лефевр видит эту связь, но не хочет или не может итти до конца, и его «только констатирование», избегающее последних выводов, само косвенно является выводом, но обратным тому, который следовало бы ожидать из им же рассказанных фактов. Лефевр не требует разрушения капиталистического общества, следовательно, он считает возможным и целесообразным его сохранить с большими или меньшими исправлениями. Констатирование становится защитой.

Лефевр смотрит глазами передового и «просвещенного» буржуа-журналиста, и книга его — всего лишь «желтая» публицистическая игра.

Б. Айхенвальд

Майкл Голд. «Еврейская беднота». Авторизованный перевод с англ. (с рукописи) М. Волосова. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 306. Ц. 2 р. 10 к.

Город — «геометрия — углы и камень», город, погребенный под вулканическим пеплом... Сутенеры, шулеры и красноносые босяки. Подпольные политиканы, боксеры в свитерах, фанфаронящие щеголи. Проститутки смеются визгливо-хрипло... Мухи, клопы, одичавшие кошки. Вихри пыли и газетной бумаги... Дождь из картофельной шелухи, кофейной гущи, селедочных головок» — это Ист-Сайд Нью-Йорка, угол геометрического гиганта, населенный эмигрантской, главным образом, еврейской беднотой. Это — не «ужасы большого города» в экспериментальном исследовании буржуазных социологов, это — подлинный кусок живой действительности, поданный ее непосредственным участником Майкл-Голдом. В «Еврейской бедноте» зафиксирован только небольшой отрезок жизни писателя — его детство.

В своих воспоминаниях Голд не щадит тех уродливых условий, в которых протекает процесс формирования личности бедного еврейского ребенка, проходящего жесткую школу Ист-сайдовской улицы. Шаг за шагом, с беспощадной откровенностью обнажает писатель язвы социального строя, при котором тысячи и миллионы бедняков-рабочих, ремесленников, безработных и т. д. должны влачить жалкое существование, чтобы быть побежденными в борьбе за свою жизнь. Система капиталистической эксплоатации принимает в Ист-Сайде особенно чудовищные размеры, ибо его основную массу составляют неорганизованные рабочие-одиночки, т. е. та категория пролетариата, которая не обладает способностью сопротивляться. Голд вскрывает расовые национальные противоречия, но, к сожалению, не уделяет им особенно большого внимания. Писатель, порвавший связь с религией, смело подвергает критике иудаизм, разрушая «последнюю цитадель господа бога» — хасидизм.

Талантливо подобран социальный типаж Ист-Сайдовской улицы. Вот Мендель — симулянт, шарлатан, использующий доверчивость американских миссий, Файвка — скаред — жалкий осколок торгашеской психоидеологии, отец Майкла с бескрылыми мечтами о «собственной мастерской, целиком находящийся под гипнозом буржуазии, мальчик негр, которого Ист-Сайд превратил в бандита, и др.

В «Еврейской бедноте» нет определенного сюжета, нет одной личности — героя, вокруг которого писатели обычно группируют свой художественный материал. Книга представляет собой большой социально-бытовой конгломерат, собранный из отдельных фрагментов. Часть этих фрагментов составлена на основании рассказов, напечатанных в ранее вышедшей книге Голда — «Проклятый агитатор» (Недра, 1925 г.), другая часть является самостоятельными произведениями, собранными в книге «120 миллионов» (Зиф, 1930 г.). «Еврейская беднота» имеет одного многоликого героя. Герой этот Ист-Сайд, улица бедняков со свойственными ей звуками, красками, запахами. И в этой бытовой специфике Ист-Сайда Майкл-Голд выявил себя большим художником.

Но мир, который показал нам писатель, не имеет никаких социальных перспектив. Он морально и физически опустошен классом-поработителем. «Я был ничто» — признается автор — «и путь ни к чему не вел». Где же выход? Выхода, как будто, нет. Ибо патетическая концовка книги: «О революция, ты заставила меня думать, бороться и жить!» — не является художественно-логическим завершением всего хода повествования, определенным синтетическим обобщением и не дает поэтому ответа на наш вопрос. В книге отсутствует практический, художественный показ революционной целеустремленности автора.

С точки зрения революционной активности материал книги лежит еще без движения. Отношение авторского «я» к явлениям действительности пассивно. Писатель не вмешивается в жизнь. Последняя ведет еще наступление на автора. Между тем у автора была возможность активизировать свой материал, противопоставить бесперспективному существованию Ист-Сайдовских обитателей целеустремленность представителей революционного пролетариата,

показать, что они кем-то были и путь их к чему-то вел.

Образ пролетарки, вовлеченной в политическую борьбу против буржуазии, намечается очень нелепо, очень поверхностно в лице одного из персонажей книги — тети Лены. Раскрыть революционное содержание этого образа, показать его классовую перспективность — вот что входило в задачу писателя. Но последний этого не сделал.

Ряд острых и актуальных вопросов, входящих неот'емлемыми составными частями в политически-бытовой материал «Еврейской бедноты», к сожалению, только поверхностно затронут автором: уродство школьной воспитательной системы, могущество ист-сайдовского Таммани-Холла, центра демократической партии, покровителя бандитов и сутенеров, гнилая буржуазная филантропия и т. п. Многие вопросы остались, вообще, без ответа. Тактика рабочего революционного авангарда, к которому принадлежит сам автор, облекается здесь в туманную форму «преданности бедному люду».

«Еврейская беднота» не раскрывает всего творческого облика Майкл-Голда, его позиции практика-идеолога пролетарской интеллигенции Америки, об'единяющего молодую пролетарскую американскую литературу в своем журнале «New Masses» («Новые массы»). В «Проклятом агитаторе» и «120 миллионах» Голд выступает, как страстный публицист, бичующий, громящий, возмущающий, зовущий на борьбу, на штурм старого мира. «Меньше литературы, больше жизни» — признает писатель в одном из номеров своего журнала. В небольшом рассказе «Юный писатель» («Проклятый агитатор») Голд в ответ тем, кто покидает «мир, чтобы уступить место «сверхчеловеку», т. е. буржуазии, дает твердое обещание — «он не покинет мир, передав его в руки этих самодовольных животных... он будет жить и бороться».

Творчество Майкл-Голда — показатель роста молодой, пролетарской литературы Америки, показатель того, что эта революционная литература начинает завоевывать передовые позиции литературного фронта Америки.

«Еврейскую бедноту», несмотря на недостатки, мы воспринимаем как страстный протест, брошенный в лицо старому миру.

Т. Н.

Новые книги, поступившие в редакцию для отзыва

ОГИЗ

Афиногенов А. Творческий метод театра, диалектика творческого процесса, стр. 140, ц. 1 р. 15 к.

Барта А. 350 000. Рассказ-хроника из жизни страны австромарксизма, перевод с нем. А. Зелениной, стр. 64, ц. 80 к.

10 лет ГОЭЛРО. Сборник статей, стр. 304, ц. 2 р. 50 к.

Тан-Богораз В. Г. Колымские рассказы, стр. 304, ц. 2 р. 50 к.

Зомбарт Вернер. Современный капитализм, т. I, Введение. Докапиталистическое хозяйство. Исторические основы современного капитализма. Первый полутом, стр. 512, ц. 5 р.

Бубнов А. ВКП(б). Государственное социально-экономическое издательство, стр. 798, ц. 1 р. 25 к., пер. 15 к.

Крыленко Н. В. Судебные речи, 1922—1930, стр. 362, ц. 1 р. 60 к.

Либединский Юрий. Генеральные задачи пролетарской литературы, стр. 149, ц. 90 к.

Упит Андрей. Под желтой пятой. Роман, перевод с латыш. Сильмана Э. Я., стр. 372 ц. 1 р. 85 к.

Галяу М. Муть. Перевод с татар. Щариповой Гайши, предисловие Бороздина И., стр. 237, ц. 1 р. 85 к.

Тосон Симадзаки. Нарушенный завет. Роман, авторизованный перевод с японского Фельдман Н., стр. 318, ц. 2 р. 25 к.

Константинов Алеко. Бай Ганю. Перевод с болгарского Говорухина О. М., редакция, вступительная статья и примеч. Бакалова Г. И., стр. 198, ц. 1 р. 40 к.

Сборник дискуссионных статей о творчестве. Борьба за метод. Стр. 338, ц. 2 р. 50 к.

Савин Лев. Юшка в тылу. Стр. 248, ц. 2 р. 15 к., пер. 30 к.

Волгин В. Строители. Очерки, Лапп, стр. 104, ц. 70 коп.

Уксусов Иван. Сестры. Повесть, стр. 116, ц. 1 р. 10 к.

Ле-Февр Жорж. Я бродяга. Авторизованный перевод с франц. Лившица Бенедикта, предисловие Анисимова Ив., стр. 158, ц. 1 р. 10 к.

Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи. Вступительная статья, выбор и редакция худож. и автобиогр. текста, а также библиография Ревякина А., стр. 558, ц. 3 р. 75 к., пер. 40 к.

Кипэн А. Бирючий остров. Собр. соч., стр. 230, ц. 1 р. 75 к.

Бядуля З. Язэп Крушинский. Роман, книга первая, перевод с белорус. Яковчика К. предисловие Березко Г., стр. 304, ц. 2 р. 30 к.

Гордон Э. Бурьян. Авторизованный перевод с евр. Билинского М., предисловие Нусинова И., стр. 158, ц. 1 р. 10 к.

Пливье Теодор. Кули Кейзера. Роман из жизни германского военного флота, перевод с нем. Байкиной Ир. и Г. Черняк, предисловие Уманского Д., стр. 327, ц. 2 р.

Сельвинский Илья. Рекорды. Стихи новеллы, стр. 102, ц. 2 р. 25 к., переп. 25 к

Бытовой Семен. Улица стачек. Стихи, стр. 62, ц. 85 к., переп. 20 к.

Серебрякова Галина. Рикша. Рассказы, стр. 125, ц. 90 к.

Прокофьев Александр. Улица красных зорь. Стихи, стр. 62, ц. 1 р. 30 к., переп. 15 к.

Критический сборник под редакцией Луначарского А. В., Детская литература, стр. 230, ц. 2 р. 60 коп.

Литературно-художественный сборник рабочих-ударников. Рабочий призыв, стр. 157, ц. 50 к.

Заводчиков Владимир. Возникновение города. Стихотворная повесть, стр. 48, ц. 90 к. пер. 20 коп.

На страже. Рассказы, стихи, очерки о Красной армии, стр. 206, ц. 60 коп.

Лафарг Поль. Язык и революция. Стр. 99, ц. 1 р. 20 к. (Academia).

Ильенков В. Апоха. Рассказы, 116, ц. 85 к.

Борисов Леонид. Ремонт. Повесть, стр. 96, ц. 80 к.

Чаган З. Еще раз рожденные. Очерки, стр. 119, ц. 95 к.

Матвеев В. Золото Повесть. стр. 173, ц. 1 р. 20 к.

Гельц Макс. От белого креста к красному знамени. Стр 316, ц. 50 к.

Нар-Дос М. Роман, перевод с армянского, предисловие Тер-Мартиросьяна, стр. 200, ц. 1 р. 60 к.

Макаров Иван. На земле мир, записки тюремного надзирателя, стр. 93, ц. 75 коп., пер. 35 к.

Вишневский Вс. Первая конная. Предисловие Буденного С. Вступительная статья Майзеля М., изд. массовое, доработано и дополнено, стр. 158, ц. 30 к. пер. 16 к.

Луговской Владимир. Большевикам пустыни и весны. Стихи, стр. 70, ц. 75 к., пер. 25 к.

Сенников Г. Тропический рейс. Стр. 82, ц. 60 коп., переп. 40 к.

Безыменский А. Трагедийная ночь. Поэма, стр. 63, ц. 60 к.

Минаев Конст. Пугачевцы. Роман, стр. 284, ц. 1 р. 75 коп.

Микитенко Н. Уркаганцы. Перевод с укр. Григорьева Э. Г., вступительная статья Щупака С. На рельсах пролетарского творчества, стр. 248, ц. 1 р. 90 к. пер. 30 к.

Гарди Томас. Тэсс из рода д'Эрбервиль, чистая женщина, правдиво изображенная. Роман, перевод с анг. Кривцовой А. В., предисловие Луначарского А. В., очерк «Томас Гарди» Ланна Евгения, стр. 224, ц. 2 р. 75 к.

Экслер И. Гренландские гости, стр. 120, ц. 95 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Зозуля Ефим. Собрание новелл. Стр. 218, ц. 1 р. 25 к., пер. 25 к.

Гиляровский Вл. Записки Москвича. Стр. 237, ц. 1 р. 50 к., пер. 25 коп.

Малышкин Алекс. Падение Даира. Повести, изд. 5-е, стр. 166, ц. 1 р. 10 к.

Новиков Иван. Город, море, деревня. Три повести из эпохи 1905 г., стр. 351, ц. 2 р. 20 к., пер. 20 к.

Рихтер Зинаида. У белого пятна. Спасательная экспедиция ледореза «Литке» на остров Врангеля, стр. 238, ц. 1 р. 40 к.

Никитин Михаил. Второй гигант. Очерки о Сибири, стр. 128, ц. 75 к.

Федорович Вит. Любовь скифа. Рассказы, стр. 286, ц. 1 р. 75 к., пер. 30 к.

Д. Оськин. Записки прапорщика. Стр. 349, ц. 2 р., пер. 25 к.

Всероссийское общество крестьянских писателей. Наши позиции, критический сборник, редакция Батрака И., Богданова Б., Канатчикова С., Карпинского В., Ревякина А., стр. 171, ц. 2 р. 30 к., пер. 20 коп.

Дроздов Александр. Три колена. Стр. 216, ц. 1 р. 25 коп.

Мышковская Л. Работа Толстого над произведением (создание Хаджи-Мурата). Стр. 162, ц. 2 р.

Трушков Василий. Поэма в 1000 га. Повести и рассказы, стр. 125, ц. 90 коп.

Абабков Ив. Зорька. Стр. 133, ц. 80 коп.

Юрин Сергей. По нехоженой тропе. Очерки, стр. 122, ц. 65 к.

Сахаров Петр. В тайге у прокаженных. Очерки, стр. 104, ц. 85 к.

Чачиков Александр. Тысяча строк. Стихи (1918—1926), стр. 75, ц. 75 к.

Тихонов Н. Кочевники. Стр. 208, ц. 1 р. 10 к., пер. 20 к.

Алипченко Мария. Буровля в лобках. Очерки, стр. 237, ц. 1 р. 50 к.

Колоколов Николай. Повелитель. Повести и рассказы, стр. 168, ц. 1 руб.

Кофанов Павел. Страницы в огне. Повесть, стр. 139, ц. 90 коп.

Кружок очеркистов «Кузнецы». Наша жизнь. Сборник второй, стр. 220, ц. 1 р. 75 к.

Гансбург Яков. Кусты и зайцы. т. 2. Роман, стр. 259, ц. 1 р. 80 к., пер. 20 к.

Февральский А. Десять лет театра Мейерхольда. Стр. 82, ц. 1 руб.

Езерский Милий. Золотая баба. Роман, стр. 323, ц. 2 р., пер. 25 к.

Каманин Федор. Волчий Повести, стр. 175, ц. 1 р. 20 к.

Петровский Дм. Денис Кочубей. Стр. 127, ц. 80 к.

Никитин Николай. Линия огня. Пьеса в 4-х действиях и восьми картинах, стр. 102, ц. 1 руб.

Минаев Константин. Картошка. Рассказы, стр. 118, ц. 75 коп.

Крептюков Даниил. Степные всходы Очерки о колхозах, стр. 222, ц. 1 р. 20 к.

Дюбин Василий. Забурунный край. Роман. кн. 2, стр. 312, ц. 1 р. 80 к., пер. 20 коп.

Павлов Георгий. Эпопея Петра Кузницы. Стр. 220, ц. 1 р. 35 коп.

Сверчков Дм. Но не побеждены. Стр. 62, ц. 60 к.

Жига Иван. Новые рабочие. Стр. 126, ц. 40 к.

Гиппиус Василий. Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. Стр. 496, ц. 3 р. 25 коп., пер. 20 коп.

Моренко Александр. Слово лейтенанта Пино. Стр. 16, ц. 10 к.

Приблудный Иван. С добрым утром. (Лирика-сатира, 1923—1929 г.) стр. 82, ц. 1 р.

Незлобин Н. Мост. Стихи, стр. 78, ц. 95 к.

Третьяков Сергей. Месяц в деревне (июнь—июль 1930 г.). Оперативные очерки, стр. 256, ц. 1 р. 50 коп., пер. 20 коп.

Шошин И. Астрабат. Героические рассказы, стр. 252, ц. 1 р. 75 к.

Библиотека «Новой Кузницы» РАПП, Наша жизнь, кружок очеркистов. Сборник 3-й, стр. 206, ц. 1 р. 90 коп.

Чернявский Евгений. Компания. С рисунками автора, стр. 158, ц. 90 коп.

Бабушкин Виктор. С ружьем по лесам и болотам. Рассказы, стр. 268, ц. 1 р. 60 коп. пер. 20 коп.

Ассанов Николай. День начинается в семь утра. Стр. 170, ц. 1 р. 20 коп.

Безыменский А. Поэтическая канонада Литературные материалы и эпиграммы, стр. 114, ц. 1 р. 70 к.

Кобец Т. Гута. Завод. Пьеса в 3-х действиях и 10-ти картинах, стр. 115, ц. 1 руб.

Итин Вивиан. Выход к морю. Очерки, стр. 224, ц. 1 р. 20 коп. переп. 20 коп.

Родов Семен. На посту. Статьи и заметки, стр. 336, ц. 3 руб. 25 коп., пер. 25 коп.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературные края

Критика и библиография

Новые книги, поступившие в редакцию для отзы

Государственное издательство художественной литературы

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский, 7, тел. 5-63-12.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В статье А. Фадеева «Об одной кулацкой хронике» по вине типографии, на стр. 208 в первом столбце, в последнем абзаце, выпала первая строчка. Следует читать:

«Столь же беззубо и дешево пытается Платонов высмеивать и процессы, происходящие внутри колхозов».

На стр. 209, в первом столбце, в последнем абзаце, перепутана первая строчка. Следует читать:

«Омерзительно фальшивый кулацкий Иудушка Головлев, воспевающий кулацкие «коммуны» и «жалеющий» колхозных руководителей, может особенно не беспокоиться.

Цена 2 руб.

РАССКАЗЫ

М. Алексеева, Ник. Анова, Вл. Бахметьева, А. Бибика, С. Буданцева, В. Вересаева, Артема Веселого, Вс. Вишневского, М. Габриловича, Б. Горбатова, М. Громова, А. Демидова, А. Долгих, И. Евдокимова, Вс. Иванова, Бела Иллеш, М. Карпова, В. Катаева, В. Кина, М. Казакова, Дм. Лаврухина, И. Кофанова, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Ляшко, С. Малашкина, И. Малышкина, И. Микитенко, Х. М. Мугуева, П. Низового, Г. Никифорова, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Л. Никулина, Н. Огнева, Ю. Олеши, Острова, П. Павленко, Ан. Платонова, С. Под'ячева, Я. Рыкачева, Б. Савранского, Дм. Сверчкова, С. Семенова, А. Серафимовича, Л. Сейфуллиной, Л. Славина, М. Слонимского, А. Соболева, Шалва Сослани, Н. Тарасова-Родионова, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, М. Шагинян, Я. Шведова, М. Шолохова, Р. Эйдеман, Бруно Ясенского, А. Яковлева и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Н. Асеева, П. Антокольского, Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, И. Бехера, Н. Брауна, М. Герасимова, А. Гидаш, А. Жарова, Веры Ильиной, В. Казина, В. Кириллова, С. Кирсанова, В. Луговского, С. Обрадовича, П. Орешина, Б. Пастернака, Н. Полетаева, А. Подчерткова, А. Решетова, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, А. Суркова, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, С. Щипачева, М. Юрина и др.

СТАТЬИ

Л. Авербаха, И. Анисимова, И. Беспалова, В. Бонч-Бруевича, И. Бороздина, А. Бубнова, Вл. Васильевского, И. Виноградова, Б. Волина, Я. Ганецкого, М. Гельфанда, М. Григорьева, И. Гроссмана-Рощина, Гурштейна, А. Дивильковского, С. Динамова, М. Добрынина, В. Ермилова, А. Ефремина, А. Енукидзе, К. Зелинского, Н. Иезуитова, С. Ингулова, С. Канатчикова, П. Керженцева, Феликса Кона, Г. Корабельникова, Н. Крупской, В. Киршона, П. Лебедева-Полянского, А. Лозовского, А. Луначарского, Д. Мануильского, Маркова, И. Маца, Н. Мещерякова, А. Михайлова, Л. Мышковской, С. Нельс, Новича, Р. Пикель, Н. Осинского, М. Н. Покровского, Н. Пиксанова, Ф. Раскольникова, В. Ральцевича, Ф. Ротштейна, М. Савельева, А. Селивановского, М. Серебрянского, Ю. Стеклова, А. Стецкого, В. Сутырина, А. Тарасенкова, Л. Тимофеева, Е. Трощенко, Н. Феоктистова, А. Халатова, Ем. Ярославского и др.

НА 1931 ГОД ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНА

В 1931 г. журнал «Красная новь» будет давать наиболее современный материал и привлекать к участию художественно выявившихся пролетарских писателей.

Журнал рассчитан на партийный, комсомольский, профсоюзный и колхозный актив и советскую интеллигенцию.

Ввиду закрытия подписки на первое полугодие (за исчерпанием тиража) — подписка принимается только на 2-е полугодие.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: с номера 10 до конца года — 3 руб.

Ввиду того, что настоящий журнал печатается в строго ограниченном тираже, аккуратное получение журнала гарантируется исключительно подписчикам, своевременно внесшим полностью подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в отделениях, магазинах, киосках Книгоцентра и на почте.